НОВЫЙ ЖУРНАЛ

X

НЬЮ-ИОРК

НОВЫЙ ЖУРНАЛ

THE NEW REVIEW

RUSSIAN QUARTERLY

под редакцией

М. М. КАРПОВИЧА и М. О. ЦЕТЛИНА

X

НЬЮ-ИОРК

1945

Printed by
GRENICH PRINTING CORP.
151 West 25th Street,



ОГЛАВЛЕНИЕ:

Редакция. — Франклин Д. Рузвельт 5
И. А. Бунин. — Чистый понедельник 7
М. А. Чехов. — Жизнь и встречи 22
М. А. Алданов. — Истоки 51
И. Макаев. — В усадьбе 133
Н. В. Кодрянская. — Серафима 148
Е. Рубисова. — В Лувре 153
О. Жигалова. — Полустанок Васьково 156

СТИХИ:

В. В. Набоков, Татиана Остроумова, Татиана Тимашева 168

ВОПРОСЫ ДНЯ:

Н. С. Тимашев. — Мысли о России 174
Г. П. Федотов. — Россия и свобода 189

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО:

В. М. Чернов. — Литературные мытарства Чехова 214
В. А. Александрова. — Русский театр во время войны 226
В. М. Зензинов. — По советским журналам 239

ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ:

Р. Г. Винавер. — Вожди кадетской партии 250
Г. Я. Аронсон. — Московские зимы 263
Н. Н. Гиевский. — Из театральных воспоминаний 276
Б. И. Николаевский. — П. Б. Струве 306

Е. А. Извольская. — Духовный фронт французского сопротивления 329
Н. П. Рашевский. — В. И. Вернадский 233
М. О. Цетлин. — А. Н. Толстой 338

ЭМИГРАЦИЯ И СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ:

От редакции 241
Статьи Н. П. Вакара, М. В. Вишняка, Ю. П. Денике, С. М. Соловейчика 243

М. М. Карпович. — После победы 361

РЕЦЕНЗИИ И ЗАМЕТКИ:

Б. И. Николаевский. — Герценоведение 274
Д. Н. Федотов-Уайт. — «Советская Россия» Д. Ю. Далина.. 284
М. М. Карпович. — «Русско-польские отношения» С. А. Коновалова 386
Западные границы России 387
С. А. Комаров. — Книга проф. Б. П. Бабкина 388
В. И. Коварская. — Художники «Мира Искусства» в Америке 390
Д. Н. Федотов-Уайт. — «Встреча с Россией» В. М. Зензинова 393
М. М. Карпович. — Книги Г. В. Ланцова и Р. Фишера о Сибири 394
Н. С. Тимашев. — «Владимир Соловьев» П. П. Зубова 396
Е. А. Извольская. — «Скакун» Н. С. Калашникова..... 397
В. М. Зензинов. — «Речи и статьи» О. О. Грузенберга 398

ФРАНКЛИН Д. РУЗВЕЛЬТ*)

Президент Рузвельт пришел к власти в пору экономического кризиса, небывалого в истории Соединенных Штатов. За двенадцать лет его правления американский народ дошел до степени материального благосостояния, невиданной и неслыханной в мировой истории. Правда, в силу одного из странных экономических парадоксов нашего времени, это благосостояние о т ч а с т и связано с войной. Однако, пора благоденствия началась в С. Штатах до войны и, по общему мнению экономистов, не кончится по наступлении мира.

Для Америки война началась с Перл Харбора; Германия была тогда чрезвычайно могущественна. В день кончины президента американские войска находились в 57 милях от Берлина; Япония терпела поражение за поражением.

Этих двух фактов достаточно, чтобы обеспечить государственному человеку то, что называется бессмертием. Конечно, нельзя утверждать, что все это было единоличной заслугой Рузвельта. Ничто в истории никогда не было заслугой т о л ь к о правителя: ни реформы Петра, ни победы Наполеона, ни дела Линкольна. Но это было п р и Рузвельте. Еслиб результаты оказались плохими, ответственность была бы возложена на него. В какой мере его личное воздействие сказывалось на ходе событий в Америке и на фронтах, сказать особенно трудно именно потому, что на него возводились обвинения, противоречивые и взаимно исключающиеся: обвиняли его и в том, что он «слабый безвольный человек», и в том, что он диктатор. «Диктатор» — при полной свободе слова в воюющей стране, при совершенно свободных, ни на день не откладываемых выборах, при строгом соблюдении конституции!

Ненавидела его преимущественно так называемая «крупная буржуазия». А он, быть может, ее спас в 1932 году: тогда попытка устройства социальной революции была в Соединенных Штатах вполне возможна. Как бы то ни было, прошлогодние выборы показали, что социально-экономическую про-

*) Copyright 1945 by the Ney Review («Новый Журнал») All rights reserved.

грамму Рузвельта, вызывавшую когда-то такое негодование, теперь принимают почти целиком и Дьюи, и Хувер, и даже Лэндон. В «четырех свободах» и, в частности, в «свободе от нужды» не было по существу ничего нового, но лозунг облетел мир — благодаря президенту Соед. Штатов. Тут человек красил место и место красило человека.

С несколько большим, быть может, основанием, Рузвельта обвиняли в том, что он окружал себя людьми, которых лучше было бы держать от власти подальше. Здесь, однако, обобщения неуместны и невозможны. Да и какого правителя в этом не обвиняли? Ведь порою обвинения исходили от людей, тщетно пытавшихся стать помощниками, сотрудниками, советчиками президента. Людовик XIV говорил: «Назначая кого бы то ни было на какую бы то ни было должность, я заранее знаю, что создаю одного неблагодарного и десять недовольных». — Во всяком случае, военных вождей покойный президент выбрал и назначил превосходных.

Без компромиссов прийти к власти трудно, а удержаться у нея надолго почти невозможно. Но история знает немного государственных людей, у которых в политической жизни насчитывалось бы так мало компромиссов, как у Рузвельта. В некрологах принята фраза: «Личных врагов у него не было». Фраза наивная в тех случаях, когда она говорится искренно: личные враги в с е г д а есть. Однако, у могилы президента, кажется, все враги его, с определенностью, делающей честь и им, и политическим нравам Америки, признали верность Рузвельта его главным идеям, благородство его характера, его основную черту: доброту и благожелательность к людям. С этой чертой он пришел к власти и сохранял ее двенадцать лет, — случай в истории почти беспримерный.

Не обойдем здесь молчанием факта, имеющего только личное значение. Из сотрудников «Нового Журнала» многие обязаны покойному президенту свободой, а иные и жизнью. В из'ятие из общих правил, по ходатайству людей ему известных, он, не задумываясь, никого ни о чем не запрашивая, распорядился о немедленной выдаче виз довольно большому числу русских политических деятелей и писателей, которые в 1940 году находились во Франции и которым бежать было некуда. Надо было бы обладать редкой способностью к неблагодарности, чтобы не упомянуть об этом и в маленькой заметке, посвященной памяти очень большого государственного деятеля.

РЕДАКЦИЯ.

ЧИСТЫЙ ПОНЕДѢЛЬНИК

Темнѣл московскій сѣрый зимній день, холодно зажигался газ в фонарях, тепло освѣщались витрины магазинов — и разгоралась вечерняя, освобождающаяся от дневных дѣл московская жизнь: гуще и бодрѣй неслись извощичьи санки, тяжелѣй гремѣли переполненные, ныряющіе трамваи, — в сумракѣ уже видно было, как с шипѣніем сыпались с проводов зеленыя звѣзды, — оживленнѣе спѣшили по снѣжным тротуарам мутно чернѣющіе прохожіе... Каждый вечер мчал меня в этот час на вытягивающемся рысакѣ мой кучер — от Красных Ворот к Храму Христа-Спасителя: она жила почти против него; каждый вечер я возил ее обѣдать в «Прагу», в «Эрмитаж», в «Метрополь», послѣ обѣда в театры, на концерты, а там к Яру, в «Стрѣльну»... Чѣм все это должно кончиться, я не знал и старался не думать, не додумывать: было безполезно — так же, как и говорить с ней об этом, она раз навсегда отвела разговоры о нашем будущем; она была загадочна, непонятна для меня, странны были и наши с ней отношенія, — совсѣм близки мы все еще не были; и все это без конца держало меня в неразрѣшающемся напряженіи, в мучительном ожиданіи чего-то — и вмѣстѣ с тѣм был я несказанно счастлив каждым часом, проведенным возлѣ нея.

Она зачѣм-то училась на курсах, довольно рѣдко посѣщала их, но посѣщала. Я как-то спросил: «Зачѣм?» Она пожала плечом: «А зачѣм все дѣлается на свѣтѣ? Развѣ мы понимаем что-нибудь в наших поступках? Кромѣ того, исторія интересует меня...». Жила она одна, — вдовый отец ея, просвѣщенный человѣк знатнаго купеческаго рода, жил на покоѣ в Твери, что-то, как всѣ такіе купцы, собирал. В домѣ против Храма-Спасителя она снимала ради вида на Москву угловую квартиру на пятом этажѣ, всего двѣ комнаты, но просторныя и хорошо

обставленныя. В первой много мѣста занимал широкій турецкій диван, стояло дорогое піанино, на котором она все разучивала медленное, сомнамбулически прекрасное начало «Лунной сонаты», — только одно начало, — на піанино и на подзеркальникѣ цвѣли в граненых вазах нарядные цвѣты, — по моему приказу ей доставляли каждую субботу свѣжіе, — и когда я пріѣзжал к ней в субботній вечер, она, лежа на диванѣ, над которым зачѣм-то висѣл портрет босого Толстого, неспѣша протягивала мнѣ для поцѣлуя руку и разсѣянно говорила: «Спасибо за цвѣты...». Я привозил ей коробки шоколаду, новыя книги, — Гофмансталя, Шницлера, Тетмайера, Пшибышевскаго, — и получал все то-же «спасибо» и протянутую теплую руку, иногда приказаніе сѣсть возлѣ дивана, не снимая пальто: «Непонятно, почему, — говорила она в раздумьи, гладя мой бобровый воротник, — но, кажется, ничего не может быть лучше запаха зимняго воздуха, с которым входишь со двора в комнату...». Похоже было на то, что ей ничто не нужно: ни цвѣты, ни книги, ни обѣды, ни театры, ни ужины за городом, хотя всетаки цвѣты были у нея любимые и нелюбимые, всѣ книги, какія я ей привозил, она всегда прочитывала, шоколаду с'ѣдала за день цѣлую коробку, за обѣдами и ужинами ѣла не меньше меня, любила растегаи с налимьей ухой, розовых рябчиков в крѣпко прожаренной сметанѣ, иногда говорила: «не понимаю, как это не надоѣст людям всю жизнь, каждый день обѣдать, ужинать», но сама и обѣдала и ужинала с московским пониманіем дѣла. Явной слабостью ея была только хорошая одежда, бархат, шелка, дорогой мѣх...

Мы оба были богаты, здоровы, молоды и настолько хороши собой, что в ресторанах, на концертах нас провожали взглядами. Я, будучи родом из Пензенской губерніи, был в ту пору красив почему-то южной, горячей красотой, был даже «неприлично красив», как сказал мнѣ однажды один знаменитый актер, чудовищно толстый человѣк, великій обжора и умница, — «чорт вас знает, кто вы, сициліанец какой-то», сказал он сонно; и характер был у меня южный, живой, постоянно готовый к счастливой улыбкѣ, к доброй шуткѣ. А у нея красота

была какая-то индійская, персидская: смугло-янтарное лицо, великолѣпные и нѣсколько зловѣщіе в своей густой чернотѣ волосы, мягко блестящія, как черный соболій мѣх, брови, черные, как бархатный уголь, глаза; плѣнительный бархатисто-пунцовыми губами рот оттѣнен был темным пушком; выѣзжая, она чаще всего надѣвала гранатовое бархатное платье и такія-же туфли с золотыми застежками (а на курсы ходила скромной курсисткой,завтракала за тридцать копѣек в вегетаріанской столовой на Арбатѣ); и насколько я был склонен к болтливости, к простосердечной веселости, настолько она была чаще всего молчалива: все что-то думала, все как будто во что-то мысленно вникала; лежа на диванѣ с книгой в руках, часто опускала ее и вопросительно глядѣла перед собой: я это видѣл, заѣзжая иногда к ней и днем, потому что каждый мѣсяц она дня три-четыре совсѣм не выходила и не выѣзжала из дому, лежала и читала, заставляя и меня сѣсть в кресло возлѣ дивана и молча читать.

— Вы ужасно болтливы и непосѣдливы, — говорила она, — дайте мнѣ дочитать главу...

— Если бы я не был болтлив и непосѣдлив, я никогда, может быть, не узнал бы вас, —отвѣчал я, напоминая ей этим наше знакомство: как-то в декабрѣ, попав в Художественный Кружок на лекцію Андрея Бѣлаго, который пѣл ее, бѣгая и танцуя на эстрадѣ, я так вертѣлся и хохотал, что она, случайно оказавшаяся в креслѣ рядом со мной и сперва с нѣкоторым недоумѣніем смотрѣвшая на меня, тоже наконец разсмѣялась, и я тотчас весело обратился к ней.

— Все так, — говорила она, — но все-таки помолчите немного, почитайте что нибудь, покурите...

— Не могу я молчать! Не представляете вы себѣ всю силу моей любви к вам! Не любите вы меня!

— Представляю. А что до моей любви, то вы хорошо знаете, что, кромѣ отца и вас, у меня никого нѣт на свѣтѣ. Во всяком случаѣ вы у меня первый и послѣдній. Вам этого мало? — Но довольно об этом. Читать при вас нельзя, давайте чай пить...

И я вставал, кипятил воду в электрическом чайникѣ на столикѣ за отвалом дивана, брал из орѣховой горки, стоявшей в углу за столиком, чашки, блюдечки, говоря, что придет в голову:

— Вы дочитали «Огненнаго Ангела»?

— Досмотрѣла. До того высокопарно, что совѣстно читать.

— А отчего вы вчера вдруг ушли с концерта Шаляпина?

— Не в мѣру разудал был. Желтоволосую Русь вообще не люблю.

— Все-то вам не нравится!

— Да, многое...

«Странная любовь!» думал я и, пока закипала вода, стоял, смотрѣл в окна. В комнатѣ пахло цвѣтами, и она соединялась для меня с их запахом; за одним окном низко лежала вдали огромная картина зарѣчной снѣжно-сизой Москвы; в другое, лѣвѣе, была видна часть Кремля, напротив, как-то не в мѣру близко, бѣлѣла слишком новая громада Христа-Спасителя, в золотом куполѣ котораго синеватыми пятнами отражались галки, вѣчно вившіяся вокруг него... «Странный город! — говорил я себѣ, думая об Охотном рядѣ, об Иверской, о Василіи Блаженном. — Василій Блаженный — и Спас на Бору, итальянскіе соборы — и что-то киргизское в остріях башен на кремлевских стѣнах...».

Пріѣзжая в сумерки, я иногда заставал ее на диванѣ только в одном шелковом архалукѣ отороченном соболем, — наслѣдство моей астраханской бабушки, сказала она, — сидѣл возлѣ нея в полутьмѣ, не зажигая огня, и цѣловал ея руки, ноги, изумительное в своей гладкости тѣло... И она ни чему не противилась, но все молча. Я поминутно искал ея жаркія губы — она давала их, дыша уже порывисто, но все молча. Когда же чувствовала, что я больше не в силах владѣть собой, отстраняла меня, садилась и, не повышая голоса, просила зажечь свѣт, потом уходила в спальню. Я зажигал, садился на вертящійся табуретик возлѣ піанино и постепенно приходил в себя, остывал от горячаго дурмана. Через четверть часа она выходила

из спальни одѣтая, готовая к выѣзду, спокойная и простая, точно ничего и не было перед этим:

— Куда нынче? В «Метрополь», может быть?

И опять весь вечер мы говорили о чем-нибудь постороннем. Вскорѣ послѣ нашего сближенія, она сказала мнѣ, когда я заговорил о бракѣ:

— Нѣт, в жены я не гожусь. Почему, не знаю. Но не гожусь, не гожусь...

Это меня не обезнадежило, — «там видно будет!» — сказал я себѣ в надеждѣ на перемѣну ея рѣшенія со временем и больше не заговаривал о бракѣ. Наша неполная близость казалась мнѣ иногда невыносимой, но и тут — что оставалось мнѣ, кромѣ надежды на время? Однажды, сидя возлѣ нея в этой вечерней темнотѣ и тишинѣ, я схватился за голову:

— Нѣт, это выше моих сил! И зачѣм, почему надо так жестоко мучить меня и себя!

Она промолчала.

— Да, всетаки это не любовь, не любовь...

Она ровно отозвалась из темноты:

— Может быть. Кто же знает, что такое любовь?

— Я, я знаю! — воскликнул я. — И буду ждать, когда и вы узнаете, что такое любовь, счастье!

— Счастье, счастье... «Счастье наше, дружок, как вода в бреднѣ: тянешь — надулось, а вытащишь — ничего нѣту».

— Это что?

— Это так Платон Каратаев говорил Пьеру.

Я махнул рукой:

— Ах, Бог с ней, с этой восточной мудростью!

И опять весь вечер говорил только о постороннем — о новой постановкѣ Художественнаго Театра, о новом разсказѣ Андреева... С меня опять было довольно и того, что вот я сперва тѣсно сижу с ней в летящих и раскатывающихся санках, держа ее в гладком мѣхѣ шубки, потом вхожу с ней в людную залу ресторана под марш из «Аиды», ѣм и пью рядом с ней, слышу ея медленный голос, гляжу на губы, которыя цѣловал час тому назад, — да, цѣловал, цѣловал, говорил я себѣ, с

восторженной благодарностью глядя на них, на темный пушок над ними, на гранатовый бархат платья, на скат плеч и овал грудей, обоняя какой-то слегка пряный запах ея волос, думая: «Москва, Астрахань, Персія, Индія!». В ресторанах за городом, к концу ужина, когда все шумнѣй становилось кругом в табачном дыму, она, тоже куря и хмелѣя, вела меня иногда в отдѣльный кабинет, просила позвать цыган, и они входили нарочито шумно, развязно: впереди хора, с гитарой на голубой ленте через плечо, старый цыган в казакинѣ с галунами, с сизой мордой утопленника, с голой, как чугунный шар, головой, за ним цыганка-запевало с низким лбом под дегтярной чолкой... Она слушала пѣсни с томной, странной усмѣшкой... В три, в четыре часа ночи я отвозил ее домой, на под'ѣзде, закрывая от счастья глаза, цѣловал в мокрый мѣх воротника и в каком-то восторженном отчаяніи летѣл к Красным Воротам. И завтра и послѣ-завтра будет все то же, — думал я, — все та же мука и все то же счастье... Ну что ж — всетаки счастье, великое счастье!

Так прошел январь, февраль, пришла и прошла масленица. В Прощеное воскресенье она приказала мнѣ пріѣхать к ней в пятом часу вечера. Я пріѣхал, и она встрѣтила меня уже одѣтая, в короткой каракулевой шубкѣ, в каракулевой шляпкѣ, в черных фетровых ботиках.

— Все черное! — сказал я, входя, как всегда, радостно.

Глаза ея были ласковы и тихи:

— Вѣдь завтра уже Чистый понедѣльник, — отвѣтила она, вынув из каракулевой муфты и давая мнѣ руку в черной лайковой перчаткѣ. — «Господи Владыко живота моего...» Хотите поѣхать в Новодѣвичій монастырь?

Я удивился, но поспѣшил сказать:

— Хочу!

— Что ж все кабаки да кабаки, — прибавила она. — Вот вчера утром я была на Рогожском кладбищѣ...

Я удивился еще больше:

— На кладбищѣ? Зачѣм? Это знаменитое раскольничье?

— Да, раскольничье. Допетровская Русь! Хоронили ихнего

архіепископа. И вот представьте себѣ: гроб — дубовая колода, как в древности, золотая парча, будто кованная, лик усопшаго закрыт бѣлым Воздухом, шитым крупной черной вязью — красота и ужас. А у гроба діаконы с рипидами и трикиріями...

— Откуда вы это знаете? Рипиды, трикиріи!

— Это вы меня не знаете.

— Не знал, что вы так религіозны.

— Это не религіозность. Я не знаю, что... Но я, напримѣр, часто хожу по утрам или по вечерам, когда вы не таскаете меня по ресторанам, в кремлевскіе соборы, а вы даже и не подозрѣваете этого... Так вот: діаконы — да какіе! Пересвѣт и Ослябя! И на двух клиросах два хора, тоже все Пересвѣты: высокіе, могучіе, в длинных черных кафтанах, поют, перекликаясь, — то один хор, то другой, — и все в унисон и не по нотам, а по «крюкам». А могила была внутри выложена блестящими еловыми вѣтвями, а на дворѣ мороз, солнце, слѣпит снѣг... Да нѣт, вы этого не понимаете! Идем...

Вечер был мирный, солнечный, с инеем на деревьях; на кирпично-кровавых стѣнах монастыря болтали в тишинѣ галки, похожія на монашенок, куранты то и дѣло тонко и грустно играли на колокольнѣ. Скрипя в тишинѣ по снѣгу, мы вошли в ворота, пошли по снѣжным дорожкам по кладбищу, — солнце только что сѣло, еще совсѣм было свѣтло, дивно рисовались на золотой эмали заката сѣрым кораллом сучья в инеѣ и таинственно теплились вокруг нас спокойными, грустными огоньками неугасимыя лампадки, разсѣянныя над могилами. Я шел за ней, с умиленіем глядѣл на ея маленькій слѣд, на звѣздочки, которыя оставляли на снѣгу новые черные ботики — она вдруг обернулась, почувствовав это:

— Правда, как вы меня любите! — сказала она с тихим недоумѣніем, покачав головой.

Мы постояли возлѣ могил Эртеля, Чехова. Держа руки в опущенной муфтѣ, она долго глядѣла на чеховскій могильный памятник, потом пожала плечом:

— Какая противная смѣсь сусальнаго русскаго стиля со стилем Художественнаго Театра!

Стало темнѣть, морозило, мы медленно вышли из ворот, возлѣ которых покорно сидѣл на козлах мой Федор.

— Поѣздим еще немножко, — сказала она, потом поѣдем ѣсть послѣдніе блины к Егорову... Только не шибко Федор, — правда?

— Слушаю-с.

— Гдѣ-то на Ордынкѣ есть дом, гдѣ жил Грибоѣдов. Поѣдем его искать...

И мы зачѣм-то поѣхали на Ордынку, долго ѣздили по каким-то переулкам в садах, были в Грибоѣдовском переулкѣ; но кто-ж мог указать нам, в каком домѣ жил Грибоѣдов, — прохожих не было ни души, да и кому из них мог быть нужен Грибоѣдов? Уже давно стемнѣло, розовѣли за деревьями в инеѣ освѣщенныя окна...

— Тут есть еще Марфо-Маріинская обитель, — сказала она.

Я засмѣялся:

— Опять в обитель?

— Нѣт, это я так...

В нижнем этажѣ в трактирѣ Егорова в Охотном ряду было полно лохматыми, толсто одѣтыми извощиками, рѣзавшими стопки блинов, залитых сверх мѣры маслом и сметаной, было парно как в банѣ. В верхних комнатах, тоже очень теплых, с низкими потолками, старозавѣтные купцы запивали огненные блины с зернистой икрой замороженным шампанским. Мы прошли во вторую комнату, гдѣ в углу, перед черной доской иконы Богородицы Троеручицы, горѣла лампадка, сѣли за длинный стол на черный кожаный диван... Пушок на ея верхней губѣ был в инеѣ, янтарь щек слегка розовѣл, чернота райка совсѣм слилась с зрачком, — я не мог отвести восторженных глаз от этого инея. А она говорила, вынимая платочек из душистой муфты:

— Хорошо! Внизу дикіе мужики, а тут блины с шампанским и Богородица Троеручица. Три руки! Вѣдь это Индія! Вы — барин, вы не можете понимать так, как я, всю эту Москву.

— Могу, могу! — отвѣчал я. — И давайте закажем обѣд силен!

— Как это «силен»?

— Это значит — сильный. Как же вы не знаете? «Рече Гюрги...».

— Как хорошо! Гюрги!

— Да, князь Юрій Долгорукій. «Рече Гюрги ко Святославу, князю Сѣверскому: «приди ко мнѣ, брате, в Москву» и повелѣ устроить обѣд силен».

— Как хорошо. И вот только в каких-нибудь сѣверных монастырях осталась теперь эта Русь. Да еще в церковных пѣснопѣніях. Недавно я ходила в Зачатьевскій монастырь — вы представить себѣ не можете, до чего дивно поют там стихиры! А на Чудовом еще лучше. Я прошлый год все ходила туда на Страстной. Ах, как было хорошо!Вездѣ лужи, воздух уж мягкій, на душѣ как-то нѣжно, грустно и все время это чувство родины, ея старины... Всѣ двери в соборѣ открыты, весь день входит и выходит простой народ, весь день службы... Ох, уйду я куда-нибудь в монастырь, в какой-нибудь самый глухой, вологодскій, вятскій!

Я хотѣл сказать, что тогда и я уйду или зарѣжу кого-нибудь, чтобы меня загнали на Сахалин, закурил, забывшись от волненія, но подошел половой в бѣлых штанах и бѣлой рубахѣ, подпоясанный малиновым жгутом, почтительно напомнил:

— Извините, господин, курить у нас нельзя...

И тотчас, с особой угодливостью, начал скороговоркой:

— К блинкам что прикажете? Домашняго травничку? Икорки, семушки? К ушицѣ у нас херес на рѣдкость хорош есть, а к наважкѣ...

— И к наважкѣ хересу, — прибавила она, радуя меня доброй разговорчивостью, которая не покидала ее весь вечер. И я уже разсѣянно слушал, что она говорила дальше. А она говорила с тихим свѣтом в глазах:

— Я русское лѣтописное, русскія сказанія так люблю, что до тѣх пор перечитываю то, что особенно нравится, пока

наизусть не заучу. «Был в русской землѣ город, названіем Муром, в нем же самодержавствовал благовѣрный князь, именем Павел. И вселил к женѣ его Діавол летучаго змѣя на блуд. И сей змѣй являлся ей в естествѣ человѣческом, зело прекрасном...».

Я шутя сдѣлал страшные глаза:

— Ой, какой ужас!

Она, не слушая, продолжала:

— Так испытывал ее Бог. «Когда же пришло время ея благостной кончины, умолили Бога сей князь и княгиня преставиться им в един день. И сговорились быть погребенными в едином гробу. И велѣли вытесать в едином камнѣ два гробных ложа. И облеклись, такожде единовременно, в монашеское одѣяніе...»

И опять моя разсѣянность смѣнилась удивленіем и даже тревогой: что это с ней нынче?

И вот, в этот вечер, когда я отвез ее домой совсѣм не в обычное время в одинадцатом часу, она, простясь со мной на под'ѣздѣ, вдруг задержала меня, когда я уже садился в сани:

— Погодите. Заѣзжайте ко мнѣ завтра вечером не раньше десяти. Завтра «Капустник» Художественнаго Театра.

— Так что? — спросил я. — Вы хотите поѣхать на этот «Капустник»?

— Да.

— Но вы же говорили, что не знаете ничего пошлѣе этих «Капустников»!

— И теперь не знаю. И все-таки хочу поѣхать.

Я мысленно покачал головой, — все причуды, московскія причуды! — и бодро отозвался:

— Ол райт!

В десять часов вечера на другой день, поднявшись в лифтѣ к ея двери, я отворил ее англійским ключом и не сразу вошел из темной прихожей: за ней было необычно свѣтло, все было зажжено, — люстры, канделябры по бокам зеркала и высокая лампа под легким абажуром за изголовьем дивана,

и піанино звучало началом «Лунной сонаты» — все повышаясь, звуча чѣм дальше, тѣм все томительнѣе, призывнѣе, в сомнамбулически-блаженной грусти. Я захлопнул дверь прихожей, — звуки оборвались, послышался шорох платья. Я вошел — она прямо и нѣсколько театрально стояла возлѣ піанино в черном бархатном платьѣ, дѣлавшем ее тоньше, блистая его нарядностью, праздничным убором смольных волос, смуглой золотистостью обнаженных рук, плеч, нѣжнаго, полнаго начала грудей, сверканіем алмазных сережек вдоль чуть припудренных щек, угольным бархатом глаз и бархатистым пурпуром губ; на вискахъ полуколечками загибались к глазам черныя лоснящіяся косички, придавая ей вид восточной красавицы с лубочной картинки.

— Вот если бы я была пѣвица и пѣла на эстрадѣ, — сказала она, глядя на мое растерянное лицо, — я бы отвѣчала на апплодисменты привѣтливой улыбкой и легкими поклонами, вправо и влѣво, вверх и в партер, а сама бы незамѣтно, но заботливо отстраняла движеніем ноги шлейф, чтобы не наступить на него...

На «Капустникѣ» она много курила и все прихлебывала шампанское, пристально смотрѣла на актеров, с бойкими выкриками и припѣвами изображавших какое-то парижское "revue", на большого Станиславскаго с бѣлыми волосами и черными бровями и плотнаго Москвина в пенснэ на корытообразном лицѣ, — оба с нарочитой серьезностью и старательностью, падая назад, выдѣлывали под хохот публики отчаянный канкан. К нам подошел с бокалом в рукѣ, блѣдный от хмѣля, с холодным потом на лбу, на который свисал клок его бѣлорусских волос, Качалов, поднял бокал, и с дѣланной мрачной жадностью глядя на нее, сказал своим мелодически-низким актерским голосом:

— Царь-Дѣвица, Шамаханская царица, твое здоровье!

И она медленно улыбнулась и чокнулась с ним. Он взял ея руку, пьяно припал к ней и чуть не свалился с ног. Справился и, сжав зубы, взглянул на меня:

— А это что за красавец? Ненавижу...

Потом захрипѣла, засвистала и загремѣла, вприпрыжку затопала полькой шарманка — и к нам, скользя, подлетѣл маленькій, вѣчно куда-то спѣшащій и смѣющійся Сулержицкій, изогнулся, изображая гостиннодворскую галантность, поспѣшно пробормотал:

— Дозвольте пригласить на полечку Транблан...

И она, улыбаясь, поднялась и, ловко коротко притопывая, сверкая сережками, своей чернотой и обнаженными плечами и руками, пошла с ним среди столиков, провожаемая восхищенными взглядами и рукоплесканіями, меж тѣм как он, задрав голову, кричал козлом:

Пойдем, пойдем поскорѣе
С тобой польку танцовать!

В третьем часу ночи она встала, прикрыв глаза. Когда мы одѣлись, посмотрѣла на мою бобровую шапку, погладила бобровый воротник и пошла к выходу, говоря не то шутя, не то серьезно:

— Конечно, красив. Качалов правду сказал... «Змѣй в естествѣ человѣческом, зело прекрасном...»

Дорогой молчала, клоня голову от свѣтлой, лунной метели, летѣвшей навстрѣчу. Полный мѣсяц нырял в облаках над Кремлем, — «какой-то свѣтящійся череп», сказала она. На Спасской башнѣ часы били три, — еще сказала:

— Какой древній звук, что-то жестяное и чугунное. И вот так же, тѣм же звуком било три часа ночи и в пятнадцатом вѣкѣ. И во Флоренціи совсѣм такой-же бой, он там напоминал мнѣ Москву...

Когда Федор осадил у под'ѣзда, безжизненно приказала:

— Отпустите его...

Пораженный, — никогда не позволяла она подниматься к ней ночью, — я растерянно сказал:

— Федор, я вернусь пѣшком...

И мы молча потянулись вверх в лифтѣ, вошли в ночное тепло и тишину квартиры с постукивающими молоточками в

калориферах. Я снял с нея скользкую от снѣга шубку, она сбросила с волос на руки мнѣ мокрую пуховую шаль и быстро прошла, шурша нижней шелковой юбкой, в спальню. Я раздѣлся и с замирающим точно над пропастью сердцем сѣл на турецкій диван. Слышны были ея шаги за открытыми дверями освѣщенной спальни, то, как она, цѣпляясь за шпильки, через голову стянула с себя платье... Я встал и подошел к дверям: она, только в одних лебяжьих туфельках, золотистая, крѣпкая, стояла, спиной ко мнѣ, перед трюмо, расчесывая черепаховым гребнем черныя нити длинных, висѣвших вдоль лица волос.

— Вот все говорил, что я мало о нем думаю, — сказала она, бросив гребень на подзеркальник, и, откидывая волосы на спину, повернулась ко мнѣ: — Нѣт, я думала...

На разсвѣтѣ я почувствовал ея движеніе. Открыл глаза — она в упор смотрѣла на меня. Я приподнялся из тепла постели и ея тѣла, она обняла мою голову, склоняясь ко мнѣ, тихо и ровно говоря:

— Нынче вечером я уѣзжаю в Тверь. Надолго-ли, один Бог знает...

И прижалась щекой к моей, — я чувствовал, как моргает по ней ея мокрая рѣсница:

— Я все напишу, как только пріѣду. Все напишу о будущем. Прости, оставь меня теперь, я очень устала...

И легла на подушку.

Я осторожно одѣлся, робко поцѣловал ее в волосы и на цыпочках вышел на лѣстницу, уже свѣтлѣющую блѣдным свѣтом. Шел пѣшком по молодому липкому снѣгу, — метели уже не было, все было спокойно и уже далеко видно вдоль улиц, пахло и снѣгом и из пекарень. Дошел до Иверской, внутренность которой горячо пылала и сіяла цѣлыми кострами свѣчей, стал в толпѣ старух и нищих на растоптанный снѣг на колѣни, снял шапку... Кто-то потрогал меня за плечо — я посмотрѣл: какая-то несчастнѣйшая старушонка глядѣла на меня, морщась от жалостных слез:

— Ох, не убивайся, не убивайся так! Грѣх, грѣх!

Письмо, полученное мною недѣли через двѣ послѣ того, было кратко — ласковая, но твердая просьба не ждать ее больше, не пытаться искать, видѣть: «В Москву не вернусь, пойду пока на послушаніе, потом, может быть, рѣшусь на постриг... Пусть Бог даст сил не отвѣчать мнѣ — безполезно длить и увеличивать нашу муку...».

Я исполнил ея просьбу. И долго пропадал по самым грязным кабакам, спивался, всячески опускаясь все больше и больше. Потом стал понемногу оправляться — равнодушно, безнадежно... Прошло почти два года с того Чистаго понедѣльника...

В четырнадцатом году, под новый год, был такой-же тихій, солнечный вечер, как тот, незабвенный. Я вышел из дому, взял извощика и поѣхал в Кремль. Там зашел в пустой Архангельский собор, долго стоял, не молясь, в его сумракѣ, глядя на слабое мерцанье стараго золота иконостаса и надмогильных плит московских царей, — стоял, точно ожидая чего-то, в той особой тишинѣ пустой церкви, когда боишься вздохнуть в ней. Выйдя из собора, велѣл извощику ѣхать на Ордынку, шагом ѣздил, как тогда, по темным переулкам в садах с освѣщенными под ними окнами, проѣзжал по Грибоѣдовскому переулку — и все плакал, плакал...

На Ордынкѣ я остановил извощика у ворот Марфо-Маріинской обители: там во дворѣ чернѣли кареты, видны были раскрытыя двери небольшой освѣщенной церкви, из дверей горестно и умиленно неслось пѣніе дѣвичьего хора. Мнѣ почему-то захотѣлось непремѣнно войти туда. Дворник у ворот загородил мнѣ дорогу, прося мягко, умоляюще:

— Нельзя, господин, нельзя!

— Как нельзя? В церковь нельзя?

— Можно, господин, конечно, можно, только прошу вас за ради Бога, не ходите, там сичас великая княгиня Ельзавет Федровна и великій князь Митрій Палыч...

Я сунул ему рубль — он сокрушенно вздохнул и пропустил. Но только я вошел во двор, как из церкви показались несомыя на руках иконы, хоругви, за ними, вся в бѣлом, длин-

ном, тонколикая, в бѣлом обрусѣ с нашитым на него золотым крестом на лбу, высокая, медленно, истово идущая с опущенными глазами, с большой свѣчей в рукѣ, великая княгиня; а за нею тянулась такая же бѣлая вереница поющих, с огоньками свѣчек у лиц, инокинь или сестер, — уж не знаю, кто были онѣ и куда шли. Я почему-то очень внимательно смотрѣл на них. И вот одна из идущих по серединѣ вдруг подняла голову, крытую бѣлым платом, загородив свѣчку рукой, устремила взгляд темных глаз в темноту, будто как раз на меня... Что она могла видѣть в темнотѣ, как могла она почувствовать мое присутствіе? Я повернулся и тихо вышел из ворот.

Иван Бунин.

12.V.1944.

ЖИЗНЬ И ВСТРЕЧИ*)

17.

Для коротких гастролей и для подготовки нескольких новых постановок, «Габима» приехала в Берлин. Я рад был увидеть моих старых друзей. «Габима» хотела иметь в репертуаре шекспировскую пьесу. Остановились на «Двенадцатой Ночи» и предложили постановку мне. Началась работа и я погрузился в знакомую мне, специфическую атмосферу этого театра.

Удивительный народ габимовцы. Сколько сильных, но противоречивых элементов сочетается в них: фанатизм служения и холодная рассудочность (во всем, даже в подходе к художественной работе); неразрывная дружба и несмолкаемые споры (не ссоры); полная открытость ко всему новому в театре и замкнутость, преследование каких то, неясных им самим, «своих» целей. Общая атмосфера их переживалась, как напряженная, волевая, активная.

«Двенадцатая ночь» — одна из пьес Шекспира, где л е г к о с т ь в игре, в произнесении текста, и в психологии действующих лиц, является необходимым условием при передаче сущности этой романтической шутки. Все герои любят или влюблены и все не очень серьезно: нет среди них ни Ромео ни Отелло, ни Джульеты ни Дездемоны. Габимовцы — народ тяжелый физически и душевно. (Вспомните «Дибука»). Древне-еврейский язык (непревзойденный в своей магической силе, трагизме и красоте) мало пригоден для любовных монологов Оливии. Как при таких условиях ставить и играть «Двенадцатую Ночь»? На первой же репетиции я поставил перед

*) См. 7-ю, 8-ю и 9-ю книги «Нового Журнала».

моими друзьями этот вопрос. Габимовцы зашумели, заговорили все сразу (на двух языках — на русском и на древне-еврейском), замахали руками, каждый в своем ритме, в своем темпе. Ловко ловя в воздухе руки собеседников, они быстро решили вопрос и все разом обернулись ко мне. Один кричал с угрозой: «если нужна легкость, то — нужна легкость!»; другой убеждал меня по секрету, чтобы я не соглашался ни на что, кроме легкости; третий, приложив мою пуговицу к своей, говорил с упреком: «что значит?» (как будто я уговаривал их быть тяжелыми). Те, кто стояли близко ко мне — кричали, другие, подальше — делали знаки руками и глазами, что, мол, легкость будет! Шум перешел в восторг, новая задача сразу увлекла всех, мы тут же перецеловались и, пошумев еще немного, сели за большой стол. Наступила тишина. Габимовская, напряженная тишина. Роли были уже распределены (при условии, что если актер не оправдает надежд, режиссер отровенно скажет об этом и актер будет заменен. Так всегда поступали габимовцы. Они хотели хороших спектаклей и никаких компромммисов в этом смысле не допускали). С первой же репетиции стали добиваться легкости. Каждый день часть рабочего времени посвящалась специальным упражнениям. Упорно, фанатично и тяжело добивались габимовцы легкости. И добились! Такой трудоспособности я не видел нигде, никогда, ни в каком театре. Если чудо может совершиться одними земными средствами, то здесь оно совершилось на моих глазах. Мескин, например, тяжелый, как из бронзы вылитый человек, обладавший таким низким голосом, что, подчас, слушая его, хотелось откашляться — порхал по сцене легким, пузатеньким Сэром Тоби и рассыпал шекспировские шуточки и словечки, как будто они и написаны то были на его родном языке. Барац, маленький но грузный человек, ходивший на пятках, стаптывавший даже резиновые каблуки — став Сэром Андреем Эг'ючиком, всех удивил, заставив сделать открытие: «Смотрите, Барац на цыпочках!» Хохот, веселье, возгласы! Габимовцы не узнавали друг друга. То один, то другой из них, вскинув и руки, и брови, и плечи (одно — чуть повыше), молча и подолгу

качали головами. С каждым днем шекспировская комедия, преображая участников, росла, вскрывая свой юмор и обаяние.

Декорации художника Масютина были легки, смешны и ярки. Их передвигали и меняли во время игры сами участники спектакля, создавая в намеках то дворец Оливии, то веселый кабачок Сэра Тоби, то сад, то улицу.

Эрнст Тох, со свойственным ему талантом и юмором, сочинял песенки. Как лейт-мотив он дал нам неподражаемую по своей задорности мелодию в темпе полечки. Ее пели все и хором и в одиночку и дома и на улицах и за кулисами. Оркестровка, сделанная Тохом, была до такой степени смешна, что музыканты не раз прерывали свои репетиции и из оркестра слышался хохот.

Иногда, то один, то другой из участников спектакля начинал сомневаться: не слишком ли я свободно обращаюсь с Шекспиром? Но сомнения их скоро проходили: они не были «шекспироведами» и мне без труда удалось убедить их, что автор «Двенадцатой Ночи» — самый современный из всех ныне живущих драматургов, а герои его — живые люди, так же, как и мы не переносящие ходульности и ложного пафоса.

Много интересного рассказали мне габимовцы о Палестине. о театре и публике в Тель-Авиве и других городах обетованной земли, об усилиях и упорстве, с которыми строилась их страна, о неизбежных конфликтах, о вреде партийных разногласий, об и с т и н н ы х (т. е. дружественных) отношениях их с арабами и о других, волновавших их, темах. Странными казались мне иногда их рассказы о стране, которую я знал только по библейским и новозаветным сказаниям. Мне так же неуютно было слышать о борьбе политических партий в Вифлееме или Назарете, как видеть на стенах венецианских домов афиши, об'явления и рекламы. Не раз я старался навести разговор на темы другого порядка, но всегда безуспешно. Как раз в это время я интересовался эзотерической стороной библейских сказаний и, однажды, рискнул заговорить об Элоимах и Егове, но на меня, со всех сторон, устремились такие добрые, непонимающие глаза, что я поскорее постарался

скрыть непрошенных гостей, которых чуть было не ввел в общество моих милых друзей.

Репетиции проходили весело и, как всегда в «Габиме», напряженно. После работы атмосфера разряжалась: габимовцы пели мне свои песни, Кол Нидрей, свадебные, синагогальные и, наконец, из «Дибука». С каким упоением слушал я этих современных евреев, в песнях своих, так глубоко, но вполне бессознательно, передававших все муки, надежды и немногие радости своего народа. Я слушал их и мне чудилось: кто то п р и з в а л их в эту минуту и поет через них и говорит и плачет и, как бы, хочет разбудить певцов, но они заснули давно, девятнадцать с половиной веков назад, и пение уже не будит их. И чем веселее становился напев, тем сильнее подступали слезы и, подчас, я не мог сдержать их. Полные неведения, но любовно смеялись габимовцы над моими слезами.

Часто посещал наши репетиции знаменитый и талантливый еврейский писатель Д. Он приходил в восторг от работы своих друзей. Энергия его быстро возрастала. Ему не сиделось. Стул под ним начинал скрипеть, он вставал, садился, снова вставал и, наконец, изливал свою энергию в бесконечных спорах без всякого повода.

— Сколько лет вы даете Оливии? — задавал он мне вопрос, закидывая колено на ручку моего кресла.

— Столько-то, — отвечал я наугад, жалея о прерванной репетиции.

— Откуда вы знаете? Так я вам скажу: ей н е столько лет!

Ритмически ударяя себя по колену (и глядя на габимовцев), он начинал:

— Что такое Оливия? Что это девочка? Нет! Это женщина? Нет! Так сколько же ей лет? Н е сколько девочке и н е сколько женщине...

— Но, господин Д., ведь право же не важно...

— Что значит: не важно?! В искусстве все важно!

— Я говорю, не важно для публики сколько лет вы даете...

— Я даю? Я н е даю. В ы даете!...

Смущенные габимовцы начинали волноваться. Деликатно они старались отвлечь его внимание от меня, но это приводило к тому, что он обращался уже к ним. Дружески грозя им пальцем (и поглядывая на меня), он говорил.

— Э-э! Не хорошо, господа артисты! Я принужден назвать вас ленивцами! Уже который раз я прихожу и вижу вас сидеть сложа ручки! — щеголял он русским языком. — А что вы скажете на: «кто не работает, тот не должен кушать»?

Иногда Д. приходил с фотографическим аппаратом. Начиналась мучительная «с'емка господ артистов вне грима», как он выражался.

— Группируйтесь пластически! — командовал он.

— Снимайте, господин Д. — торопили его габимовцы, снимайте блиц!

— Если блиц, то сколько времени? — спрашивал Д., расставляя габимовцев в «пластическую группу».

С'емка кончалась, он брал под руку ближайшего к нему габимовца, отводил его в сторону и уже на древне-еврейском языке затевал с ним «дискуссию», мешая работать.

Раз или два посетили и мои немецкие коллеги репетиции «Габимы». Им хотелось посмотреть, что делают "diese Russen" такого, что никак не могут приготовить и одной пьесы, когда они сами за это время могут, шутя, приготовить две или даже три. И много веселились они, когда я все снова и снова повторял одну и ту же сцену.

— Чего ты добиваешься от них? — спрашивали они, Ведь еврейчики знают свой текст отлично!

— Многого. (Немцы приготовились посмеяться. Один из них, с розовыми щечками и без бровей, даже захлопал в ладоши, как дитя). Я добиваюсь от них стиля, правды, легкости, юмора, театральности... (Габимовцы издали наблюдали смеющихся гостей).

— Но, мой милый, — сказал один из немцев, по военному закидывая назад голову, — если ты не оставишь их в покое, ты убьешь в них инди-виду-альность! (Немцы закивали головами). Да, конечно, это требует много времени! О, я понимаю:

ты, как ваш знаменитый Станиславский, хочешь сделать всех одинаковыми!

— А ты видел Художественный Театр?

— Нет, но это не важно. Пойдем пиво пить.

Выходя, коллега мой с розовыми щечками, приплясывая на одной ноге, с'импровизировал песенку: «Мы — немцы, вы — русские! Слава Богу, что не наоборот!...».

Приезд габимовцев в Европу, кроме художественной цели, имел еще и другую. Они задумали выстроить в Тель-Авиве собственный театр. Им нужны были деньги и они надеялись собрать их в Берлине. Устраивались вечера в богатых еврейских домах, произносились речи и тут же делались взносы. Спектакль «Двенадцатой Ночи» должен был показать сочувствующим сионизму кругам, каково культурное значение театра «Габимы» в Палестине.

Премьера была обставлена торжественно. Залу наполнила приглашенная публика. Перед поднятием занавеса, из ложи бенуара, я произнес вступительную речь на немецком языке. В середине первого акта в зрительном зале послышались легкий шум и движение. К первому ряду, в сопровождении почтительной свиты, шел человек в длинной, темно-фиолетовой одежде. На голове его была такого же цвета шапочка. Высокая фигура, красивое правильное лицо и белая борода вызывали представление о жреце древних мистерий. Это был Рабиндранат Тагор.

Спектакль имел успех. Его показали несколько раз в Берлине и затем в Лондоне. Джон Окези отозвался на него тонкой хвалебной статьей. Пробыв еще некоторое время в Европе, «Габима» уехала в Палестину и там, кажется еще и до сего дня, она, время от времени, веселит Тель-Авив и окрестные города своим легким исполнением тяжелых шуток Шекспира.

В этот же период времени, играя на немецкой сцене, я уже снова был одержим идеей «Гамлета». Эту трагедию я представлял себе, как первый шаг к осуществлению нового театра. Я стал посещать школу Рудольфа Штейнера, работая

над Эвритмией и художественной речью. Дома же устраивал репетиции «Гамлета», с несколькими, бывшими в это время в Берлине, русскими актерами. Трагедию Шекспира пришлось сократить и приспособить последовательность сцен таким образом, чтобы каждый из немногих участников мог появляться по несколько раз в различных ролях. В сцене «мышеловки», например, удалось так построить мизансцены, что Король и Королева, смотревшие спектакль, в известные моменты, незаметно для публики, покидали свои троны и появлялись в качестве театральных «Короля» и «Королевы» в пантомиме. И затем, снова оказывались сидящими на троне, когда подходило время их реплик.

Где то в глубине души моей жило сознание, что идея «нового театра» еще не созрела во мне, но радость идеалистического под'ема оказалась сильнее здравого смысла. Вопреки очевидности, я искусственно поддерживал в себе веру в «идеальную» публику, уставшую от старого театра, лишенного творческого воображения, больших целей и общественного значения. Донкихотское настроение мое, как волшебное зеркало, коварно отражало и слегка преувеличивало недостатки современного театра. Успех на немецкой сцене не увлекал меня. Я был равнодушен (казалось мне) к интересу, с которым относилась ко мне немцкая публика и пресса. Все чаще приходилось надевать фрак, появляясь на банкетах и вечерах. (Я делал это с чувством легкого разочарования). Приятно волновал успех у молодых, очаровательных актрис берлинских театров. Но красота моя подлежала сомнению и однажды я спросил одну из «поклонниц» моих, что находит она во мне? Потупившись, с наивной откровенностью, она сказала:

— Aber sie sind doch ein gemachter Mann.

«Комнатного» «Гамлета» должна была увидеть избранная публика. Она должна была притти в восторг. Восторг реализоваться в деньги. Деньги — в новый театр. Но я не встретил и следов интереса к моему «Гамлету». Почему же публика приходила в восторг, щедро награждая меня апло-

дисментами, когда я изображал какого нибудь незатейливого русского эмигранта, и не хотела видеть того же актера в полной значения роли Гамлета? «Дон Кихот» во мне недоумевал. Он готов был раз'езжать по улицам Берлина в цирковом фургоне, давать на перекрестках представления шекспировской трагедии и произносить страстные, зажигательные речи. Но друзья отговорили его. Все чаще вспоминался русский актер и русский зритель. Зарождалась настоящая, глубокая любовь к родному театру. Мысль обратилась к Франции, к Парижу. Там, думал я, большая русская колония и там поддержат мои начинания и помогут создать новый театр.

Еще до от'езда из Германии, на долю мою выпала особая встреча. Она в значительной мере (хотя и не сразу) помогла мне избавиться от донкихотства, к которому я был так склонен в этот период моей жизни.

18.

Брайтбрунн ам Аммерзее — маленькая баварская деревушка. На берегу озера, на пригорке, стоит красивый, двухэтажный дом. Он деревянный и в осенние бури содрогается, как корабль на море. Все его уютные комнаты (кроме одной наверху) заставлены мебелью, главным образом столами. На столах бумаги, манускрипты, корректуры. По стенам книги. Тишина. В доме только двое обитателей. Наверху, в постели, неподвижно лежит человек с исхудалым, строгим, красивым лицом. Имя его — Михаил Бауер. Он болен уже много лет. Мучительная болезнь, то приковывает его к постели, то ненадолго отпускает и тогда он пишет*) или ухаживает за цветами в своем саду. Цветы все почти синие, разных оттенков. Когда я впервые пришел в этот дом, Бауер встретил меня, как близкого, родного человека. Он был одним из первых последователей Рудольфа Штейнера. Еще сравнительно молодым человеком он примкнул к Антропософскому движению, много

*) См. Michael Bauer, Christian Morgensterns Leben und Werk.

работал в области идей Рудольфа Штейнера (часто под его личным руководством) и позднее стал другом своего учителя. Не один раз приезжал я из Берлина в этот радушный дом и живал в нем неделями. Несмотря на свою слабость и отсутствие голоса, Бауер никогда не отказывал мне в беседах и охотно отвечал на мои многочисленные вопросы. Но он говорил с сильным баварским акцентом и я не всегда понимал его. Нужна была помощь.

Другим обитателем дома была Фрау Моргенштерн, вдова известного немецкого поэта Христиана Моргенштерн. Ей и принадлежал дом. Странным образом сложилась судьба этой женщины. Еще молодой, выйдя замуж за Моргенштерна, она, почти с первых же дней своего замужества, превратилась в сестру милосердия: ее муж заболел той же, медленно изнурявшей его болезнью легких, что и друг его Бауер. Многие годы провела фрау Моргенштерн у постели больного мужа. Когда он умер — на ее руках оказался другой больной. Это был наш русский профессор Т. (гарант Российского Антропософского Общества), приехавший заграницу лечить свое больное сердце. Она взяла его к себе в дом и ухаживала за ним до последнего дня его жизни. (Т. умер в той комнате, где я жил потом, и на той же постели, где я спал. Много лет назад, еще в России, он принял меня в члены Антропософского Общества). Но и после смерти Т., Фрау Моргенштерн не получила свободы. Снова долгие годы принуждена она была вести жизнь отшельницы, не отходя от постели больного Бауера. Она не просто ухаживала за больными — она болела и страдала вместе с ними. Я сам наблюдал, как быстро седели ее волосы. Но она всегда была спокойна, приветлива и ласкова. Бумаги, корректуры, манускрипты и записные книжки, разложенные на столах, в нижнем этаже — были матерьялами для посмертного издания сочинений поэта Моргенштерна. Она редактировала их.

Удивительные тишина и покой этого дома располагали к размышлению и чтению. Мучившая меня в первые дни застенчивость стала постепенно проходить. (В день приезда

она была так велика, что когда жена моя и ее подруга пошли на прогулку, я окончательно растерялся. В тоске ожидая их возвращения, ища их глазами, я увидел в отдалении двух бородатых мужчин. "Sehen sie, da kommen unsere Damen!" — воскликнул я, обращаясь к фрау Моргенштерн).

Вся богатая библиотека в нижнем этаже была к моим услугам и я часто сидел с книгой неподалеку от фрау Моргенштерн. Вдруг она оставляла работу и, как бы на зов, легкими, неслышными шагами быстро поднималась наверх.

— Разве вас звал Бауер? — спрашивал я ее. — Я не слышал.

— Нет, он не звал, но... я слышала, — отвечала она весело и, как бы извиняясь, слегка пожимала плечами.

Фрау Моргенштерн, как и покойный муж ее, поэт, долгие годы жили в идеях Антропософии и, так же как Бауер, были одними из первых членов этого Общества.

Фрау Моргенштерн любила русских и, несмотря на занятость и хлопоты около больного, находила время изучать русский язык. Нередко, сидя у себя (в комнате Т.),за книгой, я слышал, как тихонько приотворялась дверь за моей спиной. Я знал: это фрау Моргенштерн пришла с новой русской фразой. Не входя в комнату, она, каким то чужим от смущения голосом, говорила с акцентом: «Свинина с бобами», или «Сколько с меня следует? Получите», или «Приходите, пожалуйста, почаще, вы в моем вкусе» и снова исчезала, притворив дверь. Иногда, по вечерам, она читала мне вслух лекции Рудольфа Штейнера и, в связи с ними, рассказывала о многом, что слышала лично от него. Беседы с ней и с Бауэром, впечатления от них самих и несколько незабываемых переживаний, связанных с интересовавшими нас темами — стали той почвой, на которой, постепенно, взросло и окрепло мое новое, более глубокое и зрелое понимание Антропософии. Фрау Моргенштерн служила мне «переводчицей» баварской речи Бауера на немецкий язык.

Все яснее представала передо мной Антропософия, как чистая наука. Положительные знания современной науки не

приходят откуда то, как откровения природы, говорил Бауер. Они добываются путем опыта и наблюдений, над которыми трудится мысль человека. Так же и в Антропософии. С той только разницей, что опыт ее богаче опыта матерьялистической науки. К явлениям чувственного мира присоединяются явления и факты сверхчувственного. Но, как ученый-матерьялист не сделает положительных выводов на основании одного только опыта, так и ученый-антропософ окажется не больше, как фантастом, если он не применит научных методов и тренированной мысли к результатам сверхчувственных наблюдений. Антропософия целиком стоит на твердой почве нашей конкретной действительности, говорил Бауер. Как могла бы она внести столько нового в область научного знания, если бы она витала в облаках? Естествознание, медицина, социология, педагогика, психология, — все получили новые импульсы от Антропософии. Даже агрикультура обогатилась новыми методами. Существование научных институтов, школ, лечебниц, ферм и т. п. работающих по методам, предложенным духовной наукой, доказывают ее практичность. И нет необходимости, для того, чтобы вести научную работу над данными духовной науки, с а м о м у быть способным к сверхчувственным наблюдениям. После того, как эти данные добыты — они могут быть поняты, продуманы и проработаны человеческим разумом, так же, как и данные всякой другой науки. Я напомнил Бауеру о том, как часто приходится слышать возражение: духовная наука требудет в е р ы в то, что она описывает, как факты сверчувственного мира. Матерьялистическая же наука оперирует с конкретными, чувственно воспринимаемыми фактами. Она исключает в е р у . Бауер улыбнулся: «едва ли многие люди видели кита, однако они в е р я т в его существование потому, что его видели другие». М ы с л и т ь нужно факты духовного мира, а не верить в них. Те, кто приняли их вначале, как научную гипотезу, на практике убедились в их истине. Не следует забывать и того, что путь к развитию способности сверхчувственного наблюдения — не представляет тайны. Он доступен к а ж д о м у из нас. Недостаток желания, а не

средств познания, закрывает для человека доступ к духовному миру. Неоднократно возвращался Бауер к теме о современной науке. Глубоко преклоняясь перед достижениями человеческой мысли за последние десятилетия, он с болью говорил и о том, какие разрушительные силы таит в себе с о в р е м е н н а я наука. В е р а в ее авторитет с детских лет прививается человеку. Она входит в его подсознание, становится его инстинктом, неосознанным мировоззрением. Подростающий человек неизбежно становится матерьялистом, хочет он того, или нет. Куда бы он ни взглянул, на звездное ли небо, на землю, или на самого себя — всюду он видит механические законы, физико-химические процессы, или нервные рефлексы. Эта же в е р а строит и социальную жизнь. Что мешает современному человеку применять достижения научного мышления в целях борьбы и разрушения, если авторитет матерьялистической науки санкционирует такое применение? Не так далеко то время, когда в распоряжении науки будут средства к разрушению не только городов, но и целых континентов. Никакие моральные проповеди, никакие «мистические» общества не спасут человечество от грядущих катастроф. Не больше можно ждать и от всякого рода политических организаций и социальных мероприятий. Все они вращаются в сфере того же авторитета науки, не признающей иного мира, чем матерьяльный. С а м а н а у к а, говорил Бауер, с ее образом мышления должна решиться на новый шаг. Тогда она в состоянии будет предотвратить социальные катастрофы, ожидающие человечество в будущем.

Для Бауера не существовало ни абстрактных тем, ни холодной игры ума. Все будило в нем чувство, радовало, волновало, или печалило. Но, каким бы тяжелым гнетом ни ложились на его душу мысли о новых, возможных, катастрофах, я не мог заметить в нем даже следа подавленности, ослабляющей волю. Глаза его горели. Казалось, что только их пощадила болезнь и в них одних сконцентрировал он всю свою внутреннюю силу. Вследствие долгой болезни и благодаря многолетней, систематической, духовной работе, тело его стало до такой степени нематерьяльным, скажу: и с ч е з л о до такой степени, что глядя на него можно было в и д е т ь малейшие

движения его души. Каждый раз, когда, уходя из его комнаты, я оборачивался у двери, чтобы еще раз взглянуть на него, я видел, как он, на прощанье, слегка приподнимал свои руки, как, затем, на мгновенье задерживал дружеский жест, продолжая его в своем взгляде: в эту минуту взгляд его — становился жестом.

Иногда, перед сном, фрау Моргенштерн и я бродили по тихим деревенским улицам. Она рассказывала мне о Рудольфе Штейнере, о его ранней деятельности, о Бауере, о его неутомимой энергии до болезни, о нем, как о педагоге, лекторе и ученом. Я же говорил ей о России. В одну из таких прогулок с фрау Моргенштерн, я сказал ей, что еду в Берлин. Я заметил: она хотела мне что то сказать, какая то мысль тревожила ее.

— Может быть вы отложите ваш от'езд на два дня... — сказала она и, не без внутреннего колебания, прибавила: Михаил Бауер умрет послезавтра. Я хотел бы, чтобы вы были здесь в это время.

Она давно уже знала от Бауера о дне его смерти. Даже о часе. Этот день приближался. Я остался. С тяжелым чувством я ждал рокового часа. Фрау Моргенштерн держалась спокойно, как всегда, и только глаза ее стали тоскливы. День наступил. Я не мог подавить своего волнения. Приближался и назначенный час. Чтобы скрыть беспокойство, я, на несколько минут, вышел в сад, но, вернувшись, уже не застал Бауера в живых.

Фрау Моргенштерн и я обмыли и одели его исхудавшее тело и до утра просидели около его постели.

После кремации тела Бауера я уехал в Берлин.

19.

Вопреки разумным советам близких, я решил оставить Рейнгардта и все открывавшиеся мне возможности на немецкой сцене и спешно переехать в Париж.

Я уже видел себя в обществе артистов, художников, писателей, как и я, горячо обсуждающих идею «нового театра». Она им близка, они давно ждали ее осуществления и теперь

дарят новому начинанию свои таланты, энергию, знания. Моя парижская квартира становится центром кипучей культурной жизни. Я спешил.

Однако, от'езд мой пришлось неожиданно отложить на несколько недель. Разыгрался пролог, достойный моей последующей парижской жизни.

В Берлин приехал мой старый приятель С., инженер, уже многие годы живший в Чехословакии. Там он работал, имел обширное семейство и непереставая мечтал о театре. Всю свою жизнь С. был влюблен в театр и, несмотря на свое малороссийское происхождение, обладал горячим и беспокойным темпераментом, принимая его за сценическое дарование. Никогда не упускал он случая выступить в качестве актера в любительском спектакле, кем бы он ни затевался, детьми ли или взрослыми и какая бы роль ни выпала ему на долю. Он считал себя комиком, потому, вероятно, что получив роль, с первой же репетиции, начинал хохотать от восторга. И уже никто не в состоянии был убедить его, что не ко всякой фразе подходит смех. Не взирая на свой возраст, могучую, развевающуюся от быстрых движений, и часто застревавшую на плече, бороду — он поступил на драматические курсы, но окончив их, вдруг пошел по военной части. Ко мне в Берлин он явился блистая золотом погон, медью пуговиц и всякого рода военных украшений, мелькавших на его груди из под рыжеватой с проседью, пушистой бороды. Явился он с тем, чтобы напомнить мне о предложении чехословацкого правительства создать в Праге театр классической драмы и комедии и предложить свои услуги (в особенности же свое влияние) для осуществления этой, хотя и несколько запоздалой, идеи.

Начал он с того, что сделал довольно неожиданное вступление. Встав передо мной во весь свой гигантский рост и выразив страдание на лице, он проговорил с малороссийским акцентом:

— Голуба ты моя, сделай мне такую милость, проведи ты меня в свою кухоньку и дай мне сварить себе парочку яичек в смятку! А?

Несколько недоумевая я провел его в кухню.

— Ты, что же, сам хочешь варить себе яйца?

— Вот то-то и оно, что с а м, голуба моя! — ответил он многозначительно, беря из моих рук яйца и откладывая их в сторону. — Ты не можешь поверить, как я устал от власти, дорогуша моя! Только пальцем мигнешь, глядь, а уже все и готово. Даже яйца себе сварить не могу! Утомительная это вещь — власть.

И взяв меня под мышку он направился обратно в комнаты. Тут он заговорил о главной цели своего визита: об организации театра в Праге. Он говорил о своих связях в правительственных кругах, о дружбе с министрами, о любви президента Масарика к театру и о том, как легко будет создать театр при его, С., влиянии в министерстве.

— Но, друг мой, я еду в Париж.

— Ни-ни! Не моги в Париж! Рано! — кричал он, приходя в азарт. — Я сам скажу тебе, когда в Париж, когда что! Как Бог свят, прогремит театр наш на всю Европу и вот тогда, друже ты мой, тогда, высоко подняв это самое... как его... в'едешь ты (да и я с тобой) на победной колеснице, в этот самый Париж! Ух, и натворим же мы делов, серденько мое! — Он закрыл глаза и стал ерошить волосы на лысой голове. — И это тем более, что половина дела уже сделана.

— Как же так? — полюбопытствовал я.

— А вот как: скажи-ка мне, голубок, что, по твоему, главное в театре?

— Я полагаю актер, — ответил я.

— Ни-ни! — пропел он, хитро грозя мне пальцем. — Актер дело второе, голуба. Играть штука не хитрая, если талант на лицо! (Он указал себе под ложечку). Главное и первое в театре это — администратор, то есть человек с головой и хозяйственный. А раз у нас таковой уже имеется, то и половина дела сделана! Понял ты меня, сердце мое?

— Да где же у нас такой администратор?

— Где? А вот он! — он раскинул руки и выставил вперед

свою могучую грудь. — За мной, как за каменной стеной: спи спокойно, твори, ни о чем не думай и работай!

Он закатился счастливым смехом, горячо обнял меня и потом долго, молча, смотрел мне в лицо, подмигивая то одним, то другим глазом, а я все думал о яйцах, забытых на кухне, и пытался сложить свои губы в улыбку.

— Но, голуба моя, — вдруг заволновался С. — не обростай людьми. Я сам подберу тебе правильных человеков, ты же никого не моги приглашать в дело не спросясь меня. Боже тебя упаси! Теперь давай карандаш и бумагу, составим смету и направим ее прямо к господину Президенту Масарику. Пиши!

Диктуя мне пункт за пунктом, он метался по комнате, все повышая голос.

— Точка! — выкрикивал он, притопывая ногой.

Иногда он угрожающе двигался на меня из угла комнаты, с вытянутой рукой и указательным пальцем.

Смета вышла большая, что то около миллиона чешских крон.

— Так-с! — сказал он, рассеянно глядя из за моей спины на итог. — Это вот, видите ли, такая получилась у нас общая сумма, так-с, понимаю... сумма... суммочка... суммчоночка... понятно. Ну-с, голуба моя, требуются небольшие поправочки.

— Да, я полагаю, — сказал я с облегчением, — скромность нам не помешает.

— Именно, не помешает...

И, схватив карандаш, он перегнулся через меня, как рыжей вуалью завесив мое лицо своей пушистой бородой.

— Начнем с другого конца — с итога, а потом подведем под него и статьи.

Отстранив слегка бороду я увидел, как перечеркнув наш, почти миллионный, итог, он вывел красивую пятерку. За нею появились шесть таких же красивый нолей: пять миллионов.

— Ты ошибся на один ноль, — сказал я ему, — но и пятисот тысяч, по моему, многовато. Я бы хотел поскромнее.

С. замигал на меня своими выпуклыми глазами, подбоченился и сказал с расстановкой:

— Ты что же, голуба моя, милостыни, что ли, у Масарика просить собираешься?

И, выдержав выразительную паузу, он подсел ко мне, сдвинул в сторону предметы, лежавшие на столе, повернул меня, вместе со стулом, к себе лицом и начал наставительно:

— Да отдаешь ли ты себе отчет, миленок ты мой, кто ты такой? Да как же т ы можешь просить меньше пяти миллионов? К лицу ли это тебе? Культурное начинание в европейском масштабе, новая эра в театре, Президент республики, ты, Станиславский. . .

И пр. и пр.

Пристыдив меня, он погрозил пальцем и сказал, что раз он сам, с его влиянием, понесет эту смету куда следует, то мне тут беспокоиться нечего, что мое дело сцена, а что «по ту сторону рампы», так тут уже он и он один. Взяв смету, он уехал в Прагу, приказав мне ждать и не «рыпаться». Ждал я неделю, две, три и наконец получил из канцелярии Президента очень вежливый отказ, мотивированный невозможностью затратить в данный момент на организацию театра суммы, указанной в моей смете. Я буквально сгорел со стыда, проклиная себя за слабость и бесхарактерность. Сгоряча я написал С. возмущенное письмо, но ответ пришел полный любовных излияний, дружеских чувств, утешений и даже туманных намеков на будущие возможности и связи. Письмо было написано разноцветными карандашами, со множеством восклицательных и вопросительных знаков, с многоточиями, приписками на полях, с крупными, подчеркнутыми фразами вроде: «Друже, не грусти!», «Голуба, вперед!», «Мы еще покажем!» и т. п. Письмо я бросил, не дочитав до конца и стал спешно готовиться к от'езду.

Я не люблю вспоминать парижский период моей жизни. Весь он представляется мне теперь беспорядочным, торопливым, анекдотичным. Увлеченный ролью «идеалиста», я с первого же дня хотел видеть последние достижения и несся вперед, спотыкаясь о препятствия конкретной действительности.

С чрезмерной хлопотливостью приступил я к осуществлению своих планов в Париже. Чуть не с вокзала я отправился искать квартиру, непременно дорогую и непременно в центре города. К вечеру следующего дня я распаковывал чемоданы в дешевой квартире на окраине. Квартира была в уровень с тротуаром и всякий проходивший мимо окон гражданин, невольно и неизменно, заглядывал в комнату. Не важно! Квартиру всегда можно переменить...

Не теряя ни одного дня, я, как и в Берлине, окружил себя русскими актерами. С надеждой и упованием пришли они ко мне, ища серьезного театра и мечтая встретить руководителя. Я назначил им жалованья и роздал авансы. Они были в восторге: дело, несомненно, стояло на твердом фундаменте.

Приехав с намерением показать парижской публике «Гамлета», я вдруг переменил решение и приступил к репетициям «Дон Кихота». Одновременно начались поиски театра. Нужны были декорации. Я отправился к художнику Масютину... с авансом. Декорации были задуманы сложные с фокусами и трюками. Театр был снят на Шанзелизэ. На моем столе появилась бумага с бланками, печати, множество почтовых марок, и особые папки для входящей и исходящей корреспонденции. К ним была приставлена секретарша. С нею вместе я начал ежедневные посещения французских театров. На каждом спектакле новая надежда вспыхивала в моей душе: здесь все так поверхностно, так легкомысленно, говорил я себе, новый театр н у ж е н. Они сами поймут и оценят ту глубину и силу, которая свойственна нашему, русскому, театру. Ее то им и не хватает. Один Жуве произвел на меня чарующее впечатление: он имел право на легкость, в нем она не превращалась в легкомысленность.

Приехав с мыслью работать в среде русской эмиграции, я не сделал почти ничего, чтобы познакомиться с видными ее представителями и познакомить их с моими намерениями и планами. Впрочем мне посчастливилось, где то в русском кругу, произнести запутанную, сложную, но крайне пламенную речь, не на шутку испугавшую моих слушателей. Вместо планомерной

подготовительной работы, я спешил, много говорил, торопил окружающих и, как магнитом, притягивал к себе ненужных и бесполезных людей.

Вскоре около меня появились два «представителя русской эмиграции». Они близко приняли к сердцу идею создания «русского театра за рубежом». Особенную активность проявила полная, пожилая дама, с детским взором. Она восхищалась, верила, восклицала, поддерживала во мне «святой огонь», подносила платок к глазам, целовала меня и потом подолгу сидела в креслах, мечтательно улыбаясь.

Одновременно с дамой появился и человек, черный, с неподвижными, широко раскрытыми глазами, острыми плечами, беспокойный и шумливый. Он отрекомендовался другом Чаплина.

— Чарли мы возьмем за бока, сказал он, — пусть, сукин сын, работает!

Он часто хватал телефонную трубку, вызывал кого то к телефону, но этот «кто-то» всегда, «черт дери», оказывался в от'езде. Он вдруг хватал шляпу и палку, уезжал ненадолго по «нашему делу», быстро возвращался, говорил: «готово!», снова хватал телефонную трубку и, затем, в сотый раз спрашивал меня: ч т о ж е, ч т о, собственно, мне нужно, как художнику? Просил меня не думать ни о чем, кроме искусства, предоставив все остальное ему. Я вспоминал при этом моего бородатого друга, на победной колеснице, но, все же, искренне благодарил моего нового, заботливого администратора. Он носился по комнатам моей квартиры, заглядывал во все углы, останавливался на минуту, рассеянно, где нибудь в дверях, мешая ходить, стучал палкой по мебели и подоконникам, или вдруг, устремившись взором в одну точку, начинал шарить у себя в карманах.

Вскоре, по настоянию секретарши, были приглашены газетные люди для рекламных статей и интервью. Газетные статьи привлекли внимание группы молодых любителей театрального искусства. Они явились ко мне с предложением своих услуг. На сцене они меня не видели и «благоговели» передо мной по наслышке. Один из них выразил желание вести секретарскую

работу. Затруднений со сторны секретарши не встретилось — мысли ее были заняты другим: она глядела на меня (или это только казалось мне?) слишком преданно и нежно. За это я водил ее в кафе. Из чувства порядочности я не раз пытался влюбиться в нее, но, разглядывая ее лицо, волосы, шею, плечи — я всегда находил какую нибудь мелочь, неудовлетворявшую меня и мешавшую осуществлению благого намерения. Раз только чувство вспыхнуло во мне, я заторопился, быстро схватил ее руку, но чувство вдруг угасло и я вернул ей ее руку, пожав неопределенно и невыразительно.

Новый секретарь начал с того, что сменил благоговейное выражение лица на озабоченное, потирал руки, и, время от времени, изящно прикасался к конвертам, бумаге с бланками и почтовым маркам.

На следующее же утро, после занятия им должности, он разбудил меня стуком в окно.

— Театр едет в Америку! Вставайте! Поздравляю! услышал я его взволнованный голос за окном, вместе с легким дребезжанием стекла, к которому он припал лицом.

Мой секретарь вез меня на свидание с «миллионером», только что прибывшим из Америки. Отсутствие репертуара секретаря пока не смущало. Приезжий американец принял нас с недоумением, безразлично выслушал вступительную речь секретаря о моем таланте и всемирной известности и, встав, холодно заявил, что театром не интересуется. Секретарь мой вспыхнул, наговорил ему дерзостей и пулей вылетел из роскошной гостиницы, забыв меня в номере наверху. Внизу у под'езда он пересказал мне все, что произошло наверху и чему я был свидетелем всего несколько минут назад. Выходило так, что на спокойные и убедительные слова секретаря, «этот мерзавец-американец разорался и чуть не спустил нас с лестницы».

Утомленный и расстроенный, секретарь мой захотел посидеть в кафе. В некотором отдалении от нас я увидел человека со скучным, мало выразительным лицом и большим подобородком. Он казался мне знакомым, но я не мог вспомнить, где я видел его. Вдруг сердце мое забилось. Это был Грок. Я впился

глазами в гениального клоуна. Я глубоко преклонялся перед ним и был счастлив увидеть его в жизни. Но тут секретарь вдруг проявил инициативу. Он подбежал к Гроку и, указывая на меня, сказал ему что-то. Грок вскочил и, застегивая на ходу пуговицы пиджака, быстро направился ко мне. Он почтительно усадил меня за свой столик и, видимо, ждал, чтобы я начал разговор. Я был в отчаянии: что сказал обо мне услужливый секретарь Гроку? Кем был я теперь в его представлении? Радость моя пропала, я краснел и не находил слов.

— Зачем вы приехали в Париж? — спросил я его, наконец, не то с обидой, не то с упреком.

— Я приехал посмотреть свой фильм, — ответил он вежливо с легким поклоном и снова умолк, ожидая дальнейших вопросов. Секретарь стоял в почтительном отдалении, со счастливой улыбкой на устах. Как я ненавидел его в эту минуту. Я краснел все больше и больше, уши мои горели, глаза потеряли способность моргать. Наконец, собрав все свои силы, я встал, неуклюже поклонился и вышел из кафе, оставив Грока в недоумении. Секретарь шагал рядом со мной, счастливый и довольный собой. К «канцелярской» работе он не вернулся, но заставил меня давать уроки драматического искусства ему и его друзьям.

Секретарша снова приступила к исполнению своих обязанностей, на этот раз с идеей ввести меня в круг французских знаменитостей.

Monsieur P. (известный французский актер) был ее первой (и единственной) жертвой. Он принужден был угостить нас обедом. На изящно накрытом столе появился небольшой кусок вареной рыбы. Хозяин молча и холодно выслушал доклад секретарши обо мне, как о непревзойденном гении. Этим знакомство и кончилось.

На следующий день, рано утром, я был введен в дом к видному представителю французской прессы. Представитель вышел к нам бледный, опухший, с каплями пота на лбу. Стакан за стаканом он пил белое вино, постепенно приходя в себя после вчерашнего кутежа.

От дальнейших знакомств в этом роде я отказался и стал с большим рвением репетировать «Дон Кихота». Актеров на многие роли не было еще вовсе, но... потом, потом...

Макет Масютина был готов. Это было чудо изобретательности: подвижная конструкция из дерева, меняясь, как головоломка, давала все семь декораций. Эскизы костюмов также были готовы. Декоративная смета превышала мои финансовые возможности. Подсчитав деньги, я увидел, что их оказалось меньше, чем я думал. (Впрочем до этого момента я о них не думал). Кто то подал мысль: итти с макетом и эскизами костюмов к Ротшильду. И макет и костюмы и идея постановки — понравились! Мы торжествовали. На другое утро от Ротшильда пришел отказ.

Наскоро сорганизовалось «Общество Друзей Театра». Была заготовлена книжка квитанций на ожидавшиеся денежные поступления. В первый же день были получены от семейства Высоцких 250 франков. Больше поступлений не последовало. Мое финансовое состояние стало известным, и полная дама, сочувственно относившаяся к моим начинаниям, исчезла. Вскоре она прислала мне «анонимное» письмо. В нем она блеснула фразой: «Советский гражданин, ваши руки пахнут кровью». Оставил меня и «друг Чаплина». Заказывая В. Коринской костюмы для «Дон Кихота», он нажимал пальцем пластинку телефонного аппарата, раз'единяющую абонента со станцией. И пока он кричал в телефон: «Варя, брось все, спешный заказ! Для меня!» — я наблюдал его. Он заметил мой взгляд, с треском положил телефонную трубку и, сказав: «Заметано! Костюмы в кармане!» — исчез. Покинула меня и секретарша.

Разочарованные актеры стали реже являться на репетиции. Жалованье им шло. Тщетно искали выхода. Проходили месяцы. Бездействие и неопределенное будущее несколько отрезвили меня.

Вдруг, совсем неожиданно, благодаря добрым стараниям все того же семейства Высоцких, в мое распоряжение была предоставлена небольшая сумма денег. На дорогую поста-

новку «Дон Кихота» ее не хватало и я решил поставить пантомиму, на тему русской сказки. Отсутствие языка делало представление доступным, как для французской, так и для русской публики: при удаче можно было рассчитывать на сборы. Приступили к репетициям. Появилось новое лицо: музыкант, изящно одетый молодой человек, с хитрыми глазками. Он хотел попробовать себя, как дирижера и, достав дешевых музыкантов (что музыканты нас не разорят, я убедился с первых же репетиций), стал разучивать с ними партии.

Пантомима готовилась в спешном порядке. Она была далека от совершенства. Но, все же, кое какие художественные цели, намеченные мной, осуществить удалось. Для внимательного зрителя, или, по крайней мере, для театрального критика, они не должны были бы пропасть. Русский театр за рубежом, как я представлял его себе, должен был сказать, хотя бы и скромное, но все же свое, новое, слово. С. М. Волконский, присутствовавший на одной из репетиций, кое что критиковал, кое что хвалил, охотно давал советы, был дружески настроен и мил. После премьеры его рецензия оказалась уничтожающей. Мне не часто приходилось читать такую беспощадную критику. Она могла соперничать только с рецензиями Ходасевича, со страстью и жестокостью преследовавшего мои парижские начинания. За исключением двух-трех добродушных отзывов (во французской прессе), русские газеты с негодованием отвергли мои «новшества» и требовали «настоящего» театра. Зачем же, в самом деле, я всю свою жизнь провел в Художественном Театре и как осмелился «искать», когда все уже найдено! Пантомима (а вместе с ней и надежда на спасение) провалилась недвусмысленно и безнадежно.

Впрочем, неуспеху первого спектакля содействовал и скандал, неожиданно разыгравшийся в нашем оркестре. За время репетиций, молодой дирижер сумел восстановить против себя музыкантов и они, в отместку ему, перед началом спектакля, из каждой нотной тетрадки вынули по одному листу. Сыграли увертюру, дали занавес и действие началось. Публика насторожилась, смотрела со вниманием и ждала. Прошло две-

три минуты и... оркестр споткнулся, жалко пискнула скрипка, свистнула флейта и все затихло. Еще мгновение и в напряженной тишине, кто то тихо усмехнулся в зрительном зале. Дирижер задергался и запрыгал, как марионетка на ниточках. Его увидели из зрительного зала, тишина оборвалась, поднялся смех, свист, шиканье и послышались остроты по адресу музыкантов. Как и всякая толпа, публика проявила жестокость. Бледный дирижер, выскочил было в публику, но испугавшись криков и свиста — исчез. Музыканты шумели, ища затерявшиеся нотные листы. Актеры замерли в позах живой картины. Ноты нашлись, действие возобновилось, но вскоре снова прервалось. Три или четыре раза в течение первого акта на сцене, к удовольствию зрителей, появлялись живые картины. В антракте ноты были найдены, но спектакль был погублен.

Расставшись с дииржером и затратив последние деньги на новых музыкантов, я решился на второй спектакль. Но зал уже пустовал. В порыве отчаяния и обиды, в гриме и костюме, я вышел на авансцену перед занавесом и обращаясь к десятку разбросанных по залу зрителей, сказал им, что нас не смущает малое количество присутствующих, что мы работаем, как идеалисты, просим всех пересесть ближе к сцене и обещал им, что актеры исполнят свои роли с полной энергией и с самым теплым чувством к собравшейся сегодня, немногочисленной, публике. С галерки, с шумом и криком, сбежали несколько молодых людей и разместились в первом ряду. Остальные зрители остались на местах. Актеры не одобрили моего выступения и просили не повторять его: унизительно. Скоро представления пантомимы прекратились совсем.

Собрав актеров, я поблагодарил их за усилия и предложил им считать себя свободными. Но актеры, зная безвыходность моего положения (театр был снят на сезон — надлежало выплатить сумму полностью) поступили со мной по товарищески. Они предложили наскоро поставить «Потоп», имевший некогда успех в Москве. «Потоп» был поставлен и русские газеты отозвались одобрительно: «перемену репертуара» они рассматривали, как признак художественного оздоровления.

Русская публика стала посещать нас. Надо было спешно готовить спектакли в том же роде, чтобы держать русскую публику. Появились: «Эрик 14», «Чеховский Вечер», составленный из нескольких рассказов Чехова и шекспировская «Двенадцатая Ночь» — все из репертуара Второго Художественного Театра.

Для шекспировской комедии решили заказать, хоть сколько нибудь, приличные декорации. Французская декоративная мастерская приняла заказ без эскизов: там знали, каких декораций требует эта пьеса! Декорации прибыли за сорок минут до поднятия занавеса. Расторопные рабочие быстро расставили их. По середине сцены, во всю ее величину, на деревянных подпорках, был установлен фонтан. Его пытался наполнить маленький амурчик, прибитый к верхушке картонной колонны. Других декораций не было. Актеры, в гримах и костюмах, в недоумении смотрели на веселых французских рабочих. Все предчувствовали недоброе и никто не решался спросить, что это за фонтан и зачем его ставят на нашей сцене. Но медлить было нельзя — надо было выяснять. И оказалось: произошла ошибка — фонтан предназначался для другого театра, туда отвезли нашу «Двенадцатую Ночь», мы же получили амурчика. Публика волновалась и требовала начала. Актеры набросились на фонтан и, вместе с амурчиком и колонной, переломав их в куски, выбросили за кулисы. На фоне обнаружились три худеньких деревца на сетке. Занавес подняли.

Потянулся ряд скучных, кое-как срепетованных, «настоящих», спектаклей. С каждым днем тоска все больше наполняла мое сердце. Русской публики в Париже было недостаточно, чтобы поддерживать постоянный театр. Будущее было темно. Ехать было некуда, да и не было энергии думать о новых начинаниях. Об «идеальном театре» во Франции можно было так же мало говорить, как и в Германии. Теперь я вполне сознавал и ошибки моего донкихотского идеализма, но сознавал и сравнительно невысокие требования театральной публики. Чем дальше от русской границы, тем тоскливее становится

русскому актеру. С трудом закончили один сезон и с неохотой начали другой.

За это время я встретил много выдающихся русских людей, живших тогда в Париже. Даже с П. Н. Милюковым беседовал я о своих неудачах, но уже поздно было исправлять так неумело начатое дело.

Энергия моя сменилась апатией и круг интересов с'узился. Шахматы — единственное, что занимало меня теперь. Я ходил на парижские турниры, участвовал в сеансах одновременной игры Алехина и Бернштейна, бывал у Алехина в гостях и с восторгом следил за его игрой с Бернштейном, в уютной семейной обстановке. Личность Алехина меня давно интересовала. Нервность его поражала меня. Его пальцы, например, всегда легко брали с доски шахматную фигуру, но не всегда могли легко выпустить ее: фигура прыгала в его руке и не хотела от нее отделяться. Он почти стряхивал ее с пальцев. Когда он и Бернштейн обсуждали какую нибудь шахматную комбинацию, или анализировали положение, я буквально хохотал, видя, как фигуры стремительно летали по доске, почти не задерживаясь на ней (похоже было на маленький пинк-понк) и как оба маэстро одновременно говорили и одновременно замолкали, когда проблема была решена. Интересно, что на турнирах Бернштейн, почти всегда, проигрывал Алехину, в домашней же обстановке, за дружеской игрой, Алехин, неизменно, проигрывал Бернштейну.

Продолжал я заниматься и с группой любителей театрального искусства, во главе с моим «секретарем». Теперь я отдавал им больше внимания. С удивлением я стал замечать, что мой театральный опыт, понимание актерской техники, и педагогические приемы — выросли, оформились и уточнились. Когда? Я почти не думал о них в течение последнего времени. Кто то продумал их за меня. То, что в моем сознании, (вернее, в подсознании), многолетний мой опыт, как бы сам собой, складывался в систему — навело меня на мысль, что в основе он был верен и органически правдив. Я ничего не выдумывал,

не вносил рассудочных измышлений, не создавал искусственной связи частей — стройность возникала сама собой. Я заинтересовался процессом, происходившим во мне и стал следить за ним, строго оберегая его от вмешательства рассудка. Но записей в это время я еще не делал.

Я уже давно жил на Монмартре. Моя дешевая квартира сменилась дешевой комнатой на грязной, шумной улице, пропитанной запахом рынка и мясных лавок. Бесцельное скитание по ночным парижским бульварам привело меня, однажды, в цирк, где, в течение почти целой недели, день и ночь, происходили «марафонские танцы». Парижане сходили с ума. Восемь или десять пар танцевали непрерывно, без сна и отдыха. Тех, кто падал без чувств, уносили с арены. Над входом цирка вывешивались плакаты, извещавшие о ходе танца. Цирк был переполнен. Зрители ревели, неистовствовали, заглушая оркестр. На арену танцующим бросали деньги. Но главный выигрыш в 25.000 франков предназначался тому, кто «умрет» последним. Я застал танец на четвертый или пятый день. Оставались три пары и одна дама, потерявшая своего кавалера. Животный рев толпы ошеломил меня. Я стал следить за рыжей женщиной, с позеленевшим, полуобнаженным телом, и мужчиной, с искаженным лицом. Я, как и все, превратился в зверя и хотел, чтобы при мне упал человек. И мужчина скоро упал, пришлепнувшись к досчатому полу арены, стукнувшись головой и уродливо подвернув руку под спину. Толпа заревела, засвистала, загикала. Люди ругались, дрались, срывали с себя и с других шапки и кидали их в танцующих. С улицы непрестанно врывались новые толпы, потерявшие терпение, их выталкивали, они снова врывались и с жадностью замирали на мгновение, впиваясь глазами в наполовину умершие фигуры танцующих.

Я очнулся, когда вдруг почувствовал острую, жгучую ненависть. Не к ним, но к себе самому, к «идее нового театра», к мечте об «идеальной публике», к зрелищу вообще и к тому отвратительному двойнику моему, которого я называл Дон Кихотом. Зверь, разбуженный во мне атмосферой ночного

цирка, искал своей жертвы. Я хотел разрушить, уничтожить, убить. И я убил: смертельный удар пал на рыцаря, с тазом цырюльника на голове. Все прежнее, что жило во мне, все беспочвенные мечтания, вся страсть к пустому «идеализму», весь восторг перед самим собой — все исчезло, остановилось, умерло. Я выбежал из цирка и снова оказался на бульварах. Опустевшая душа моя ждала чего то. И «что то» начало медленно подниматься из ее глубин. Что это было, я еще не знал, но чувствовал: это серьезно, это то, без чего нельзя вернуться к жизни, нельзя встретить завтрашний день. «Оно» несло с собой покой и силу. Я начинал догадываться: это было р о ж д е н и е мировоззрения во мне. Не в уме только, но во всем моем существе и в сердце и в воле и в руках и во всем теле. То, что я называл до сих пор Антропософией, что знал и любил, как грандиозную систему мыслей о мире и человеке — теперь становилось во мне с а м о с т о я т е л ь н ы м, ж и в ы м с у щ е с т в о м. Только бы не потерять это н о в о е, никогда доселе не испытанное е д и н с т в о, это «Я», спокойное и сильное, этого ч е л о в е к а во мне! Только бы не погрузиться снова в этого, идущего по бульвару, чужого и постороннего мне человека, которого я до сих пор принимал за себя, за свое «Я».

Так почти молилась моя душа, сама, в эту минуту, но она была слаба и не выдержала первого же испытания. Ко мне подошла, или, вернее, вдруг передо мной появилась, вынырнув из за моей спины, старушка, маленькая, сухая, в черной соломенной шляпе с большими полями, скрывавшими ее лицо. Она показалась мне тяжелым сном. Я даже вспомнил один такой детский сон, смешной на яву, но страшный в ночной тишине: маленький, круглый столик на ножке, медленно шел на меня, по диагонали пересекая комнату. Я уходил, убегал от него, но он шел и расстояние между ним и мною становилось все короче и короче. Старушка напомнила мне этот столик. Низким, глухим голосом она сказала мне:

— Ваш от'езд из Москвы был причиной ареста и ссылки членов Антропософского Общества. Если вы порядочный чело-

век — вы немедленно вернетесь в Россию. Только ваше возвращение может спасти арестованных.

И кругленький столик на ножке стал медленно удаляться.

Я глядел ей вслед без воли, без мысли, с чувством вины, тоски и боли. Большое и новое стало меркнуть и угасло совсем. Старушка медленно и долго шла, не оглядываясь, поблескивая черной соломенной шляпой под каждым фонарем.

Я постоял и пошел в ближайшее ночное бистро пить дешевое кислое вино. Впрочем, неприятны только первые стаканы.

М. Чехов.

ИСТОКИ*)

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I.

Несмотря на необычно ранній холод и страшныя снѣжныя бури, в Москвѣ в ноябрѣ 1879 года было большое оживленіе. Сезон начался не очень давно, москвичи еще не были утомлены спектаклями, лекціями, юбилеями. Ожидались интереснѣйшія премьеры в театрах; в бенефис Бевиньяни в первый раз шел «Демон»; Антон Рубинштейн собирался дать нѣсколько концертов в Симфоническом собраніи. В Малом театрѣ шла «Дикарка». Молодая Ермолова сводила с ума Москву, и занятые театралы пріѣзжали к третьему дѣйствію, чтобы услышать крик: «Остановись, Акоста!»... На парадных обѣдах произносились волнующія рѣчи, начинавшіяся с заслуг очередного юбиляра и пріобрѣтавшія большое значеніе вслѣдствіе содержавшихся в них политических намеков. Ретрограды говорили хитрыя колкости либералам, а либералы — ретроградам. Рѣчи строились так, чтобы никого не назвать и чтобы тѣм не менѣе все было совершенно ясно: при одних намеках на лицах слушателей появлялись улыбки, а при других — раздавались громовыя рукоплесканія.

Между рѣчами люди обмѣнивались свѣдѣніями. Говорили преимущественно о новостях в революціонном лагерѣ. Из Петербурга пришли сообщенія, что «Земля и Воля» распалась. Это никого особенно не интересовало: партія была какая-то скучная; что-то слезливое — Некрасовское второго сорта — было в самом ея названіи. Вмѣсто нея образовались двѣ новыя

---

*) См. 4-ую, 6-ую, 7-ую, 8-ую и 9-ую книги «Нового Журнала».

партіи: «Народная Воля» и «Черный Передѣл». Людей, занимавшихся политическими вопросами, вначалѣ больше интересовала вторая из них. — «Передѣл это я понимаю: нашу с вами землю будут дѣлить», — говорили с не совсѣм веселой шутливостью разные общественные дѣятели, — «но об'ясните, ради Богу, почему «Черный»?» — «А уж это вы у них спросите. Может, чтобы было страшнѣе?» В профессорской петербургскаго университета Черняков на такой же вопрос мрачно отвѣчал: «Да-с, «Черный Передѣл». А во главѣ его, уж если вы хотите знать, стоит нѣкій Красный Сокол. У него на поясѣ шестьдесят один скальп».

Позднѣе выяснилось, что и «Черный Передѣл» — скучная партія, тоже «Назови мнѣ такую обитель, — Гдѣ бы русскій мужик не стонал». На обѣдах теперь говорили больше о «Народной Волѣ». По слухам, эта новая партія твердо рѣшила убить царя. «Недавно были какіе-то с'ѣзды в провинціи, а окончательный приговор вынесен на сходкѣ в Лѣсном! Это я знаю навѣрное», — говорили чествователи юбиляров, расширяя глаза.

О царѣ ходили противорѣчивые слухи. Сплетни о Долгорукой успѣли всѣм надоѣсть, и придворныя новости теперь тоже были преимущественно политическими. По одним свѣдѣніям, царь окончательно склонился к умѣренной конституціи, — «совсѣм, совсѣм маленькой, крохотной, вот такой», — шутили конституціоналисты, сводя и чуть разводя ладони. Но были также слухи, будто царь твердо рѣшил подавить революціонное движеніе, не останавливаясь перед самыми суровыми мѣрами. У многих москвичей, даже у либеральных, были родственныя связи в придворном мірѣ. Они знали, что наверху ведется борьба между двумя группами сановников. Главой партіи ретроградов понемногу становился Константин Побѣдоносцев. Шансы его считались впрочем незначительными, так как царь очень его недолюбливал. Называли и других реакціонных государственных дѣятелей. Но при упоминаніи их имен люди изумленно спрашивали: «Как? Он будет диктатором? Помилуйте, какой же он диктатор! Да вы, конечно,

шутите?» Впрочем, приблизительно то же самое говорили и о многих сторонниках конституціи.

В ноябрѣ по Москвѣ пошли глухіе, но упорные слухи, будто Александра II скоро убьют. Сообщали даже подробности: царскій поѣзд будет взорван динамитом. Третье Отдѣленіе время от времени проявляло необычайную дѣятельность. В обѣих столицах и в провинціи производились аресты. Часто арестовывали ни в чем не повинных людей. Многих из них приходилось немедленно освобождать; других держали в тюрьмѣ больше потому, что совѣстно было сразу выпустить всѣх. В согласіи с законами вѣроятности, полиціи попадались и люди, имѣвшіе отношеніе к террору. Третье Отдѣленіе по существу почти ничего о них не знало до тѣх пор, пока один случайно задержанный человѣк не оказался предателем-идеалистом: он добровольно, по самым хорошим побужденіям, выдал всѣ тайны своих товарищей народовольцев. Но до этого еще было далеко.

В обществѣ отношеніе к возможному убійству царя было разное. На вершинах русской культуры отношеніе было самое отрицательное: здѣсь Толстой сходился с Достоевским, Достоевскій с Тургеневым. Двумя годами позднѣе, послѣ 1-го марта, Толстой, рѣдко, неохотно и по разному высказывавшійся об Александрѣ II, писал новому императору, прося о помилованіи цареубійц: «Отца вашего, царя русскаго, сдѣлавшаго много добра и всегда желавшаго добра людям, стараго добраго человѣка, безчеловѣчно изувѣчили и убили не личные враги его, но враги существующаго порядка вещей; убили во имя какого-то высшаго блага человѣчества... По каким-то роковым, страшным недоразумѣніям в души революціонеров запала страшная ненависть против отца вашего — ненависть, приведшая их к страшному убійству». Тургенев заплакал, узнав об убійствѣ императора Александра. Но он же написал «Порог». В слѣдующем за вершинами слоѣ высшей радикальной интеллигенціи большинство, напротив, сочувствовало цареубійству. Впрочем, были и исключенія. Так, Щедрин в разговорах самыми ужасными словами ругал народовольцев. Для людей

реакціонных взглядов, для тѣх, которые, по слову Толстого, жили «с одной вѣрой в городового и урядника», всѣ революціонеры вообще были изверги и гадины. Рядовая же масса читателей газет говорила о террористических актах без негодованія и без сочувствія, просто с очень большим интересом, — почти как о театральных премьерах. Противорѣчивость слухов создавала тревогу, а она вызывала радостное оживленіе.

Александр Дмитріевич Михайлов с сентября 1879 года жил в номерах Кузовлева на Большой Лубянкѣ. Он поселился там с паспортом на имя крестьянина Плошкина, но за мужика себя не выдавал: паспорт свидѣтельствовал только о происхожденіи. Было бы подозрительно, еслибы простой мужик поселился в номерах, в центрѣ города, да еще получал какія-то телеграммы. Хозяину и номерному Михайлов при случаѣ вскользь сообщил, что пріѣхал искать работы по конторской части. Носил он длиннополый сюртук, пил чай из собственной посуды, крестился старым крестом и отворачивался, когда при нем другіе крестились «щепотью». У Михайлова по его работѣ было немало ролей, но роль мѣщанина-раскольника он предпочитал другим.

Денег у «Народной Воли» было не очень много. В цѣлях экономіи слѣдовало бы поселиться в домѣ, который партія недавно за 2350 рублей купила в Рогожской части, на третьей верстѣ Московско-Курской желѣзной дороги. В этом домѣ, пріобрѣтенном на имя купца Сухорукова, жили только Сухоруковы, муж с женой: Лев Гартман и Софья Перовская. Однако, как ни берег Михайлов партійныя деньги, он поселиться в домѣ не мог: у него было в Москвѣ много дѣловых свиданій, иногда люди приходили и к нему. Еслиб разсыльный с телеграммой пришел туда в его отсутствіе, дѣло могло бы кончиться провалом. В конспиративныя способности Перовской Михайлов вѣрил плохо, хотя иногда ее хвалил. Сам он считался лучшим из всѣх конспираторов партіи; его похвалы цѣнились очень высоко и он их не расточал. В находчивость и хладнокровіе

Гартмана Михайлов вѣрил еще меньше. По настоящему он признавал только Желябова.

Желябов находился в городѣ Александровскѣ. Работа у обоих вождей партіи была теперь одна и та же: и под Александровском, и под Москвой велись подкопы для взрыва поѣзда, в котором императоръ долженъ былъ проѣхать в столицу из Ливадіи. Третье покушеніе такого же рода подготовлялось под Одессой. Однако оттуда недавно пришли извѣстія, что погода очень плоха; было поэтому маловѣроятно, чтобы государь поѣхал из Крыма морем.

Вожди «Народной Воли» уважали и цѣнили друг друга. Кромѣ того оба с полным основаніем считали себя обреченными людьми и старались отрѣшиться от земных чувств. Тѣм не менѣе между ними в очередной работѣ установилось нѣкоторое соревнованіе: кому удастся историческое дѣло? Подкоп в Александровскѣ был в техническом отношеніи легче. Кромѣ того у Желябова был лишній шанс: над его миной царскій поѣзд проходил 18 ноября, а над миной, проведенной из Рогожскаго дома, лишь на слѣдующій день. Несмотря на это, Михайлов в душѣ надѣялся, что дѣло удастся именно ему. По разсчету партійных техников, динамита было заложено достаточно, чтобы взорвать нѣсколько вагонов и вызвать крушеніе поѣзда. Все же, послѣ того, как Исполнительный Комитет отказался от покушенія под Одессой, Михайлов отрядил туда одного из своих работников за динамитом, предназначавшимся для одесскаго подкопа. Гольденберг уѣхал десять дней тому назад, получил груз и на обратном пути был случайно арестован в Елизаветградѣ. Об этом им было на условном языкѣ сообщено по телеграфу. Михайлов не мог себѣ простить, что дал столь серьезное порученіе несерьезному, легкомысленному и нервному человѣку. Ему было жаль Гольденберга, но еще больше он досадовал, что пропал столь нужный партіи динамит.

В воскресенье 18 ноября Михайлов, как всегда, работал цѣлый день с ранняго утра, сначала в д о м ѣ, — в подкоп вгонялась мина, — затѣм в городѣ, гдѣ у него было, как всегда,

множество свиданій. Он два раза возвращался в номера Кузовлева, побывал и в конспиративной квартирѣ на Собачьей Площадкѣ, — телеграммы из Александровска все не было. Еслиб там дѣло удалось, то о нем, вѣрно, уже знал бы весь мір. Теперь вопрос был в том, п о ч е м у не удалось дѣло, и схвачены ли работавшіе над ним товарищи. Михайлов понимал, что означала бы для партіи гибель Желябова.

Он выставил в окнѣ знак, провѣрил револьвер, безшумно приставил к двери стол и лег спать в самом тяжелом настроеніи, за какое разбранил бы своих сотрудников: всегда внушал им, что главное в их дѣлѣ — бодрость. Нѣсколько лѣт жизни на незаконном положеніи, террористическая дѣятельность и особенно два мѣсяца работы над подкопом разстроили даже его крѣпкіе нервы.

Заснул он в третьем часу ночи. Почти всѣ его сотрудники страдали безсонницей. Он внимательно их разспрашивал, когда у них бывал уж очень плохой вид, давал им снотворныя или успокоительныя средства, — а то и воду в аптекарских бутылочках, в разсчетѣ на чисто-психологическое дѣйствіе. Сам он никаких успокоительных средств не принимал, засыпал минуты через три послѣ того, как ложился, и обычно спал хорошо. Однако в эту ночь его мучил кошмар. Разныя фигуры странно-легко и безсмысленно — а казалось во снѣ, совершенно разумно — сплетались и исчезали, как бы стирались резинкой. Сплелись папаша, Гольденберг, Желябов, Алхимик. Всѣ они собрались в столовой д о м а. По бутыли ползала змѣя, — гадюка, та самая, которая когда-то в лѣсу чуть не ужалила тетю Настеньку. Соня однако думала, что это не гадюка, а уж, и, сложив ручки на животѣ, сказала: «Уж как велят Миколай Степаныч. Уж я без Миколай Степаныча ничего сказать не могу»... Папаша однако ей не повѣрил и, грассируя, говорил: «Уж эта мнѣ Софья Перовская! Уж я их всѣх, Перовских, знаю!»... Ему, очевидно, нравилась Соня. Гольденберг об'яснил, что тут недоразумѣніе: они, собственно, хотят убить папашу. Но папаша не вѣрил Гольденбергу и очень смѣялся. Змѣя, противно извиваясь, поползла к м о г и л ѣ, — и вдруг

послышался г у л, тот самый, нараставшій так нестерпимо... Михайлов проснулся с подавленным криком. Подбородок, руки, колѣни у него тряслись. В дверь стучали громко, все громче. Еще почти ничего не соображая, он сунул руку под подушку и вытащил револьвер, быстро переводя глаза с двери на чернѣвшее окно. Шторы не были спущены.

— Телеграмма... Вам телеграмма, господин, — сердито говорил голос за дверью.

— С-сею минуточку, — отвѣтил Михайлов, еле переводя дыханіе. Скорѣе всего в корридорѣ дѣйствительно был разсыльный. Однако словами: «вам телеграмма» или «вам страховое письмо» иногда пользовались в подобных случаях люди Третьяго Отдѣленія. — Сею минуточку, милай, — повторил он, кряхтя и кашляя. Михайлов подкрался босой к двери с револьвером в рукѣ и прислушался. Ничего подозрительнаго. как будто, не было. Он сунул револьвер под подушку, быстро и неслышно поставил стол на его обычное мѣсто. «...иже ада плѣнив и человѣка воскресив», — бормотал он и сам подумал, что совсѣм не то шепчет. В освѣщенном сальной свѣчей корридорѣ стоял человѣк в мокрой шинели, грубо говорившій, что нельзя заставлять ждать так долго.

— Нишкни, скобленое твое рыло, — добродушным тоном отвѣтил Михайлов. — Тута, что ли, расписаться?

Как ему ни хотѣлось поскорѣе прочесть телеграмму, он расписался, достал пятачек, отдал ругавшемуся разсыльному и даже сказал смиренно: «Прости, милай, что тебя на гнѣв навел. Зачѣм гнилыя словеса говорить?» Разсыльный, смягченный пятачком, ушел, оставляя мокрый слѣд на полу корридора. Михайлов быстро зажег свѣчу, прочел телеграмму и радостно ахнул.

В телеграммѣ было сказано: «За пшеницу дают один рубль наша цѣна четыре всѣ кланяются черемисов». Это значило, что царь ѣдет в четвертом вагонѣ перваго поѣзда, что в Александровскѣ ничего не вышло и что никто из них не арестован. Радость Михайлова относилась к спасенію Желябова. Но немного, чуть-чуть, он был рад и другому: теперь

дѣло доставалось ему. Он перечел телеграмму и вдруг пришел в бѣшенство: так плохо она была составлена. «За пшеницу дают рубль! Начать с того, что круглых цѣн на пшеницу не бывает! Да и такая ли цѣна? И какой же разумный человѣк потрѐбует четыре рубля за то, за что дают рубль! Конечно, это придумал не Желябов, а Якимова или Окладскій!... Правда, телеграфисты не интересуются содержаніем телеграмм, но еслиб у кого-нибудь на минуту возникло подозрѣніе, то все дѣло сорвалось бы на этаком пустякѣ и всѣ погибли бы!»...

У него не было никаких основаній для л и ч н о й ненависти к существовавшему строю или к человѣку, котораго он, с весьма странной шутливостью, называл папашей. Александр Михайлов родился дворянином; его отец, землемѣр по профессіи, был надворным совѣтником, имѣл в Путивлѣ свой дом; их семья, не будучи богатой, никогда не знала нужды. Дѣтство его было очень счастливым, он считался образцовым мальчиком. В старших классах гимназіи Михайлов стал читать революціонныя брошюры, — их читали почти всѣ гимназисты и студенты Россіи. Позднѣе, в Кіевѣ, в Петербургѣ, он сошелся с радикалами разных толков, — пропагандистами, бунтарями, якобинцами, — это было тоже самым обычным дѣлом. Как всѣ, он посѣщал революціонные доклады, однако относился к ним с благодушной насмѣшкой: никто из докладчиков не собирался отдать жизнь за свои убѣжденія. Книжные люди его не интересовали. Он и книг прочел очень мало. Ему хотѣлось жить своим умом. Ум у него в самом дѣлѣ был выдающійся, при всей скудости его образованія.

В народ из высшей школы уходили сотни молодых людей. Немногіе просто подчинялись модѣ и отбывали «уход в народ» так же, как в другом кругу молодые люди отбывали повинность вольноопредѣляющимися в гвардейских полках: надо, да и весело, интересно, закаляешь характер, обзаводишься знакомствами. Иные слѣдовали юношеской страсти к приключеніям и двадцати лѣт отроду шли вести борьбу с правительством, как в пятнадцать могли убѣгать в Америку для борьбы с коман-

чами. Но третьими дѣйствительно руководило только желаніе помочь народу в его тяжелой нуждѣ. К этому разряду принадлежал Михайлов и в нем он выдѣлялся своей энергіей, серьезностью и практической сметкой. Ему почему-то казалось, что самую воспріимчивую среду для пропаганды представляют собой старовѣры. Он поселился с ними, выдавая себя за человѣка их вѣры, старался проникнуть в скиты, исполнял всѣ сложные обряды, изучал язык и нравы раскольников. Однако, по своему трезвому уму, скоро понял, что толку от его работы немного. В народное возстаніе он вѣрил плохо. В его родных мѣстах крестьяне в засуху, чтобы вызвать дождь, закапывали возлѣ колодца живого рака.

Один из первых, Михайлов высказался за террористическія дѣйствія, прежде всего против самого императора. Еще до Липецкаго с'ѣзда он был главным организатором покушенія Соловьева и в момент этого покушенія находился в нѣсколькихъ шагах от Александра II. Когда в Липецкѣ, главным образом под его вліяніем, было принято рѣшеніе убить царя во что бы то ни стало, Михайлов отдал этому дѣлу всѣ свои силы. Он был малопонятным явленьем в Россіи, в которой Обломов считался типичным національным героем (так же непостижимо «чеховская Россія» превратилась в Россію революціонной эпохи). С присущей ему практичностью, Александр Михайлов выработал технику террора и считался ея лучшим мастером. Правда, успѣх, выпавшій на долю его техники, об'яснялся в значительной мѣрѣ бездарностью Третьяго Отдѣленія: полиція позднѣйшаго времени, конечно, разгромила бы всю «Народную Волю» в нѣсколько дней.

Моральное оправданіе идеи террора, которую считали очень опасной для правительств столь разные люди, как Толстой и Дурново, мало занимало Михайлова: рѣшеніе было принято. Не очень думал он и о том, что произойдет в Россіи послѣ цареубійства. Михайлов только урывками, в рѣдкія свободныя минуты, читал изданія своей собственной партіи. Ему казалось, что содержаніе статей в революціонных журналах не имѣет почти никакого значенія: агитаціонная важность

подпольной литературы была, по его мнѣнію, в том, что эта литература появлялась — под носом у Третьяго Отдѣленія. Михайлов не слишком вѣрил, чтобы публицисты «Народной Воли» могли написать что-либо очень цѣнное, и полушутливо говорил, что лучшим подпольным журналом был бы тот, в котором не было бы написано ровно ничего. Сам он т е о р е т и к о м не считался, на эту роль нимало не претендовал и, повидимому, даже сомнѣвался в необходимости теоретиков. Впрочем, дѣлал исключеніе для Льва Тихомирова: его ставил чрезвычайно высоко; позднѣе, в крѣпости, ожидая суда и казни, в прощальном письмѣ завѣщал товарищам «беречь и цѣнить нашего добраго Старика, нашу лучшую умственную силу».

Помимо других партійных обязанностей, Александр Михайлов исполнял в «Народной Волѣ» роль х о з я и н а, самую важную во всѣх партіях. Он подбирал людей, заботился о них, вѣчно думал о том, чтобы каждый дѣлал наиболѣе подходящую для него работу, чтобы каждый имѣл для нея матеріальную и моральную поддержку, чтобы каждый чувствовал себя за ней возможно менѣе худо (хорошо в их работѣ не мог себя чувствовать никто). Нѣкоторые народовольцы находили, что Михайлов никаких личных привязанностей не имѣет и что человѣк начинает его интересовать лишь с той поры, как попадает в Исполнительный Комитет. Говорили также, что он никогда не был влюблен (развѣ только ч у т ь - ч у т ь) и, быть может, даже не знал женщин. В Михайловѣ не было ни малѣйших слѣдов рисовки или тщеславія. Для себя он ничего не хотѣл, любил по настоящему только партію и жил исключительно для нея. Соперничество с Желябовым, не походившим на него ни в каком отношеніи кромѣ общей им обоим необыкновенной энергіи, было у Михайлова все-таки очень слабое и тоже не личное, а хозяйское: кто больше сдѣлает для убійства царя? О царѣ Михайлов думал лишь с технической точки зрѣнія, так, как, напримѣр, на войнѣ саперный инженер может думать о мостѣ, который нужно взорвать. Рѣшеніе было принято и его необходимо было исполнить. Несмотря на страшную напряженность нервов Михайлова, сны ему снились рѣдко.

Но, быть может, как человѣк, он п р о с ы п а л с я именно во снѣ.

Часы стояли: ночью всегда останавливались. — «Тоже спать хотят», — шутил он. — «Это потому, Дворник, что вы, находясь весь день в движеніи, подталкиваете их», — говорил ему Алхимик, — «а когда вы их кладете на стол, ваши дрянные часы и останавливаются. Давно вам надо купить хронометр. В нашем дѣлѣ иначе нельзя. Вот увидите, как только я перестану быть Сухоруким, стану франтом и потребую из кассы денег на хорошіе золотые часы». — «Как же, как же, хронометр, золотые часы... Днем и эти идут отлично», — ворчал Михайлов.

Он просмотрѣл лежавшій на столѣ шифрованный листок. Обычно он с вечера собственным шифром заносил на память дѣла, назначенныя на слѣдующій день. Листок начинался словами: «9 часов — осмотр дома». Дальше слѣдовали часы разных свиданій. Послѣдняя запись была: «9 час. 25 —».

Внизу хозяин пил чай. Он всегда пил чай, то со сливками, то с ромом, то с настойками, угощал жильцов, которыми был доволен, говорил о чаѣ с любовью и знал о нем разныя присказки. «Когда же этот индивид занимается дѣлами?» — подумал Михайлов. Всѣ лѣнивые люди его раздражали; иногда он с улыбкой ловил себя на том, что его раздражают даже лѣнь и бездѣятельность сыщиков. Содержатели гостинниц нерѣдко сотрудничали с полиціей, и Михайлов, останавливаясь в номерах, первым дѣлом обращал вниманіе на хозяина. Наружность человѣка, как он знал по долгому опыту, ни о чем не свидѣтельствовала. Но любовь к чаю была скорѣе благопріятной примѣтой. «Не вприглядку пьет, да еще потчует, значит, не скряга, значит, едва ли польстится. С другой стороны, видно, есть лишнія деньги?»

— Милости просим. Не чай, а ай, — сказал хозяин. Как всегда, Михайлов отказался от чаю из мірской посуды, но подсѣл и поговорил. Он был так в себѣ увѣрен, что почти не

готовил и не обдумывал своих слов, как опытный боксер полагается на свои рефлективныя движенія.

— ...Нонѣ телеграмму получил. Предлагают мѣсто хохлы, — сказал он. Цѣпь его полусознательных соображеній была приблизительно такова: разсыльный мог спросить у хозяина, в какой комнатѣ живет Плошкин, значит лучше было об'яснить, в чем дѣло. Хозяин мог также узнать, что телеграмма из Александровска. Но так как это было маловѣроятно, то лучше было не называть города, в котором находился Желябов. Поэтому Михайлов сказал неопредѣленно: «хохлы». А так как он из Москвы собирался уѣхать на сѣвер, то не мѣшало сообщить, что он уѣзжает на юг. Впрочем, послѣднее соображеніе было спорно: еслибы полиція узнала, что он говорил о своем от'ѣздѣ в южную Россію, то она, быть может, искала бы его именно в сѣверной. На эту трудность Михайлов натыкался в своей работѣ нерѣдко: одно соображеніе вѣрно и противоположное тоже вѣрно.

— Что-ж, поѣдете?

— Должно так, что по... поѣду, милай человѣк. Напишу им: ежели будет ваша милость, пристегнете пять рублев, безпремѣнно поѣду. Хоть и то: не о мошнѣ радѣть бы, а о душѣ, — отвѣтил Михайлов. Письмо было инстинктивно добавлено потому, что он собирался покинуть Москву лишь дней через восемь-десять. Инстинкт спасал Михайлова сто раз — пока не погубил его в сто первый.

— А то выпили бы? Чаем на Руси, говорят, еще никто не подавился.

II.

На Лубянкѣ, встрѣтившись с первой молодой женщиной, он оглянулся и проводил ее взглядом, — никто за ним по пятам не шел. Паспорт у него был вполнѣ надежный, и московская полиція его не знала. Сам он знал и помнил лица сотен сыщиков. На улицах его только и интересовали сыщики, проходные дворы, дома с двумя выходами. Михайлов очень любил

Москву, но едва ли мог бы назвать Кремлевскіе соборы. Какой-то молодой историк, проходя с ним по Лубянкѣ, показал ему дом графа Ростопчина. — «Здѣсь произошло убійство Верещагина, изображенное в «Войнѣ и Мирѣ» извѣстным писателем Львом Николаевичем Толстым», — сказал историк. Михайлов разсѣянно его выслушал и подумал о Гартманѣ, котораго тоже звали Лев Николаевич.

Для вѣрности он и теперь воспользовался проходным двором, быстро вышел на другую улицу, оглянулся, подозвал извозчика и велѣл ѣхать на Курскій вокзал. Это было не очень осторожно и Михайлов этого не разрѣшил бы своим сотрудникам. Но в себѣ он был совершенно увѣрен.

На вокзалѣ полиціи было еще мало; сыщиков он совершенно не видѣл, однако ему с перваго взгляда стало ясно, что пріѣзд царя не отмѣнен. Носильщики куда-то тащили сложенный валиком красный ковер. На перронѣ были проведены мѣлом полосы, указывавшія точно, гдѣ остановятся локомотив и царскій вагон.

От вокзала идти было далеко: версты двѣ с половиной. Стало еще темнѣе, кое-гдѣ в окнах зажигались огни. Мостовыя посерединѣ были грязно-черныя, у краев, на тротуарах, на ступеньках лѣстниц лежал снѣг. Дул сильный вѣтер, идти было скользко. Прохожих становилось все меньше. Появились дома с огородами, большіе пустыри, полузамерзшія лужи во всю ширину улицы. Трудно было повѣрить, что это Москва. Михайлов свернул к желѣзной дорогѣ около их дома. В сосѣдней усадьбѣ уже два дня шло пьянство, в дракѣ были высажены окна, и кто-то с утра до вечера играл на гармоніи и пѣл. «Вздумал турок бунтоваться, — Во всѣ стороны бросаться, — Гоц калина, гоц малина»... — орал пьяный голос. «Весь народ теперь распѣвает эту скверную пѣсенку. Вот он, военный дурман. Ишь орет как! А малый ничего, не дурак».

Они знали кое-кого из сосѣдей, — познакомились, когда покупали дом. Прежняя владѣлица изрѣдка заходила, то за оставленными вещами, то просто из любопытства. В околодкѣ подозрѣвали, что у Сухоруковых тайная молельня для старо-

вѣров: к ним каждый день приходили люди, иногда в домѣ свѣт был до поздней ночи. Кое-кто впрочем считал их укрывателями краденаго добра. Это не мѣшало добрососѣдским отношеніям. Гартман, хотя и нѣмецкій колонист по происхожденію, вполнѣ мог, в своей цвѣтной рубахѣ и в высоких сапогах, сойти за московскаго мѣщанина. Перовская, она же Марина Семеновна Сухорукова, недурно изображала глупую бабу. Когда сосѣди о чем-либо ее спрашивали, она складывала руки на животѣ и говорила: «Уж я ничего этого не знаю. Уж как велят Миколай Степаныч». Почему-то эта фраза особенно ей нравилась. Собственно подражала она не мѣщанкам, а актрисам, игравшим мѣщанок в Александринском театрѣ. Михайлову казалось, что она упивается всякими «ужо», «нонѣ», «таперича». Ему казалось также, что она шаржирует, и он просил ее еще поменьше разговаривать с лавочником, с купчихой Кононовой, у которой был куплен дом, с посредницей Суровцовой, у которой он был нѣсколько позднѣе заложен за 1000 рублей. Закладывать было очень опасно, так как Суровцева хотѣла тщательно все осмотрѣть. Но партіи были очень нужны деньги, и Михайлов разрѣшил Гартману рискнуть. Все сошло отлично.

Двухэтажный бревенчатый дом с пристройкой, совершенно почернѣвшій от желѣзнодорожнаго дыма, стоял в большом, запущенном, мрачном дворѣ. «Вѣрно здѣсь в свое время жила какая-нибудь шайка разбойников», — сказал кто-то вчера на пирушкѣ. — «Вздор, вздор, дом как дом», — поспѣшно отвѣтил Михайлов. Но в это темное как ночь утро ему казалось, что он никогда не видѣл болѣе жуткаго дома. «Для разбойничьей шайки лучше и придумать нельзя было бы!»...

Пирушка, которой они отпраздновали окончаніе работ, вышла весьма неудачной. Было куплено вино, на стол поставили спиртовую лампу, от ея свѣта лица стали у всѣх участников подкопа синеватыя и страшныя, — Михайлову казалось, что за столом сидят и стараются шутить восемь мертвецов. «И как на бѣду еще этот проклятый черный кот!» — думал он, с улыбкой спрашивая Перовскую, какія платья она хранит

в сундукѣ с Румкорфовой спиралью. Гартман, как всегда, суетился, кричал, дѣлал вид, что ему очень весело, бѣгал в кухню за хлѣбом, за ветчиной, за сыром, и длинная тѣнь от его фигуры пробѣгала по висѣвшему на стѣнѣ портрету царя. «Всѣ боятся, но он боится больше других», — думал Михайлов, за всѣм слѣдившій и все замѣчавшій. Нѣкоторые из сидѣвших за столом людей нервно зѣвали и говорили, что пора бы на вокзал; они раз'ѣзжались, в тот же вечер; в домѣ оставались только Перовская и Ширяев. Уходившіе старательно шутили: — «Что, Сонечка, спать вѣрно не будете?» — «Я? Буду спать как сурок!» — поспѣшно и тоже очень весело отвѣчала Перовская. — «Ну, пріятных снов», — говорили товарищи и вздыхали свободно, выйдя из дома.

Взрыв должен был быть произведен из сарая, из котораго удобно было наблюдать за желѣзнорожным полотном: они прорѣзали в стѣнѣ отверстіе. Между домом и рельсами, за широкой мерзлой лужей, проходила дорога, по которой возили дрова и воду. «Ох, день какой скверный», — думал Михайлов, поднимаясь по скользким оледенѣлым ступенькам наружной лѣстницы, шедшей странным образом в корридор верхняго этажа. «Слѣды ног на снѣгу это, пожалуй, тоже будет улика. Хотя кто там у них будет мѣрить? А за ночь все занесет». Корридор вел в кухню; из нея три двери открывались в спальную Перовской, в столовую и в комнату мужчин.

Огромная кошка спрыгнула со стола и унеслась. Столовая была не убрана, и это показалось Михайлову неблагопріятным признаком. Перовская со своей любовью к чистотѣ и порядку, конечно, убрала бы комнату с вечера, еслиб была в обычном состояніи. Перед иконой в золотой ризѣ не горѣла свѣча. Они всегда зажигали свѣчи перед кіотом и по воскресеньям ходили в церковь. На стѣнах висѣли портреты царя, царской семьи и митрополита Филарета.

— Неужто еще спите? Эй, проснись, мужичек! — радостным голосом закричал Михайлов. За дверью послышались шаги и в комнату, широко зѣвая, вошла Перовская, в своем чистеньком м ѣ щ а н с к о м платьицѣ. За два мѣсяца работы

на подкопѣ она очень исхудала, ея небольшое круглое лицо вытянулось, румянец исчез. «Краше в гроб кладут! Еслиб еще нѣсколько дней ждать, они всѣ посходили бы с ума»...

— От Тараса телеграмма.

— Господи! Он жив? Что-же вы не говорите?

— Я говорю. Если телеграмма, значит жив. Всѣ цѣлы, да дѣло у них не вышло, — проворчал Михайлов. Она почти вырвала телеграмму у него из рук. Михайлов высказал свое мнѣніе об умѣ составителей телеграммы, но она еле его слушала. Лицо у нея все время мѣнялось.

— Слава Богу, что спаслись!

— Спаслись то спаслись, а телеграмма дурацкая, — сказал он сердито. «Так и есть: влюблена!»... Его всегда раздражали любовные романы в партіи, отвлекавшіе от дѣла самых преданных долгу людей. Михайлов хотѣл было подѣлиться с ней предположеніями, почему не вышло дѣло в Александровскѣ, но в наказаніе за то, что она влюблена, не подѣлился.

— Гдѣ Степан, многолюбимая?

— За папиросами пошел.

— Ах, за папиросами! — гнѣвно начал он и сдержался. Куреніе в этом домѣ было совершенно недопустимо. Однако, теперь до д ѣ л а оставалось лишь нѣсколько часов, и Перовская не была виновата. Он к ней относился благосклонно. Его трогало, что эта дѣвушка, выросшая в аристократической семьѣ, была так предана дѣлу, не отказывалась ни от какой работы и предпочитала работу самую опасную. В «Народной Волѣ» никого нельзя было удивить мужеством. Желябов и сам Михайлов были безстрашными людьми в настоящем смыслѣ слова: точно от природы были лишены способности чувствовать страх. Многіе другіе хорошо дѣлали вид, будто ничего не боятся. Перовская — «для женщины» — владѣла собой прекрасно. Все это он признавал. Тѣм не менѣе она часто его раздражала своей несговорчивостью, упорством, тѣм, что в Исполнительном Комитетѣ была почти всегда в оппозиціи ему. Иногда он так ругал ее, что Желябов энергично за нее вступался и просил его измѣнить тон. Михайлов неизмѣнно отвѣчал, что дѣло не

в тонѣ и что он не дамскій кавалер (это было легким выпадом против Желябова, который считался «дамским кавалером»). Случалось, Перовская обижалась серьезно, и они дня два разговаривали только о дѣлѣ, в подчеркнуто-офиціальном тонѣ. Потом мирились, — ей было извѣстно, что Михайлов к себѣ еще строже, чѣм к другим.

— Чай будете пить?

— Чай по... потом, сначала дѣло. Надо в послѣдній раз все осмотрѣть, — строго сказал он и без церемоніи пошел в ея еще неубранную комнату. Там он поднял крышку сундука, в котором под грудой бѣлья находилась спираль Румкорфа. Михайлов осторожно провѣрил контакты. От спирали одна проволока спускалась в подвальный этаж, другая выходила наружу и по плинтусам дома, затѣм по двору, под слоем насыпной земли, шла в сарай. Вѣроятно, можно было бы расположить провода проще, но Гартману нравилось, что спираль помѣщается в сундукѣ с бѣльем. Он любил эффекты. Быть может, по той же причинѣ, неподалеку от сундука стояла бутыль с динамитом: в случаѣ появленія полиціи, Перовская должна была выстрѣлить в бутыль и взорвать весь дом. Михайлов же думал, что при внезапном налетѣ Соня выстрѣлить не успѣет, или не попадет, или бутыль от выстрѣла не взорвется. Да и незачѣм было, по его мнѣнію, всѣм кончать с собой: нѣкоторых участников подкопа, вѣроятно, не казнили бы; между тѣм, большой процесс мог бы способствовать росту революціоннаго движенія.

Полиція, впрочем, уже нѣсколько раз появлялась в домѣ во время работы над подкопом. Она ничего не подозрѣвала, но, в связи с предстоявшим проѣздом царя, в свободное время заходила в дома у желѣзной дороги. По существу никакого осмотра не было: Гартман угощал полицейских водкой и закуской, совал им, в зависимости от чина и нрава, кому полтинник, кому рубль, кому два. Это он дѣлал отлично: служил долго в разных управах.

— Спираль в порядкѣ, — сказал Михайлов. Перовская смотрѣла на него с ласковой насмѣшкой. По воспоминаніям

прошлаго, ей казалось неприличным, что он хозяйничает в ея спальной с неубранной постелью. Но она знала, что он просто этого не понимает и, что для него существуют не женщины, а члены партіи женскаго пола. «Говорят, будто ему в свое время нравилась Ольга... Вѣрно, неправда»... Она терпѣть не могла Ольгу Натансон.

— Конечно, в порядкѣ, странная вы личность.

— Ну, ладно. Теперь я иду туда. Ежели что, звони.

— Слышала, слышала, знаю.

— Я там и раздѣнусь, ты вѣдь не спустишься, — конфузливо сказал он.

— Будьте как дома. И лучше не ползите до могилы, еще взорветесь.

Он кивнул головой и спустился в подвальный этаж. Там он раздѣлся до гола, повѣсил на гвоздь длиннополый сюртук, брюки, бѣлье, положил револьвер на землю у самой дыры. Другіе, вползая в галерею, вѣшали через плечо револьверы, а Гартман брал с собой и яд, чтобы не быть заживо похороненным в случаѣ обвала. Но ползти по галереѣ с револьвером было очень неудобно. Михайлов надѣл фланелевую рубашку, рукавицы, отодвинул цыновку, стал на четвереньки и глубоко вдохнул в себя воздух, точно собирался нырнуть в воду. Затѣм он очень ловко пролѣз в дыру, не прикоснувшись к проволокѣ.

Подземная галерея была так низка, что в ней было почти невозможно продвигаться и на четвереньках: приходилось ползти на животѣ. В первый раз, ползая по землѣ, он вспомнил гадюк, которых в дѣтствѣ видѣл в лѣсу. Послѣ нѣсколькихъ дней работы у него выработались автоматическія движенія. Он оттолкнулся правым колѣном, затѣм лѣвым локтем, и пополз, все время держа в рукѣ фонарик на уровнѣ проволоки и не спуская с нея глаз. Первыя три-четыре сажени он прополз легко и быстро, — «карьером». Дальше начиналась первая лужа. Михайлов вполз в воду и окоченѣл. Труднѣе стало и дышать.

Этот подземный ход с треугольным разрѣзом они прорыли

в нѣсколько недѣль маленькой англійской лопатой и садовым черпаком, — бурав был куплен только в послѣдніе дни. Работа шла от семи утра до девяти вечера. Они все время чередовались. Перовская к работѣ по подкопу не допускалась; но и сильные выносливые мужчины не могли рыть землю в галереѣ больше часа подряд. Нѣкоторые из приглашенных членов партіи под разными предлогами отказывались или увиливали от этой работы. Страшной неожиданностью оказалась ледяная вода. Галерею укрѣпляли доски, сходившіяся наверху зубчатыми краями. Однако вода просачивалась сквозь зубцы, а кое-гдѣ лилась струйками. С каждым днем работа становилась все болѣе тяжелой, особенно из за недостаточнаго притока воздуха. Они выходили из галереи замерзшие, разбитые, исцарапанные в кровь.

Теперь он знал эту длинную, в двадцать с лишним сажень, подземную галерею лучше, чѣм Лубянку или Невскій: твердо помнил, гдѣ начинаются особенно глубокія лужи, гдѣ торчит из доски гвоздь, гдѣ начинает угасать свѣча в фонарѣ. Очень трудное мѣсто было в длинной четвертой лужѣ, в десяти саженях от подвала, под проѣзжей дорогой. Здѣсь все время осыпалась земля, и можно было каждую минуту ждать, что в галерею провалится лошадь или телѣга с сорокаведерной бочкой. «Бог даст, еще нѣсколько часов выдержит», — подумал он, проползая по четвертой лужѣ, которая была так глубока, что в нее можно было бы окунуть голову. Свѣча зашипѣла: в фонарь сверху капнула вода. Михайлов прополз еще три сажени и остановился на отдых в с а р а ѣ, трясясь и задыхаясь. Минуты двѣ он мотал головой, — «чтоб не свернулась шея». Из за необходимости слѣдить за проволокой приходилось все время держать голову в мучительно-неестественном положеніи.

Он пополз дальше к двум сомнительным доскам, плохо прилаженным одна к другой. Тут контакт легко мог оборваться. Михайлов постарался привстать на четвереньки, стукнулся головой об доску, надсадил колѣно. Ему показалось, что он раздавил червя. «Нѣт, нѣт!» — с отвращеніем подумал он и

опять оттолкнулся от земли правым колѣном. Полз он теперь медленно, приберегая послѣднія силы для п л о т и н ы.

Это было самое тяжелое мѣсто подземнаго хода. В послѣднем участкѣ галереи, в котором находилась мина, не должна была скопляться вода. Они здѣсь перегородили ход поперечными досками и ковшом вычерпали воду. Между плотиной и «потолком» оставалось очень мало мѣста, и проползти здѣсь не сорвав досок было чрезвычайно трудно. Вода становилась все глубже. Перед плотиной Михайлов остановился, еще передохнул с полминуты, затѣм осторожно переставил через доски из воды в грязь сначала лѣвую, потом правую руку. Согнувшись в дугу, царапая в кровь спину и колѣни, он отрывистыми, почти судорожными движеніями перебрался и без сил упал в м о г и л у: так называлась послѣдняя сажень подземнаго хода, между плотиной и динамитным снарядом.

Вдруг он услышал гул, — т о т с а м ы й. «Курьерскій из Москвы!»... — Он теперь распознавал поѣзда по быстротѣ наростанія гула. Еще ни разу этот поѣзд не заставал его так далеко, в галлереѣ, почти под самыми рельсами. Он выронил фонарь, заткнул уши и упал лицом в грязь. Гул наростал со страшной быстротой, перешел в адскій грохот. Михайлову казалось, что у него сейчас разорвется сердце... Много позднѣе по ночам ему слышался этот страшный нестерпимый гул в мертвой тишинѣ Алексѣевскаго равелина.

Могила стоила им гораздо большаго труда и напряженія нервов, чѣм первыя девятнадцать сажень галереи. Она кончалась у второй пары рельсов, по которой поѣзда шли в направленіи на Москву. Здѣсь земля оказалась особенно твердой, и дышать тут, несмотря на кое-как проведенную вентиляціонную трубку, было очень трудно. Свѣча часто гасла. Загнать сюда тяжелую мину было почти невозможно. Наканунѣ Михайлов впрегся в нее, Ширяев толкал сзади, но мина все время загребала землю впереди. «Осторожно!... Оставьте!... Больше нельзя!... Взорвемся!» — шептал Ширяев. Хотя никто их не мог услышать, они в галереѣ всегда говорили шопотом. — «Но вѣдь из за этого аршина может пропасть дѣло!» — так же

отчаянно шептал Михайлов. — «Не пропадет! Взорвется поѣзд, я вам говорю!»...

Он тщательно провѣрил контакты. Все было в порядкѣ. Повернуть назад было нелегко, но к этому Михайлов привык и для этого также выработал движенія. Благополучно переполз через плотину, опять перегнувшись в дугу, в лужѣ за плотиной остановился, с жадностью вдыхая в легкія воздух. Теперь дышать было чуть легче. Он пополз быстрѣе.

За четвертой лужей вдали показался слабый свѣт. Это всегда бывало счастливой минутой. «Еслиб я тут лишился чувств, что бы они сдѣлали? Пришлось бы им, бѣдным, волочить меня, и проволоку непремѣнно сорвали бы», — думал он, зная, что чувств не лишится. Дрожащій свѣт лампы приближался. Михайлов из послѣдних сил дополз до дыры, стал на четвереньки и в изнеможеніи упал.

Через четверть часа, кое-как смыв с себя грязь и кровь, расчесав волосы и бородку, он в своем долгополом сюртукѣ поднялся на кухню, положил на печь мокрую, черную от грязи рубаху и вошел в столовую. За покрытым чистой бѣлой скатертью столом сидѣла Перовская. На столѣ были самовар, калачи, масло. Сіяющая улыбка выступила на лицѣ Михайлова. Он любил семейный уют. Вспомнил родительскій дом, с чудным садом, на окраинѣ Путивля. За самоваром сидѣла тетя Настенька, и тоже были калачи, масло, сливки.

— Не чай, а ай! — весело сказал он, вспомнив своего хозяина. — Сонечка, умираю, так хочется чаю!

— Ага, теперь «Сонечка»... Неужели опять доползли до могилы?

— А то как же, многолюбимая? Здравствуйте, Степан, обратился он к вошедшему Ширяеву. — Покуривать изволили? Как это вы всѣ не понимаете, что дѣло...

— Дворник, умоляю, не пилите хоть сегодня. До вечера мы от папиросы не взорвемся, — сказала Перовская, протягивая ему стакан. Михайлов посмотрѣл на нее и замолчал.

— Фаталитэ, — сказал Ширяев, тоже нервно зѣвая. Он два года работал в электротехнических мастерских в Парижѣ

и любил вставлять в рѣчь французскія слова. — Темь какая! Просто жуть берет.

— Никакая не фаталитэ, вздор фаталитэ! Все идет, дѣтки, хорошо. Он не спасется! — сказал Михайлов металлическим голосом, на этот раз не употребляя слова «папаша». «Ишь какіе глазки! Молнію метнул», — подумал Ширяев.

— Не может спастись, — подтвердил он.

III.

Простился Михайлов с ними как всегда, точно никакой опасности они не подвергались. Он в самом дѣлѣ думал, что Перовская и Ширяев успѣют убѣжать. «В первую минуту в поѣздѣ всѣ потеряют голову, каждый будет думать только о том, как бы самому унести ноги. Затѣм бросятся к н е м у, — еще нѣсколько минут. Потом, разумѣется, догадаются и ворвутся в дом. Но если Соня и Степан головы не потеряют, то пяти минут им больше, чѣм достаточно, чтобы скрыться. Мнѣ или Тарасу было бы достаточно одной минуты».

Тѣм не менѣе, прощаясь, всѣ трое понимали, что, быть может, больше никогда не увидятся. Об этом не приходилось говорить, как у обстрѣлянных офицеров не принято говорить наканунѣ боя о возможности смерти или пораженія. У Перовской и Ширяева не было и мысли, что Михайлов мог бы остаться с ними до конца, а ему не приходило в голову, что его кто-либо может заподозрить в недостаткѣ мужества, как это не приходит в голову командующему войсками, когда он отправляет свои полки в аттаку.

— ...В сарай до четверти десятаго не ходите. Часы идут правильно, минута в минуту, а е г о поѣзда не приходят ни раньше, ни позже. Ну, для вѣрности, в пять минут десятаго. Ты, Соня, одѣнься потеплѣе, нѣт ничего проще, как в этакую погоду схватить воспаленіе легких. А увидишь огни, не зѣвай, скажи Степану: «идет». Вы, Степан, тогда возьмитесь за коммутатор. И, разумѣется, оба не волнуйтесь: успѣх обезпечен.

Дальше, конечно, все в глазомѣрѣ. Увидишь, что локомотив т а м, скажи «жарь!»... Затѣм этак спокойненько, как ни в чем не бывало, но, понятное дѣло, и не мѣшкая, уходите через двор к забору, гдѣ выход к сосѣдям. А как окажетесь в той усадьбѣ, все дѣло в шляпѣ. Тотчас выходите на улицу, там со второго угла уже люди, вы среди них и затеряетесь. Извозчика возьмите гдѣ-нибудь подальше, а то и на конку можно сѣсть. Разумѣется, сойдите не на Собачьей Площадкѣ, а пораньше, и сидите тихохонько дома. А я к вам приду ровно в двѣнадцать. Понятно?

— Понятно, понятно, — отвѣтила Перовская, зѣвая все так же судорожно. — И без вас знаем, — добавила она, оберегая свою самостоятельность.

— И помни, Тарас говорит: четвертый вагон перваго поѣзда.

— Интересно, откуда он может это знать, Тарас? — угрюмо спросил Ширяев.

— Не знал бы, не телеграфировал бы, — отвѣтил Михайлов сухо. У царя было два поѣзда, совершенно одинаковых по внѣшнему виду. Они шли на небольшом разстояніи один от другого, а иногда на станціях мѣнялись местами. Михайлов и сам, несмотря на телеграмму Желябова, не был увѣрен в том, что Александр II будет в первом поѣздѣ. Но говорить об этом было непріятно. — Ну, значит, до вечера, — прибавил он самым простым тоном и развѣ только чуть крѣпче пожал им руку. Они проводили его до наружной лѣстницы. — Не выходи, простудишься... Экая темь, и не скажешь, что утро»... «...Он кидался и бросался, — Он и в Сербію пробрался, — Гоц калина, Гоц малина», — доносился пьяный голос.

Днем у него было нѣсколько свиданій, преимущественно с людьми, которые в их кругу назывались легальными радикалами. Он доставал у них или через них деньги, пользовался их связями для освѣдомленія, находил защитников для арестованных товарищей. В теченіе всего дня Михайлов ѣздил и ходил по Москвѣ, пробирался через проходные дворы, мѣнял извоз-

чиков и заметал слѣды, хотя видѣл, что слѣжки за ним нѣт. Большинство легальных радикалов не знали точно, кто он такой и чѣм сейчас занят. Но всѣ догадывались, что занят он страшными дѣлами. Михайлов понимал, что, принимая его у себя или соглашаясь с ним встрѣтиться, они щеголяли мужеством.

Послѣдній легальный радикал пожелал узнать, каковы их д а л ь н ѣ й ш і я предположенія. Слова «дальнѣйшія» он не уточнял, но подчеркивал его интонаціей.

— Все рѣшит Учредительное Собраніе. Оно выработает демократическую конституцію, — отвѣтил нехотя Михайлов. Он не любил теоретических споров и слова «демократическая конституція» иногда произносил просто механически, как невѣрующій человѣк говорит «дай Бог», или «избави Боже», не задумываясь над смыслом своих слов. — И это будет ва... ваше дѣло, господа легальные.

— Я знаю, что вы относитесь пренебрежительно к той скромной нивѣ дѣятельности, на которой мы работаем, — сказал легальный радикал, видимо удовлетворенный его отвѣтом. Михайлов любезно возразил: «что вы, что вы»... «Ох, и в самом дѣлѣ на их нивѣ спокойнѣе», — подумал он и вздохнул.

Домой он вернулся лишь часов в восемь вечера. Подходя к номерам, Михайлов сдѣлал над собой небольшое усиліе и снова стал мѣщанином-старообрядцем. Играть роль ему было легко. Мѣняя паспорт и общественное положеніе, он чувствовал вначалѣ лишь маленькую неловкость, скорѣе даже пріятную, — вродѣ той, которую испытывает человѣк, надѣвая новый, еще непривычный костюм. Нѣсколько труднѣе было быстро переходить от жизни, от Учредительнаго Собранія к «нонѣ» и «безпремѣнно».

— Милости просим, — сказал хозяин. — Жидкій чаек, насквозь Москву видно, да мы свѣженькой травки подсыпем.

— Не могу, — со вздохом отвѣтил Михайлов. Как ни тяжело было ему ждать два часа в одиночествѣ, разговаривать

с хозяином было бы еще тяжелѣе. Он сослался на «зубную скорбь».

— Постное молочко, бывает, помогает. Не желаете? — спросил хозяин, показывая на бутылку рома. Михайлов покачал головой.

— Ох, милай, велик соблазн, — сказал он с удареніем на первом слогѣ. — Не пройдет, так и то выйду, пополощу на ночь в кабачкѣ челюсть.

— Чай не по нутру, была бы водка поутру. На такой предмет Бог простит.

В номерѣ была колбаса, нашелся кусок черствaго хлѣба. За ѣдой он посматривал на часы и думал о том, что происходит в д о м ѣ. «Лишь бы Соня не сплоховала!»... За Ширяева Михайлов был спокойнѣе. «Скоро уж пойдут в сарай... Теперь, быть может, тоже закусывают?»... Но представлять себѣ то, что переживает Соня, было тяжело, и он заставил себя думать о другом.

В десятом часу, Михайлов, взявшись рукой за щеку, вышел снова из номеров. Погода стала немного лучше. На запруженной народом Красной Площади стояли шеренгами войска. Вездѣ шныряли сыщики. Он искоса на них поглядывал и навсегда запоминал новыя лица. В Кремлѣ тоже было много войск и полиціи. Окна Большого Дворца были ярко освѣщены. У параднаго под'ѣзда уже лежал красный ковер. «Все-таки лучше отсюда убраться по добру по здорову», — думал он. Здѣсь могли быть люди Третьяго Отдѣленія, знавшіе его в лицо. Выйдя из Спасских Ворот, он обогнул площадь и наудачу пошел по Ильинкѣ. Толпа валила к Кремлю. Он все чаще разстегивал полушубок и поглядывал на часы. Тревога его росла с каждой минутой.

Было без пяти десять. Царскій поѣзд проходил мимо дома в девять двадцать пять. Взрыв не мог быть слышен на таком разстояніи, но извѣстіе о взрывѣ, очевидно, должно было распространиться с чрезвычайной быстротой. «Если убит, в Кремль примчатся ад'ютанты, полицейскіе, и туда понесутся

кареты за каретами. Если ранен, его самого, вѣрно, повезут в Кремль... Неужто они н и ч е г о не сдѣлали? Не может быть!»...

У Ильинских ворот он вдруг услышал «Ур-ра!» и остановился в изумленіи. Какіе-то прохожіе побѣжали налѣво, Михайлов побѣжал за ними. — «Быть не может!».. «Ура» все наростало, стало оглушительным, затѣм начало удаляться. Он выбѣжал на Никольскую. Толпа валила по мостовой и по тротуарам. Цѣпь полиціи разстраивалась: царь проѣхал. Михайлов побѣжал, спотыкаясь на скользком тротуарѣ, снова остановился и, задыхаясь, подумал, что бѣжать некуда и незачѣм. «Сорвалось! Столько труда пропало! Так хорошо было подготовлено!»...

Через нѣсколько минут он неторопливо пошел дальше, соображая, что теперь дѣлать. Очевидно, нужно было вернуться в Петербург и там заняться подготовкой других взрывов. «Халтурин — малый не без недостатков, но подходящій... Да можно ли взорвать из подвала такую махину? Ох, мало осталось динамита... Все Гольденберг, Гольденберг! Что, если Соня и Степан погибли?».

— ...К Иверской поѣхал! Ах, какой красивый! — восторженно говорила у остановки конки молодому человѣку женщина в потертой бѣличьей шубкѣ. — Вот вы всегда так, Ваня! Говорили: темно, ни черта не увидите. А я так видѣла, как вас вижу!

— Ну и что же, видѣли. Фонарей точно много зажгли. Москва! — презрительно отвѣтил молодой человѣк. — У нас в Питерѣ, как они проѣзжают, то и не смотрит никто.

— Вот вы всегда врете, Ваня.

— Я их, может быть, десять раз видѣл и в Питерѣ, и в Царском. И никакой кавалеріи у нас в Питерѣ не пускают, хоть наша гвардія будет почище.

— Да вы, Ваня, вовсе и не питерскій. Какой-нибудь год прожили в Питерѣ и все хвастаете!... Ах, какой государь красивый, я не видала мужчины лучше!

— Да вѣдь они же старики.

— Так что-же, что старик? Другой и молодой, а... Вот идет конка. Слава Богу!

— У нас в Питерѣ конка по Невскому ходит каждую минуту, никогда не надо ждать.

— И все вы врете, Ваня. Отчего вы всегда врете?

В центрѣ города в двѣнадцатом часу стало извѣстно о взрывѣ на желѣзной дорогѣ. Слухи были нелѣпые и противорѣчивые. Михайлов старательно прислушивался к разговорам прохожих и ничего не мог понять. На углу околодочный что-то разсказывал чиновнику, в волненіи не обращая вниманія на слушавших. «...Вот уж истинно Бог спас! Первый поѣзд прошел, а второй взорвали мерзавцы!... Что, ежели бы», — сказал он и схватился за голову. Чиновник ахал. Ахнула, больше из приличія, слушавшая старушка. «Не может быть! Не может быть, чтобы они взорвали второй!»... Михайлов еще не давал воли бѣшенству, не зная, спаслись ли товарищи.

Он зашел погрѣться в трактир. Здѣсь тоже говорили о взрывѣ, но без большого интереса. — «Народу-то, народу вѣрно что покалѣчено!» — говорил кто-то. — «Вѣшать их всѣх, мерзавцев!» — сказал трактирщик. Какой-то человѣк разсказывал, что уже арестовано семьдесят пять человѣк. — «Своими глазами видѣл, как их всѣх тащили по Маросейкѣ», — заплетаясь, говорил он, — «а впереди всѣх лохматая, стриженая!... Ростом три аршина. Н-ну и баба!»... Трактирщик, видимо недовольный разговором, пустил машину. Михайлов расплатился и вышел в отчаяньи.

Условный знак в окнѣ конспиративной квартиры стоял прежній. Поднявшись на цыпочках по лѣстницѣ, Михайлов приложил ухо к скважинѣ — и с невыразимым облегченіем услышал голос Перовской. «Да она-ли, однако?... Нѣт, конечно, ея голос!»... В ту же секунду лицо у него стало яростным. Он дернул звонок негромко, затѣм еще два раза подряд. Послышались торопливые шаги. Дверь отворил блѣдный и растерянный Ширяев. «Уже знают!»... Михайлов вошел с видом звѣря и тотчас затворил за собою дверь.

— Х-хороши!... Очень хороши!

— Наша вина, Александр Дмитріевич, это так, наша вина.

— Да, ваша, ни чья другая! А знака почему не перемѣнили? — закричал Михайлов и, не снимая полушубка, вошел в столовую. Он остановился на порогѣ и уставился глазами в Перовскую. Она в шубкѣ сидѣла на стулѣ не у стола, а у стѣны: сѣла на этот стул, когда вошла. Перед ней, разинув рот, стоял, со стаканом воды в рукѣ, хозяин конспиративной квартиры. Перовская что-то быстро говорила, не останавливаясь ни на секунду. Лицо у нея было бѣлое, как мѣл. Вмѣсто того, чтобы на нее обрушиться с упреками, Михайлов неожиданно для себя самого поцѣловал ее в лоб. Хотя он никогда этого не дѣлал, Перовская не обратила на него вниманія. «Здравствуйте», — сказал она и продолжала говорить, неподвижным взглядом глядя на хозяина, который то нерѣшительно протягивал ей стакан, то снова опускал.

— ...Значит, мы с ним рѣшили, что я буду слѣдить не из сарая. Двум человѣкам в сараѣ нечего было дѣлать. Я вышла и спряталась за зарослями («Там нѣт никаких зарослей», — подумал Михайлов). — Я вышла... Было очень темно... Ах, как темно!... И та гармошка!... Я стою, жду. Вдруг вижу, и д е т ! — Лицо у нея дернулось. Вода пролилась из стакана у хозяина конспиративной квартиры. — Я подхожу к сараю и говорю: «Степан, бейте!» У него сви... Ну, как это? Да, спираль Румкорфа... Я ему сказала...

— Застопорилась спираль! — отчаянно прошептал Ширяев.

— Я ему говорю... Он был очень короткій, этот поѣзд! Мы не думали, что он будет такой короткій!... И промчался как вихрь! И был весь окутан дымом... Да, да, страшно короткій поѣзд! Мы рѣшили, что о н не может быть в таком поѣздѣ. Мы рѣшили... Всѣ данныя за то... И вот как раз показался другой... Мы не думали, что он будет так скоро... Еслиб мы знали!... Что? Что вы говорите? Убитые! Много убитых? Отчего вы молчите? — вдруг закричала она, обращаясь к Михайлову. Хозяин квартиры, тоже смертельно блѣдный, то-

ропливо протянул ей стакан. Она оттолкнула его руку. Ея лицо опять задергалось.

Весь этот день в д о м ѣ был ужасен.

Послѣ ухода Михайлова, они еще немного поговорили. Ширяев курил папиросу за папиросой и пил крѣпкій чай. Затѣм она, сославшись на усталость, ушла в свою комнату. — «Конечно, отдохните, постарайтесь заснуть», — бодро говорил ей Ширяев, — «я вас разбужу, да и времени еще очень много». Сам он все ходил по столовой и курил.

Через четверть часа она вернулась и спросила, не хочет ли он ѣсть. — «Хочу! Очень хочу!» — еще бодрѣе отвѣтил он. В самом дѣлѣ у него волненіе развило голод, он с'ѣл яичницу из шести яиц. «Как он может!» — думала она почти с отвращеніем.

В столовой весь день горѣла свѣча. Под вечер они зажгли спиртовую лампу, и опять лица у них стали синія. Ширяев разсказывал о своем дѣтствѣ. Его дѣтство ее не интересовало.

— ...Отец мой был крѣпостной крестьянин саратовских помѣщиков Языковых, — сказал он. Как всегда в таких случаях, она почувствовала смущеніе, что-то похожее на укор совѣсти. Сословныя различія казались им дикими, но все же иногда чувствовались помимо их воли. С товарищами, вышедшими из низов, Перовская всегда бывала особенно деликатна и внимательна. Ширяева она считала очень умным и выдающимся человѣком, но он раздражал ее тѣм, что говорил длинно, тѣм, что вставлял французскія слова, в особенности тѣм, что, простудившись в подземном ходѣ, тяжело чихал. Оба они старались поддерживать друг в другѣ бодрость и дѣлали вид, будто совершенно не взволнованы. Потом ей, при ея правдивости, надоѣло притворяться.

— А то в самом дѣлѣ я пойду, еще прилягу. Вѣдь ночью глаз не сомкнула, — сказала она, забыв, что должна была спать «как сурок».

— Разумѣется, отдохните, ке діабль! — бодро сказал он.

На ея давно убранной бѣлоснѣжной постели, бывшей един-

ственным чистым предметом в домѣ, лежал приставшій к ним черный кот.

— Пошел!... Пошел!... — закричала она. За дверью послышались торопливые шаги.

— Что? Что? Что такое?

— Да нѣт, рѣшительно ничего... Эта грязная кошка устроилась на моей постели, как у себя дома. Ничего, теперь она свернулась у бутыли с динамитом. Самое подходящее мѣсто!

Через полчаса он опять заглянул в ея спальную и спросил, не слѣдовало ли бы затопить: холодно. Она думала о Желябовѣ, о том, к а к он узнает об ея концѣ, и ей хотѣлось остаться одной.

— Да, конечно, затопите, Степан, а то мы с вами лихорадку схватим, это опасно, — шутливо сказала она. Он стал чихать так сильно, что отдавалось болью внизу живота. На здоровье.

— Еще вас заражу! — конфузливо говорил Ширяев.

— Да, это было бы ни к чему: зачѣм чихать на висѣлицѣ?

Оба засмѣялись. Затопив печь, он опять закурил и опять стал разсказывать о своей жизни. Она видѣла, что он д о л ж е н говорить, должен оставить по себѣ память. «Бѣдный!... Он прекрасная личность. Но если он погибнет, то вѣдь погибну и я»...

— Тарас тоже вышел из народа. Он южанин... Вы давно его знаете?

— Не очень давно... Я вѣдь...

— Да, да продолжайте, я вас перебила.

Незадолго до девяти часов она сказала: «не пора ли?» и стала надѣвать шубку. — «Собственно рановато», — отвѣтил он — «и надо бы еще раз взглянуть на спираль». — «Да вѣдь все в порядкѣ! Впрочем, взгляните, отчего же нѣт?»

У нея шевельнулось непріятное чувство, когда он своими почернѣвшими, исцарапанными руками стал поднимать ея бѣлье в сундукѣ. «Впрочем, теперь все равно: все достанется Третьему Отдѣленію... И комнаты этой больше н и к о г д а не увижу»...

— Ну, хорошо, когда провѣрите, приходите в сарай. Я вам оставлю фонарик, — сказала она и окинула послѣдним взглядом свою комнату, столовую. Взгляд ея задержался на портретѣ царя.

Вѣтер завыл и рванул дверь. Осторожно, держась за перила, она спустилась по ступенькам лѣстницы и провалилась в снѣг выше щиколодки. «В самом дѣлѣ простужусь», — сказала она себѣ так же шутливо, как говорила Ширяеву, и пошла к сараю, тяжело ступая по снѣгу. Из сосѣдней усадьбы доносилось пѣніе: «...Русскій царь не испугался, — За Дунай к нему забрался, — Гоц калина, гоц малина»... Войдя в сарай, она наощупь, брезгливо водя рукой по стѣнѣ, дошла до мѣста, гдѣ ей полагалось стоять, разыскала отверстіе и подняла закрывавшую его дощечку. Опять рванул вѣтер. Впереди ничего не было видно. «Нужно запастись терпѣніем», — твердо сказала она себѣ и стала н а б л ю д а т ь. У нея зябли руки и ноги. «Дворник был прав, не надо было выходить раньше четверти десятаго. Что-же это Степан?» Вдруг что-то прошумѣло и быстро пронеслось по сараю у самых ея ног, она вскрикнула. «Вздор! Какой вздор! Крыс бояться!»... Зубы у нея застучали. В эту секунду блеснул свѣт. Она обрадовалась Ширяеву, как никогда в жизни ему не радовалась.

— Крыс-то, крыс-то сколько! Вот бы сюда пустить нашего Ваську, полакомился бы. Вы как к ним относитесь? — веселым тоном спросил он.

— Скорѣе отрицательно... Спираль, конечно, была в порядкѣ?

— В порядкѣ. Я вѣдь так провѣрял, для очистки совѣсти, Гришка велѣл. А что-ж, пожалуй, можно закурить, а? Дворника нѣт, — сказал Ширяев, чиркая спичкой. По углам опять что-то прошумѣло с отвратительной торопливостью.

— У меня мысль, — сказала она, старательно улыбаясь, хотя он не мог ее видѣть. — Что, еслиб я вышла к полотну? В сараѣ двум человѣкам нечего дѣлать. Коммутатор вѣдь у самаго отверстія, вы можете смотрѣть в отверстіе и держать руку на коммутаторѣ.

— Какая же будет выгода?

— Та выгода, что одна пара глаз хороша, а двѣ лучше.

— Ну что-ж, ма фуа. Только далеко не уходите.

— Куда же далеко? Совсѣм близко.

Она вышла из сарая, вздохнула с облегченіем и, увязая в снѣгу, сдѣлала нѣсколько шагов по направленію к полотну. «Турки черны и горбаты — Сами всѣ-то оборваты...» — доносилось со стороны забора. «Ни зги не видать... Теперь вѣрно уже скоро... Но что, если поѣзд опоздает?» — подумала она, чувствуя, что долгаго ожиданія не вынесет. Она вспомнила о Желябовѣ, и это ее укрѣпило. «Гдѣ он теперь? Конечно, тоже не сводит глаз с часов и волнуется больше меня. На днях увидимся, если останусь жива. Шансы есть»... Вдруг далеко впереди она увидѣла красные огоньки. Тысячу раз она себѣ представляла, к а к их увидит, — и теперь беззвучно что-то закричала, бросилась назад к сараю, увязла в сугробѣ и, задыхаясь, оглянулась: огоньки со страшной быстротой неслись прямо на нее.

— Степан! — закричала она не своим голосом и, сдѣлав еще нѣсколько шагов, изо всей силы обѣими руками застучала в стѣну. — Степан! Идет! Бейте! Степан!...

Ширяев, увидѣвшій огни на мгновеніе позже, чѣм она, позднѣе об'яснял товарищам, что у него не сомкнулась спираль. Однако, другой партійный техник, Гришка, только качал головой: думал, что этого никак не могло быть. Окутанный дымом поѣзд, с летѣвшими за ним искрами, пронесся мимо дома. Схватившись за голову, Ширяев с фонарем выбѣжал из сарая.

— Застопорилась! Не сомкнулась! — Я не думал, что он так быстро!... Что же это? — Плохой коммутатор!... Развѣ я виноват?—Все пропало!...—Совсѣм короткій был поѣзд!—Да как же вы! — Дворник что скажет? Господи! — Ничего нельзя было разглядѣть: дым! — отчаянным шопотом одновременно говорили они, не слушая и не понимая друг друга. «...Гоц калина, Гоц малина», — орал пьяный голос. Вдруг Ширяев замолчал и лѣвой рукой толкнул Перовскую. При свѣтѣ фонарика, который он держал в поднятой рукѣ, она увидѣла, что

он расширенными глазами смотрит поверх ея головы. На них неслись новые огоньки. Нѣсколько секунд они смотрѣли друг на друга, лишившись рѣчи. Оба успѣли подумать, что Желябов не мог знать с точностью, в каком поѣздѣ ѣдет император. Ширяев ахнул, поднял еще выше фонарь и бросился в сарай. Она побѣжала по снѣгу за ним, оглянулась и отчаянно закричала: «Сейчас! Вот-вот! Степан, бейте!... Степан!»... Звуки гармоніи оборвались. Ширяев повернул коммутатор. Раздался страшный оглушительный удар, перешедшій в грохот, треск, лязг желѣза.

Они побѣжали к забору. Сзади несся все нароставшій дикій шум. Посрединѣ двора Ширяев остановился, схватил ее за руку и побѣжал с ней дальше. У забора она оглянулась. На желѣзной дорогѣ, как раз против дома, что-то горѣло багровым огнем. Ей показалось, что поѣзд был чудовищной вышины (позже они узнали, что вагоны взгромоздились один на другой, затѣм рухнули под откос вверх колесами). — «Карр-раул!»... «Городовой!»... — вопил кто-то страшным голосом. К полотну бѣжали люди. Пронзительные крики неслись со всѣх сторон.

IV.

. . . . . .

V.

В Рождественскіе дни полагалось говорить, что никакой встрѣчи Нового Года не нужно: «Надоѣло, господа, надо же честь знать, да и время, знаете, не располагающее к торжествам. Уж я-то во всяком случаѣ останусь дома и ранехонько лягу спать!» Михаил Яковлевич этого не говорил. Он очень любил 31-ое декабря, необычайное оживленіе на улицах, переполненныя кондитерскія и магазины цвѣтов, столпотвореніе у Елисѣева и в Милютиных лавках, вечером стол, на котором от блюд и бутылок, от серебра и фарфора почти не видна скатерть, множество людей, собиравшихся ранехонько лечь спать, шум,

средняго остроумія шутки, и, наконец, бой часов, шампанское, «с Новым годом, с новым счастьем!» У него была и примѣта: веселая встрѣча — удачный год.

В прошлом году встрѣча была не очень веселой. Чернякова пригласил заслуженный профессор астрономіи Платон Модестович Галкин, старый холостяк, либерал и один из самых гостепріимных людей Петербурга. Его уже лѣт сорок называли душой общества. Профессора Галкина всѣ любили и, несмотря на его доброту (или вслѣдствіе его доброты), всѣ над ним подсмѣивались. Было не больше причин разсказывать анекдоты о нем, чѣм о множествѣ других людей, — обычай случайно создался и случайно укрѣпился. Остряки говорили, что у Платона Модестовича только двѣ страсти в жизни, зато бурныя, — письма в редакцію и собственные юбилеи: «он празднует юбилей и на Платона, и на Аристотеля». Студенты увѣряли, что он на своем вѣку уже два раза видѣл комету Галлея, появляющуюся в небѣ каждые семьдесят пять лѣт; Галлей был любимым астрономом профессора Галкина, — как-то на публичной лекціи Платон Модестович его демонстративно, в пику Наполеону, назвал величайшим человѣком, когда-либо жившим на островѣ св. Елены. Профессор изрѣдка печатал стихи за подписью «Платон» или «П. Модестов». В застольных рѣчах ораторы неизмѣнно цитировали, с шутливой значительностью, «стихи одного талантливаго юнаго поэта, имя котораго я, к сожалѣнію, забыл», а Платон Модестович застѣнчиво улыбался. На встрѣчѣ Новаго Года он поднял бокал «за то, чего мы всѣ страстно желаем» (разумѣлась конституція); затѣм пили за здоровье «самаго молодого из всѣх нас». Михаил Яковлевич признавал, что и тосты, и блюда, и вина «вполнѣ пріемлемы»; однако ему казалось, что все — то да не то, и что от хозяина, от его роскошной серебряной бороды, от его переходящаго в красную плѣшь высокаго лба, вѣет непроходимой скукой. Послѣ дессерта профессор Галкин сидѣл в концѣ длиннаго стола с молодежью и хвалил новыя вѣянія в литературѣ: Льва Толстого, Константина Станюковича. Профессора средних лѣт любезничали с курсистками, — «разрѣшите трях-

нуть стариной», — но курсистки конфузились и повидимому предпочитали общество студентов. Послѣ ужина молодежь незамѣтно исчезла. Михаил Яковлевич уѣхал рано, в третьем часу, и, возвращаясь, думал, что вѣрно 1879 год окажется неудачным. — В этом году он женился на Лизѣ Муравьевой.

Его смутныя надежды не сбылись: брак оставался фиктивным.

Из за кончины Дюммлера рѣшено было устроить очень скромную свадьбу. Елизавета Павловна была скорѣе этому рада, но ее забавляло, что она в траурѣ по случаю смерти царскаго министра. Вернувшись из Эмса, Павел Васильевич смущенно заговорил о приданом. Черняков замахал руками и сказал, что не хочет слушать. Павел Васильевич тоже отчаянно махнул рукой и ушел в свой кабинет. Он туда уходил от всѣх домашних непріятностей. У его дочерей это называлось: «папа ушел к Максвеллю», — почему-то это сочетаніе слов напоминало ругательство. В тот же день, оставшись с дочерью наединѣ, профессор сунул ей чек на пять тысяч совершенно так, как суют взятку мелкому чиновнику.

— Милая моя, это тебѣ на первые расходы. Ну там на туалеты, или на свадебное путешествіе, или на что хотите. Ты, кажется, говорила о шубѣ? Так уж позаботься об этом сама. С Мишей, — старательно выговорил Муравьев уменьшительное имя своего будущаго зятя, — говорить о деньгах невозможно. Я прекрасно его понимаю, но непремѣнно хочу, чтобы у тебя были свои деньги. Я буду давать тебѣ каждый мѣсяц... А то могу дать и сразу побольше? Тогда я возьму под вексель или продам рощу.

Елизавета Павловна дѣловито взглянула на цыфру чека и, смѣясь, поцѣловала отца.

— Папа, вы прелесть. Ваши деньги мнѣ очень пригодятся. Да, я сошью себѣ шубу, — сказала она, соображая, какую часть денег отдать партіи. Первая мысль ея была отдать все. «Однако шуба мнѣ дѣйствительно нужна, и не только шуба»... Подсчитав мысленно расходы, она рѣшила отдать двѣ трети. —

Нѣт, брать деньги под вексель, разумѣется, незачѣм, — добавила она, догадываясь, что и эти пять тысяч были взяты у процентщика. — Отлично, вы будете давать мнѣ что можете каждый мѣсяц. А рощу, конечно, продайте, как и все ваше имѣніе... Как зовут этого плантатора в «Хижинѣ дяди Тома»? Вы очень на него похожи.

Вечером, в театрѣ, она так же весело разсказала жениху о разговорѣ с отцом. Черняков слушал, морщась. Он без колебанія предпочел бы, чтобы Павел Васильевич не давал дочери ничего. Михаил Яковлевич догадывался, куда пойдут деньги, и это его раздражало.

— Хотите, чтобы я вам открыл текущій счет в моем банкѣ? — угрюмо спросил он.

— Нѣт, я живо все пристрою, — отвѣтила Лиза, чтобы подразнить его. В самом дѣлѣ она пристроила деньги быстро. Отдала партіи половину, заказала шубу, купила немало вещей, подарила соболій «гарнитур» Машѣ, которая почти обезумѣла от радости. Она мечтала о гарнитурѣ — и это был подарок Лизы!

Михаил Яковлевич рѣшил, что надо, хоть из приличія, поднести невѣстѣ подарки, как это ни казалось ему глупым при фиктивном бракѣ. Знакомая дама ѣздила с ним по магазинам. «Вот за эту прелесть, я увѣрена, Лиза просто вас расцѣлует», — говорила она. В мебельном магазинѣ, гдѣ его знали, приказчик с почтительно-игривой улыбкой спрашивал, желает ли он пріобрѣсти двуспальную кровать или двѣ кровати. «За всю жизнь столько не лгал и столько не краснѣл, как в этот мѣсяц», — думал Михаил Яковлевич. Он впервые в жизни стал худѣть, и за обѣдом, кромѣ лафита, пил водку.

Свадьба состоялась в ноябрѣ. Шаферами были Петр Алексѣевич и Мамонтов. На небольшом семейном обѣдѣ Черняков всѣм об'яснял, что в разгар академическаго сезона никак нельзя уѣхать в свадебное путешествіе. Ему казалось, что Мамонтов с любопытством поглядывает на него и особенно на Лизу. — «Она очень хороша, твоя невѣста, и лицо характерное. Помнишь Рафаэлеву «Юдифь»? — сказал Николай Сергѣевич.

Черняков не помнил, но это замѣчаніе показалось ему непріятным.

То, что он с насмѣшкой над самим собой называл «семейной жизнью», оказалось еще болѣе мучительным, чѣм приготовленія к свадьбѣ. «Самое постыдное, самое идіотское был первый вечер, наш комическій "enfin seuls!" — позднѣе вспоминал он. Они остались с Лизой на вы. Правда, так было коегдѣ принято, но Михаилу Яковлевичу это казалось оригинальничаньем дурного тона. Разговаривали они в прежней манерѣ подтрунивающих друг над другом пріятелей. Иногда ему казалось, что все это какая-то затянувшаяся глупая шутка.

О фиктивности брака не знал никто, — по крайней мѣрѣ в его обществѣ (он подозрѣвал, что пріятели Лизы, революціонеры, знают). Поговорить было не с кѣм. Как-то ему пришла мысль, не сказать ли сестрѣ. Но он тотчас от этого отказался: представил себѣ изумленіе, растерянность, ужас, которые изобразятся на лицѣ Софьи Яковлевны. Встрѣчи с ней теперь также доставляли ему мало радости. Послѣ смерти мужа Софья Яковлевна почти не выходила из дому и принимала только самых близких людей. Она часто плакала и разговаривать с ней было нелегко. Черняков нерѣшительно совѣтовал ей уѣхать отдохнуть заграницу. — «Да, может быть»... «Да, в Швейцарію»... «Да, но надо устроить Колю», — отвѣчала она и переводила разговор. Раза два он побывал у нея с Лизой. Разговор не клеился. Позднѣе Софья Яковлевна очень хвалила его невѣсту, говорила, что она красавица. Михаил Яковлевич слушал смущенно: ему казалось, что Лиза его сестрѣ не нравится.

При послѣднем визитѣ Чернякова, когда он, отбыв свои полчаса, поднялся, Софья Яковлевна спросила его, гдѣ они встрѣчают Новый год.

— Еще не знаю, — отвѣтил он и опять покраснѣл. Его звала редакція журнала, но Лиза кратко, без колебаній, заявила, что должна быть в другом мѣстѣ. Идти один Михаил Яковлевич не хотѣл и не мог.

— Я спрашиваю не спроста. Я думала, что у вас соберутся люди, и хотѣла просить тебя пригласить бѣднаго Колю.

— Развѣ он никуда не приглашен?

— Нѣт, куда же? Мы всегда встрѣчали Новый Год у нас, сказала Софья Яковлевна, и на глазах у нея показались слезы. — Всѣ знают, что он в траурѣ. Идти куда-нибудь в ресторан гимназисту нельзя и незачѣм. Но если у вас будет нѣсколько человѣк, то к вам он пошел бы с радостью. Он так любит и тебя, и Лизу.

— Лиза тоже очень его любит. Видишь ли, она собственно куда-то приглашена, но...

— Твоя жена приглашена встрѣчать Новый Год без тебя?

— Нѣт, мы оба приглашены, но я навѣрное не пойду, а она еще не знает, — поспѣшно сказал Черняков. Софья Яковлевна удивленно на него смотрѣла. — Во всяком случаѣ мы 31-го устроим маленькій обѣд или, скорѣе, ужин. Скажи Колѣ, что я непремѣнно его жду в семь часов.

— Я буду вам обоим очень благодарна. Однако, если ты для этого отказываешься от приглашенія?

— Нѣт, я уже отказался. Я тебѣ потом разскажу. Кажется, Лиза хотѣла пригласить к обѣду еще кой-кого. Во всяком случаѣ до одиннадцати и она будет дома. Мы будем очень рады Колѣ. Тебя я не зову, зная, что ты не придешь, — говорил Михаил Яковлевич все болѣе смущенно.

Коля как раз появился в гостиной и радостно поздоровался с дядей.

— Талан на майдан, — сказал он. Софья Яковлевна, только что с такой нѣжностью говорившая о сынѣ, вспыхнула.

— Я сто раз просила тебя не говорить на этом дурацком языкѣ!

Коля приложил руку ко рту. С нѣкоторых пор, точно в знак протеста против чопорнаго строя их жизни, он усвоил, в подражаніе кому-то, малопонятный воровской жаргон, крайне раздражавшій Софью Яковлевну.

— У вас отличная мысль: обѣд — сказала мужу Елизавета Павловна. Она была в хорошем настроеніи духа. Это с ней в послѣднее время слу̀чалось рѣдко; всѣ находили, что Лиза

стала очень нервна. — Но для одного Коли, конечно, устраивать обѣд не стоит. Нам давно слѣдовало бы пригласить папа и Машу. Ваша сестра не придет?

— Что вы! Она теперь нигдѣ не бывает. Уж если не была у нас на свадьбѣ!

— Значит, сколько же нас будет? Нас двое, двое моих и ваш Коля? Пять человѣк, мало. Надо позвать кого-нибудь еще. Петра Великаго?... Но говорю заранѣе: в одиннадцать я вас покидаю.

— Я надѣюсь, что вы вернетесь, — мрачно сказал Черняков. — То есть, что полиція не нагрянет туда, куда вы, очевидно, собираетесь.

— Я тоже надѣюсь. Впрочем, в ночь на Новый Год Третье Отдѣленіе отдыхает.

— В средніе вѣка это называлось la trêve de Dieu.

Этот неожиданный обѣд ставил Михаила Яковлевича в затруднительное положеніе. Для сестры он что-то придумал: Лиза давно обѣщала одной чахоточной подругѣ выпить с ней бокал шампанскаго на Новый Год, нельзя огорчать больную. Однако, другіе гости, Муравьев, Маша, доктор, знали, что никакой чахоточной подруги у Лизы нѣт. Немного поколебавшись, Черняков сказал им то, что считал правдой: Лиза обѣщала побывать на вечеринкѣ в радикальном кружкѣ.

— Так уж ей приспичило, нашему ндраву не препятствуй, — сказал он Павлу Васильевичу, принужденно улыбаясь. Я же этого ея milieu, как вы знаете, не люблю.

Муравьев вздохнул, тоже нѣсколько удивленный.

— Тогда и я уѣду от вас рано. Меня на бѣду позвал Платон Модестович, а я уже раза три отказывался от его приглашеній.

— Но Маша пусть останется и выпьет с нами шампанскаго. Коля проводит ее домой. Или Петр Великіій.

— Лучше Петр Алексѣевич. Или они оба. На улицах в эту ночь много пьяных, — сказал профессор.

Наканунѣ обѣда Лиза сообщила мужу, что пригласила еще одного гостя: Валицкаго.

— Так, ни с того, ни с сего взяла и пригласила. Дурь нашла!

— Это тот угрюмый офицер, который ѣздил сражаться с турками? Совсѣм он к нашему сем... к нашему кружку не подходит.

— Он давным давно забыл, что ѣздил сражаться с турками. Вы правы, но что же теперь дѣлать? — спросила Лиза. Она в самом дѣлѣ не знала, зачѣм пригласила Валицкаго, который вдобавок принял приглашеніе неохотно и нелюбезно. — А офицером он, кажется, и не был.

— Кто же он: народоволец или чернопередѣлец? — освѣдомился Михаил Яковлевич с иронической почтительностью.

— Ни то, ни другое. Впрочем, не знаю. Вы недовольны?

— Напротив, рад и счастлив, как всѣм и всему... Он со мной скорѣе даже был любезен. За руку поздоровался! Правда, с таким видом, точно хотѣл что-то этим доказать. Вѣрно так в сѣверных штатах Америки радикалы здороваются с неграми.

VI.

Павел Васильевич вѣрил в «яблоко Ньютона», но думал, что для открытія закона всемірнаго тяготѣнія нужна была долгая умственная работа, перемежавшаяся с работой безсознательнаго начала: «Ньютон, вѣроятно, и до того дня не раз видѣл, как яблоки падают с яблони. Открытія дѣлаются аппрошами. А счастливая мысль, то, что так пышно называется вдохновеніем, озаряет человѣка — если озаряет — гдѣ угодно и когда угодно. Вполнѣ возможно, что я найду яблочко сегодня за новогодним ужином, слушая вдохновенную рѣчь Платона Модестовича», — думал он, улыбаясь.

Никакого открытія он не сдѣлал, но работа, по внѣшности как будто безплодная, в дѣйствительности шла превосходно. Занятія со студентами в рождественскіе дни его не отвлекали, гостей, послѣ выхода замуж Лизы, в домѣ бывало гораздо

меньше, — Муравьев цѣлые дни думал, то за столом с пером в рукѣ, то лежа на диванѣ в кабинетѣ, то гуляя: дочери требовали, чтобы он каждое утро уходил на прогулку в Лѣтній Сад. Павел Васильевич все время испытывал такое чувство, какое может испытывать кладоискатель, когда, по нѣкоторым, еще неясным, признакам, ему кажется, что он на вѣрном пути.

Вечером 31-го декабря Маша зашла в кабинет, чтобы напомнить отцу об обѣдѣ. Он оторвался от записной книжки и с минуту смотрѣл на нее так, точно не знал, кто она такая и на каком языкѣ говорит. Затѣм Павел Васильевич опомнился.

— Ах, да, обѣд! Я было и забыл. Я сейчас, Машенька, сейчас, — сказал он смущенно и, окончательно придя в себя, похвалил новое платье дочери.

— Вы, папа, надѣнете фрак? К Лизѣ, конечно, не надо, но к вашему астроному?

— И к астроному не надо. Вот только повяжу галстух и мы можем ѣхать.

Маша поцѣловала его в лоб. Она в этот вечер была в тревожном и восторженном настроеніи; это приходилось держать в величайшей тайнѣ.

— Экипаж п-подан, — сказала она с веселой торжественностью. Рысак, купленный в свое время Елизаветой Павловной, оставался у Муравьевых. У Михаила Яковлевича конюшни в домѣ не было, он не мог и не хотѣл держать лошадей, да и Лизѣ рысак давно надоѣл. Но продать его и разсчитать кучера было дѣлом, превышавшим силы Павла Васильевича.

— Вы только нас довезете к сестрѣ, Василій, а потом возвращайтесь и встрѣчайте Новый Год, — еще днем успокоила кучера Маша: она неизмѣнно оберегала интересы л ю д е й. На праздничные подарки и обѣды для прислуги у Муравьевых отпускалось вдвое больше денег, чѣм у других; Маша входила в подробности, совѣщалась с няней, достаточно ли будет одного гуся, хватит ли водки и наливки.

В экипажѣ она закутала шею горжеткой и сказала отцу:

— Папа, ради Бога, не открывайте рта. Вы всегда забываете, что у вас катарр.

Павел Васильевич улыбнулся. «Совсѣм как покойная Аня. И голос, и интонація тѣ же», — подумал он и поцѣловал дочь. От нея пахло духами и мѣхом.

— Твой... как вы называете эту штуку? — твой гарнитур очень красив.

— Спасибо... Папа, вы когда уѣдете от Лизы к астроному?

— Он звал к десяти, но можно, конѣчно, пріѣхать и позже.

— Я не совѣтовала бы вам очень опаздывать, — сказала Маша, успокоившись. «Лишь бы не отказала в послѣднюю минуту»...

Михаил Яковлевич и Коля вышли им навстрѣчу в жарко натопленную переднюю.

— Шайтан на гайтан, — сказал Коля и окинул снисходительным взглядом туалет Маши. — Ничего себѣ пальтуганчик.

— Пальтуганчик это моя шубка? Вы еще не видѣли? — Маша отлично знала, что он еще не видѣл. — А гарнитур подарок Лизы. Отчего вы в штатском, Коля?

— Потому, что я хочу лататы задать. Но это, канареечка, вас не касается.

— Мороз, папа? Какой же это мороз! Для меня, если меньше тридцати градусов, то это Италія, — говорила выбѣжавшая из кухни Лиза, быстро цѣлуя отца и сестру. — Идите в кабинет... Коля, помогите же ей снять ботики, будьте как взрослый. Я бѣгу, я занята индѣйкой.

— Она сама ее ощипала и зажарила, — сказал саркастически Михаил Яковлевич. — Гости кто? Петр Великій, — вполголоса отвѣтил он тестю. — Еще нѣкто Валицкій, вы, впрочем, его знаете. Такой радикал, такой радикал, что сил никаких нѣт! Покойный Робеспьер по сравненію с ним был умѣренный консерватор! Больше никого, Мамонтов не мог прійти.

— Я переколю булавки у тебя в комнатѣ. Можно? — спросила Маша с мольбой в голосѣ и увела сестру в спальную.

Она всегда краснѣла, входя в эту комнату. — Ну что? Что они сказали? Они согласились?

— Согласились, — нехотя отвѣтила Лиза. — Но я думаю... — Она не успѣла сказать, что думает: Маша уже осыпала ее поцѣлуями. — Какая ты глупая! Точно это спектакль! Конечно, сегодня опасность невелика. Но я не взяла бы тебя, еслиб не думала, что это твое право... Ну, хорошо, иди в кабинет.

— Еще один раз! Послѣдній, — сказала Маша и, поцѣловав сестру, убѣжала. Она была совершенно счастлива.

— Все-таки, отчего же вы в штатском? Вам очень к лицу, — сказала она Колѣ в передней. Ей теперь хотѣлось хвалить всѣх и все.

— Оттого, что я собираюсь дернуть отсюда к Донону. — Маша изобразила на лицѣ почтеніе и восторг. — Вот что, Машенька, вас-то я и жду. Скажите, пожалуйста, дядѣ, что его просят в гостиную.

— Кто просит?

— Не водите вола, канареечка. Скажите: просят.

— П-попросите очень, очень вѣжливо, тогда скажу. Иначе не скажу.

— Отстаньте... Ну, ладно, прошу очень вѣжливо.

— То-то, а не «не водите вола», — сказала Маша. Ее, впрочем, приводил в восторг его новый язык. — Сейчас скажу.

Коля вошел в гостиную и принялся разсматривать книги. Это было его любимое занятіе. Софья Яковлевна говорила, что половина эрудиціи, которой он удивлял старших, идет от изученія книжных витрин, полок и каталогов.

— Как, это ты? — спросил, входя, Михаил Яковлевич. — В чем дѣло?

— Дядя, у меня к тебѣ конфиденціальная просьба. Обѣщай исполнить.

— Если не очень глупая конфиденціальная просьба, изволь, исполню.

— Я собираюсь нарѣзать винта в одиннадцать.

— Вот что, мой друг, я воровского языка не знаю, ты меня смѣшиваешь с Ванькой-Каином. Говори по человѣчески.

— Я хочу от вас уйти в одиннадцатом часу.

— Как? И ты? Это почему?

— Мой секрет. Но если мама тебя спросит, когда я ушел, скажи, что в третьем часу ночи.

— Tiens, tiens! — сказал Черняков, глядя на него с удивленіем. — То-то ты в штатском! Скажи сначала, куда ты хочешь пойти.

— Ты, однако, обѣщал.

— Я сказал: если не очень глупая просьба.

— Стоит ли поднимать шухер?... Впрочем, так и быть, скажу. Мы сегодня собираемся компаніей к Донону. Мнѣ не хочется уходить от вас, но... Я даже хотѣл утром послать тебѣ записку, что не буду.

— Только этого не хватало бы! — с возмущеніем сказал Михаил Яковлевич. «Из за него затѣян весь этот обѣд, а он, клоп, послал бы записку, что не будет!... Вот тебѣ, однако, и траур!» — подумал Черняков, немного оскорбившись за Юрія Павловича. Он посмотрѣл на Колю и подавил вздох. «Я сам такой». — Дай честное слово, что прямо от Донона ты вернешься домой, — потребовал он, немного подумав.

— Разумѣется, даю слово, — сказал Коля. Хотя в его тонѣ слышалась нѣкоторая досада, Михаил Яковлевич видѣл, что он говорит правду.

— Ну, что-ж, Бог с тобой, я готов тогда соврать мамѣ.... А не поймают вас? Но как же при твоих революціонных убѣжденіях идти к Донону? В каком, кстати, состояніи твои финансы?

— У меня есть карась, — тревожно сказал Коля. — Виноват, десять рублей. Развѣ может не хватить?

— Экой богач!... Вот тебѣ еще от меня полкарася, тогда хватит навѣрное.

— Merci beaucoup! Какой пріятный сюрприз! А смолки не дашь, дядя?

— Это папиросы? Разумѣется, не дам.

Хозяйство в домѣ всецѣло лежало на Михаилѣ Яковлевичѣ. Лиза не обратила никакого вниманія на купленные им перед свадьбой серебро, фарфор, столовое бѣлье. «В отца пошла», — уныло думал Черняков. Это было не совсѣм вѣрно. У Павла Васильевича, считавшаго умственную работу единственным важным дѣлом в жизни, презрѣніе ко всему внѣшнему, свѣтскому, к условностям моды, к условной distinction, было безгранично и незамѣтно. У Елизаветы Павловны это пренебреженіе сказывалось не всегда и не во всем, и она порою им щеголяла. В сколько-нибудь чопорном обществѣ Лиза держалась как н и г и л и с т к а, но среди революціонеров иногда появлялась в дорогих модных платьях, хотя они вызывали там насмѣшки. Домом она интересовалась мало, запах кухни, вид сырого мяса, окровавленной птицы вызывали у нея отвращеніе. Елизавета Павловна охотно подбросила хозяйство мужу и говорила, что он превосходно со всѣм справляется.

У них была хорошая кухарка, напоминавшая старых преданных слуг в театральных пьесах; ее даже звали Агафьей. Была хорошенькая горничная, выбранная Михаилом Яковлевичем не совсѣм случайно. (Лиза, впрочем, и не замѣтила, что он хотѣл возбудить в ней ревность). С внѣшней стороны все, вообще, было, по мнѣнію Чернякова, «как у людей», т. е. как у семейных профессоров, адвокатов, писателей, зарабатывавших пять-шесть тысяч рублей в год. Елизавета Павловна обычно гдѣ-то пропадала цѣлый день, возвращалась домой к обѣду и, как гостья, хвалила подававшіяся блюда. Случалось, она не приходила и обѣдать. Им тогда овладѣвала тревога. Горничная, ему казалось, смотрѣла на него с сочувственным недоумѣніем. Михаил Павлович понимал, что скрыть правду об его бракѣ можно от всѣх, кромѣ этой горничной, и морщился, представляя себѣ ея разговоры с кухаркой. Черняков чувствовал также, что, еслиб Лизу арестовали, то, помимо всего прочаго, ему было бы очень стыдно перед прислугой. Он стыдился этого чувства, сам признавал его мѣщанским, но знал, что отдѣлаться от него не может.

— Я все-же надѣюсь, что у нас склада революціонных

изданій не будет? — не совсѣм шутливо спросил Михаил Яковлевич жену вскорѣ послѣ свадьбы.

— Ну, это мы еще посмотрим, — отвѣтила она.

Неожиданно перед новогодним обѣдом у Елизаветы Павловны начался, по замѣчанію Чернякова, припадок хозяйственной дѣятельности. Она «взяла все на себя», попросила отца прислать экипаж и утром ѣздила по гастрономическим магазинам. Михаил Яковлевич был очень доволен и хвалил купленные ею закуски, паштеты, напитки.

— Нѣт, этого не трогайте, — остановила его Лиза, когда он хотѣл разрѣзать веревки на самом большом тяжелом сверткѣ. — Это не для нас.

— Слушаю-с, — сказал Черняков, скрывая раздраженіе. Он совершенно не жалѣл денег, но ему было досадно, что о н и сегодня ночью будут ѣсть и пить на его средства.

— Это для моей чахоточной подруги, — так же иронически сказала Лиза.

За обѣдом, как теперь вездѣ, говорили о «Народной Волѣ» и о взрывѣ поѣзда под Москвой. Доктор разсказывал нѣкоторыя подробности дѣла. У Петра Алексѣевича, благодаря Дюммлерам, образовалась практика среди высших должностных лиц Петербурга. Они знали его взгляды, но дѣлились с ним сплетнями о других высоких должностных лицах, а иногда сообщали ему новости, которыя публикѣ были неизвѣстны.

— ...Он мнѣ сказал, что один из главных участников подкопа, нѣкій Ширяев, арестован. Другим удалось спастись. А главный, Лев Гартман, тот, что выдавал себя за купца, уже будто бы скрылся заграницу.

— Я тоже слышал. Но как эффектно вы выражаетесь: «выдавал себя за купца»! На самом дѣлѣ он, говорят, бывшій бухгалтер, — сказал Черняков, искоса поглядывая на жену, разливавшую по тарелкам суп (это тоже было проявленіем хозяйственнаго припадка). Лиза как будто и не слушала доктора. «Притворяется или дѣйствительно ничего не знает?» — спросил себя Михаил Яковлевич.

— А жена Сухорукова, как они думают, нѣкая Перовская, — сказал доктор.

— Это та самая Перовская, о которой путаник Мамонтов в свое время просил похлопотать мою сестру, — раздраженно замѣтил Михаил Яковлевич. — Хороша бы Соня теперь была, еслиб не отказалась! Мамонтов у́же тогда сочувствовал революціонному движенію, а теперь с ним просто невозможно разговаривать.

Черняков знал, что тут так говорить не слѣдовало, и видѣл это по лицам жены и гостей. Но в послѣднее время он плохо владѣл собой; в этот же день с утра настроился на раздраженіе.

— Говорят, эта Перовская принадлежит к высшей придворной аристократіи. Будто бы она еще недавно на балах в Зимнем Дворцѣ танцовала с великими князьями.

— Едва ли. Я немного знал ея отца, — сказал Муравьев. — Не очень хорошій был человѣк, настоящій деспот. Они небогаты и, насколько мнѣ извѣстно, к придворной аристократіи не принадлежат. Эту бѣдную дѣвушку я не знал.

— Почему же она «бѣдная дѣвушка»? — спросил Коля, не желавшій все время молчать в обществѣ взрослых. Но профессор ничего ему не отвѣтил.

— А вы, Иван Константинович, знали Перовскую? — спросил доктор Валицкаго, который, по своему обыкновенію, молчал.

— Да, встрѣчал.

— Что же вы о ней думаете, если не слишком нескромно вас об этом спрашивать?

— Ничего не думаю... Они недавно приговорили царя к смерти. По моему, это чрезвычайно глупо.

Павел Васильевич одобрительно кивнул головой. Он никак не ожидал таких слов и был пріятно удивлен.

— Тут не может быть двух мнѣній! — сказал Муравьев

— Тут могут быть два мнѣнія, папа! И даже очень могут быть! — отвѣтила Лиза рѣзко. Маша измѣнилась в лицѣ.

— Это чрезвычайно глупо, как почти все, что дѣлают

народовольцы, — продолжал Валицкій, не обратившій никакого вниманія на слова Муравьева и Лизы. — Глупо потому, что убійства отдѣльных лиц безполезны и безсмысленны. Это все равно, как еслиб мы в турецкую войну старались убить Османа-пашу или, тѣм паче, пашу самаго зауряднаго. Убьют Александра Второго — будет Александр Третій или Александр Тридцать третій. Террор может быть только массовый, послѣ захвата власти, — пояснил Валицкій. Павел Васильевич понял, что поторопился с одобреніем. Он только вздохнул.

— Ах, массовый, — сказал Черняков.

— Массовый террор вродѣ того, который, захватив власть, осуществляли французскіе якобинцы.

— Ах, якобинцы, — сказал Черняков.

— Я не сторонник террора, — возразил доктор, — но ваша аналогія мнѣ представляется невѣрной. Есть разница между войной и революціей.

— Никакой разницы нѣт. Кто видѣл вблизи войну, тот может понять революцію. И только тот.

— Ну, хорошо, не будем останавливаться на этом побочном вопросѣ, тѣм болѣе, что я на войнѣ не был, — сказал смущенно Петр Алексѣевич. Он всегда чувствовал себя виноватым, когда говорил с участниками войны, а теперь начинал чувствовать свою вину и в разговорах с участниками революціи. — Основная проблема текущаго момента: считаем ли мы возможным немедленное осуществленіе и торжество соціализма?

— Кажется, вы «склоняетесь к соціализму», Петр Великій, — саркастически спросил Черняков. — Или еще недавно склонялись? Я ужасно люблю это выраженіе «склоняться к соціализму». А как вы, Павел Васильевич? Вы соціалист?

— Что это он все нынче ругается? — шутливо сказал Муравьев, подавляя зѣвок. — Один мой нѣмецкій коллега говорит, что мы всѣ теперь немного вольтеріанцы. А мнѣ позвольте сказать, что мы всѣ теперь немного соціалисты...

— Если немного, то Бог простит.

— Мой соціализм очень простой, неученый: я считаю,

что никто не должен имѣть на семью в год менѣе трех тысяч и болѣе тридцати тысяч рублей дохода.

— Это, конечно, просто и мило. Но как это сдѣлать?

— Многіе находят, что необходимо обобществленіе средств производства. По моему, вопрос гораздо проще разрѣшается соотвѣтственным подоходным налогом.

— Почему же люди будут работать, если налог будет конфисковать их доход?

— Потому, что пріятнѣе имѣть в год тридцать тысяч, чѣм три.

— Да такую налоговую систему и установить нельзя: люди будут скрывать доходы.

— На моей памяти то же самое говорили обо всѣх серьезных реформах: «развѣ возможно освобожденіе крестьян?», «развѣ можно обучить солдата без двадцатилѣтней военной службы?», «развѣ можно отмѣнить цензуру?» Пусть сажают в тюрьму уклоняющихся — и люди научатся платить налоги.

— Важно, думаю, не то, как уменьшить большіе доходы до тридцати тысяч, а как поднять маленькіе до трех? — сказал доктор. — Однако я не спорю. Мнѣ неясно, нужна ли соціалистическая революція. Я признаю, что «революціи — локомотивы исторіи», но вѣдь разныя революціонныя теченія между собой не сходятся. Вот у нас есть теченіе, близкое к якобинцам. Чего же оно требует? Неужели ему нужны двѣсти тысяч голов? — обратился он к Валицкому.

— Головы бывают разныя. За одну голову, напримѣр, Карла Маркса можно отдать и всѣ двѣсти тысяч.

— Вот как? Я, конечно, не марксист, — сказал Черняков, — но я читал «Капитал» и там никаких голов нѣт и в поминѣ, ни двухсот тысяч, которых требовал душевно больной Марат, ни двухсот, ни двух. Очевидно, Маркс русским доморощенным якобинцам не сочувствует.

— Может быть. А может быть и то, что Маркс не хочет пугать ученых филистеров, да и считается с возможностью судебнаго преслѣдованія. Тѣм читателям, которыми он един-

ственно и дорожит, он предоставляет самим дѣлать выводы из его ученія.

— Какіе же методы предлагают якобинцы? — спросил доктор дипломатично; он не хотѣл спрашивать: «какіе же методы предлагаете вы?»

— Для захвата власти в интересах трудящихся хороши всѣ средства, — отвѣтил Валицкій.

«Не говорит, а ч е к а н и т... На митингѣ он вѣрно и рукой р у б и л бы в воздухѣ на подобіе топора гильотины, но здѣсь мѣшает стол», — с усмѣшкой подумал Павел Васильевич и перестал слушать. Его не раз занимал вопрос об и м и т а ц і и в революціонных процессах. — «Если у нас будет революція, то сколько их разведется, Робеспьеров, Дантонов, Фукье-Тенвиллей! А тѣ имитировали разных Брутов и Кассіев. В этом слѣпом восторгѣ на разстояніи есть нѣчто умилительное: вот как историки театра в к р е д и т восторгаются до экстаза геніем разных Кинов и Гарриков, которых они в глаза не видѣли. Этот, очевидно, самый настоящій Сен-Жюст — вродѣ того vrai cosaque russe, что плясал с кинжалами лезгинку в парижском Казино... Ну, хорошо, но во имя чего же я отношусь к ним отрицательно?» — по своей привычкѣ провѣрил он себя. — «Вѣдь нѣт ничего безсмысленнѣе вселенскаго скептицизма. Я люблю больше всего на свѣтѣ свободу, свободу личную, духовную, политическую. Ее же всего лучше, хоть пока еще не очень хорошо, обезпечивают теченія, называющіяся либеральными. Но я дорожу не тѣм либерализмом, который отстаивает «свободную конкурренцію» в хозяйственной жизни, защищает свободу банкиров, и получает от них инструкціи. Это нехорошая пародія на благородную идею, безсовѣстная узурпація чужого прекраснаго слова. Подлинный либерализм всѣм жертвует ради подлинной свободы человѣка и готов идти на самыя глубокія соціальныя преобразованія для того, чтобы его защитить от разных видов угнетенія. Можно называть это и мирным соціализмом, дѣло не в словѣ: по существу, это одно и то же, хотя наша молодежь считает одно слово ругательным, а другое — патентом на благородство. Над этим

кругом мыслей, конечно, очень легко посмѣиваться, называть его «прекраснодушіем» и другими обидными именами, но посмѣиваются над ним обычно недалекіе или невѣжественные люди, да еще разные глубокомысленные соціальные стратеги, готовящіе себѣ, вѣроятно, одно из самых поразительных Ватерлоо в исторіи. Именно этому прекраснодушію принадлежит будущее, вѣроятно не ближайшее, а болѣе отдаленное. И, к счастью, уже есть в мірѣ среди политических дѣятелей нѣсколько человѣк, отстаивающих либерализм в его единственном настоящем смыслѣ. Только эти люди мнѣ близки и дороги во всей политической жизни міра. Внѣ круга их мыслей почти все кровь или грязь, а чаще всего кровь, смѣшанная с грязью»...

— ...Нѣт, вы все-таки не отвѣчаете на вопрос: какія же именно «всѣ средства»? Вы это скажите! — говорил Черняков все болѣе раздраженно.

— Отчего же, я скажу. По моему, сейчас всего выгоднѣе было бы пустить по народу слух, что наслѣдник престола стоит за революцію и хочет ее возглавить, а царь держит его взаперти. Хорошо было бы также издать от имени царя манифест о том, что его величество, вняв совѣтам своих князей и графов, рѣшил возвратить крестьян помѣщикам. Таким манифестом — и только таким — можно поднять крестьянство на возстаніе, послѣ чего и послѣдовала бы расправа с врагами трудящихся классов. Но ваши народовольцы так же мало на это способны, как... — Валицкій хотѣл сказать «как вы», — как либеральная слякоть.

«Понимаю, Сен-Жюст с Маккіавелли на придачу. Но, быть может, Маккіавелли не стал бы об этом болтать. Хотя кто его знает», — подумал Муравьев. У Михаила Яковлевича медленно расширялись глаза и брови поднимались все выше.

— Да это нечаевщина! — воскликнул он.

— Нечаев и есть, послѣ Маркса, самый замѣчательный революціонер нашего времени. А всѣ эти ваши Перовскія...

— Виноват, она не моя!

Горничная подала индѣйку, и непріятный разговор прервался. Доктор сказал, что у него звѣрскій аппетит и что он

именно мечтал об индѣйкѣ. Маша бросила ему благодарный взгляд.

Павлу Васильевичу было скучно, но он знал, что у Галкина будет еще скучнѣе. «И рѣчь будет о том же. Вся Россія говорит только о революціи и дѣлает вид, будто только о революціи и думает. Тѣ же, кто по настоящему занимаются революціонной работой, едва ли ясно понимают, к чему зовут. Революція это самое послѣднее средство, которое можно пускать в ход лишь тогда, когда больше рѣшительно ничего не остается дѣлать, когда слѣпая или преступная власть сама толкает людей на этот страшный риск, на эти потоки крови. Так ли обстоит дѣло сейчас у нас? По совѣсти думаю: не так, пока не так. Там, гдѣ еще есть хоть какая-нибудь, хоть слабая возможность вести культурную работу, культурную борьбу за осуществленіе своих идей, там призыв к революціи есть либо величайшее легкомысліе, либо сознательное преступленіе. Эти «локомотивы исторіи» обычно везут назад, и только в первое время кажется, будто они везут вперед. Конечно, всякая революція будит народ и освобождает его потенціальную энергію, которая тратится и на добро, и на зло. Потом историки «подводят итоги»! В дѣйствительности же, подвести их невозможно, так как главныя слагаемыя не матеріальныя и учету не поддаются. В какой же исторической катастрофѣ не было никакого добра? От изверженія Везувія погибли десятки тысяч людей, но для историков древняго Рима это изверженіе было кладом. Людовик XIV сам по себѣ был катастрофой и разорил Францію постройкой Версальскаго дворца, но есть ли теперь французы, недовольные тѣм, что Версальскій дворец существует?... Наш Александр Николаевич недурной человѣк и уж во всяком случаѣ лучшій из русских царей, однако, дѣло не в его достоинствах и недостатках: теперь рѣшается вопрос о судьбах Россіи. Перед ней, повидимому, послѣдняя возможность мирнаго болѣе или менѣе безболѣзненнаго развитія и оно может стать сказочным, благодаря ея размѣрам, мощи, богатству, в особенности же благодаря одаренности русскаго народа. Россія сейчас на

волосок от того, чтобы в политическом отношеніи превратиться во вторую Англію, — в Англію с населеніем втрое большим и с территоріей большей раз в семьдесят. Точно такіе же «волоски» были в британской исторіи. Там они не оборвались, а у нас, повидимому, оборвутся. И хуже всего то, что оборвутся они не по чьей-то злой волѣ, а просто из-за чудовищнаго легкомыслія обѣих сторон: бѣсящихся с жиру тупых сановников, и кучки молодых людей, желающих блага Россіи и столь же невѣжественных, как сановники. Волею судеб это даже не русская трагедія, а міровая. Чѣм была бы свободная и мирная Россія в дѣлѣ свободнаго и мирнаго развитія Европы! И не в одном русском могуществѣ здѣсь дѣло. От природы ли, или от нашей странной исторіи, скорѣе же всего просто по случайности, нам достался большій духовный заряд, чѣм другим европейским народам. Мы еще заряжаемся духовно, а они разряжаются, и быть может недалек тот день, когда возникнет опасность превращенія міра в звѣринец, — чистенькій, благоустроенный, сытый, — но звѣринец»...

Павел Васильевич подумал было, не сказать ли здѣсь все это, но не сказал: он не вѣрил, что, внѣ области точных наук, один человѣк может переубѣдить другого. «А уж за индѣйкой и вином разговаривать об этом просто совѣстно»...

— ...Я никак не могу согласиться с вами в том, чтобы ваша политическая программа вытекала из соціологических предсказаній Карла Маркса, — говорил Черняков, сдерживая себя из послѣдних сил.

— Она именно вытекает из предсказаній Маркса, имѣющих силу естественно-научнаго закона, — холодно сказал Валицкій.

— Можно ли это утверждать? — нерѣшительно спросил Муравьев, оглянувшись на зятя. Как ни скучно ему было спорить, он, почти как Коля, чувствовал, что неудобно и молчать все время. — Не думаете ли вы, что какое-нибудь большое научное открытіе может измѣнить ход исторіи и поставить в очень неловкое положеніе людей, занимающихся соціалистическим или не-соціалистическим гаданьем на кофейной гущѣ. («Однако, только что гадал на кофейной гущѣ я сам. Вот так

всегда», — с досадой подумал он). — Философы революціи или контр-революціи создают ту или другую схему, но открытія какого-нибудь Фарадея совершенно мѣняют ход историческаго процесса. Да вот сейчас, — не удержался Павел Васильевич, — если бы кому-либо удалось найти способ настоящаго использованья солнечной энергіи, то человѣческая жизнь измѣнилась бы гораздо сильнѣе, чѣм от десятка глубочайших соціальных революцій.

— Кто к чему, а солдат к солонинѣ, — сказал, смѣясь, доктор. — Павел Васильевич именно и занимается вопросом об использованіи солнечной энергіи.

— Когда вы сдѣлаете это открытіе, а оно сдѣлает ненужной соціальную революцію, тогда и будем говорить, — отвѣтил Валицкій еще холоднѣе.

— Но как, папа, вы не видите, что так дальше жить нельзя. Народ пухнет с голоду, а наверху грабят его послѣднее достояніе, — сказала Лиза и назвала нѣсколькихъ сановников, которых молва обвиняла в казнокрадствѣ.

— Я, как вам вѣроятно извѣстно, не сторонник россійскаго самодержавія, но позвольте узнать: что же в казнокрадствѣ специфически русскаго или специфически «самодержавнаго»? — спросил Черняков. — Казнокрадство существует во всем мірѣ, и даже в Англіи, при существованіи парламента и свободной печати, оно еще не так давно было повальным. Томас Карлейль, с которым я во многом расхожусь и с которым не раз полемизировал («ну, полемика была односторонней», — подумал Муравьев. Его раздражал тон зятя), Карлейль в своем этюдѣ о лордѣ Чатамѣ ставит этому знаменитому государственному дѣятелю в заслугу то, что он не воровал казенных денег, не отдавал их на проценты в свою пользу, не спекулировал ими на биржѣ, как дѣлали другіе британскіе лорды, и это...

— Что-ж, если вы находите смягчающія обстоятельства для казнокрадства.

— Позвольте, это маленькая неточность, чтобы не сказать передержка.

— Дорогая хозяюшка, — поспѣшно вмѣшался доктор. — Вы обѣщали шампанское, а его-то и не видно... Виноват, его как раз несут, беру свои слова назад... Но собственно это против правил! Вы должны остаться с нами до полуночи. Кто же на Новый Год пьет шампанское в десять часов вечера?

— Это предразсудок, доктор, — сказал Коля. — Я по крайней мѣрѣ могу пить шампанское в любое время дня и ночи.

— Устами младенцев глаголет истина, — подтвердила Лиза. — Не хмурьтесь, Коля, всѣ видят, что вы взрослый... Как жаль, папа, что вы обѣщали быть у этого... как его? Выпейте «за то, чего мы всѣ страстно желаем».

VII.

Лиза велѣла извозчику остановиться на перекресткѣ, сняла теплыя перчатки, расплатилась и стала дуть на окоченѣвшіе пальцы. Когда извозчик отъѣхал за угол, она улыбнулась сестрѣ и сказала:

— Теперь пойдем.

Маша, замирая от восторга, поняла, что это была к о н с п и р а ц і я.

— Дай, Лизанька, я понесу сверток.

— Ну, хорошо, теперь неси ты, — согласилась Лиза. Онѣ до того, как нашли извозчика, долго об этом спорили: Лиза хотѣла нести тяжелый сверток потому, что была старше; Маша — потому, что была моложе. — Господи, какой мороз! Застегни горжетку.

— Да, а ты надѣнь перчатки, руки отморозишь... Ты думаешь, мы очень опоздали? Это еще далеко?

— Вон за тѣм фонарем второй дом, — сказала Лиза.

Дом был самый обыкновенный. У ворот на скамейкѣ сидѣл дворник, окинувшій их равнодушно-презрительным взглядом. Всѣ окна были освѣщены. Рѣшительно ничего таинственнаго не было и внутри, за узкой входной дверью. Отовсюду несся гул голосов. Гдѣ-то играли на роялѣ.

— Узнаешь? «Лунная Соната», — прошептала Маша. Лиза

неопредѣленно кивнула головой. Машу немного успокоило то, что на первой площадкѣ стоял мальчик с корзиной цвѣтов. — Это здѣсь?

— Нѣт, этажом выше... Так помни же, никого ни о чем не спрашивай, — сказала Лиза, остановившись перед квартирой, из которой тоже доносился радостный гул. Елизавета Павловна стукнула в дверь один раз, затѣм через нѣсколько секунд два раза подряд. «Условный стук!» — подумала Маша. Никто, однако, не отворил. Подождав еще немного, Лиза с досадой дернула шнурок звонка. Гул сразу оборвался.

— Это кто? — спросил за дверью пріятный мужской голос.

— Генерал Дрентельн. Пришел вас арестовать и повѣсить, — сказала Лиза. Маша в ужасѣ оглянулась. Дверь отворилась. Блондин с курчавой бородкой, не здороваясь, бросил взгляд вниз по лѣстницѣ, затѣм, заикаясь, сердито обратился к Лизѣ:

— Вы бы еще громче острили!

— А вы бы еще дольше не отворяли!

Молодой человѣк впустил их в переднюю. Там было очень накурено. На сундуках и на полу в безпорядкѣ валялись пледы, шубы, шапки, башлыки. Страшнаго ничего не было, кромѣ развѣ полной тишины в сосѣдней ярко освѣщенной комнатѣ. Кто-то заглянул в переднюю и громко сказал: «Да нѣт же! это Аристократка и кто-то еще!» Поднялся возмущенный гул: «Гнать их!»... «Черти проклятые!»... «Правил не знают!»...

— Сами вы черти! — весѐло закричала Лиза. — Орете так, что стука в дверь не слышите, и еще ругаетесь!

Из гула выдѣлился прекрасный густой баритон:

— С обѣщанной закуской или без оной, Аристократочка?

— С закуской, Тарас, не плачьте,—сказала Лиза. «То-то!»... «Тогда впустить их!»... «Простите за закуску!»...—послышались голоса. Блондин, отворившій дверь, сказал недовольным тоном:

— Да раздѣвайтесь же!... Вы не можете не опоздать!

Он внимательно оглядѣл Машу. Она как вошла так и стояла у двери, не мигая, растерянно на него глядя. Маша не сразу догадалась, что Аристократка — прозвище ея сестры. Ей показалось, что их обидѣли и гонят отсюда.

— Что это вы принесли?

— Динамит... Самый что ни есть наилучшій, первѣйшій динамит, два с полтинничком фунт, только для вас, барин, вѣрьте чести, в убыток продаю, себѣ дороже стоит, — замоскворецкой скороговоркой пропѣла Лиза. — Ну, что мы могли принести, Дворник? Вино принесли, ром, ветчину, еще что-то. Хотѣла притащить шампанскаго, да вы запретили.

— Вот еще, шампанское, — начал блондин. На порогѣ ярко освѣщенной комнаты показался высокій, очень красивый человѣк с темной окладистой бородой. Он дружески поздоровался с Лизой, которая поправляла прическу перед зеркалом, и что-то ей шепнул. Лиза расхохоталась.

— Ах, какая ерунда!

— Что это вы гогочете? спросил блондин, смотрѣвшій на них с нѣкоторой насмѣшкой.

— Сегодняшняя вечеринка и посвящена ерундѣ, — сказал Тарас и с улыбкой взглянул на Машу. — Позвольте вам помочь. Я Тарас, прошу любить и жаловать. Вы ея сестра? Очень рад, милости просим к нам... Разрѣшите вас освободить от этого многообѣщающаго свертка. Мы все отдадим Гесѣ, кромѣ, конечно, бутылок, — сказал он Дворнику. — Да снимите же шубу, вы простудитесь, здѣсь очень жарко.

Он очень ловко снял с нея шубу, затѣм помог ей снять ботики, все время с ней разговаривая. Спросил, не замерзла ли она, обѣщал, что ей сейчас дадут горячаго чаю.

— А сколько вам лѣт?

— Восемнадцать.

— Боже, какая старая! — весело сказал он, отошел к Лизѣ и ей тоже помог освободиться от ботиков. — «Ах, какой милый! И красавец какой!» — подумала Маша. Блондин, котораго называли Дворником, развернул сверток, спрятал в карман шнурок и неодобрительно посмотрѣл на бутылки.

— Ваши ослѣпительныя фурюры мы унесем на кухню, — сказал он. Маша почувствовала себя виноватой: лежавшіе на сундуках шубы и полушубки были дешевенькіе, с полысѣв-

шим мѣхом. «Надо было надѣть мамину старую!... Как нехорошо, что вышло в тот же вечер!»... На обѣд к Черняковым, гдѣ был Коля Дюммлер, она не могла явиться плохо одѣтой. — А эта сюперфлю может нам при случаѣ и пригодиться, — добавил Дворник, прикоснувшись с отвращеніем к бархатной ротондѣ.

Маша пошла за ним, испуганно соображая, для чего нам может пригодиться ротонда Лизы. На кухнѣ в разных мѣстах горѣли три свѣчи. Сильно пахло рыбой. Весь пол был уставлен калошами, под которыми расходилась лужа. Дверцы кухоннаго шкафа от шагов растворились. Маша замерла, увидѣв на полкѣ револьверы. Дворник сердито захлопнул дверцы.

— Вот на табурет все и положите, — сказал он. «Хорошо, что Лиза не видит, куда я кладу!» — промелькнуло в головѣ у Маши. Вдруг на благодушном лицѣ Дворника изобразилась ярость. — Экой м-мерза... Экой б-болван! — вскрикнул он и ногой вышвырнул из кучи одну калошу, за ней другую. Достав шило, он в одну минуту очень ловко выцарапал из калош металлическіе иниціалы.

— Сюда п-положить? — прошептала Маша. Он посмотрѣл на нее. В первую секунду ему показалось, будто она его передразнивает. Поняв, что она тоже заикается, Дворник вдруг улыбнулся ей доброй ласковой улыбкой: на мгновенье сказалось масонство связанных общим несчастьем людей.

— Вы гдѣ учитесь?

— На курсах.

— На курсах? Может, физикѣ и химіи учились?

— Н-нѣт еще.

— Так-с... Ну, теперь пойдем туда.

«Тоже симпатичный, но тот лучше», — подумала Маша. Позднѣе она просто не вѣрила ушам, когда Лиза, под величайшим секретом, сообщила ей, что Дворник — один из главных вождей партіи, организатор покушенія Соловьева и взрыва царскаго поѣзда.

В большой комнатѣ, за столом, на диванѣ у стѣны, на стульях и кухонных табуретах, сидѣло человѣк пятнадцать

мужчин и женщин. При появленіи Дворника и Маши всѣ замолчали.

— Сестра Аристократки, — буркнул Дворник и усадил Машу за стол рядом с сидѣвшей у самовара некрасивой курчавой брюнеткой. — Геся, дайте ей чаю.

— Ах, спасибо, не надо... Я страшно хочу чаю, — сказала Маша, садясь. Она никогда не слышала имени «Геся», но по наружности женщины догадалась, что это еврейка, и испугалась еще больше. Геся, очень ласково ей улыбнувшись, спросила с сильным акцентом, пьет ли она крѣпкій чай или слабый.

— Я... Да, пожалуйста, очень крѣпкій... Мнѣ все равно, — прошептала Маша. Хотя теперь самое страшное было уже позади, глаза у нея еще разбѣгались, она с мученьем чувствовала на себѣ чужіе взгляды. Как всегда, на нее больше смотрѣли женщины, чѣм мужчины. Сидѣвшая против нея миніатюрная дѣвица уставилась на Машу очень серьезным, внимательным, почти хмурым взглядом, не шедшим к ея румяному круглому личику. Точно оставшись довольной первым впечатлѣніем, дѣвица привѣтливо ей улыбнулась. «...В высшей степени привлекательная и выдающаяся личность», — сказала она о ком-то, продолжая разговор с сосѣдом.

Маша украдкой осмотрѣлась и увидѣла, что Лиза сидит по-турецки на продранном ситцевом диванѣ рядом с Тарасом. Она только ободрительно улыбнулась в отвѣт на молившій о помощи взгляд Маши: Елизавета Павловна рѣшила поступать как тѣ учителя плаванья, которые бросают начинающих учеников в воду и лишь наблюдают за ними со стороны. Миніатюрная барышня тоже оглянулась в сторону дивана. По ея лицу пробѣжала тѣнь. Она отвернулась и сказала что-то юношѣ с полудѣтским лицом, готовившему жженку за столиком позади нея.

— Выйдет на славу! — восторженно сказал он. — Аристократка принесла отличный ром!

— Экій вы пьяница, Воробей, — с ласковой насмѣшкой сказала миніатюрная барышня и, опять скользнув взглядом по дивану, стала намазывать маслом кусок чернаго хлѣба. «Ка-

жется, она не любит Лизу», — подумала Маша и снова невпопад отвѣтила Гесѣ, которая спрашивала, не подлить ли молока. Угощенье на столѣ было очень скромное. Сиротливо стояли на разных концах стола три наполовину пустыя невзрачныя бутылки.

— Не спѣшите, Воробей, дѣйствуйте с чувством, с толком, с разстановкой, — сказал Тарас. Он вскочил с дивана, на ходу потрепал кого-то по плечу, перепрыгнул через стул, загораживавшій дорогу, и сѣл рядом с миніатюрной барышней.

— Сонечка, мы сегодня с вами непремѣнно должны выпить. Я нынче вспомнил нашу первую встрѣчу. Помните, там на вокзалѣ, у окна, садик с сиренью? — спросил он. Она вспыхнула. Ей напоминать об этой их встрѣчѣ было не нужно.

Геся протянула ему стакан.

— Соня больше не хочет, это для вас. С тремя кусками сахару, как вы любите, Тарас. Я видѣла вас смотрѣть на самовар, — объяснила она, улыбаясь. Как всѣ женщины, Геся его обожала. Он засмѣялся, показывая крѣпкіе, бѣлые зубы, и поцѣловал ей руку, хотя это в их обществѣ было не принято.

— Спасибо, Гесинька. Просто удивительно, как вы все помните! А это у вас что такое? Рубленая селедка? Обожаю! Наше с вами, южное, — сказал он и стал ѣсть с наслажденьем. На лицѣ его сіяла улыбка, относившаяся больше всего к миніатюрной барышнѣ, но и к Гесѣ, к Машѣ, к Лизѣ. «Конечно, он самый главный вождь! Ах, какой человѣк!» — подумала Маша, восторженно на него глядя.

— Гесинька, дайте и мнѣ еще чаю, я передумала, — сказала миніатюрная барышня.

— Какой теперь чай! — запротестовал юноша. — Вниманіе, братья и сестры! — прокричал он. Всѣ на него оглянулись. Голос у него был слабый, как будто еще ломавшійся, хотя по его возрасту этого никак не могло быть. Он поставил чашу на большой стол и вдруг выхватил кинжал. Тарас засмѣялся, Михайлов тяжело вздохнул. Молодой человѣк обвел их не то недовольным, не то задумчивым взглядом, положил кинжал на чашу, вынул из кармана другой кинжал, за ним третій.

Укрѣпив кое-как на лезвеях голову сахара, он полил ее ромом. «Ну, что такое! На ска... На скатерть льете!» — сердито закричал Дворник. Воробей вылил весь ром в чашу и принялся его зажигать, быстро опуская и отдергивая спичку. Кусочек спички упал в жидкость, юноша подул на палец. «У меня на этот счет есть одна теорійка», — сказал он. Геся Гельфман, вздохнув, вытащила спичку ложечкой, насыпала в чашу колотаго сахара и в одно мгновенье зажгла ром.

— Братья, тушите огни! — закричал молодой человѣк. Лампу тоже потушила Геся. Слабый свѣт теперь шел лишь из сосѣдней комнаты, да еще фіолетовым конусом, лаская взгляд, дрожало и бѣгало пламя по чашѣ. Воробей затянул срывающимся тенорком:

Гой, не дивуйтесь, добрые люди,
Що на Украйнѣ повстанье...

За ним не очень стройно запѣли другіе. Мощный баритон Тараса тотчас покрыл весь хор. Дворник, недовольно качая головой, вышел в переднюю и пріотворил дверь. Пѣнье, шум, гул неслись по дому отовсюду. Михайлов успокоился. На Новый Год, как на Рождество и на Пасху, между революціонерами и Третьим Отдѣленьем в самом дѣлѣ как будто устанавливалось нѣчто вродѣ молчаливаго соглашенія: революціонеры не производили террористических актов, а полиція не производила арестов. Дворник вернулся в столовую и остановился у порога. Вдруг лицо его просіяло улыбкой. Он молодецки повел плечом, поднял правую руку и подтянул пѣсню крѣпким, вѣрным, пріятным голосом. В отличіе от других, он совершенно правильно произносил украинскія слова. При пѣніи Михайлов не заикался.

На порогѣ второй комнаты появилось еще нѣсколько мужчин. Маша изумилась, увидѣв среди них знакомаго: Мамонтова. Ей было и пріятно, и не совсѣм пріятно, что на этом собраніи находился человѣк, бывавшій у них в домѣ, — такой же человѣк, как всѣ другіе, п р е ж н і е. Она закивала ему

головой, но в полутемной столовой он увидѣть ее не мог. «Позвать его? Но что если тут запрещено называть людей по имени-отчеству? Вѣрно, у него тоже есть кличка? А как будут называть меня? Отчего Лизу называют «Аристократка»? Это обидно»...

Рядом с Мамонтовым, у двери стоял человѣк, рѣзко выдѣлявшійся наружностью среди народовольцев. Почему-то он не очень понравился Машѣ. На вид ему можно было дать и сорок, и пятьдесят лѣт. Лицо у него, с пробритым по чиновничьи подбородком и с баками, было мрачное, сѣрое, измученное, точно он недѣлю не спал. Тусклые холодные глаза ничего не выражали, развѣ только скуку. Кто-то поспѣшно сказал: «Старику, Старику дайте стул!»... Ему тотчас подали стулья с двух сторон. Маша поняла, что это также очень важный вождь. Соня принужденно улыбнулась ему, проходя мимо него в кухню, но он не отвѣтил улыбкой. «Вѣрно, никогда не улыбается?» — подумала Маша. Позже она его не видѣла. Он незамѣтно исчез послѣ жженки.

Когда нестройное пѣнье кончилось, Тарас, державшій в лѣвой рукѣ часы, нагнулся над чашей и поднял правую руку. Наступила тишина.

— Вниманье, синьоры и синьорины. Одиннадцать часов пятьдесят пять минут. Разливай, боярин-кравчій, — сказал он. Маша, не удивившаяся «братьям и сестрам», не удивилась бы вѣроятно, если бы услышала здѣсь обращеніе «блѣднолицые»; но «синьоры и синьорины», «боярин-кравчій» совершенно ее плѣнили. Воробей большой ложкой разливал жженку. В лѣвой рукѣ он держал один из своих кинжалов, и держал с таким видом, точно собирался тотчас вонзить его в чью-то грудь. К нему, наступая в темнотѣ друг другу на ноги, с извиненьями, с шутками, с хохотом, пробирались и протягивали стаканы участники пирушки. — «Вы бы кинжал спрятали и на пол вина не лили», — посовѣтовал Дворник. Миніатюрная барышня передавала сосѣдям стаканы, держа их двумя пальцами сверху за края. Передавая стакан Машѣ, она пролила на скатерть нѣсколько капель и поспѣшно сказала: «Простите, ради

Бога! Я вас не обожгла?» — «Нѣт, что вы, напротив», — горячо отвѣтила Маша. «Ах, как глупо: «напротив»! Но, слава Богу, она, кажется, не слышала!»...

— Братья и сестры, всѣ получили по кубку? — прокричал Воробей. — «Всѣ, всѣ!» — послышались голоса. — «Не всѣ, не всѣ!»... «Я не получил!» — возмущенно кричали другіе. — «Себя забыл! Себѣ налейте, Воробышек», — с ласковой насмѣшкой сказал Дворник. «Коля Морозов. Очень способный мальчишка», — подумал Мамонтов с непонятным ему самому недоброжелательством. — «Весьма развитой и много читал для своих лѣт», — как обо мнѣ в седьмом классѣ писал отцу словесник Федор Павлович. Морозова увлекла в революцію именно ея романтика. Он персонаж из «Эрнани», и для него всѣ эти кинжалы и револьверы, к у б к и и г а й д а м а ц к і я пѣсни имѣют неизъяснимую прелесть. Ему каждая новенькая идейка кажется геніальной, а каждая не-уродливая дѣвица красавицей. Он храбр и ничего не боится. В восемнадцатом вѣкѣ он участвовал бы в дворцовом переворотѣ, был бы влюблен в княгиню Дашкову и воспѣвал бы ее в пылких стихах... Впрочем, я и к нему несправедлив: он талантливый, привлекательный человѣк... А Михайлов кѣм был бы в старой Россіи? Михайлов зарѣзал бы патріарха Никона, никого не выдал бы под пыткой и взошел бы на костер с увѣренностью, что чрезвычайно удачно и разумно прожил свою жизнь... Хотя это и слащавый вздор, будто на костер можно взойти «с улыбкой счастья», будто можно выдержать изобрѣтательную пытку «не пикнув»... Умный человѣк, замѣчательный человѣк, но лунатик, большая душа, завороженная о д н о й мыслью до слѣпоты. Он меня терпѣть не может, как ненавидит всѣх недовѣрчивых, путанных, колеблющихся людей. А может быть, предполагает, что я уйду к т ѣ м и стану, скажем, директором банка?... Тихомиров... Жуткій человѣк-шарада, сомнѣвающійся во всем т е о р е т и к, вождь революціонной партіи, говорящій с усмѣшечкой, что революціи можно было бы положить конец, если бы пороть террористов, Фома-дворянин на теоретическом безлюдьи, цареубійца, ходящій по воскресеньям в церковь,

чтобы помолиться об успѣхах террора — а может быть, и вовсе не об этом. Перед тѣм, как бросить бомбу в царя, он истово перекрестится: попадешь на висѣлицу, так хоть обезпечить себѣ и царство небесное, в дополненіе к историческому безсмертію... Впрочем, он никакой бомбы не бросит: как теоретик, он слишком необходим партіи, Россіи, человѣчеству... Колодкевич. Да, это прекрасный, чистый человѣк, ничего не скажешь (зачѣм же «говорить»?). Перовская или Геся тоже ушли в революцію лишь для того, чтобы помочь задавленным нуждой и горем людям. Таких среди них немало... Лиза Муравьева... Спортсменка террора, Карло в юбкѣ, человѣк тройного сальтомортале. Она погубит себя ради сильных ощущеній и из боязни прожить жизнь «как всѣ»... А это кто? Не помню ни фамиліи, ни клички. Помню, что любит произносить п л а м е н н ы я рѣчи и все больше говорить о ч а я н і я х... Если кто способен сказать «чаянья», то ясно, что это политическій попугай или человѣк с заношенными от природы мозгами... У него тоже вѣрно будет плохенькій біограф, и он даже будет немного похож на свое изображенье в біографіи, вот как тенор иногда бывает немного похож на свой портрет в иллюстрированном журналѣ... Я тоже хорош! У меня ум безкорыстнаго разлагателя и душа вѣчнаго ренегата... Как люди, они всѣ, конечно, лучше меня», — думал Николай Сергѣевич. У чаши Тарас начал считать с часами в рукѣ:

— Десять!... Одиннадцать!... Двѣнадцать, с Новым Годом! — закричал он, и без всякаго его желанья, эти слова прозвучали так, точно он призывал людей к возстанію. Маша в восторгѣ отхлебнула глоток горячей жидкости, поперхнулась, вскрикнула и уронила стакан. Жженка больно обожгла ей колѣно, но она об этом не подумала, не подумала даже о своем новом платьѣ. «Боже, что я сдѣлала!»... Стакан не разбился, Маша быстро нагнулась, подняла его и стукнулась с кѣм-то лбом. Воробей налил ей еще жженки. Она зажмурилась, выпила все, как в дѣтствѣ глотала касторку на пивѣ. На глазах у нея выступили слезы, она схватилась лѣвой рукой за шею, широко раскрыла рот, затѣм закашлялась. — «Осторожнѣе, черти,

вѣдь кипяток!»... — «За свободу, братья!»... — «Соня, с новым счастьем!»... — «Друзья, за матушку Русь!» — слышались крики. Маша с минуту ничего вокруг себя не видѣла.

Затѣм наступило блаженство. Вокруг Маши обнимались и цѣловались люди. Она сама обнималась и цѣловалась, с сестрой, с Гесей, с миніатюрной барышней, с Воробьем, который все еще держал в рукѣ кинжал, с другими мужчинами. «Это не стыдно, это как на Пасху!» — думала Маша. Дворник отечески поцѣловал ее в лоб. Ото всѣх пахло ромом, она еле разбирала, с кѣм цѣлуется. Кто-то принес из сосѣдней комнаты зажженную свѣчу. Маша еще увидѣла, как у бѣгающаго пламени над чашей Тарас цѣловался с миніатюрной барышней. «Какое у нея лицо!»... — успѣла подумать она.

Сверток, привезенный Лизой, тотчас поступил в распоряженіе Геси Гельфман. Она, вздыхая, выставила в кухнѣ за окно ветчину, икру, семгу. Геся помнила, что в ея родном Мозырѣ цѣлыя семьи живут на пятнадцать копѣек в день. Здѣсь же ѣды было, по меньшей мѣрѣ, на десять рублей: она знала цѣны, так как часто останавливалась перед витринами гастрономических магазинов; выставленные там товары ее не соблазняли: у нея был хроническій катарр желудка, нажитый в Литовском замкѣ. Но она грустно удивлялась, как людям не стыдно ѣсть — да еще выставлять на показ — такія дорогія вещи, когда кругом столько голодных.

Геся выросла в чрезвычайно религіозной еврейской семьѣ и в ранней юности строго соблюдала всѣ обряды. Позднѣе она бѣжала из родительскаго дома и, чтобы пріобщиться к цивилизаціи, стала акушеркой. Отец ее проклял. На акушерских курсах она сблизилась с русскими революціонерками. Остальное сдѣлала тюрьма. Революціонеры уходили в народ — и она ушла в народ. Они признали, что надо убить царя, — и она послушно приняла участіе в подготовкѣ цареубійства. Геся сошлась с русским террористом, старалась забыть все Мозырское и в цѣлях борьбы с религіозными предразсудками считала

себя обязанной ѣсть пищу, запрещенную еврейской вѣрой. Однако, вид и вкус ветчины все еще были ей не совсѣм пріятны.

Послѣ того, как Новый год был встрѣчен и первыя революціонныя пѣсни спѣты, Геся ушла на кухню. Она всегда, на всѣх конспиративных квартирах, уходила на кухню, которая скоро и поступала в ея распоряженіе. Почти весь этот день она готовила трудное рыбное блюдо. Теперь надо было еще обложить рыбу картошкой и морковью. Этим Геся и занялась, издали прислушиваясь к пѣнью и даже подпѣвая вполголоса «Марсельезу» без слов: впрочем, слов, кромѣ двух первых строк, не знал никто.

— Гесинька, дѣло самонужнѣйшее, — сказал появившійся на кухнѣ Александр Михайлов. — Вы, милая, оставьте чегонибудь повкуснѣе для одного человѣчка, который нынче не мог прійти. Что у вас есть? — озабоченно спросил он, думая о чахоточном Халтуринѣ. Ему было извѣстно, что во дворцѣ прислуга ворует что хочет и ѣст что хочет; Халтурин должен был поступать как другіе. Но необходимо было оказать ему знак внимания: товарищи о нем помнят.

— Я сію минуту приготовлю!

— Спасибо, Гесинька. А я вас еще по настоящему не поздравил. С Новым Годом, многолюбимая, — сказал он и поцѣловал ее в густые черные волосы. Как чрезвычайно полезный, аккуратный и исполнительный человѣк, Геся пользовалась особым его расположеніем. Она чувствовала, что он цѣлует ее совершенно так же, как только что цѣловал Тараса или Воробья.

— Вам тоже, Александр, — отвѣтила она, подумав, не надо ли сказать «в а с тоже». Геся не любила называть Михайлова Дворником. В Мозырѣ «дворник» было почти обидное, если не ругательное, слово, вродѣ «урядника» или «пристава». Ей было, разумѣется, извѣстно, что Дворник — Александр Михайлов, Старик — Лев Тихомиров, Тарас — Андрей Желябов. Однако, пользоваться настоящими именами в их средѣ было не принято. В первое время Геся не знала, как называть всѣх этих русских революціонеров. Она вначалѣ даже дѣлала

над собой усиліе, чтобы как-нибудь не назвать, напримѣр, Старика «паном Тихомировым». Прошли годы, она привыкла к русской революціонной средѣ, полюбила ее, оказывала партіи немалыя услуги, но в средѣ революціонеров чувствовала себя все-таки не совсѣм с в о е й (тѣм болѣе, что между ними изрѣдка попадались антисемиты). Геся исполняла опасныя порученія так же аккуратно и точно, как в ранней юности исполняла религіозные обряды. Чаще всего она дѣлала работу невыигрышную и неблагодарную; за нее, по чувству справедливости, заступалась Софья Перовская.

— Ваша рыба, Гесинька, один восторг. А я нынче страшно голоден, — сказал Михайлов, чтобы доставить ей удовольствіе. — Хотите, я вам помогу?

Она засмѣялась: так ей было забавно, что Александр Михайлов, чуть ли не самый главный вождь, будет готовить рыбу. Геся Гельфман очень почитала партійную іерархію, боготворила Тараса и уважала Старика. Тихомиров никогда не удостоивал ее разговором, и инстинктом она чувствовала, что он антисемит. Но ей было извѣстно, что он первый партійный теоретик. Она всегда чрезвычайно уважала науку.

— Уже готово, кушайте на здоровье. Аристократка принесла такія деликатессы, — сказала она, показывая на тарелки с икрой и с балыком. Михайлов не одобрил покупок Лизы: слишком дорогія вещи. Конечно, Аристократка все купила на свои деньги, но она могла бы отдать эти деньги партіи. Несмотря на возраженія Геси, Михайлов принялся ей помогать. К ея удивленію, он и это дѣлал очень хорошо.

— Сейчас Тарас будет читать стихи. А потом устраивается спиритическій сеанс.

— Это зачѣм? — испуганно спросила Геся. Он засмѣялся.

— Хотят узнать, как кончит свои дни папаша. Будет вызван дух Николая I, он все и скажет... Ну, теперь рыба хороша на заглядѣнье. Пойдем, Гесинька.

Они вернулись в столовую с блюдом и с тарелками. На них зашикали. Желябов стоял у чаши, в которой догорал ром. Маша, уже пьяная, захлопала в ладоши, влюбленно на него

глядя. Ей казалось, что она никогда не видала такого богатыря и красавца. «Что, если бы он полюбил меня!» — подумала она и оглянулась на миніатюрную барышню. Та тоже в упор смотрѣла на Желябова. «Разумѣется, она влюблена в него. Я тоже, но это ничего! Я и ее страшно люблю, и их всѣх... Вѣрно, у меня с колѣна сойдет кожа?... Ах, как я счастлива, как весело, как хорошо!» — думала Маша. Тарас начал читать. Ей казалось, что он читает лучше, чѣм сам Василій Самойлов. Слов она не понимала и даже плохо их слышала.

Я видѣл рабскую Россию —
Перед святыней алтаря:
Гремя цѣпьми, склонивши выю,
Она молилась за царя...

Его голос не только наполнял всю квартиру; но вѣрно был слышен и на лѣстницѣ. Михайлов опять безпокойно вышел на площадку и прислушался. Из всѣх квартир дома несся пьяный гул. Опасаться было нечего. Он вернулся в столовую и стал слушать. «Эх, хорошо декламирует! Не заикается»... Почти без всякаго усилія он подавил в себѣ чувство соревнованья: Желябов был драгоцѣннѣйшій человѣк, пожалуй, самый нужный из всѣх партійных работников. «Да, да, молилась за царя!» — хотѣла закричать Маша, но у нея перехватило горло. Мамонтов с порога полуосвѣщенной комнаты смотрѣл на Желябова и думал, что этот человѣк по своей природѣ был бы вездѣ первым, гдѣ бы он ни оказался: «При дворѣ, в Ватиканѣ, в Конвентѣ, в раю, в аду»...

VIII.

. . . . . .

IX.

В одиннадцать часов у Чернякова в этот вечер оставался только доктор. Павел Васильевич уѣхал первый. Вскорѣ послѣ его ухода простилась и Елизавета Павловна.

— Ну-с, дорогіе гости, — сказала она, — вы были предупреждены, я вас покидаю. А Маша, по своей застѣнчивости, не желает оставаться одна в обществѣ мужчин... Нѣт, нѣт, ради Бога, не уходите. Прошу вас всѣх оставаться до утра, я велю подать еще вина. Не хотите? Ну, как знаете. Я увѣрена, что вы, Петр Великій, останетесь, правда?

Доктор и Коля предлагали проводить Машу, но Елизавета Павловна сказала, что сама довезет сестру домой: ей по дорогѣ.

— Кромѣ того, если вы, Коля, проводите Машу, то кто же потом проводит вас? — спросила Лиза, всегда его дразнившая.

— Была бы честь предложена.

— Велика честь! Нахал.

— Маз на хаз и дульяс погас, — сказал Коля. Лиза, ничего не понявшая, только подняла руки к небу.

Валицкій не предложил проводить дам. Он сухо простился и ничего не отвѣтил на какое-то хозяйское «надѣюсь, что» Чернякова. Петр Алексѣевич был приглашен встрѣчать Новый Год в пять домов, принял приглашенія в три, собирался побывать в двух и предупредил Елизавету Павловну, что уѣдет в одиннадцать. Но почему-то ему было совѣстно оставлять Михаила Яковлевича. «Что-то у них нынче неладно. Неужто ухитрились поссориться на Новый Год?»

Черняков вернулся из передней, проводив жену и гостей. Он из послѣдних сил старался казаться веселым, но лицо у него было совершенно разстроенное.

— Вот так и живем, — сказал он послѣ недолгаго молчанья.

— Да, вот так и живем, веселимся, кутим, а кругом столько горя, — сказал Петр Алексѣевич. Он рѣшительно ни на что не намекал и сам подумал, что его замѣчаніе ни к селу, ни к городу. Черняков поспѣшно на него взглянул. Ему было непривычно предположеніе, что он может вызывать жалость.

— А то вы еще посидѣли бы, Петр Великій? Куда же спѣшить?

— Я собственно обѣщал к двѣнадцати быть у Васильевых,

но спѣшить в самом дѣлѣ некуда, — отвѣтил, к собственному удивленію, Петр Алексѣевич.

— Вот это дѣло! — радостным тоном сказал Черняков и велѣл подать коньяку. Горничная, скрывая ненависть к господам, принесла бутылку и рюмки. «Быть может, он знает, всѣ уже знают?» — думал Михаил Яковлевич.

Они выпили. Доктор больше от скуки заговорил о товариществѣ передвижных выставок и очень хвалил передовую живопись. В политикѣ ему все труднѣе было идти в ногу с молодежью, но в наукѣ, в литературѣ, в искусствѣ он становился все болѣе радикален, точно одним искупал другое. Черняков в другое время мог бы с честью поддержать разговор и о живописи. Теперь он смотрѣл на Петра Алексѣевича непонимающим взглядом.

— Да, да, очень интересно... Да, вѣянья, — сказал он и выпил залпом еще рюмку. «Положительно, с ним что-то неладное... Развѣ Гнейста попробовать?» — подумал доктор, знавшій, что о своем учителѣ Черняков может говорить часами. — «Но как, чорт побери, перейти?»

— Вы не находите, что Саврасов очень похож лицом на вашего учителя Гнейста? — экспромптом придумал Петр Алексѣевич.

— Ни малѣйшаго сходства, — мрачно отвѣтил Черняков. «Ох, напрасно я остался!» — сказал себѣ доктор, искоса взглянув на стѣнные часы. Короткая стрѣлка уже почти сливалась с верхним числом цыферблата. «Теперь уѣзжать не годится: и он обидится, и к Васильевым я на встрѣчу уже не поспѣю».

Длинная стрѣлка, наконец, нагнала короткую, часы зашипѣли, из них выскочили двѣ фигуры. «Кто это бывает с Купидоном? Бавкида? Нѣт, Бавкида та с Филемоном»... Петр Алексѣевич чокнулся с Черняковым, пожелал счастья, и сдуру, опять от скуки, пошутил о «будущих Михайловичах и Михайловнах». Черняков измѣнился в лицѣ. Когда он купил, тоже по необыкновенному случаю, эти старинные часы, он именно представлял себѣ, как у него и его будущей жены друзья, при видѣ Купидона и Психеи, будут отпускать не-

скромныя шутки. Черняков встал, прошелся по столовой и остановился перед доктором.

— Петр Алексѣевич, я знаю, вы мой истинный друг! — сказал он дрогнувшим голосом. Доктор взглянул на него с изумленіем.

— Да, конечно... В чем дѣло?

— Я все вам скажу. Я знаю, вы самый дискретный человѣк на свѣтѣ. С кѣм же мнѣ подѣлиться?... Я вам скажу! — повторил Михаил Яковлевич. В нем точно повернули кран: не останавливаясь, одним духом он разсказал Петру Алексѣевичу в с е.

— ...Петр Алексѣевич, вы друг, старый друг... Дайте мнѣ совѣт, что мнѣ дѣлать? Скажите, что вы об этом думаете, — с отчаяніем говорил Черняков.

Но доктор в первыя минуты не мог сказать ничего связнаго. Он только безпомощно разводил руками.

— Вы поступили благородно, — наконец сказал он.

— Да развѣ в этом дѣло? — вскрикнул Михаил Яковлевич. Ему однако были пріятны слова доктора. Петр Алексѣевич справедливо пользовался репутаціей совершеннаго джентльмена. Его, как впрочем и многих других, называли «послѣдним рыцарем». — Но что же мнѣ дѣлать?

— Мнѣ незачѣм вас спрашивать, любите ли вы ее?

— Еслиб не любил, то никакой трагедіи не было бы, сказал Черняков и почувствовал, что слово трагедія для д р у г и х все-таки слишком сильно. — Я вас спрашиваю, что мнѣ дѣлать!

— Что же вы можете сдѣлать? Вы знали, на что идете.

Петр Алексѣевич был растерян. Больше всего его поразило то, что Лиза чуть было не обратилась к нему. «Разумѣется, я дал бы согласіе! Я был бы счастлив!» — думал он. До него доходили слухи, что Елизавета Павловна собирается войти в «Народную Волю». Но он не очень им вѣрил и не думал, что дѣло так серьезно. «Лиза, Лиза Муравьева, с рысаками, с платьями от Ворта! И это я помог ей тогда обмануть отца! Вѣдь это будет отчасти на моей совѣсти, если что случится!...

Но сейчас, что же ему посовѣтовать? Что сказать? Конечно, его очень жаль, он в самом дѣлѣ поступил хорошо. И надо же было, чтобы это случилось с таким человѣком, как он!»

— Да, неприглядны нѣкоторыя явленія русской дѣйствительности, — сказал Петр Алексѣевич. Позднѣе он ругал себя за эти слова дураком и идіотом. Однако Черняков посмотрѣл на него с благодарностью. Собственно, доктор имѣл в виду фиктивные браки, но Михаил Яковлевич отнес его слова к народовольцам.

— Сколько раз я вам говорил, что я думаю об этих господах! А вы спорили!

Так они разговаривали часа полтора. Им было неловко друг перед другом. Безсмысленны были и вопросы, и отвѣты. Горничная входила в гостиную, передвигала поднос, уносила пепельницу. Наконец, Петр Алексѣевич встал. Измученный Черняков больше его не удерживал. Он сам не знал, рад ли или сожалѣет, что разсказал о своей тайнѣ. Доктор крѣпко пожал ему руку и сказал:

— Перемелется, мука будет.

— Теперь, во всяком случаѣ, не мука, а мука, — отвѣтил Михаил Яковлевич и огорчился, что неожиданно сказал неумѣстный каламбур. Доктор слабо улыбнулся.

В передней горничная подала ему шубу. Встрѣтившись с ней взглядом, Петр Алексѣевич понял, что ее тоже звали встрѣчать Новый Год, что она из за него не могла пойти. Он поспѣшно сунул ей три рубля.

— Еще раз с Новым Годом, Варя. — Петр Алексѣевич вспомнил, что Варя горничная Васильевых, а эту зовут как-то иначе. Он торопливо скрылся за дверью и на лѣстницѣ, больше от смущенія, поднял воротник шубы.

Ночь была холодная. Почти на каждом перекресткѣ горѣли костры. Доктор, весь день посѣщавшій и принимавшій больных, был очень утомлен, но ему не хотѣлось возвращаться домой, в неуютную холостую квартиру. «Фиктивный брак! Лиза террористка!... Чудеса... Как же это кончится? Просто бѣда!... Конечно, они во многом правы. Однако... С их точки зрѣнія

какой-нибудь Дюммлер был хуже уголовнаго преступника. А вот я знаю, что он был слабый, больной, очень несчастный человѣк. С его же точки зрѣнія они были хуже уголовных преступников!... Нѣт, надо просто, в мѣру сил, дѣлать добро, служить безспорному добру, есть вѣдь, к счастью, и такое!... Да, не хочется идти домой»... Петр Алексѣевич знал, что у Васильевых его встрѣтят радостным гулом, хохотом, дружеским негодованіем, что появятся вина и закуски, что в душной кухнѣ замученный повар начнет разогрѣвать и жарить что-то нарочно для него. Он опять вспомнил о «Варѣ», о «неприглядных явленіях русской дѣйствительности». «Нѣт, никуда не поѣду!»

В Зимнем дворцѣ были ярко освѣщены всѣ окна. «Как-то эти встрѣчают Новый год?» — думал доктор, переходя через площадь, стараясь попадать калошами в чужіе слѣды на снѣгу. «А обманчива внѣшность счастливой жизни. И у меня тоже впереди мало хорошаго! Тридцать пять лѣт. Кромѣ увеличенія практики, ждать в сущности нечего». — Практика у Петра Алексѣевича росла, он немало зарабатывал и раздавал почти все: значился в черных списках всѣх благотворительных организацій Петербурга, платил за ученіе неимущих студентов, давал деньги революціонерам и всѣм, кто у него их просил. «Лѣт через десять начну слѣдить за собой, искать в себѣ признаки разных болѣзней, как большинство пожилых врачей»... Ему вспомнился вчерашній мнительный паціент, оказавшійся здоровым человѣком. «Ушел в полном восторгѣ, а чему собственно он обрадовался? Если у человѣка в 65 лѣт в полном порядкѣ сердце, сосуды, легкія, то скорѣе всего он умрет от рака... Впрочем, все это вздор, и незачѣм об этом думать!»... Ему еще сильнѣе захотѣлось оказаться в обществѣ веселых людей, в шумной, ярко освѣщенной, теплой комнатѣ. На поворотѣ за мостом он увидѣл извозчика, который сходил с козел, чтобы погрѣться у костра.

— На Лиговку поѣдешь? Дам цѣлковый, — нерѣшительно предложил Петр Алексѣевич, как всегда, подумав, что нѣт никаких основаній говорить **ты** взрослому бородатому человѣку.

Извозчик только раза три похлопал руками над огнем, вздохнул и полѣз назад на козлы. «Нехорошо, нехорошо живем», — сказал себѣ доктор, садясь в сани. «Царь, если вѣрить Софьѣ Яковлевнѣ, очень хорошій человѣк, но с какой-то точки зрѣнія — по моему, впрочем, скорѣе глупой, — будет так называемая «высшая справедливость», если его убьют за грѣхи міра, который он возглавляет»...

Вскорѣ послѣ того, как часы пробили четыре, в передней послышался легкій шум. Лиза ключем открывала входную дверь. Увидѣв свѣт, она вошла в комнату мужа. Михаила Яковлевича охватила радость.

— Вы еще не спите, мой повелитель?

— Как видите, не сплю, — сказал Черняков. Ему показалось, что она выпила слишком много.

— Ах, какой чудесный мороз! Но и в теплѣ хорошо!... Все хорошо!...

— Было весело?

— Да... И, как видите, ничего дурного не случилось ни со мной, ни... и ни с кѣм. — Она чуть было не сказала «ни с Машей», но во время вспомнила, что это величайшій секрет. — Петр Великій оставался до двѣнадцати?

— Петр Великій оставался до двѣнадцати, — повторил Черняков и встал, всунув ноги в ночныя туфли. — Лиза, это так дальше продолжаться не может!

— Что именно продолжаться не может?

— Вы знаете, что именно.

Она с улыбкой на него смотрѣла. Голова у нея кружилась все больше. «Нѣт, вздор! Это вышел бы какой-то водевиль!» — подумала она.

— Как нибудь поговорим, но не в четыре часа ночи... Я надѣюсь, что вы еще заснете. Завтра торопиться некуда.

— Торопиться некуда, — безсмысленно повторил он.

— Я вѣрно буду спать до двух часов дня. Мнѣ так хочется спать, так хочется спать... Спокойной ночи... «Гремя цѣпьми, склонивши выю, — Она молилась за царя»...

— Что вы такое говорите?

— Нѣт, я так... Спокойной ночи, — сказала она, тяжело, до слез зѣвая.

X.*)

В кабинетѣ императора в Зимнем дворцѣ ночью сорвалась со стѣны, вмѣстѣ с огромным гвоздем, картина в тяжелой рамѣ. Слуги, пришедшіе утром убирать комнату, сообщили об этом царскому камердинеру. Камердинер доложил дежурному флигель-ад'ютанту. Флигель-ад'ютант, не зная в точности как государь проводит день, снесся с министром двора. Граф Адлерберг предписал завѣдующему Зимним дворцом генерал-майору Дельсалю произвести починку в десять часов утра, так как обычно в это время император поднимался в покои княжны Долгорукой. От Дельсаля пошло распоряженіе вѣдавшему низшим персоналом дворца полковнику Штальману. Он спустился вниз в подвальное помѣщеніе и приказал лучшему из дворцовых столяров Батышкову ровно в десять часов явиться в царскій кабинет, вбить в стѣну крѣпкіе гвозди и повѣсить на прежнее мѣсто картину.

По дорогѣ из подвала камердинер, знавшій и любившій Батышкова, учил его манерам:

— Полировать, братец, ты мастер, это вѣрно: блоха не вскочит. А обращенія не имѣешь. Ну, как государь император в кабинетѣ? Что ты сдѣлаешь? — ласково-насмѣшливо спросил он. Батышков измѣнился в лицѣ. — Я тебѣ скажу. Первым дѣлом вытянись в струнку... Вот так, — показал он. Эх ты, деревня!... Прослужил бы с мое, да не так, как теперь служат, а как при покойникѣ, научили бы вытягиваться как слѣдует!

Они на цыпочках прошли по длинному ряду корридоров, зал, гостиных, частью полутемных, частью освѣщенных лампами и свѣчами. В одной огромной залѣ дѣлались приготовленія

*) В русской критической литературѣ не отмѣчалось, что историческій факт, описанный в настоящей главѣ, мог подать Чехову сюжет одной из глав «Разсказа неизвѣстнаго человѣка».

к встрѣчѣ Новаго Года. Лакеи разставляли небольшіе столы и горшки с огромными пальмами.

Императоръ еще находился в кабинетѣ. Дежурный флигель-ад'ютант подумал и рѣшил освѣдомиться.

— Да пусть сейчас и починит, что-ж ей так лежать? — разсѣянно отвѣтил Александр II, сидѣвшій посрединѣ комнаты за большим столом, заставленным бездѣлушками, миніатюрами, дагерротипами. Кабинет был тоже освѣщен свѣчами, но гораздо ярче, чѣм залы, по которым в первый раз в жизни прошел Батышков. Флигель-ад'ютант ввел столяра. Батышков вытянулся у двери на мягком ковръ,

— Здравствуй, брат. Смотри, почини хорошенько, — сказал царь, показывая на картину. — Вбей гвозди покрѣпче.

— Так точно, ваше императорское величество, — запинаясь, проговорил Батышков. Царь поглядѣл на него. Ему, как всѣм, понравился этот высокій красивый малый с длинным лицом и бородкой.

— Как тебя звать?

— Батышков, ваше императорское величество, — срывающимся голосом сказал столяр.

— Откуда родом?

— Вятскій, ваше императорское величество.

— Что ж ты такой худой? Или вас плохо кормят?

— Никак нѣт, ваше императорское величество.

— Ну ладно. Так покрѣпче вбей гвозди, — сказал Александр II и опять углубился в бумаги. Батышков на цыпочках прошел мимо письменнаго стола.

Царь читал доклад начальника Третьяго Отдѣленія, генерала Дрентельна, и дѣлал на полях замѣтки, позднѣе покрывавшіяся лаком. Онѣ были довольно однообразны: «Хорошо»... «Согласен»... «Очень жаль»... «Правду ли говорит?»... «Надо держать ухо востро»... Относились онѣ к дѣлам людей, которые собирались его убить, к их выслѣживанію и к арестам. Александр II так привык к докладам подобнаго рода, что писал свои замѣчанія почти автоматически; Дрентельн, навѣрное, мог предсказать, гдѣ и что напишет на полях император. Из до-

клада, как всегда, слѣдовало, что крамольники очень страшны, что борьба с ними ведется умно, тонко, чрезвычайно успѣшно. Царь не очень этому вѣрил и не слишком любил Дрентельна. Но Дрентельн был ничѣм не хуже и не лучше своего предшественника; ничѣм не лучше и не хуже был бы, вѣроятно, и его преемник. «А все-таки не отправить ли его на покой в Государственный Совѣт?»

Ему все чаще казалось, что главный недостаток его правленія заключался в полумѣрах. «Батюшка подавил бы революціонное движеніе в нѣсколько недѣль. Оно при нем, вѣрно, и не возникло бы. Да, конечно, если прогонять людей сквозь строй!... Пойти противоположным путем, превратиться в русскую Викторію? Может быть, и это обезпечило бы спокойствіе? Но отказаться от завѣтов предков!... И это значило бы уступить и м ! Они торжествовали бы, что террором з а с т а в и л и меня уступить!»... — Он почувствовал, что с ним может случиться припадок бѣшенства, что он напишет на полях непоправимое, чего ему не простит исторія. Александр II поспѣшно отложил доклад Дрентельна.

На столѣ лежала телеграмма из Канн: лейб-медик Боткин и доктор Алышевскій, сопровождавшіе больную императрицу, извѣщали министра двора о небольшой перемѣнѣ к худшему: температура 38, пульс 108. Как царь ни жалѣл медленно умиравшую жену, он не смѣл самому себѣ отдать отчет в своих чувствах. «Да, все это ужасно», — думал он. Но, при его страстной любви к жизни, ему даже теперь, в старости, трудно было находить ужасным что бы то ни было. Александр II взял слѣдующую бумагу из кипы, лежавшей на круглом столикѣ. Это был доклад министра финансов.

У длинной стѣны кабинета, позади письменнаго стола, Батышков, трясясь всѣм тѣлом, вынимал из мѣшка инструменты. Он в первый — и единственный — раз в жизни видѣл императора Александра.

Батышковым назывался народоволец Халтурин, нанявшійся столяром во дворец для того, чтобы убить царя. Как большая

часть низших служащих дворца, он жил в подвальном этажѣ. Каждый вечер Халтурин уходил в город и там, в пивных или просто на улицѣ, встрѣчался с Желябовым, который незамѣтно передавал ему мѣшечки с динамитом. Третье Отдѣленіе и дворцовая охрана работали так плохо, что Батышков ни у кого не вызвал ни малѣйших подозрѣній и даже считался самым исправным из служащих. Ночью он зашивал динамит в свою подушку. От ядовитых паров его мучили головныя боли, он тяжело кашлял и понимал, что жить ему все равно недолго: если не висѣлица, то чахотка. Понимал также, что устроить дѣло нельзя будет до февраля, как его ни торопили. Динамит собирался медленно. Было бы во всѣх отношеніях лучше хранить его в сундучкѣ с пожитками. Но на это Халтурин рѣшился не сразу: ему, очень бѣдному человѣку, выросшему в рабочей полунищетѣ, было жалко вещей; быть может, он находил удовлетвореніе в том, что спал на динамитѣ и страдал от его испареній.

Поступив на службу во дворец, Халтурин надѣялся, что как-нибудь издали увидит Александра II. Почему-то ему страстно этого хотѣлось. Он иногда рѣшался разспрашивать старых дворцовых рабочих и лакеев о том, каков государь, весь ли в золотѣ, ходит ли как обыкновенный человѣк. Люди смѣялись и сообщали ему цѣнныя свѣдѣнія о порядкѣ дня императора и о расположеніи комнат (у «Народной Воли» был план дворца, однако провѣрка признавалась необходимой). Дворцовые слуги хвалили царя: добрый, на бар иногда кричит, как бѣшенный, а слугам слова не скажет.

В то утро, когда его позвали наверх, Халтурин никак не предполагал, что окажется в одной комнатѣ с Александром II, догадался лишь тогда, когда флигель-ад'ютант постучал в дверь кабинета — почтительно даже в отношеніи двери.

Среди инструментов был тяжелый молот со вторым острым концом. Халтурин остановившимся взглядом смотрѣл в сторону стола. «Сейчас, сію минуту!» — задохнувшись, подумал он. — «Не успѣет оглянуться... Да можно ли?... Ежели-б раньше

сообразить!»... Он соображал плохо, но понимал, что есть маленькая надежда спастись, еслиб царь не успѣл вскрикнуть. «Взмахнуть выше головы — р-раз!... Не вскрикнет!... Сунул молоток в мѣшок... «Так что кончил, ваше высокоблагородіе»... и шасть со двора»... Так он собирался уйти — и дѣйствительно ушел — послѣ взрыва во дворцѣ. Но взрыв был одно, э т о было совершенно другое.

Впослѣдствіи Ольга Любатович вспоминала (несомнѣнно по разсказу самого Халтурина): «Кто подумал бы, что тот же человѣк, встрѣтив однажды один на один Александра II в его кабинетѣ, гдѣ Халтурину приходилось дѣлать какія-то поправки, не рѣшится убить его сзади просто бывшим в его руках молотком?... Да, глубока и полна противорѣчій человѣческая душа. Считая Александра II величайшим преступником против народа, Халтурин невольно чувствовал обаяніе его добраго, обходительнаго обращенія с рабочими».

Он приставил гвоздь к стѣнѣ и слабо ударил молотком. Царь разсѣянно оглянулся. «Больше нельзя! Если перестать бить, замѣтит!» — с невыразимым облегченіем сказал себѣ Халтурин.

Привычка взяла свое: теперь он ровно и точно бил молотком по гвоздю. «Нельзя, спора нѣт, нельзя!» — думал он, как бы уже отвѣчая на упреки Желябова и Михайлова. — «А может, они еще и не готовы? Развѣ можно на такое дѣло рѣшиться без Тараса, не спросившись?... Взрыв это так, а по головѣ лущить нѣт приказу!»... Точно, чтобы заглушить что-то в себѣ, Халтурин застучал молотком сильнѣе.

На полочкѣ сбоку от картин в совершенном порядкѣ стояли разныя бездѣлушки. Он уставился на одну из них мутным взглядом. Это было что-то фарфоровое. Вдруг, быстро оглянувшись, он сунул вещицу в свой мѣшок.

Позднѣе Халтурин не мог понять, что такое с ним случилось. — «На память взял! Мое дѣло! Говорю, на память!» — упрямо и безсмысленно твердил он членам Исполнительнаго

Комитета, которые смотрѣли на него с недоумѣніем. То ли дѣйствительно он взял эту никому не нужную бездѣлушку на память о страшных минутах, которыя пережил в кабинетѣ, то ли, не совершив убійства, хотѣл показать свое презрѣніе к и х законам, то ли был в эту минуту почти помѣшан. Товарищи, уж совсѣм ничего не понимавшіе и очень им недовольные, велѣли ему, с риском вызвать подозрѣніе, с опасностью для всего дѣла, доставить вещицу на прежнее мѣсто.

Доклад по финансовым дѣлам был невообразимо скучен. Александр II не был особенно трудолюбив. Вдобавок, в послѣдніе годы ему иногда — правда, не часто — казалось, что большого толка от его работы нѣт, что можно было бы и не покрывать лаком для вѣчности тѣ замѣчанія, которыя он писал на полях. Особенность финансоваго доклада заключалась в том, что понять его было невозможно, хотя грамматически он, со своими закругленными придаточными предложеніями, был вполнѣ понятен и даже очень складен. «И батюшка в финансах ничего не понимал, и дядя Вильгельм тоже говорит, что ничего не понимает. Может, он и сам не понимает того, что пишет?» — нерѣшительно думал царь. Финансовыя дѣла зависѣли просто от довѣрія к министру, вѣрнѣе от довѣрія к его наружности и интонаціям голоса. Министр финансов говорил увѣренно, интонаціи у него были убѣдительныя, а наружность почтенная. «А не сдать ли и его в Государственный Совѣт?»...

Как громадное большинство докладов, этот спѣшнаго рѣшенія не требовал. Царь вспомнил, что теперь княжна садится за чай. Ему страстно захотѣлось увидѣть ее сейчас же, сію минуту. Александр II рѣдко отказывал себѣ в том, чего ему страстно хотѣлось. Он положил доклад под пресспапье и быстро вышел из кабинета, забыв о столярѣ. Халтурин с раскрытым ртом смотрѣл ему вслѣд.

Как всегда, на пути императора люди превращались в статуи. — «Скорѣе, братец, поторапливайся!» — нетерпѣливо сказал он человѣку в медленно поднимавшейся под'емной ма-

шинѣ. Ускорить ход машины было невозможно, но человѣк отвѣтил: «Так точно, ваше императорское величество». Машина быстрѣе не пошла. — «Вот такова и вся моя работа: «так точно, ваше императорское величество» — и ровно ничего»...

— Вели перевести часы. Я приду к тебѣ вечером, для нас Новый Год будет в одиннадцать, — сказал он, уходя. — Мы выпьем м о е г о шампанскаго. И пусть Гога меня подождет.

— Можно ли? Я не знаю, право, как...

— Я хочу! — вскрикнул он.

— Все будет, как ты хочешь, только не волнуйся, Сашенька, — поспѣшно сказала княжна.

— Чего я не отдал бы, чтобы провести с тобой весь день! сказал Александр II совершенно искренне. Это было именно одно из тѣх немногочисленных желаній, исполнить которыя не мог и он. Оффиціальная встрѣча Новаго Года была для него скучным испытаніем. Это был самый тяжелый пріем в году, — послѣ Пасхальнаго поздравленія, когда он, при своей брезгливости, христосовался с двумя тысячами людей. Подходя к нему перед христосованіем, всѣ низко кланялись, а послѣ христосованія цѣловали ему руку.

В гостиной стоял круглый на одной ножкѣ столик, предназначавшійся для спиритическаго сеанса. Царь, увлекавшійся в молодости чудесами медіума Юма, теперь снова, хотя и без прежней твердой вѣры (твердой вѣры он больше не имѣл ни во что) пристрастился к спиритическим сеансам (это и создавало на них моду в Россіи). На сеансы приглашалось только нѣсколько очень близких людей, из партіи княжны.

Вечером предполагалось запросить духов о предстоящем годѣ. На столикѣ была приготовлена записка, начинавшаяся словами: "In the name of the Great Master, of Him who has all power, restless Spirit, answer the truth and nothing but the truth." Записка была составлена по англійски, так как вызывался, по чьей-то рекомендаціи, японскій мудрец Іамабуши, дѣйствовавшій именем Тен-Дзіо-Дай-Дзіо, Духа Разсыпателя лучей.

— Вот все и будем знать, — сказал император с усмѣшкой. — Всѣ врут, чѣм же Разсыпатель Лучей хуже?

— Я увѣрена, он нам предскажет хорошее, — сказала княжна. — Сердце мнѣ говорит, что все будет хорошо.

— Да, да, все будет хорошо, — отвѣтил он бодрым голосом.

(Продолженіе слѣдует)

М. Алданов.

В УСАДЬБЕ

В усадьбе земского начальника Мясоедова тишина и безлюдье. На дверях людской висит огромный красный замок, конюшня сгорела, амбар зарос крапивой и лопухами. Правая сторона скотного двора, ремонтированная Мясоедовым незадолго до революции, еще держится, левая осела и покосилась. Толстая соломенная крыша провалилась, в пустые окна влетают птицы, ворота висят на одной петле и уже не качаются, заросли снизу густой травой, привалило их соломой и сгнившими досками. В барском доме давно не открывается парадная дверь, верхняя ступенька подгнила, в щель пробились побеги дикого винограда.

Но у заднего крыльца еще теплится жизнь, на кольях сушатся махотки и ведра, у двери сложен нарубленный хворост, на веревке, протянутой между углом дома и старой яблоней, висит белье. По вечерам в кухне зажигается керосиновая лампа, сквозь незанавешенные окна видна белая печь, по ней двигаются огромные тени.

Два окна рядом с кухней днем и ночью закрыты тяжелыми шторами. Тут живут барышни Мясоедовы, младшая Варвара Петровна, незамужняя, и старшая, Людмила Петровна, вернувшаяся из Полтавской губернии после смерти мужа. За годы отсутствия она отвыкла от дома и чувствует себя гостьей, люди здесь ей кажутся грубыми и жестокими, она боится мужиков, боится собак, боится резких звуков. Когда в усадьбу заходят редкие посетители, она выглядывает из-за угла шторы и взволнованно шепчет:

— Варя! Варя! Кто то приехал!

— Да? — басом переспрашивает Варвара Петровна и нервно похохатывает.

Она заранее готова ко всяким неприятностям и прямо идет на врага. Людмила Петровна прислушивается из соседней комнаты. «Я знаю, это нехорошо, бросать Варю одну», — думает она, — но она такая смелая, а я право же не могу!».

Сам Владимир Петрович давно исчез, никто достоверно не знает жив ли он. Когда о нем спрашивают, сестры пугаются и бледнеют. Понижая голос до шопота, они уверяют, что не слыхали о нем с осени семнадцатого года. Но неизвестно откуда взявшийся слух, что он живет в Берлине и, кажется, женился, ползет по задичавшим усадьбам, каким то образом перекидывается в деревню и разносится среди мужиков. Мясоедова помнят хорошо, он был крикун, случалось, давал волю рукам, в 1905 году его пытались убить в еловой посадке, когда он возвращался ночью домой.

Из деликатности мужики не задают вопросов, только единственный местный коммунист, Никифор Пушкин, при встречах смотрит на Варвару Петровну наглыми, понимающими глазами.

— Есть слушок, вы уезжать собираетесь, — говорит он, подмигивая, — будто у вас родственники нашлись заграницей?

Внутри у нее все дрожит, но она собирает силы и смотрит холодно и равнодушно.

По воскресеньям Варвара Петровна ездит в соседнее село Хвошню на базар. Накануне при помощи кухарки Дарьи она отбирает вещи для продажи. Дарья жадно роется в тряпках, ей тоже хочется поехать и принять участие в торговле, но старшая барышня, Людмила Петровна ни за что не соглашается остаться одна.

Изредка на усадьбу делает набеги новое начальство. Варвара Петровна узнает об этом заранее, но, чтобы не пугать, ничего не говорит сестре. Накануне визита она собирается к соседям «по делу». Людмила Петровна смутно чувствует что то неладное, но предпочитает не спрашивать. Варвара Петровна возвращается поздно с новостями и покупками. Она возбуждена. Отбирают рессорные экипажи, назначили новую контрибуцию. Владыкинского священника сослали,

от него пришло письмо, что долго он не проживет, очень голодно и холод такой, что пальцы на руках опухли и покрылись нарывами. Говорят, уже решен вопрос о выселении, а 18 июня будут резать всех помещиков.

Сначала она старается скрыть особенно страшные слухи, но хороших новостей нет и постепенно она рассказывает все. Людмила Петровна не спит, принимает валерьянку и плачет.

— Брось! — басом шепчет младшая сестра: — Ведь не первый раз, а видишь, живы...

Когда приезжает начальство, Людмила Петровна запирает дверь своей комнаты и на всякий случай придвигает комод. Она ложится на кровать, затыкает пальцами уши и кладет на голову подушку. Что бы они там ни говорили, она ничего не хочет слышать, ее нервы не выдержат. Варя счастливая, ей все нипочем, но она ведь всегда была отчаянная, вся в папу. А она, Милочка, создана для другой жизни, совсем как мама, ей нужен муж, защитник, и как все ужасно сложилось!

Она вспоминает покойного Аркадия Аркадьевича, полного, с круглым животом, в чесучевом костюме, веселого и уверенного. Все, что когда то ее мучило, — пошлые анекдоты, пьянство, ухаживания за всеми женщинами подряд, независимо от их положения и почти независимо от наружности, — теперь забыто. Ну, разве он бы допустил, чтобы она вот так в страхе лежала на кровати, окруженная со всех сторон врагами! Уж наверное он нашел бы выход, накричал бы, разогнал этих ужасных мужиков. А Варя только храбрится и от страха заискивает перед всякими мерзавцами.

Когда начальство уезжает, Варвара Петровна долго стучится к сестре. Людмила Петровна просыпается с сильно бьющимся сердцем. Ей снилось, что мужики выломали дверь и отодвинули комод.

Закутавшись в пуховый платок, она выходит в столовую. Здесь накурено, на столе остатки пиршества, отвратительно пахнет спиртом и мужиками. Глаза у Варвары Петровны странно блестят и она чаще обыкновенного смеется, показывая длинные желтые зубы.

— Нет, ты понимаешь как ужасно, — силится об'яснить Людмила Петровна: — комод двигается медленно, медленно, я подпираю его изо всех сил, ноги скользят, а кто то там за дверью громко дышит...

— В общем, — не слушая, перебивает Варвара Петровна, — они не такие уж страшные, особенно если знаешь, как к ним подойти. Этот, новый, обещал устроить насчет коровы. Он говорит, отобрать не могут, — тем более, что мы записаны в общество.

Они давно уже живут отрезанные от всего мира, газет не читают, писем не получают. Соседей видят редко, да и те тоже питаются местными слухами о выселениях и контрибуциях. Если бы ни Дарья, их связь с живой жизнью давно бы оборвалась. Но Дарья каждый день ходит к общественному колодцу за водой, полощет на пруду белье, бегает к сапожнику, к председателю сельсовета, приносит новости. Через нее барышни знают и о войне и о заградительном отряде на станции, и о том, что где то об'явился царь и идет с войском против новой власти, и о том, что прохожие зарезали в Бабкине сапожника.

Дарья живет в усадьбе двадцать два года. Сперва была кухаркой в людской, потом, когда рабочие ушли, перешла в господский дом. Она до сих пор не может привыкнуть к огромным окнам, к тому, что спит на кровати, одна во всей комнате. Если бы она была умней, ее, может, угнетало бы одиночество, но она и с молоду была чудная, будто пришибленная, а теперь говорит сама с собой, покачивая головой и улыбаясь.

Здесь в усадьбе она вышла замуж, здесь ее мужа, стерегшего барскую скотину, запорол племенной бык, здесь родились ее дети — сперва пять зараз, потом через год Ленька. О том, что у Дарьи была пятерка, барышни узнали недавно, тогда это от них скрыли.

Дарья и сама была подавлена и почувствовала облегчение, когда дети померли один за другим в течение нескольких дней.

Но теперь, отвечая на вопросы барышень, она видит все в другом свете.

«Лежат как ягняточки, — рассказывает она с умилением: — вот такие то вот нахонькие, три побольше, а два вовсе видать нечего!».

Леньку убили в германскую войну и теперь у нее никого нет, кроме двоюродной сестры замужем в дальней деревне. Революция еще не дошла до ее сознания. Почему так случилось, что раньше скотный был полон коров, в конюшне стучали копытами лошади, на гумне скрипели воза и по вечерам людская набивалась народом, а теперь везде стоит мертвая тишина, она не задумывается. Мало ли что бывает на свете...

Думает она о вещах простых и практических. Вот полсапожки растрепались, надо подшить, спасибо барышня расторопная, достала подметки; обещалась миткалю к празднику, да видно забыла, спросить бы, да что то совестно, видно так и быть. Наказывали давеча мужики про веялку узнать, конечно, как барышня, а дать бы надо, потому народ озорной, глядишь, унесут чего.

Из трех человек, живущих в усадьбе, Дарья самая счастливая. Она ни о чем не беспокоится, ничего не боится. Барышни все время ждут беды: Людмила Петровна с закрытыми глазами, с подушкой на голове, Варвара Петровна всегда в движении, блестя выпуклыми коричневыми глазами, смеется, показывая длинные зубы.

И беда приходит. Уже неделю идет дождь, он то усиливается и громко стучит по крышам, то стихает опять и падает легкий и мелкий, похожий на оседающий туман. У крыльца под липой желтым кругом лежат осыпающиеся листья, покраснели клены вокруг пруда, но пропитанная водой трава зелена и густа, а дубы еще не тронуты осенью.

Варвара Петровна уехала по делам в исполком. Дарья в подоткнутой юбке, с головой, обмотанной шалью, бегает по двору, ныряет в темную дверь погреба, стучит топором под навесом, тащит мешок с мокрой травой на скотный. У парад-

ного крыльца стоит незнакомый человек в брезентовом плаще, бьет кнутом по жирным, набухшим лопухам.

— Эй, — кричит он вслед Дарье, — что вы тут все глухие или мертвые?

Она с трудом поворачивает голову и смотрит на него с недоумением.

— Где у вас вход, я говорю?

— А вам кого? — осторожно спрашивает она.

— Бывшую помещицу Мясоедову; с тобой тоже поговорить нужно.

— Нету их, на станцию уехали. А хотите обождать, мы через кухню ходим, — и, не обращая на него внимания, она скрывается за дверью амбара.

«Барыню, говорит, надо, — рассуждает она сама с собой, уминая в мешке холодную, слежавшуюся муку: — или купить чего хочет? Он и то на Туркина сына схож, что лавку в Хвошне держит. — Ну, и пусть купит, даром обидно, а за деньги отчего не продать?».

Когда с мешком на спине обсыпанная мукой она входит в кухню, человек сидит на лавке, хлопает себя кнутиком по новому сапогу. На лице у него застыла брезгливая скучающая гримаса.

— Так, значит, работаешь? — говорит он лениво, будто не знает, с чего начать: — А какое тебе за это вознаграждение полагается?

Дарья не совсем ясно понимает его вопрос, да кроме того думает, что говорит он просто, чтобы провести время, поэтому она не отвечает и молча принимается за дела. Она разбирается, снимает шаль, отсыревшую ватную кофту, спускает юбку и подвязывает фартук. Потом открывает заслонку и лезет в печь.

— Жалованье ты получаешь или нет?

Она быстро выпрямляется и смеется неожиданно веселым детским смехом.

— Жалованье? А тебе то что? Или переманить меня хочешь? Два лимона дашь, пойду!

— А как же насчет прозодежды? — не отстает незнакомец: — Получаешь сполна?

— Одежа? Одежа у меня есть, шуба новая, полсапожки в сундуке ненадеваны, валенок две пары. Да тебе то что? Или замуж меня взять хочешь? — смеется она, довольная своими шутками и тем, что этот незнакомый, чисто одетый человек занимается с ней разговором.

— Я не про то тебе говорю! Прозодежда, которая для работы по закону полагается. Ну, ладно, теперь скажи какие твои обязанности. Что ты делаешь целый день?

— А нешто мало делов? — и желая показать себя с лучшей стороны, она перечисляет: — Как встану, сейчас иду корову доить, корову подою, надо печку топить, поросенка кормить, а там, глядишь, картошки поспеют, когда хлебы, хлебы месить надо, ну, постираешь иной раз или полы помоешь, а там, глядишь, и обедать пора.

— А после обеда отдыхаешь? В котором часу встаешь?

— А кто ж его знает? Я часов не понимаю, иной раз барышня скажет, да нешто упомнишь? Встанешь, известное дело, темно и ляжешь опять темно.

— Что ж ты вечером делаешь?

— Что ж мне делать? Я небось неграмотная, в книжке не читаю, посуду уберу и спать ложусь.

— Так ты говоришь, Мясоедовой дома нет, — лениво тянет человек, вынимая карандаш и листок бумаги: — вот записка, передай, когда приедет.

Варвара Петровна возвращается поздно.

— Это ты, Варя? — спрашивает из за двери испуганный голос Людмилы Петровны: — Ты одна? Ты уверена, что никого там нет? А в кухне ты смотрела?

— Да, отопри ты, Господи! В чем дело? Что случилось?

— Не знаю, не знаю! Какой то ужасный человек, он все приставал к Дарье и ничего нельзя было понять!

— Но почему ж ты не вышла? Вот теперь и будем мучиться....

— Так ты у Дарьи спроси!

Дарья долго не может очнуться. Наконец она приходит в себя и понимает о чем ее спрашивают.

— Уж, и настырный же, — говорит она улыбаясь довольной улыбкой: — Все ему надо, и сколько денег зажила, и что из одежи есть. Моложе была бы, подумала, сватать приехал. Я, говорит, тебя обеспечу, ты не сумливайся. Так и не поняла чего ему нужно. Или может в прислуги хочет взять, думает у господ жила, знает как угодить.

Барышни, одна в чепце и ночной кофте, с помятым розовым лицом, другая в чуйке и с кнутом, смотрят на нее испугано и недоумевающе.

— О! Да ведь он записку оставил! — вскрикивает вдруг Дарья: — Из головы вон!

Варвара Петровна сбрасывает со стула какие то платья и придвигает свечу. Она читает записку, а сестра со страхом следит за ее насупившимся лицом, по которому ползают тени.

— Дура! — кричит вдруг Варвара Петровна и таращит глаза на зевающую Дарью: — Дура! Чего ты ему наболтала?

Дарья переступает босыми ногами и молчит.

— Вот теперь в город ехать надо, да еще тебя дуру тащить! Только этого нехватало! Не было печали! — и когда Дарья, так ничего и не поняв, уходит в кухню, Варвара Петровна накидывается на сестру: — Ну, что ты за человек! Когда я дома, я не прошу твоей помощи, лежи себе целый день, но когда меня нет, неужели ты не можешь себя пересилить? Какой такой инспектор труда? Что за человек? Поговорила бы с ним, угостила бы чаем, все бы и обошлось.

Через неделю Варвара Петровна и Дарья идут пешком на станцию. Погода переменилась, в колеях блестят холодные лужи, в них отражаются плотные круглые облака. С деревьев падают тяжелые капли .Варвара Петровна постукивает большой суковатой палкой и, несмотря на тревогу, наслаждается холодным воздухом, запахом прели и грибов в лесу. На ходу она разрывает носком сапога листья, находит маленький, крепкий с вросшим в него прутиком подосинник. За лесом идут по

тропинке между густых ровных зеленей, потом лугом под железнодорожной насыпью.

Дарья то отстает, то снова догоняет.

— Из чего идем? — бормочет она, глядя себе под ноги и не замечая ни рдеющих осин, ни грибов, ни зеленей: — Билет пятьдесят в один конец, туда да назад — целковый, на двух выходит два. Ведь это деньги, что ж их зря бросать! Отдали бы мне, когда такое дело...

В поезде она оживляется, с удовольствием смотрит на людей, идет в соседнее отделение, разговаривает, улыбается. Варвара Петровна сидит в углу с закрытыми глазами.

В городе сонная тишина, улицы заросли травой, прохожих почти нет. Изредка шагом, постукивая колесами, проедет телега, или хлопнет где нибудь калитка. Около старого двухэтажного дома, где когда то была земская управа, стоят тележки, беговые дрожки и тарантасы, колеса забрызганы свежей грязью, лошади понуро дремлют или жуют, лениво роясь в брошенном перед ними сене.

Варвара Петровна решительно входит в открытую дверь и поднимается на второй этаж. Ее сразу охватывает нервное напряжение. Десятка два человек сидят в широком коридоре на скамейках и взволнованно шепчутся. Время от времени из за закрытой двери доносится резкий крик, тогда все замолкают и прислушиваются.

Варвара Петровна сейчас же находит знакомых и ее низкий голос сливается с другими голосами. Дарья стоит у дверей, переминаясь с ноги на ногу.

Вызывают лавочника в чуйке с озабоченным сухим лицом, потом идет бывший уездный предводитель дворянства, высокий, худой старик в синей поддевке, потом молодой священник в повязанной веревочкой рясе.

— Ну, дай Бог, — шепчет предводителю соседка Варвары Петровны: — так вы же смотрите остановитесь и расскажите как и что!

Предводитель молодцевато выпрямляется и обещает все

рассказать. После приема, красный и взволнованный, он пробегает мимо, забыв о своем обещании.

Наконец вызывают Варвару Петровну и Дарью. В комнате сизый туман. За письменным столом сидит маленький аккуратный, прилизанный человек.

— А, здравствуй! — говорит он Дарье и кивает головой: — садись, чего ж ты!

На Варвару Петровну он не обращает никакого внимания. Машинально она садится на стул.

Не глядя на нее инспектор сыплет вопросами: пользуется ли она наемным трудом, на каком основании, с какого времени у нее работает гражданка Дарья Вагонова, каково ее вознаграждение, часы работы, отпускные дни, заплачен ли трудовой налог, внесены ли проценты в кассу социального обеспечения.

Варвара Петровна напрягается, как лунатик, идущий по краю крыши. И вдруг крик.

— Это я не у вас спрашиваю, чего вы суетесь!

Дарья молчит и на вопросы не отвечает. Инспектор терпеливо об'ясняет:

— Наниматель обязан выдавать вам прозодежду, понимаете? Два фартука, два платка, рукавицы... и что там еще полагается?

Возвращаются они в полном молчании. Солнце уже село, на небе нет ни одного облака, холодная прозрачная синева на западе переходит в лимонно-желтый туман. Деревья потускнели, заметней стали голые ветки, будто за день осыпалось много листьев. Внизу в ложбине трава поседела от росы, журчит темная вода, в лесу тоскливо и глухо. Варвара Петровна уже не ищет грибов, она все прибавляет ходу, а сзади то отстает, то догоняет Дарья.

— Платка, — говорит, — два. Это хорошо... Раз полагается, надо давать. Полушалок теплый тоже хорошо, — бормочет она.

И опять идут дни. Краснеет и осыпается сад, на клумбах мокнут последние астры, крепко пахнет антоновка, разложенная на соломе в холодной комнате. По утрам сестры пьют

кофе с вкусными ржаными лепешками. Дарья бормочет что то на кухне. И кажется, что ничего не случилось и тревога была напрасной.

Но вот председатель сельсовета приносит пакет и просит Варвару Петровну расписаться. Бывшая помещица Мясоедова должна уплатить трудналог и проценты в кассу социального обеспечения за 22 года, всего 14 тысяч. В случае неуплаты подлежит тюремному заключению сроком на год.

Два месяца проходят в томительных хлопотах. Напрасно Варвара Петровна пытается об'яснить, что трудовой налог введен недавно и с нее не могут требовать за 22 года. Никто ее не слушает. Денег достать негде, приходится искать протекции. Писарь Васенька, служивший когда то у брата, теперь важная персона в Губисполкоме. Сын местного священника, коммунист, живет в Москве. Она ездит, дает взятки, угощает, обращается с просьбами к людям, которых ненавидит. Но все напрасно и в марте в усадьбе наступает тишина. Уже не слышно уверенного барского голоса Варвары Петровны, не видно ее стремительной фигуры, по деревенской улице не тарахтят ее беговые дрожки, пугая собак и ребятишек.

Бесшумно мелькает по заросшему травой двору Дарья. Дела все те же, они возникают в привычном порядке, мелькают дни, лето сменяет весну. Надо все сообразить и посеять и убрать, а посоветоваться не с кем, барышня Людмила Петровна не выходит из комнаты и не хочет ничего слышать. Незаметно подходит зима, пухлым снегом заваливает усадьбу. Дарья с трудом пробирается за водой к колодцу и, покончив с делами, греется на печке.

Ранней весной возвращается Варвара Петровна. Со станции она идет пешком не по дороге, а верхом вдоль опушки леса. Из под прошлогодних листьев уже лезет нежная молодая травка, а в канаве еще лежит снег. На деревне поют петухи, мычат привязанные на лугу телята. У дороги рядом с кузней блестит новый сруб, плотники стучат топорами. Чтоб никого не встречать, Варвара Петровна обходит садом. Лужайка высохла, у

забора курчавая красноватая зелень крапивы, тускло блестят пустые окна старого дома.

В кухне Варвару Петровну охватывает теплым домашним духом. На столе под полотенцем лежат вынутые из печки хлебы, через отсыревшее полотно пробивается пар. Пахнет щами, пареной свеклой и сывороткой.

— Ах! — вскрикивает Людмила Петровна, распахивая дверь своей комнаты: Боже мой! Боже мой! Ну, наконец! Я уж думала, ты никогда не вернешься! Я так измучилась, это был сплошной ужас! Я не знаю, как я пережила! — и она плачет, закрыв лицо руками, как натерпевшийся страху ребенок.

— Почему ж ты ни разу не приехала? Почему ты на мои письма не отвечала?

— Ну, что ты! — возмущается Людмила Петровна: — Они бы и меня посадили, а ты знаешь, я бы этого никогда не перенесла!

— Ну, как же вы жили, рассказывай! Приезжал кто нибудь? Что нибудь отбирали? Какие вообще новости?

— Ах, я ничего не знаю! Спрашивай Дарью, она со всеми разговаривала.

Варвара Петровна переодевается, моется, обедает. По всему телу разливается блаженное ощущение тепла, чистоты и сытости и только в глубине что то оборвано и дрожит.

После обеда она обходит хозяйство, в доме и во дворе все благополучно, в погребе сухо, стоят кадушки с капустой и огурцами. Варвара Петровна вылавливает из под скользкого кружка маленький крепкий огурчик и громко откусывает. А она то думала, что без нее не сумеют посолить!

Постепенно выясняются потери. Осенью отобрали пианино для Губоно, взяли для народного дома диван и мягкие кресла, стоявшие на чердаке, требуют рессорную тележку.

— Ну, вот! — презрительно усмехается Варвара Петровна: — еще бы полгода, и крыши не нашла бы!

На глазах у сестры навертываются слезы.

— Это как пить дать! — охотно соглашается Дарья: — уж известно, без хозяйки дом сирота!

Варвара Петровна с непонятным раздражением смотрит в ее невыразительное лицо и вдруг вспоминает, что именно из за этой Дарьи и произошли все несчастья.

— Ты, Дарья, вот что, — говорит она холодно: — собирай свои потроха и убирайся, куда знаешь! Теперь прислуг держать не полагается, я второй раз за тебя отсиживать не собираюсь!

Дарья смотрит испуганно и ничего не понимает.

— Я говорю убирайся вон, совсем, навсегда! Ты мне больше не нужна!

— Так куда ж я пойду? — спрашивает она в недоумении.

— А мне какое дело! — кричит барышня, тараща выпуклые близорукие глаза: — Иди к своему инспектору, может он тебе работу даст!

Через час она уже жалеет о своей горячности, вдруг, правда, вздумает уйти... Но Дарья мелькает по двору, стучит в кухне, делает свои обычные дела и барышня успокаивается.

В воскресенье утром Дарья одетая во все новое приходит прощаться. Варвара Петровна неприятно поражена, но не показывает виду.

— Другой раз умней будешь, не будешь жаловаться! говорит она сердито. В душе она уверена, что через день или два Дарья вернется. Но проходит неделя, а ее все нет.

Тысяча мелких нудных дел наваливается на Варвару Петровну. Печка не растапливается, обед не готов, корова не выдоена. Никто из деревенских не хочет помочь. Варвара Петровна ругается, клянет Дарью, клянет свою жизнь и, бросив все, уходит в огород. Если сестра действительно проголодается, она встанет и затопит печь, должна же быть какая нибудь справедливость. Но приходит вечер, а Людмила Петровна продолжает лежать на кровати с растрепанной книжкой и вытирает глаза скомканым платочком.

По ночам, заперев все двери, они тихо шепчутся, прислушиваясь к шорохам.

— Можно бы коммуну устроить, — басом гудит Варвара Петровна, — мне рассказывали, в Машковской волости многие сделали, записывают родственников, прислугу, еще кого нибудь, и их не трогают. Противно, конечно, но ведь не навсегда! Переждать бы только пока все переменится. А уж Володя вернется, он им покажет!

— И зачем, зачем я осталась, — жалуется Людмила Петровна: — У нас там все уехали с белыми. И Савичи, и Пробенки, и Шиловские... А я просто не решилась одна!

— А, брось! Что бы ты там делала? Ведь надо чем то жить!

— Я бы отыскала Володю. Только подумать, что можно жить и не дрожать все время от страха!

— Уехать всегда можно, — гудит Варвара Петровна: — Но неужели оставить им дом на разорение! Вернешься через несколько лет, а тут пустое место. Нет, уж лучше потерпеть, теперь недолго!

Она тяжело переворачивается, треща пружинами, скрипит кровать. Болит спина, ломит руки и ноги, на пальцах потрескалась кожа. Ее уж не радует хозяйство, дела запущены, одна она не справится.

В жаркий июньский день она возится в огороде. Цветет сирень, в пруду квакают лягушки, но она ничего не видит и не слышит. Она с остервенением взмахивает над головой цапкой и подсекает сорную траву. Платок на голове у нее сбился, на носу висит капля пота.

Вдруг сзади кто то подходит и молча наклоняется над грядкой. Варвара Петровна делает вид, что не замечает. Она видит коричневую жилистую руку, мелькающую в морковной зелени, босую ногу с перевязанным тряпкой пальцем, и, чтобы показать, что помощь ей не нужна, с небывалой легкостью размахивает цапкой. Дойдя до конца грядки, она не выдерживает и шагает к дому.

— Ты видела? — торжествующе кричит она, распахивая дверь к сестре: — Пришла эта дура! Я так и знала. Вся

ободранная, тощая, мне она совершенно не нужна, да черт с ней, пускай живет, раз ей деваться некуда!

И опять все идет по старому, топится печь, пахнет хлебом, барышни пьют кофе со сливками и горячими лепешками. На столе в синей вазе стоят пионы и жасмин, совсем как тридцать лет назад при маме, и кажется, что несчастья были временны, что впереди еще долгая, счастливая жизнь.

— В городе за рекой есть гадалка, — басом говорит Варвара Петровна: — совершенно замечательная! Она предсказывает, что не позже этой осени большевикам конец.

— Если Володя приедет не один, — шепотом отзывается сестра: — можно будет ремонтировать флигель и мы перейдем туда, а уж он пусть здесь в большом доме...

И. Макаев.

СЕРАФИМА

...И теперь, после двадцати с лишним лет, он все так же умиленно и нежно вспоминал Серафиму. Да и было ли все это?...

В городском саду того уездного городка, в котором они жили, он часто по воскресеньям встречал ее на прогулке с подругами. Сначала он робко здоровался с ней только глазами; потом, осмелев, снимал перед ней свою гимназическую фуражку широким и, как ему казалось, особенно щегольским жестом — наотмашь кланялся. Она была старше его года на два, была уже совсем настоящей барышней. Ей нравился этот высокий красивый гимназист, всегда глядевший на нее с таким восхищением, и на его поклоны она отвечала чуть заметной улыбкой. Как-то, перед самыми выпускными экзаменами, он прогуливался по одной из боковых аллей сада. Уставший от занятий, он был рассеян и задумчив. Вдруг его словно что-то ударило в самое сердце. Перед ним, тоненькая и сияющая, в нарядном весеннем костюме, в большой соломенной шляпе, которая так прелестно оттеняла ее веселые синие глаза, улыбаясь, стояла Серафима. Она поздоровалась с ним, как с давнишним знакомым, тут же рассказала, что возвращается домой от подруги и совсем случайно зашла в сад, где теперь по весеннему так хорошо, посидела рядом с ним на скамейке, почертила зонтиком на песке какие-то иероглифы и исчезла, словно растаяла в воздухе. Через месяц он узнал, что она вышла замуж. Это его почему-то тогда страшно поразило, а теперь, когда он пытался рассказать жене о своем родном городке, как в городском саду одуряюще пахло весной сиренью, каким волшебством были прозрачные, будто тающие вечера, как музыка, то замирая, то с новой силой, доносилась

из сада на самую окраину города, как хрустел под ногами свеже-накатанный на дорожках гравий, а осенью — сухой лист, и в полутемных боковых аллеях сада было по особому таинственно и прекрасно, он чувствовал, что жене все это было чуждо, неинтересно, чуть ли не враждебно, и каждый раз он досадовал на себя, зачем его тянет в самые, казалось, неподходящие моменты редких вспышек искренности, посвящать свою жену в это далекое и только ему дорогое прошлое.

Женился он как-то случайно, как впрочем и все было в его жизни случайно, послѣ от'езда из России. Жену свою он давно уже не любил, да и, вероятно, никогда не любил ее; то, что она была француженка, и ему постоянно приходилось говорить и думать на чужом языке, было особенно тягостно. «Да разведись ты, Николай Сильвестрович», полушутя, полусерьезно говорили ему его старые приятели, «а то приходишь к тебе в дом и всякую чушь приходится плести по-французски, чтобы не обидеть твою бабу». Он только пожимал плечами и беспомощно улыбался. Иногда ему и самому приходила в голову эта мысль, и за ней вслед шла другая, неизменно возвращавшая его в прошлое, и оттого еще более горькая: ведь как бы он мог быть счастлив, если бы он женился на Серафиме. Но уже была привычка, боязнь перемен и сильнее всего страх одиночества.

По субботам их жизнь отдаленно напоминала время их первых супружеских лет. В этот день они обычно обедали не дома, шли в ресторан, особенно тщательно выбирали по карточке кушанья, неизменно заказывали по пол графинчика белого и красного вина. У нее к концу обеда блестели глаза, на щеках выступал горячий румянец, она казалась даже красивой. Она ела с таким аппетитом, что и он сам, и прислуга, и посетители, сидевшие за соседними столиками, глядели на нее с удовольствием. Ресторанная сутолка, говор, смех создавали приподнятое настроение. После обеда они шли, обычно, в ближайший кинематограф, где в полутьме просиживали положенные часы, наслаждаясь, страдая, живя чужой жизнью, а когда выходили на улицу, то сами себя чувствовали

немного теми людьми, которых они только что видели на экране. Он брал ее под руку, она инстинктивно прижималась к его локтю; она казалась ему моложе, лучше, он шел более легкой походкой, чем обычно, и им обоим казалось, что они еще молоды в то время, как там, на экране, старели из года в год знакомые им артисты. Дома они обыкновенно еще пили кофе. Потом, уже лежа в постели, потушив свет, они оживленно обсуждали, как было и что еще могло быть в жизни тех людей, которые только что прожили перед ними какой-то отрывок своей жизни — на экране. А на утро ему было всегда неловко и как-то стыдно и перед собой, и перед женой за эту созданную кинематографом иллюзию любви. И все же, эти субботние выходы было единственным, что нарушало монотонность его безотрадной шоферской жизни.

На эту Пасху, совпавшую с католической, его жена уехала в провинцию к своим родным. Он остался один и решил пойти в церковь, где давно не бывал. Особенно торжественная в эту ночь служба, помолодевшие, словно разглаженные лица молящихся, освещенные теплящимися в их руках свечками, по праздничному разукрашенный храм, — все это привело его в то умильное настроение, какое всегда, с детства, у него бывало в церкви. А когда священник возвестил с амвона о Светлом Христовом Воскресении, он не выдержал и заплакал. Не дождавшись конца службы, он вышел из церкви.

Была мягкая весенняя ночь; на побелевшем небе таяли уже чуть приметные звезды. В этот поздний час улицы были пустынны и тихи. Над Сеной стоял туман, на набережной, призрачно поблескивая молодой листвой, шелестели каштаны. Он долго стоял на мосту, глядя на разноцветную цепь отраженных в воде фонарей, то вспыхивавших, то гаснувших, и вспоминал дом, разговены, когда за столом собиралась вся семья, и было так светло и праздничо. Его родители давно умерли, а что сталось со всей многочисленной семьей — он не знал. «Хоть бы какая нибудь завалящая тетка была у меня тут», думал он, и ему, взрослому, немолодому мужчине, захотелось вдруг снова быть для кого то все тем же

маленьким слабым мальчиком, каким он был когда-то давно; «эх, будь Катрин другой женщиной», с горечью пробормотал он, «а то ведь... и старых друзей из за нее растерял, и новых не завел, да и что новые...». От долгого стояния на мосту он продрог. Фонари погасли, и вода в Сене сделалась совсем черной. Он постоял еще немного и потом нехотя направился домой.

Войдя в квартиру, он зажег свет и остановился посреди комнаты. Он словно в первый раз увидел обстановку комнаты, в которой прожил с женой много лет. Эта зеленая плюшевая скатерть на обеденном столе, букет искусственных цветов в пузатой красной вазе; на камине, в изукрашенной ракушками раме, его и жены фотография, а с ней рядом, под высоким стеклянным колпаком, венчальный венок из fleurs d'oranger. Он с отвращением посмотрел на полинялые цветы на столе. Ему стало душно, он подошел к окну, распахнул его настежь и глубоко вдохнул предутренний парижский воздух. Где-то далеко, из серой мглы медленно рождался рассвет; вокруг начали отчетливее обозначаться контуры домов; утыканные дымовыми трубами, влажно чернели крыши. В воздухе стоял легкий гул просыпавшегося города. Он глядел на серую, постепенно светлеющую стену соседнего дома, ни о чем не думая и только чувствуя, всем существом, острую ненависть к своей жене, к своей теперешней жизни.

«Надо все это бросить», неожиданно для самого себя решил он. Он деловито закрыл жалюзи, затем окно и спокойно принялся за сборку самых необходимых вещей. Быстро отобрав нужное, он сложил все в саквояж и присел к столу — написать жене. Писал он с орфографическими ошибками и множеством помарок, он так и не научился правильно писать по французски, и впервые ему было от этого как то неловко. Наконец, справившись с письмом, он оставил его на столе и, захватив саквояж, пошел на работу.

Вечером он отправился с приятелем, тоже шофером такси, на какую-то русскую вечеринку. Они много пили, смеялись, и он не заметил, как в залу вошла худая, уже немолодая жен-

щина и села за соседний столик. «А вы не из Ананьева?» — донесся вдруг до него вопрос. Только тогда он взглянул на нее. Что-то знакомое мелькнуло в его памяти, но сейчас же исчезло опять. Да, конечно, он из Ананьева, как же, родной город, — он улыбнулся, показывая белые, еще красивые зубы и говорил тем развязным голосом, за который всегда бывает так неловко на следующий день. «Я так и думала», задорно сказала она, «а вы помните, какой чудный сад был там, какие аллеи, какая музыка...». О, разумеется, он все это помнил... Он отвечал ей, всматриваясь в нее все пристальнее и, вдруг заглянув ей в глаза, он чуть было не вскрикнул: Серафима! Он сразу отрезвел. Но какой жалкой и чужой была теперешняя Серафима. Разве это она, та Серафима, с которой он встретился весенним вечером в родном городе? Потрясенный и растерянный он встал и, ни с кем не прощаясь, и даже не взглянув в ее сторону, взял пальто и вышел на улицу.

Под тонким, только что начавшим накрапывать дождиком все показалось ему проще и обыденнее. Что эта увядшая, накрашенная женщина была Серафимой — ему не хотелось верить.

Он, казалось, впервые ясно отдавал себе отчет об ушедших годах, надвигающейся старости. Ему стало нестерпимо больно и жалко того прекрасного, что было его молодостью, той другой Серафимы, которую так же, как и всех, не пощадило время, и горячая обида на эту чужую женщину, появившуюся перед ним, чтобы навсегда разбить его мечту... Незаметно для самого себя он подошел к своему дому, поднялся по лестнице и начал машинально вытирать ноги о коврик, лежавший перед входной дверью. Он вспомнил, как жена обыкновенно, вместо приветствия, встречала его одной и той же фразой: "essuie tes pieds, Nicolas".

Он ожесточенно и покорно тер ноги о коврик, сознавая невозвратимость прошлого и свое глупое, такое страшное одиночество...

Наталья Кодрянская.

В ЛУВРЕ

В зимний туманный день, стены Луврского дворца теряли свою праздничную узорчатость, Сена казалась желтой, и розовая мраморная арка Наполеона — будничной и серой. Зато, как то странно оживали статуи в саду Тюльери, точно тяжесть мрамора растворялась в тумане и яснее выступала живая, текучая форма. Мраморное лицо высокой старухи, окутанной с головы до ног тяжелым плащем, улыбалось необыкновенно живой, чуть насмешливой, всепрощающей улыбкой. Но если зайти сбоку или сзади, становилось ясно (— и как вдохновенно задумал это художник —), что дряблое, морщинистое лицо было лишь маской. Молодая женщина держала эту маску в поднятой руке, скрывая ею свое настоящее лицо. Ее голова, с массой волос, вьющиеся пряди которых лежали на обнаженной груди, была закинута назад, прекрасное лицо выражало глубокое страдание. Кругом — все тонуло в холодном тумане.

В такой сумрачный день Париж был неприветливым и беспокойным, и хорошо было укрыться от его тумана и холода в залах Лувра, насыщенных тишиной. Я любил музей, этот остров покоя, где произведения рук людей проходили мимо меня в параде времени — столетий, тысячелетий.

Высеченные из камня ассирийские божества смотрели со стен большой полутемной залы. Эа, великий океан, родоначальник богов и людей, лил в чашу жизни священную воду. Благодарный человек приносил жертву — козла и цветок. Безголовые каменные тела чинно, в два ряда, сидели на каменных тронах, и головы их, человеческие и звериные, были расположены отдельно на высоких подставках, тоже в два ряда. Как аккуратно — мастерски — обезглавило их время.

В египетских залах выстроились вдоль стен длинные ряды

саркофагов с изображениями тех, кому они принадлежали; темные лица были спокойны — что им до судьбы мира, им, знавшим дорогу и пароль? Так же холодно взирали на мир величавые статуи, улыбался только сфинкс, своей нечеловеческой улыбкой.

Краски, завещанные нам Египтом — темно-синяя и красная охра. Греция разбавила их солнечным светом, превратив в небесно-голубую и огненно-красную. Греция дала движение форме, перспективу — пейзажу, и человеческие тела — богам (— оправдание божественности для искусства, ставшего человеческим). У Венеры Милосской — крепкая, упрямая шея и могучее тело, но есть что то трагическое в ее беспомощной безрукости. Зато богиня Никэ — Самотрасская Победа — сохранила свои великолепные крылья.

В итальянских залах ранней эпохи тоже крылья, много крыльев — написанных кистью на полотне, высеченных из камня или вырезанных из дерева — крылья ангелов. Здесь царит Мадонна; святые и ангелы охраняют ее, поклоняются ей. Мадонны нежны и прекрасны, святые полны благолепия и благоволения. Франциск Ассизский ласково беседует с огромным, свирепым волком, на зеленом лугу, усеянном маргаритками; укрощенный хищник смущенно и смиренно внимает словам святого. Этот святой слагал прекрасные стихи, в них он называл деревья и скалы и людей и животных — братьями и сестрами; последняя сложенная им поэма начинается словами: «Сестра моя, Смерть».

В конце длинной итальянской залы находится маленькая комната, с портьерой зеленого бархата, — святое святых Лувра. На стене висит небольшая картина, изображающая безбровую длинноглазую женщину с прекрасными руками. Она сидит на открытой террасе; вдали, в голубом сумраке, расстилаются дикие, скалистые горы, прорезанные туманными долинами рек. Когда я увидел Джиоконду в первый раз, малый размер картины меня поразил, — почему то, я представлял ее себе очень большой. Впрочем, это ощущение «очень большого» ничуть не нарушалось малой величиной рамы, в ко-

торую замкнул художник свое видение. — Может быть, секрет Моны Лизы и есть в том, что она отражает какую-то скрытую в человеке громадность, таинственную, особую его значительность. Она, и только она, занимает весь первый план картины, и то что сзади — фантастические узоры скал и зеленое цвета льда небо — как эманация ее мысли.

Посетителей было мало в Лувре в тот октябрьский, печальный день; среди них я заметил чету стариков, медленно и степенно, под руку, обходивших зал. Они подолгу останавливались перед каждой картиной, оживленно разговаривая. Судя по длинным седым волосам и черному «профессиональному» галстуху бантом, он был художник, а женщина с ним, вероятно, была его жена. Их ничто не выделяло в ряду других, кроме разве какого то большого спокойствия в походке и согласованности в движениях. Вероятно, они прожили вместе дружную, светлую жизнь, и теперь судьба дала им в награду счастливую старость, попрежнему озаренную светом искусства.

Как внимательны они к каждой картине! Да, они знают секрет — что картина есть целый мир, и мало мимолетного взгляда чтобы в него проникнуть. — Вот, они остановились перед портретом Лукреции Кривелли; прекрасная флорентинка смотрит теперь своими прозрачными, любопытными глазами в их глаза. Женщина что то говорит, мужчина отвечает, часто кивая головой. Вот, они двинулись дальше, повернулись, направляясь к Джиоконде, прошли мимо меня.

Что то странное почудилось мне в его лице. Почему взгляд его, встретившись с моим, упал куда то мимо? Широко открытые, бесцветные глаза были неподвижны. Осторожно ступая, следя за каждым движением и словом своего спутника, вся — слух и внимание, женщина вела его под руку — он был слеп.

Е. Рубисова.

ПОЛУСТАНОК ВАСЬКОВО

В хорошую погоду любили ездить в Васьково за почтой, встречать вечерний поезд. Для Верочки это было всегда радостно волнующее событие. Причин для этого было множество. Главная: «возьмут-ли?» Для всех сразу места не хватало. Лишь изредка запрягали несколько выездов и тогда все умещались: кто в рессорных пролетках и шарабанах, а кто помоложе и рангом пониже — в простых тарантасах.

Но, если ехали на станцию в одном экипаже, Верочкины шансы были невелики. Дом был полон взрослых, и их была первая очередь. Часто приходилось, стоя на крыльце, следить, как пролетка, лихо огибая зеленый полукруг перед домом, исчезала из глаз, мокрых от горделиво сдерживаемых слез обиды.

Но иногда Верочке выпадала большая доля: ехать в Васьково вдвоем со старшей сестрой Лизой, которую она обожала. Тогда небрежно, как взрослая, откинувшись в угол пролетки, она наслаждалась мягким покачиванием рессор и кожаной прохладой сидения.

Удовольствие удваивалось при мысли, что учитель Фиш, которого Верочка терпеть не могла и ревновала к сестре, оставался дома.

Фиш станции не любил и предпочитал бродить по полевым дорогам, и, как бы случайно, с видом задумчивого поэта, встречал возвращающуюся под вечер коляску. Этот его романтический вид и навел Верочку на неприятные подозрения и на ревность.

Здесь в пролетке, она была спокойна, что Фиш не помешает ей быть наедине с сестрой.

Было еще что-то, правда мелочь, но все же и она увели-

чивала прелесть поездки: Верочка очень радовалась своей летней шляпе. Не легко было добиться ее; мама все противилась, говоря: «зачем тебе в деревне летняя шляпа?» И правда, в Хохловке ее не наденешь и, если бы не Васьково, ни зеленым лентам, ни шелковым незабудкам света Божьего не видать бы.

Софрон в суконной поддевке-безрукавке черным истуканом сидел на облучке, закрывая вид вперед. Рукава боченками кучерской тафтовой переливчатой рубахи топорщились от движения и ветра и казалось вот вот сорвутся и улетят и Софрон останется с голыми волосатыми руками. А рукава улетят, как те воздушные шары, тогда в Смоленске, у памятника Глинке. «Выбирай», сказала Верочке мама и не дожидаясь вытянула из пестрой воздушной грозди два вздрагивающих на своих нитках, шуршащих шара. Не успела Верочка сообразить овладеть нитками и своим счастьем, как шары рванулись и нитки выскользнули из ее рук. Они весело хлопнулись друг о дружку, потерлись бочками и умчались ввысь, задорно повиливая нитяными хвостиками... Но Софроновские рукава сидели крепко и он благополучно катил дальше.

Справа, поблескивая, дорогу сопровождало озеро, слева мягким под'емом тянулись поля. Обегая по пути сизые рощицы и лески, они спешили туда, где небо соединялось с землей. Вот и Заказ, лес, который заказано рубить, и в котором, вероятно, поэтому, водятся самые бархатистые, самые крепенькие, словно выточенные из ароматного с'едобного дерева, боровички.

Озеро сужалось, приближались его истоки и то неприятное место, где прошлой весной натолкнулись, привлеченные нестерпимым смрадом, на тысячи дохлых рыб. Тяжелый гнет льда слишком долго давил той зимой на озеро, рыбы проглотили весь воздух до последнего вздоха и, не найдя проделанной во льду отдушины, в смертельном смятении прибились к самому берегу и задохлись.

Напрасно недоумевающие Хохловцы с ведрами и корытами ожидали у проруби. Рыба не шла. Обычно в прорубь рыба прет, как безумная, и ее хоть голыми руками загребай.

При счастливом улове рыбы хватает на весь Великий пост. Ее и солят и сушат и попросту в снегу держат.

Эта мерзлая рыба лежала постеленная в снегу, сонная, зачарованная. Верочке казалось стоит бросить ее в озеро и она тотчас оживет, мотнет хвостом, моргнет сметливо и пойдет в глубину, искать старые места.

Издали уже виднеется старое приветливое Галеевское кладбище, на котором покойников больше не хоронят, теперь на нем отдыхают лишь прохожие. Березки выросли высокими дылдами, тонкие, белоствольные, нагие; только на самой макушке ветви кудрявятся метелочками, как у пальм.

За кладбищем граница — Хохловская межа, и начинаются Галеевские крестьянские поля. Они, как наклеенные кусочки цветной бумаги: золотисто-желтая это рожь, густо-зеленая в лиловых гроздьях — картофель, кипично-красная — гречиха.

А вот и Галеевские ворота. Деревенские ребятишки сбегаются, раскрывают их широко и ждут в награду гостинца. У Верочки он приготовлен: она бросает леденцы с пестрыми бородками и дюжина рук подхватывает их налету.

От Галеевки уже недалеко и до шоссе. Оно тянется прямой чертой, налево — в Смоленск, направо — в Орел и перерезает Верочкин мир на две части. Позади остается привычный, собственный, а перед нею лежит чужой, полный «новых слов». Там и шлагбаум, и семафор, пакгауз, телеграф, телефон, Уже виднеется желтое станционное здание, надо лишь миновать Васьковскую казенку, так хорошо знакомую Софрону.

У казёнки почти всегда стоит привязанный за уздечку недовольный собою понурый конь. Верно баба-жена, провожая мужа, шепнула коню: «А ты побойчее мимо казёнки»... А он вот стоит и ждет, ждет своего мужика, даже ноги в землю вросли. «Потому конь и недоволен собой, что хозяйку не сумел уважить», решает про себя Верочка.

Вот и бакалейная, «всякая» лавка. Лавочник Левитин, из николаевских кантонистов, единственный еврей в Васькове, угрюмый и молчаливый, всегда запыленный мукой. Его жена, строгая и статная; ей бы, как Рахили, ходить с кувшином на

голове к колодцу, а ее занесло сюда в Васьково и она отпускает в лавке то керосин, то бусы, то бублики, то нитки.

Софрон молодцевато подкатывает к станции. Было досадно, что, кроме околачивающихся там бездельников, некому было подивиться его образцовой кучерской выправке, безупречному выезду и Верочкиной шляпе, цветущей, как клумба, на ее голове.

Мельник из Полуева или горбатый лесной подрядчик из Козловки не интересовали его, но если Софрон чуял, что на станции стоит другой барский кучер, он преображался. Он еще шире раздвигал свою могучую спину, особой ухваткой из плеча растопыривал локти коромыслом и, еле заметным движением глубже загибая мизинцы в ладонь, натягивал вожжи. Почуяв его волю, серые навостряли уши, копыта брали новый ход, подковы меняли звон, коляска неслась, и, когда она на последнем повороте чуть не подымалась на воздух, Верочкино дело было не бояться, держаться крепче и не выпасть.

Васьково не было настоящей станцией, а лишь сонливым полустанком. В ожидальной, гулкой комнате, с затхлым запахом и с гладкими, отполированными от полушубков, скамейками, висело во всю стену расписание поездов, недоступное Верочкиному пониманию, покоробившиеся от сырости, засиженные мухами столбцы названий и часов. В цинковом бидоне застоявшаяся «свежая вода» и кружка, которая, несмотря на цепочку, постоянно пропадала. В станционном садике против служебного дома стояли гигантские шаги для детей начальника станции Иванова, а среди посаженных его женой начальницей разросшихся пионов — зеркальные шары, будто застывшие мыльные пузыри.

Встречи с соседями были редки, но все равно, не для них и не для Васьковских ротозеев принаряжалась Верочка; больше самой дороги, больше поезда ее привлекало на станции появление Тамары, дочери обедневших князей Охтомских.

Прогуливаясь по малолюдной платформе, Верочка поглядывала на густую изгородь сада Охтомских, напротив станции, и ждала приближения знакомого грудного говора и легкой

поступи Тамары по мосткам. Она появлялась быстрая, смуглая, стройная, закутавшись в разлетающийся шарф, и порывисто двигалась, побрякивая браслетами.

Верочка восхищалась ею. Она любила ее ласковые слова и близкий звон браслетов на ее узкой руке, когда, здороваясь, Тамара гладила ее по волосам. Для Верочки она была живой принцессой из сказки, злой ведьмой-судьбой заточенная в неволю.

Бедность заперла ее — красавицу в это деревенское захолустье, в котором она томилась.

Старую княгиню Верочка встречала лишь изредка. Прищурив глаза, Охтомская внимательно разглядывала девочку; Верочка смущалась, невольно одергивала платье, приглаживала волосы. Княгиня просила кланяться дома, прощалась кивком седой головы из под нарядного зонтика и уезжала в одноконном старомодном экипаже со своим, когда-то важным, кучером, перед которым Софрон уже не пыжился. От пожелтевших кружев и от взбитых в высокую прическу волос несся неуловимый запах, как от атласных ароматных мешечков, которые мама привозила с заграничных вод и прятала в шкапу среди белья.

Однажды Верочка на лесной просеке, как дикарка, верхом без седла, разгоряченная, растрепанная наткнулась на княгиню. Охтомская громко рассмеялась и зонтик весело затрясся в ее руке. Верочка ушам своим не верила, она не думала, что старая княгиня умеет по-настоящему смеяться.

Эти зонтики были остатками прежней элегантности — символ ушедшей роскоши: кружевные, с вышивками, клетчатые и полосатенькие. Наряды, к которым они были подобраны, уже покончили свое существование; те необычайные наряды Охтомской и ее дочерей, которые в первые годы после приезда из Петербурга заставляли Васьковцев разевать рты от изумления и восторга. С ними умолкло и благоухающее шуршание шелка и задорное эхо каблучков... Выбор зонтиков тоже скудел с каждым годом. Кружева рвались, вышивки блекли, шелковые оборки лохматились.

«Чем скорее, тем лучше», утешала себя Верочка. Она

думала: когда окончательно одряхлевшие зонтики будут выброшены, они перестанут напоминать о прошлом и княгиня, быть может, станет веселее.

Брат Тамары, смуглый как и она, с такими же продолговатыми яркими глазами и такого же тонкокостного горского сложения (их бабушка с материнской стороны была грузинка), имел жокейски-тощий, болезненный и безучастный вид. Он редко показывался на станции. Очевидно, кроме Тамары, никто из Охтомских вестей не ожидал. Поговаривали, что от безделья и скуки он пьет в одиночку. Верочка его побаивалась, ей всегда казалось, что он пошатывается.

Хозяйством Охтомские не занимались и сдали имение в аренду. Развлечений Васьково не сулило; даже речки там не протекало. В затянутом зеленой стоячей ряской, кувшинками и водяными лилиями пруду нельзя было купаться из-за вязкого болотного дна и уймы карасей.

Охтомские, охваченные непоборимой апатией, видимо, забыли о них навсегда, и караси множились и жирели. В безветреный день, когда муть садилась на дно, видно было, как столетние старожилы важно, как дирижабли, продвигались вперед, глядя медным, упорным взглядом на виляющую вокруг них мелкую сошку — рыбешку и не обращая внимания на любопытствующих на берегу.

Как и многое другое в Охтомских, Верочке было непонятно, почему они купили бессмысленное имение, где летом негде купаться, и почему они не ловят своих карасей.

Охтомские жили уединенно, в гостях они не бывали, к себе не звали, из Васькова никуда не уезжали, только младшая дочь, Маруся, возвращалась на зиму в институт.

Старый васьковский управляющий, приезжая в Хохловку, любил за чаем рассказывать, как Охтомские разорились и залезли в долги, которые теперь приходилось выплачивать из пенсии. «На такие доходы в столицах не проживешь!» говорил он, не то с сожалением, не то с упреком. «Вот и забрались в деревню, да еще в чужую губернию, подальше от друзей и старых соседей» и, как бы в оправдание Охтомских, добавил:

«Удобства привлекли — близость к станции, да и просторный дом подошел». — «Все-ж жаль Васькова! — заметил папа. — Не суждено ему попасть в руки хорошего хозяина. По всему видать, оно скоро снова будет назначено к торгам».

В александровском, светло-желтом с белыми колоннами доме не хватало прислуги; без ухода сад дичал. Марусе изредка приходило в голову посадовничать, но сборы и переодевание «бержеркой» длились так долго, что времени для садоводства почти не оставалось.

Широкими полями шляпы она защищала от загара свое перламутровое лицо с малиновым неулыбающимся ртом, а перчатками — безупречные руки.

Царственная голова, посаженная на неподходящее короткое, пухленькое туловище, молчаливость, медлительность и затененный взгляд делали Марусю нездешней, чужеземной. Верочке казалось, — уже раньше на персидской картинке она видала ее. Маруся была в бирюзовых шароварах с длинными косами-змейками, перекинутыми наперед. Встречая ее, Верочка каждый раз дивилась, куда исчез алмазный полумесяц, стоявший тогда над широко расставленными узкими, черными дугами Марусиных бровей.

«Не в пример Тамаре, Маруся понимает как надо себя вести бесприданной княжне, чтобы сделать хорошую партию», говорил кузен Женя, прозвавший Марусю «Томный Облик». Так и случилось. Окончив институт, Маруся сразу удачно вышла замуж и уже не вернулась в Васьково. Тамара осталась одна.

Среди однообразия и скуки каждого дня Тамара нетерпеливо ожидала прибытия почтового поезда и неизменно являлась на станцию.

Поезд стремительно подкатывал, дребезжа вагонами, мелькая окнами с прыгающими в них незнакомыми лицами. На две коротких, шипящих нетерпением и суетой, минуты в Васькове задерживалась жизнь извне, чужие люди, чужие судьбы. Редко кто из знакомых прибывал с поездом, редко кто вылезал в Васькове, разве только с чайником в руках, спеша за кипятком и обратно в вагон. Еще реже кто-либо из здешних уезжал.

Верочка не могла понять, почему взрослые приходят сюда изо дня в день и скучая сидят, безжизненные, как отравленные мухи. Почему у них не хватает смелости уехать в эту соблазнительную волнующую неизвестность?

Вот, когда она вырастет и разберет эту таинственную карту на стене, — она не побоится.

Для себя Верочка писем не ожидала, но, когда начальник станции Иванов разбирал почту, она с напряжением следила, не лежит-ли в горке писем одно для Тамары. Верочка твердо верила, рано или поздно, оно должно придти, в белом квадратном конверте, — то важное письмо, с вестью об избавлении.

Тамара тогда укатит в столицу. Там все будут восторгаться ею. Открыв «Ниву», Верочка увидит Тамарин портрет в платье с открытыми плечами и с пятью полукругами жемчугов у шеи, как у царицы. Летом она приедет обратно со своим мужем показать ему Васьково, своих друзей, и конечно Верочку. Тамаре не придется больше долгой сугробной зимой, когда день кончается уже в четыре часа, играть в шахматы с отцом и читать вслух матери французские романы.

Но надежды не оправдались... Из грубого холщевого мешка, выбрасываемого на платформу с почтового вагона, начальник вытаскивал множество писем и раздавал их стоящим вокруг получателям, громко вызывая имена своим веселым, сильным голосом. И всегда, когда он взглядывал на Тамару, Верочка надеялась, что наконец, на этот раз, у него в руках «тот» конверт.

Она чувствовала, что начальник станции тоже хочет помочь Тамаре; она заметила, как печально Тамара посматривала на него, а он украдкой бросал ей успокаивающие и ободряющие взгляды.

Когда почта была роздана и разочарованная Тамара и ее шарф исчезали в темноте и легкий сухой стук ее шагов замирал, Верочка уезжала домой грустная.

В тот вечер она возвращалась с сестрой. Пролетка мягко

укачивала. Прикурнув у Лизина плеча, вытянув ноги на откидную скамеечку, Верочка расстроенная и усталая задремала.

Она снова на станции, идет по утрамбованной, узкой платформе, а по левую руку, рядом с ней, бегут в бесконечность чугунные линии. Каждую минуту должен придти поезд. Напротив из зеленой изгороди сада выходит Тамара. Телеграфные проволоки встрепенулись, загудели: «мимо, мимо, мимо», пронося сквозь пространства свои стремительные тайны. Затрепетали стальной зыбью рельсы. Справа уже надвигается пыхтящая морда локомотива со стеклянными, еще не освещенными, пустыми зрачками. Она подкатила, врезалась, застыла, а за нею замерло ее расчлененное, длинное туловище — чудовищная металлическая тысяченожка.

Никто не вылезает на маленькой станции, кому в голову придет. Лица высовываются из окон и в один голос повторяют: «какая красавица Тамара! какая красавица!» Она подходит к Вере, гладит ее по волосам быстрой, нервной, звенящей браслетами рукой.

Поезд сейчас ускользнет вдаль. Он зашипел: «уже, уже, уже, едем, едем, едем», вздрогнул и укатил, — а с ним и Тамара. Она не здоровалась, а прощалась — уехала за неприбывшими письмами.

Начальник станции в красной фуражке стоит со своей магической палочкой, растерянный. Он забыл передать ее машинисту.

Разрывая свистками тишину, сквозь дымное облако, поезд гонит задом обратно к станции. Он мчится напрямик за своей забытой палочкой. На паровозе, на его раздутом медном животе стоит Тамара. Ее вуали дымятся из труб. Колеса бормочут: «нет писем, нет писем, нет, нет!» Начальник бежит навстречу и кричит, кричит: «Тамара, а, а, а! держись, не упади, не упадиии... и... и!»

Толчок. Пролетка остановилась. Федоровна с фонарем стоит на крыльце. Софрон уже отстегивает кожаный фартук пролетки.

«Где ты витаешь, Верочка?» будит голос сестры Лизы. «Я не витаю... Я здесь».

Приехали. Полусонными шагами Верочка подымается по ступенькам. Навстречу с крыльца тянется знакомый запах федоровниного нюхательного табака. «Это заграничный фонарь с коровника», сразу замечает Вера. Все снова на яву. Она дома. Васьково осталось во сне.

Ожидаемое письмо все не приходило.

Тамаре так и не удалось вырваться из давящего ее разорения и уехать из Васькова. Вместо нее — уехала другая: широкобедрая хозяйственная жена начальника станции Иванова.

Случилось это зимой, когда Вера в первом школьном году училась в Смоленске в гимназии. Вернувшись в мае на летние каникулы, она застала эти, ошеломившие ее, перемены.

Только и разговоров было, как Тамара влюбилась в начальника станции и отбила его от жены.

Начальница громко возмущалась: «вот вам и барышня, да ещё княжна! Стыд, грех и позор!» Охотно и долго она рассказывала в подробностях о смехотворном романе своего мужа. Из уст начальницы сплетни фонтаном распылились по округе. Под конец она настолько рассердилась, что забрала с собой своих троих детей с неслыханными в Васькове именами: Порфирий, Лаура и Капитон, и уехала в Рославль к своим родным, зажиточным мещанам — бакалейщикам, пригрозив, что развода она все равно не даст.

Тамара на станции больше не показывалась.

Как-то Верочка встретила княгиню. Она одна сохранила свое спокойствие и выдержку. В ее сосредоточенном и усталом взгляде Верочка не заметила новой печальной тени. Как будто она заранее примирилась со всем, что могло случиться в уже законченной, прошедшей для нее жизни.

Начальник Иванов сильно изменился. Его широкие плечи поникли, его военная выправка сдала. Он не шагал по платформе крепкой походкой, как прежде, до романа. Принимая поезда в своей красной фуражке, он растерянно передавал

машинисту повелительную палочку и уходил расстроенный обратно в станционную, где бубнил телеграф с чужими новостями, звонил служебный телефон, где постоянно перед ним торчали билеты — библиотека зеленых игрушечных книжечек без слов, хранящих для других, увы, не для него! страницы, полные возможных приключений, далеких стран, встреч, надежд...

Верочка не понимала, как можно быть таким печальным, заведуя всеми этими возможностями.

Его румяное круглое лицо со светло-карими глазами и пышной каштановой бородкой всегда напоминало Верочке раскрашенную сахарную репку с рождественского базара. Теперь от неприятностей репка ссохлась и полиняла.

«Опасно, у влюбленного начальника еще поезд с рельс сойдет», зло подшучивал учитель Фиш.

«Вчера они катались в лодке до полуночи», рассказывали в лавке у Левитина.

«На месте княгини я бы ее заперла», возмущалась Федоровна — экономка.

И все сочувствовали начальнице, все были против Тамары, все осуждали ее.

Верочку эти разговоры очень печалили. Но когда, даже скупой на слова Софрон, от'ехав от станции, остановился у шлагбаума, не стерпел и буркнул: «Вот времячко! От нечего делать семью разогнала!», Верочка ужаснулась. Она не знала, что думать о Тамаре.

Из-за слежки и шептания за его спиной жизнь для начальника станции стала невыносимой; он попросил о переводе и уехал.

Верочка воображала, как он прощался с Тамарой. Наверное на скамейке у пруда со столетними карасями.

Вероятно плакал, расставаясь, просил не забывать его. И почему-то Верочка представляла себе Тамару не быстрой, гордой и резкой, а изменившейся — простой, задумчивой, тихой.

Думая об этом прощании, Верочка, разочарованная всем

случившимся до слез, все же не могла решить, кого ей больше жаль: начальника, Тамару или свою рухнувшую мечту о письме и о чудесной перемене.

Вскоре исчезла и Тамара. Все Васьково зашептало: «Она уехала к «нему».

Тогда старая княгиня не вытерпела и сама отправилась в Рославль. Рассказывали, что она со слезами упросила начальницу и та, наконец, дала развод.

Княжна Тамара повенчалась с Ивановым.

На станции стало скучно. Иной раз издали можно было увидать медленно прогуливающегося старика-князя, в черной шинели с красными отворотами, прямого, плотного, с лицом, обросшим серым мохом. Шагов его не было слышно, он передвигался, не подымая ног, как будто был поставлен на полозья. И только его палка отбивала такт по деревянному настилу. У него был вид человека, не желающего пускаться в разговоры, погруженного в неразборчивые, безразличные мысли.

Верочка разлюбила ездить на станцию. Васьково опустело для нее. О Тамаре она не спрашивала.

Ольга Жигалова.

*
**

Чернеет заводь; плывет луна
В речную гавань, у валуна.
В оконной раме тоска — настырь,
Свечное пламя; раскрыт псалтырь.
Плели турусы — ночует полк,
Низали бусы на чорный шолк.
Все — пыль порошей, да в горле ком...
«Тебе-ль, хорошей, за стариком!»...
Король и дама... червонный туз...
Ишь, кантик рдяный в сукне рейтуз...
Мундир защитный — под козырек:
«Вы миловидны!»... Псалтырь — в ларек.
Мне-б вольной птицей к нему на грудь!
Да голубице заказан путь,
Проходят роты и грузовик...
Ах, косоротый... Ах, муж старик...
Проносят знамя... тоска — настырь...
Тяжел, как камень, в руках псалтырь.

1.

Не ляжет в поле синий вечер
Вздыхать и грезить на боку.
Не разнесет над полем ветер
Его кудрявую тоску.
Не разольется — тих и светел
Над желтой пажитью шафран.
И не раздвинет ветви ветел
Твой кумачевый сарафан.
Костры не вспыхнут на полянках,
Когда закроется завод.
Не грянет бойкая тальянка,
Сзывая бабий хоровод.
Не засверкает в кружках водка,
Не звякнут о земь пятаки.
Не загудит, как встарь, слободка,
Сходясь стенами в кулаки.
Но здесь, в углу, у печки русской,
Завернут в тонкий целофан,
Еще висит за куцей блузкой
Твой кумачевый сарафан...

2.

Повиты томной синевой,
По новому пусты и гулки
Сады, где были мы с тобой,
И сумерки, и переулки.
И место, где мечтает клен
О чем-то сладостно весеннем,

Где каждый шаг запечатлен
Лишь мне приметным отраженьем...
Пусть я одна, пусть до зари
Меня томит воспоминанье
Гори в крови моей, гори,
Неутолимое желанье!...

3.

Тоска, пространство голубое
Бесснежных улиц и аллей,
И воркование глухое
Тяжелых, сонных голубей
Напоминает мне, что это
Уже весна, хоть без листвы...
Что скоро зажелтеет лето
В щетине выбритой травы.
Пока все сумрачно и ровно...
Но вдруг, как солнце, вспыхнет быль:
«В моей стране молитвословно
Поет проснувшийся ковыль;
Над вешней степью рыщет кречет.
По улицам гуляет май...»
Судьба, ответь мне: чет иль нечет?
Увижу ль я свой прежний край?...
В ответ все те же всхлипы ветра —
В туман, в пространство и в века,
И тот же глупый шорох гетры
О твердый выступ каблука.

Татиана Остроумова.

АКВАРЕЛЬ

Сегодня в воздухе запахло ранней Пасхой,
Хоть хмурая зима еще сидит в лесу.
Но только по утру какой то новой лаской
Заря раскинула румяную красу.
Шумит верхушкой лес улыбчато как будто,
Легонечко подул весенний первячек,
И где то, может быть, невидимо под спудом
Впервые развернул колечки червячек.
На голых веточках налет зеленый тюля,
Люблю я этот тоненький наряд:
Дороже сердцу он всей пышности июля,
Как первый детский шаг, как первых кружев ряд.
В холодном воздухе мелькнула нотка юга
Заметная едва, совсем, совсем на дне,
И слышится в мечте позвякиванье плуга,
И цокающий звук машины на гумне.
Исток живой воды — и расцветанье поля.
Весна затейница — и осени венец...
И как мне радостно что в Божьей воле
На Божьей ниве я смиренный жнец.

Татиана Тимашева.

О ПРАВИТЕЛЯХ

Вы будете (как иногда
говорится)
смѣяться, вы будете (как ясновидцы
говорят) хохотать, господа —

но честное слово,
у меня есть пріятель,
котораго
привела бы в волненіе мысль поздороваться
с главою правительства или другого какого
предпріятія.

С каких это пор, желал бы я знать,
подложечкой
мы стали испытывать вродѣ
нѣжнаго бульканья, глядя в бинокль
на плотнаго с ежиком в ложѣ?

С каких это пор
понятіе власти стало равно
ключевому понятію родины?

Какіе то римляне и мясники,
Карл Красивый и Карл Безобразный,
совершенно гнилые князьки,
толстогрудыя нѣмки и разные
людоѣды, любовники, ломовики,
Іоанны, Людовики, Ленины,
все это сидѣло, кряхтя на эх и на ых,
упираясь локтями в колѣни,
на престолах своих матерых.

Умирает со скуки историк:
За Мамаем все тот же Мамай.
В самом дѣлѣ нельзя же нам с горя
поступить как чиновный Китай,
кучу лишних вѣков присчитавшій
к исторіи скромной своей,
от этого впрочем не ставшей
ни лучше, ни веселѣй.

Кучера государств зато хороши
при исполненіи должности: шибко
ледяная навстрѣчу летит синева,
огневые трещат на вѣтру рукава...
Наблюдатель глядит иностранный
и спереди видит прекрасныя очи на выкат,
а сзади прекрасную помѣсь диванной
подушки с чудовищной тыквой.

Но дѣтина в регаліях или
волк в макинтошѣ,
в фуражкѣ с нѣмецким крутым козырьком,
охрипшій и весь перекошенный,
в остановившемся автомобилѣ
или опять же банкет
с кавказским вином —
нѣт.

Покойный мой тезка,
писавшій стихи и в полоску
и в клѣтку, на самом восходѣ
всесоюзно-мѣщанскаго класса,
кабы дожил до полдня,
нынче бы рифмы натягивал
на «монументален»,
на «переперчил» —
и так далѣе.

В. НАБОКОВ.

МЫСЛИ О ПОСЛЕВОЕННОЙ РОССИИ

1.

На тему о России после войны можно рассуждать в двух плоскостях. Можно, во-первых, стараться построить такую программу реформ, которая, по мнению составителя, вывела бы страну на правильный путь и гарантировала бы русскому народу наибольшее благосостояние, как хозяйственное, так и культурное. Во-вторых, можно стараться уловить в совершившемся и совершающемся основные тенденции и на этой почве установить, каковы возможности дальнейшего развития и каковы относительные вероятности их осуществления. В настоящей статье я избираю второй подход. То, что следует, можно поэтому критиковать и оспаривать, как ошибочный диагноз и прогноз. Но напрасно было бы настаивать на том, что желательно нечто совсем иное, нежели здесь намечаемое: предлагая сужденья в плоскости вероятностей, я отнюдь не утверждаю, что наиболее вероятное представляется и наиболее желательным.

Исходной точкой своих рассуждений я избираю следующее положение. За последние десять лет, а именно, начиная с 1934 года, смыслом совершавшегося в России исторического процесса было установление компромисса между революционными новшествами и возрождающейся национально-исторической традицией, компромисса, направленного к органическому слиянию обоих элементов. Симптомы этого процесса бесчисленны. Напомню хотя бы основной лозунг пушкинского юбилея (1937 г.) «русский народ — великий народ, потому что он дал миру Пушкина и Ленина». Напомню новый национальный гимн, в котором «Русь» рифмуется со словами «Советский Союз». Обращу внимание на настойчивые усилия власти по насаждению уважения и даже преклонения перед русским историческим прошлым, начиная от Владимира Святого и кончая Великой Войной 1914-1917 годов. Официальная версия теперь такова: — «Октябрьская революция исторична и национальна, она достойно продолжает русскую историю и вопло-

щает исконные русские идеалы». В репертуаре московских театров 75% занимают до-революционные драмы, оперы и балеты; наиболее играемым драматургом является Островский. Усиленный напор делается на народное искусство: в Москве можно ежедневно слушать народную музыку, инструментальную и вокальную, и очень часто любоваться народными плясками. В советских газетах статьи на тему о советских достижениях чередуются со статьями, благоговейно подчеркивающими исключительные качества русского народа, ныне официально признаваемого старшим братом всех многочисленных советских народов, к которому эти последние относятся с любовью и уважением. Иногда автор начинает со славословия советскому патриотизму, но почти всегда переходит на русский патриотизм, ибо советский патриотизм — это то самое чувство, которое воодушевляло солдат Суворова и Кутузова, которых при всем желании нельзя назвать советскими солдатами.

Сколько элементов исторической традиции уже ожило! В Москве с 12-го сентября 1943 года опять есть патриарх московский и всея Руси. Семья возвращается к историческому типу пожизненного союза мужчины и женщины в целях воспитания детей — развод, после 8-го июля 1944 года, почти столь же труден, как был до революции. Школьные порядки напоминают до-революционные, при том не сравнительно либеральные порядки, заведенные при Ванновском, а скорее порядки времен Делянова. Школьные программы сильно смахивают на до-революционные, с заменой Закона Божия тем, что уже в двадцатых годах называлось «советским Законом Божиим», т. е. теорией диалектического материализма, при том, начиная с 1934 года в низшей и средней школе и с 1938 года в высшей школе, в изумительно малых дозах. Воскресла табель о рангах, не только военных, но и гражданских; в некоторых декретах дается, как в старое время, формула соответствия тех и других, а в новых чинах для инженеров, на подобие николаевских времен, звучит военная нотка. Не только военным, но и многим гражданским чинам присвоены мундиры, а груди многих из их обладателей увешаны орденами в количестве, далеко превосходящем то, что можно было видеть до революции. Дворянства, конечно, нет — но его с успехом заменяют большевики, партийные и беспартийные. В литературе и искусстве брошены революционные искания. Процветает классика, а современным «производителям культуры» дан наказ — творить просто и понятно, приблизительно в стиле умеренного реализма, к которому в молодые годы привыкли революционные вожди.

Русский ампир стал официальным архитектурным стилем советов.

Если бы на этом остановиться, то картина вышла бы однобокой. Наряду с возрождающимися элементами русской традиции, в современной русской действительности укоренились и элементы революционного происхождения. Хозяйственная жизнь, за малыми исключениями, протекает под знаком государственной монополии производства, распределения и обмена. Официальной философией продолжает оставаться марксизм, правда, измененный до неузнаваемости и сильно смахивающий на «героическую теорию» Карлейля: ничто не совершается по необходимости, и весь исторический прогресс зависит от благотворного вмешательства гениальных личностей, в русских условиях — Петра Великого, Ленина и Сталина. В полной мере сохранено государственное руководство культурной деятельностью; за последние годы перед этой деятельностью поставлены новые задачи, но принцип руководства сохранился в полной силе.

Что сказать о политическом укладе? Власти предержащие — революционного происхождения, но интенсивность принуждения и его методы возвращают Россию ко временам, давно прошедшим. В последний раз такого стиля самовластие Россия знала при Павле, но в еще большей мере чувствуются отголоски властных методов Петра Великого и Иоанна Грозного — недаром обоим монархам отведены самые почетные места в современном советском Пантеоне. В этой сфере больше, чем где бы то ни было, революция сбила Россию с исторического пути, который явно вел ее к демократии.

2.

Куда же потечет исторический процесс по окончании войны? Логически даны три возможности: 1) Достигнутый к настоящему времени компромисс закрепится; для России, уже послевоенной и послереволюционной, начнется «органический период» стояния на месте, каких не мало было в ее истории. 2) По миновании военной опасности, революционный импульс оживет, и Россия вступит в полосу «третьего коммунистического наступления» — первым был Военный Коммунизм (1917-1921 годы), вторым — «героические годы» 1929-1933, прошедшие под знаком первой и начала второй пятилеток. 3) Продолжится отступление от плана коммунистического преобразования, и еще ярче проступит возврат к историческим

путям и тенденциям; при этом, в иных случаях, может осуществиться не то, что уже было, а то, чему суждено было бы быть, если бы преемственность русской истории не была прервана Октябрьской революцией. Из этих трех возможностей наименее вероятной я считаю первую, а наиболее вероятной последнюю.

Застывание России в настоящем положении невероятно по следующим соображениям. Во-первых, положение это далеко от той внутренней согласованности элементов, какая бывает дана в органические периоды; уступки делались, брались назад и вновь давались; некоторые из них, особенно в церковной, семейной и школьной сферах — совсем недавнего происхождения. Во-вторых, война подвергла Россию великому потрясению, вновь, как и война и революции 1914-1917 г.г., привела ее в то состояние текучести, которое, согласно историческому опыту, чревато переменами и отнюдь не благоприятно «застыванию».

Отрицать возможность нового коммунистического наступления нельзя. Власть повернула на путь компромисса с историческим прошлым преимущественно (хотя и не исключительно) в предвидении войны и углубила компромисс в видах поднятия обороноспособности страны — в ряде случаев, в особенности относительно подавления национального чувства и преследования религии, власть прямо признала, что ее мероприятия вызывали враждебное к ней отношение населения. В условиях грозившей, а затем разразившейся войны уступки диктовались необходимостью, той самой необходимостью, которая продиктовала Ленину НЭП. Но вот кончится война, и на обозримое время новой военной опасности не предвидится. Не произойдет ли в таких условиях, в умах властителей, восстановление вытесненных было идей, подобно тому, как в 1928-1929 годах восстановилась идеология коммунистического натиска, несмотря на ужас, который, в течение нескольких лет, вызывался при простом напоминании о бедствиях времен военного коммунизма? Повторяю, отрицать этой возможности я не могу, но все же считаю гораздо более вероятным осуществление третьей возможности, дальнейшего движения по пути, наметившемуся в 1934-1944 годах. Мои основания таковы.

Во-первых, направление развития за названные годы отвечает логике исторического процесса за революционные и послереволюционные периоды. Революцию можно уподобить толчку, сбивающему человека с его пути; проходит несколько времени, и он на свой путь возвращается. Так возвращается и нация.

Историки французской революции давно установили, что Франция девятнадцатого века была детищем и старого режима, и революции; смысл наполеоновской эпохи заключался в нахождении и закреплении компромисса между старым и новым. Весьма вероятно, что таков же будет исход русской революции; это вероятно потому, что процесс уже явно обозначился.

Во-вторых, опыт русской истории показывает, что войны, даже победоносные, вели в ней к поступательному движению, к упорядочению государственного и общественного строя. «Дней александровых прекрасное начало» пришло после победоносных кампаний Суворова. Отечественная война дала не только Аракчеева; она дала и либеральную по тем временам польскую конституцию, и проект «уставной грамоты». За крымской кампанией последовала эпоха великих реформ, но второй толчек реформам был дан успешной русско-турецкой войной. Русско-японская война привела к конституционной реформе, к столыпинской аграрной реформе, к десятилетнему плану всеобщего народного образования. Очистительные последствия неудачных войн не нуждаются в об'яснении; но почему, в новой русской истории, имели они место и после удачных войн? Вероятно, потому что и эти последние вскрывали вопиющие недочеты и неожиданные слабости в строе. А такое вскрытие теневых сторон несомненно произошло и за Вторую Отечественную Войну. Как ни прославляют теперь мудрость Сталина, но он прозевал немецкое нападение, несмотря на предупреждения из английских и американских источников. И ведь он назначил командовать фронтами Ворошилова и Буденного, которые показали себя полными невеждами и были на голову разбиты немецкими генералами. Только изумительная стойкость русского народа выпрямила положение, которое временами казалось совсем отчаянным. И вопрос, почему же русским армиям пришлось отбивать врага от Сталинграда, не может не ставиться в стране, где каждый, по необходимости, научился рассуждать по-военному. В скрытой форме вопрос уже поставлен в «Днях и Ночах» Симонова. А именно с таких вопросов и начинается нажим на власть, допустившую вопиющие ошибки.

В третьих, эта война снизила искусственную преграду между Россией и Западом. Об англо-американских победах в Италии, Франции и Германии знает всякий русский, и не может он не сделать такой вывод: значит, героически и успешно воевать могут народы не только при коммунистическом, но и при

ином режиме. Пришедшие с Запада танки и аэропланы еще раз засвидетельствовали о высоком уровне капиталистической техники. Сапоги на ногах американских корреспондентов и летчиков, по единодушному показанию всех наблюдателей, вызывают полное недоумение: как это возможно, чтобы такие сапоги носили скромные представители капиталистических стран, где, согласно пропаганде, простым людям полагается ходить чуть ли не босыми? Наконец, еще до начала военной страды, русские армии вступили в страны, где продожал царить «проклятый капитализм», и не могли не убедиться сметливые русские люди в том, что в балтийских странах и на польских «кресах» товаров и жизненных удобств было куда побольше, нежели у них дома. А после вступления русских армий в Румынию, в «Правде» появились симптоматические статьи, учившие воинов не поддаваться обаянию мишурного блеска буржуазной культуры; очевидно, даже от весьма относительной роскоши балканских стран у счастливых обитателей советской страны разбежались глаза. С той поры они увидели подлинный блеск Вены, изумительно обработанные поля Чехословакии и Германии. Не появятся ли в их умах те же вопросы, как у русских офицеров и солдат, взявших в 1814 году Париж?

В-четвертых. не мог не повлиять на властителей страны **опыт, приобретенный за** периоды коммунистических натисков. За эти периоды власть испытала не только активное и пассивное сопротивление населения, вернее,отдельных человеческих личностей, но и гораздо более страшное безличное сопротивление всей социальной системы, которая отказывается функционировать, когда ее начинают ломать в угоду абстрактной идее. Две голодные катастрофы, гибель половины русского скота, повальное невежество среди оканчивающих школы всех ступеней — все это было и стало известным власть имущим. Они, несомненно, убедились в неосуществимости многих частей своего плана — удаления религии из души преданного ей народа, создания «нового человека», не признающего ничего, кроме марксистской схоластики, вытравления национального чувства и, в особенности, вызова интернациональной пролетарской революции. Они на деле испытали социальный закон «неожиданных последствий», обыкновенно, неблагоприятных, более всего в области семьи и школы, преобразование которых обернулось появлением многомиллионной армии молодых хулиганов — с 7-го апреля 1935 года их начали расстреливать.

С другой стороны, они испытали и неожиданные, но благоприятные последствия многих из своих уступок. Они радостно вкусили плоды отказа от коммунистического аскетизма, который требовал, чтобы люди ходили грязными, небритыми, нечесанными. Они, вместе с массами, с восторгом приобщились к возрождению подлинного искусства, на место уродливых революционных потуг. Они не могут не приветствовать возрождение социальной иерархии, которая закрепляет за ними и их потомством привилегированное положение в обществе. От компромисса они существенно выиграли: при нем живется приятнее и спокойнее, нежели до него. Начать новый коммунистический натиск в сколько-нибудь значительных размерах они могли бы только, если бы сохранили пламенную веру в марксизм. Но в такую их «революционную святость», сохраняющую в полноте веру, несмотря ни на что, что-то трудно поверить. Укажут, пожалуй, на то, что вернулись же коммунисты в 1928-1929 годах к чистоте принципов, после приятной передышки НЭП-а. Но тогда их воодушевила было новая идея: в плановом начале был, казалось, найден золотой ключ к вратам коммунистического рая. Теперь о подобной идее не слышно, и, напротив того, на деле показал свое могущество «советский патриотизм», который, как было об'яснено, непременно оборачивается русским патриотизмом. Как неоднократно было признано высшими авторитетами страны, русские люди проявили несокрушимую волю к победе потому, что они осознали себя потомками героев времен Суворова и Кутузова, сынами вечной России, а не потому, что они почувствовали себя воинами Маркса, Ленина и Сталина.

3.

Итак, из трех возможностей наиболее вероятной представляется третья. Иными словами, вероятнее всего продолжится процесс, ознаменовавший последнее десятилетие; углубится отступление от преобразовательных замыслов, намеченных согласно марксистскому учению в истолковании Ленина, еще яснее обнаружится возврат России на ее исторические пути, еще больше новых элементов прибавится к послереволюционной амальгаме. Нельзя ли хоть сколько-нибудь конкретизировать этот прогноз? Это можно попытаться сделать, рассуждая следующим образом:

Движение по пути, наметившемуся за 1934-1944 годы, несомненно отвечало желаниям широких народных масс, ко-

торые, около 1930 года, вряд ли проявили бы ту высокую национальную сознательность, которой ознаменовались последние годы. Если бы пожелания этих масс были открыто заявлены, наш прогноз был бы существенно облегчен, ибо главным основанием для отступления от плана может быть только желание власти укрепить свою социальную базу, осуществляя популярные, но не подкапывающиеся под сущность строя мероприятия. Но в советской России, как во всякой диктатуре, «народ безмолвствует»: не только формальных требований, но и скромных пожеланий никто заявить не может. При таких условиях предположительные суждения о направлении народного нажима можно строить из следующих материалов: 1) отражение народных пожеланий в реформах последнего десятилетия; 2) заявления власти об относительной силе сопротивления тем или иным мероприятиям времен коммунистических натисков и 3) соображения о технической возможности движения в том или ином направлении.

Скажут, пожалуй, что такие рассуждения бесполезны, ибо коммунистическим властителям нет дела до народных пожеланий. Вряд ли это совсем так; несмотря на полноту политического зажима, определенные пути давления на власть существуют, и временами власть это давление явно ощущает. Давление это принимает две основные формы. Первая стоит в связи с тем процессом «поглощения», который, все усиливаясь, протекал за последние годы, когда партия настойчиво и планомерно вводила в свои ряды людей, отличившихся на военном, культурном или техническом поприщах и при том свободных от подозрения в оппозиционности. Этот процесс, несколько напоминающий процесс постоянного омоложения английского правящего класса, приводит к тому, что течения, появляющиеся вне партийной ограды, оказываются представленными и внутри нее. Вторая форма столь же стара, как коммунистический режим: это пассивное сопротивление масс и описанное выше безличное сопротивление социальной системы.

Не при всяких условиях могло бы комбинированное давление извнутри и извне сломать волю коммунистических преобразователей. Но мы знаем, что в конкретной исторической обстановке оно эту волю сломало, и предполагаем — согласно принятой гипотезе — что оно останется действенным и в послевоенные годы. Каковы же могут быть результаты этого давления, в сферах политической, хозяйственной и культурной?

В политической сфере основной вопрос может быть поставлен так: существует ли в России тяга к демократии, т. е. к ограждению личной свободы и участию граждан в вершении политических проблем? На этот вопрос я отвечаю положительно и основываю свое утверждение на факте дарования сталинской конституции. Нет сомнений в том, что конституция ни на иоту не ограничила сталинское самовластие; согласно многочисленным заявлениям власть имущих, конституция эта имела целью консолидацию «достижений», а не изменение сложившегося положения вещей. Но почему была произведена конституционная реформа? Иногда высказывается мнение, что целью было пустить пыль в глаза иностранцам. Невероятное об'яснение, потому что советская власть давно пришла к циничному, но не лишенному правильности взгляду: когда иностранцы нуждаются в ее содействии, они закрывают глаза на все, что могло бы их оттолкнуть, а когда не нуждаются, приписывают советской власти не только истинные, но и мифические злодеяния и козни. Если не для иностранцев, значит, реформа была проведена для русских. Ей предшествовали и сопутствовали многочисленные заявления, что советская демократия испортилась, и что реформа призвана влить в нее новую жизненную силу. Заявления эти были сделаны в период «великих реформ» в духе, который был выше охарактеризован. Вывод ясен: реформа была предпринята в качестве звена в общем плане умиротворения населения, которое, значит, проявляло интерес к демократическим принципам в политическом строе.

Из этого отнюдь не вытекает, чтобы в близком будущем предстояла подлинная демократизация советов. Ведь все реформы последнего десятилетия можно уподобить выбрасыванию балласта с аэростата в целях спасения жизни воздухоплавателей: все уступки были сделаны для того, чтобы не пришлось сделать вот эту — сдачу власти.

Только частичных уступок в политической сфере можно поэтому ждать. Одна из них как будто намечается в явлении, о-котором многократно упоминала советская печать за военные годы: это оживление местных советов, на почве привлечения к их работе местной интеллигенции, «уважаемых стариков-колхозников», возвращающихся с войны ветеранов. Этот факт тем знаменательнее, что до начала тридцатых годов в деревнях удерживались «сельские сходы», нечто в роде деревенского веча, и не только удерживались, но явно преобладали над сельскими советами. Не свидетельствует ли эта стойкость не-

посредственной сельской демократии о живучей традиции, которая не могла забыться за какие-нибудь 10-15 лет: ведь не были забыты даже советы между 1905 и 1917 годами. Итак, есть основания полагать, что после войны местное население вплотную подойдет к вершению местных дел, хотя бы в порядке, далеком от формальной демократии.

Вторая линия развития в политической сфере может быть намечена в отношении свобод. Воистину изумительно то приближение к религиозной свободе, которым ознаменовались 1939-1944 годы, и это непосредственно после жестоких гонений 1937-1938 годов. Сама власть неоднократно признавала, что гонения вызвали враждебность к ней населения; значит, изменение религиозной политики было уступкой в целях внутреннего умиротворения; значит, население, по крайней мере, значительная его часть, требует какого-то минимума религиозной свободы. Не нужно обольщаться: то, что верующие получили — не подлинная религиозная свобода, а всего только либеральная практика, не налагающая на власть никаких обязанностей в смысле невмешательства в вопросы совести. Не надо забывать, что сохранила силу статья сталинской конституции, гарантирующая гражданам свободу антирелигиозной, но не религиозной пропаганды.

И все-таки надо быть слепым, чтобы не видеть значительных перемен и не понимать их симптоматический характер. Если нынешнее положение удержится, то, в силу «нормативной тенденции действительности», понемногу сложится убеждение в том, что на терпимость верующие имеют право. Это окажется первым прорывом в ограду самовластия, не признающего за личностью никаких прав. Исторический же опыт показывает, что религиозная свобода ставит на очередь и другие. Не в ближайшем будущем, но в несколько более отдаленной перспективе видится возрождение тяги к свободе слова и печати, отсутствие которых не может не проступить в качестве ограничения новоявленных поблажек в религиозной сфере. Представим себе хотя бы такие случаи, как спор в школе между учителем, насаждающим официальное безбожие, и учеником, повторяющим слова Евангелия, недавно допущенного к печати, или отказ профессору богословия вновь открытой духовной академии в напечатании трактата, выдержанного в духе платонизма.

В сложившейся обстановке есть еще один источник, откуда может забить живительная струя свободы. Русская литература, от Пушкина до наших дней, проникла глубоко в народные

массы, гораздо глубже, нежели было до революции. Советские юноши и девушки увлекаются Евгением Онегиным и Анной Карениной, а старые большевики бьют себя в грудь при виде внешних симптомов этого увлечения и горько сожалеют о том, что в дни своей молодости от всей этой красоты себя добровольно отлучили. Но может ли народ, осиянный богатством нашей литературы, с ее высокими идеалами, может ли такой народ не возгореться вновь пламенной верой в свободу? Другой вопрос — сколько времени понадобится на то, чтобы этот процесс получил достаточную силу для того, чтобы победоносно воздействовать на действительность.

В хозяйственной сфере нет оснований ожидать движения в сторону переустройства на капиталистических началах крупной промышленности или оптовой торговли. Великих жертв, наложенных на народ властью, стоило создание новой хозяйственной системы, которая отнюдь не доказала своего превосходства над частно-хозяйственной, но которая все же проявила жизненность и способность к постепенному упорядочению. Возможных капиталистических наследников у этой системы внутри России нет — а не отдавать же ее в кабалу иностранцам. Напротив того, в закреплении ее кровно заинтересованы социальные группы, выбившиеся на самый верх советского общества. Теоретически возможно еще одно решение — передача фабрик, заводов, складов, магазинов и т. п. рабочим кооперативам, в духе анархо-синдикализма; но для такой системы в России нет ни дореволюционной традиции, ни революционного импульса.

Напротив того, вполне вероятно возобновление тяги к частной розничной торговле и мелкой промышленности. Их восстановление входило еще в программу кронштадтского восстания, было успешно осуществлено в эпоху НЭП-а, было ликвидировано при втором коммунистическом наступлении, но продолжало держаться у самой поверхности официальной жизни в полосу уступок, предшествовавших нападению Гитлера. Дарованное крестьянам право продавать на базарах свои «излишки» непосредственным потребителям немедленно привело к появлению «спекулянтов», которые умели находить подлинного потребителя не на том самом базаре, куда вывозил свои продукты крестьянин. Признаны были артели кустарей и ремесленников, и немедленно нашлись предприимчивые люди, которые в эти артели, за взятку, записывались и нанимали их членов для ведения маленького, но полезного и доходного дела. Так некто, наняв 30 фотографов, стал издавать открытки

с видами Москвы и других городов; другой, наняв несколько кузнецов и слесарей, стал чинить телеги и другой инвентарь. Оба, конечно, пострадали за дерзость; но население, измученное бюрократической бестолочью в казенных и «кооперативных» починочных мастерских, с радостью и благодарностью шло к этим предприимчивым людям. Самое появление, в качестве законом признанных фигур, кустарей и ремесленников, кооперированных и даже индивидуальных, до известной меры предвосхищает ожидаемое здесь развитие. Показателен и декрет от 9-го января 1941 года о децентрализации планирования местной промышленности, и настойчивое возвращение советской печати последних лет к теме о необходимости удовлетворения местных потребностей местными силами — тема эта, между прочим, часто переплетается с темой об оживлении местных советов путем привлечения к их работе местной интеллигенции. Итак, восстановление, хотя бы в скромных размерах, частной предприимчивости в сферах розничной торговли и мелкой промышленности представляется вероятным звеном в общей цепи изменений, ведущих Россию куда-то прочь от полноты коммунистического плана.

Но отказ от коллективизации на ближайший отрезок времени представляется невероятным. При наличности одной лошади на пару крестьянских дворов и при отсутствии даже у колхозов необходимого технического оборудования — оно сосредоточено на машинно-тракторных станциях — массовый распад колхозов привел бы к голодной катастрофе, перед которой побледнели бы катастрофы 1921-1923 и 1932-1933 годов. Поэтому, поскольку тяга к индивидуальному хозяйству у русских крестьян сохранилась, она не могла бы привести ни к чему большему, как к частичному, в некоторых областях, допущению выбора между формами землепользования. Это скорее всего могло бы произойти в Белоруссии, западной Украине и северо-западных областях РСФСР, где еще в 1939 году было обнаружено выживание хуторов столыпинского типа и значительное превышение норм индивидуальных участков внутри колхозов.

Повсеместно, давление крестьянского населения могло бы привести к преобразованию колхозной системы в систему подлинно демократических кооперативов — это, между прочим, было бы в линии русской исторической традиции, столь благоприятной артельному началу. Симптомы такого давления имеются. Во-первых, еще в 1935 году новый колхозный устав провозгласил принцип колхозной демократии; из этой демо-

кратии ничего не вышло, но значение тогдашних заявлений то же самое, как и заявлений вокруг сталинской конституции: колхозную демократию нельзя было дать, но обещать ее пришлось в видах умиротворения населения. Во-вторых, за последние годы перед войной советская печать сообщала о «собственнических настроениях» у колхозного начальства, которое не стеснялось сдавать в аренду колхозные земли — другим колхозам, колхозникам или даже единоличникам, а в отдельных случаях даже продавать ее. В-третьих, 28 декабря 1939 года советское правительство издало мало замеченный декрет о децентрализации колхозного планирования. Комментируя этот декрет, член политбюро Щербаков вскрыл бесчисленные благоглупости, проделанные при централизованном планировании, и выразил надежду, что при новой системе Украина вновь покроется бахчами и вишневыми садами, неразумно распаханными под пшеницу. И эту реформу следует поставить в связь с неоднократно упоминавшейся тягой к оживлению местных советов. На почве движения в сторону кооперативного перерождения колхозов можно ожидать дальнейшего развития индивидуального земледелия и скотоводства внутри колхозов, несмотря на сделанную перед самой войной попытку такое развитие остановить. С такой комбинацией — развитое частное хозяйство внутри хотя бы наполовину раскрепощенных колхозов — русскому крестьянству, по техническим соображениям, придется примириться всерьез и надолго.

В культурной сфере основной вопрос ставится так: надолго ли удовлетворится новый культурный верх общества куцой культурой последнего десятилетия, которая несомненно много богаче и разнообразнее, нежели культура начала тридцатых годов, когда культурное производство стало было «подсобным цехом социалистического строительства», но несравненно беднее и однообразнее культуры петербургского периода русской истории? Главное отличие обеих культур заключается в следующем: до революции культура вырабатывалась взаимодействием бесчисленного множества самостоятельных деятелей, на которых правительство налагало известные ограничения (почти отпавшие за последнее десятилетие существования петербургской культуры); в результате, культурное развитие протекало по множеству русел, и в богатстве школ и оттенков «потребитель культуры» находил полное удовлетворение своим запросам. Ныне культура вырабатывается замкнутым штатом людей, зависящих от правительства, которое указывает им темы и стиль разработки и тем пресекает возможность подлин-

ного разнообразия. Если такое состояние продолжится, русская культура обречена на окаменение, случившееся со многими известными истории культурами. Эта опасность может быть предотвращена только, если, путем внутреннего давления со стороны подошедших близко к власти интеллигентов, рамки культурного творчества будут постепенно раздвигаться. Намечается ли такой процесс? Пока что симптомов не видно, но за военное время им и трудно было появиться. Есть, пожалуй, один благоприятный факт: даже преобразованный в «героическую теорию» диалектический материализм неприемлем советскому студенчеству, которое относится к его изучению, как к скучной повинности. Стоит задуматься над этим фактом и вспомнить, что Октябрьская революция была предпринята во имя марксистского идеала. Этот факт лишний раз показывает, как много воды утекло с 1917 года и как мало оснований к тому, чтобы верить в сохранение «коммунистического энтузиазма», при отсутствии которого попытка подвергнуть страну третьему коммунистическому натиску заранее обречена на неудачу.

4.

Как отнесется власть к той скромной «программе», которая была выше намечена, не в качестве моей программы, а в качестве наиболее вероятной программы непосредственных требований со стороны народа? Политические требования она будет отклонять с настойчивостью, ибо сохранение власти за ныне ее имущими и их естественными преемниками почитается ею за основной, хотя и неписанный закон созданного ею лжесоциалистического общества. Требования хозяйственные и культурные она будет разбирать с той тщательностью, какую она проявила за годы великого отступления от коммунистического плана, казавшегося столь близким к полному осуществлению еще в 1932-1933 годах. Она уступит там, где отступление покажется неизбежным и для власти безопасным, сделает мнимые уступки, поскольку это будет возможно, будет сопротивляться, поскольку почувствует себя в силах, будет брать назад уже данное, поскольку к тому представится удобный случай. Поэтому не стоит итти глубже, в детали, по пути предвидения возможностей и вероятностей, нежели сделано выше.

Но все же основная тенденция предстоящего развития обрисовывается достаточно ясно. Коммунистическому чудо-

вищу уже не ожить, что не помешает дожить у власти тем, кто в свое время пытался дать ему окончательно и бесповоротно овладеть Россией. Последствия коммунистических натисков остались и останутся в русской действительности. Но русская история, как будто оборванная в октябре 1917 года, вновь выходит на свой путь. Это вновь история русского народа, а не история безымянного общества пролетариев, случайно осевшего на русской земле.

Н. С. Тимашев.

РОССИЯ И СВОБОДА

1.

Сейчас нет мучительнее вопроса, чем вопрос о свободе в России. Не в том, конечно, смысле, существует ли она в СССР, — об этом могут задумываться только иностранцы, и то слишком невежественные. Но о том, возможно ли ее возрождение там после победоносной войны, мы думаем все сейчас — и искренние демократы и полуфашистские попутчики. Только прямые черносотенцы, воспитанные в разных Союзах Русского Народа, чувствуют себя счастливыми в Москве Ивана Грозного. Большинство среди апологетов московской диктатуры—вчерашние социалисты и либералы — убаюкивают свою совесть уверенностью в неизбежном и скором освобождении России. Чаемая эволюция советской власти позволяет им принимать с легким сердцем, а то и с ликованием, порабощение все новых народов Европы. Можно потерпеть несколько лет угнетения, чтобы впоследствии жить полноправными участниками самого свободного и счастливого общества в мире.

С другой стороны, прошлое России как будто не дает оснований для оптимизма. В течение многих веков Россия была самой деспотической монархией в Европе. Ее конституционный — и какой хилый! — режим длился всего одиннадцать лет; ее демократия — и то скорее в смысле провозглашения принципов, чем их осуществления — каких-нибудь восемь месяцев. Едва освободившись от царя, народ, пусть недобровольно и не без борьбы, подчинился новой тирании, по сравнению с которой царская Россия кажется раем свободы. При таких условиях можно понять иностранцев, или русских евразийцев, которые приходят к выводу, что Россия органически порождает деспотизм — или фашистскую «демотию» — из своего национального духа, или своей геополитической судьбы; более того, в деспотизме всего легче осуществляет свое историческое призвание.

Обязаны ли мы выбирать между этими крайними утвержде-

ниями: твердой верой или твердым неверием в русскую свободу? Мы принадлежим к тем людям, которые страстно жаждут свободного и мирного завершения русской революции. Но уже давно горький опыт жизни приучил нас не смешивать своих желаний с действительностью. Не разделяя доктрины исторического детерминизма, мы допускаем возможность выбора между разными вариантами исторического пути народов. Но с другой стороны, власть прошлого, тяжелый или благодетельный груз традиций, эту свободу выбора чрезвычайно ограничивает. Ныне, когда, после революционного полета в неизвестность, Россия возвращается на свои исторические колеи, ее прошлое, более, чем это казалось вчера, чревато будущим. Не мечтая пророчествовать, можно пытаться разбирать неясные черты грядущего в тусклом зеркале истории.

2.

В настоящее время не много найдется историков, которые верили бы во всеобщие законы развития народов. С расширением нашего культурного горизонта, возобладало представление о многообразии культурных типов. В своей статье в № 8 «Нового Журнала» я старался показать, что лишь один из них — христианский, западно-европейский — породил в своих недрах свободу в современном смысле слова — в том смысле, в котором она сейчас угрожает исчезнуть из мира. Не буду возвращаться к этой теме. Сегодня нас интересует Россия. Ответить на вопрос о судьбе свободы в России почти то же, что решить, принадлежит ли Россия к кругу народов западной культуры; до такой степени понятие этой культуры и свободы совпадают в своем об'еме. Если не Запад, — то значит Восток? Или нечто совсем особое, отличное от Запада и Востока? Если же Восток, то в каком смысле Восток?

Восток, о котором идет речь всегда, когда его противополагают Западу, есть преемство передне-азиатских культур, идущих непрерывно от Сумеро-Аккадской древности до современного Ислама. Древние греки боролись с ним, как с Персией, побеждали его, но и отступали перед ним духовно, пока, в эпоху Византии, не подчинились ему. Западное средневековье сражалось с ним и училось у него в лице арабов. Русь имела дело сперва с иранскими, потом с (тюркскими) татарскими окраинами того же Востока, который в то же самое время не только влиял, но и прямо воспитывал ее в лице Византии. Русь знала

Восток в двух обличиях: «поганом» (языческом) и православном. Но Русь создалась на периферии двух культурных миров: Востока и Запада. Ее отношения с ними складывались весьма сложно: в борьбе на оба фронта, против «латинства» и против «поганства», она искала союзников то в том, то в другом. Если она утверждала свое своеобразие, то чаще подразумевая под ним свое православно-византийское наследие; но последнее тоже было сложным. Византийское православие было, конечно, ориентализированным христианством, но прежде всего оно было христианством; кроме того, с этим христианством связана изрядная доля греко-римской традиции. И религия и эта традиция роднили Русь с христианским Западом даже тогда, когда она не хотела и слышать об этом родстве.

В тысячелетней истории России явственно различаются четыре формы развития основной русской темы: Запад — Восток. Сперва в Киеве мы видим Русь свободно воспринимающей культурные воздействия Византии, Запада и Востока. Время монгольского ига есть время искусственной изоляции и мучительного выбора между Западом и Востоком (Литва и Орда). Москва представляется государством и обществом существенно восточного типа, который однакоже скоро (в 17 веке) начинает искать сближения с Западом. Новая эпоха — от Петра до Ленина — представляет, разумеется, торжество западной цивилизации на территории Российской Империи.

В настоящей статье мы рассматриваем лишь один аспект этой западно-восточной темы: судьбу свободы в древней Руси, в России и в СССР.

3.

В Киевскую эпоху Русь имела все предпосылки, из которых на Западе в те времена всходили первые побеги свободы. Ее церковь была независима от государства, и государство, полу-феодального типа — иного, чем на Западе — было так же децентрализовано, так же лишено суверенитета.

Христианство пришло к нам из Византии и, казалось бы, византинизм во всех смыслах, в том числе и политическом, был уготован как естественная форма молодой русской нации. Но византинизм есть тоталитарная культура, с сакральным характером государственной власти, крепко держащей церковь в своей не слишком мягкой опеке. Византинизм исключает всякую возможность зарождения свободы в своих недрах.

К счастью, византинизм не мог воплотиться в киевском обществе, где для него отсутствовали все социальные предпосылки. Здесь не было не только императора (царя), но и короля (или даже великого князя), который мог бы притязать на власть над церковью. Церковь и на Руси имела своего царя, своего помазанника, но этот царь жил в Константинополе. Его имя было для восточных славян идеальным символом единства православного мира, — не больше. Сами греки-митрополиты, подданные Византии, менее всего думали о перенесении на князей варварских народов высокого царского достоинства. Царь — император — один во всей вселенной. Вот почему церковная проповедь богоустановленности власти еще не сообщала ей ни сакрального, ни абсолютного характера. Церковь не смешивалась с государством и стояла высоко над ним. Поэтому она могла требовать у носителей княжеской власти подчинения некоторым идеальным началам не только в личной, но и в политической жизни: верности договорам, миролюбия, справедливости. Преп. Феодосий бесстрашно обличал князя узурпатора, а митр. Никифор мог заявлять князьям: «Мы поставлены от Бога унимать вас от кровопролития».

Эта свобода церкви была возможна прежде всего потому, что русская церковь не была еще национальной, «автокефальной», но сознавала себя частью греческой церкви. Ее верховный иерарх жил в Константинополе, недоступный для покушений местных князей. Перед вселенским патриархом смирялся и Андрей Боголюбский.

Важно, конечно, и другое. Древне-русский князь не воплощал полноты власти. Он должен был делить ее и с боярством, и с дружиной, и с вечем. Менее всего он мог считать себя хозяином своей земли. К тому же он и менял ее слишком часто. При таких условиях оказалось возможным даже создание в Новгороде единственной в своем роде православной демократии. С точки зрения свободы, существенно не верховенство народного собрания. Само по себе вече, ничуть не более князя, обеспечивало свободу личности. На своих мятежных сходках оно подчас своевольно и капризно расправлялось и с жизнью и с собственностью сограждан. Но само разделение властей, идущее в Новгороде далее, чем где-либо, между князем, «господой», вечем и «владыкой», давало здесь больше возможностей личной свободы. Оттого такой вольной рисуется нам, сквозь дымку столетий, жизнь в древнем русском народоправстве.

В течение всех этих веков Русь жила общей жизнью, хотя

скоро и разделенная религиозно, с восточной окраиной «латинского» мира: Польша, Венгрия, Чехия и Германия, Скандинавские страны далеко не всегда враги, но часто союзники, родичи русских князей — особенно в Галиче и Новгороде. Основное христианское и культурное единство их с восточным славянством не забыто. Восток же обернулся своим хищным лицом: кочевники-тюрки, не культурные иранцы соседят с Русью, опустошают ее пределы, вызывают напряжение всех политических сил для обороны. Восток не соблазняет ни культурой, ни государственной организацией. Церковь не устает проповедывать необходимость общей борьбы против «поганых», и здесь ее голоса слушались охотнее, нежели предупреждений против латинян, исходящих от греческой иерархии.

Словом, в Киевской Руси, по сравнению с Западом, мы видим не менее благоприятные условия для развития личной и политической свободы. Ее побеги не получили юридического закрепления, подобного западным привилегиям. Слабость юридического развития Руси факт несомненный. Но в Новгороде имело место и формальное ограничение княжеской власти в форме присяги. Традиция под именем «отчины» и «пошлины» в средние века была лучшей охраной личных прав. Несчастье Руси было в другом, прямо обратном: в недостаточном развитии государственных начал, в отсутствии единства. Едва ли можно и говорить об удельной Руси как о едином государстве. Это было династическое и церковное об'единение — политически столь слабое, что оно не выдержало исторического испытания. Свободная Русь стала на века рабой и данницей монголов.

Двухвековое татарское иго еще не было концом русской свободы. Свобода погибла лишь после освобождения от татар. Лишь московский царь, как преемник ханов, мог покончить со всеми общественными силами, ограничивающими самовластие. В течение двух и более столетий северная Русь, разоряемая и унижаемая татарами, продолжала жить своим древним бытом, сохраняя свободу в местном масштабе и, во всяком случае, свободу в своем политическом самосознании. Новгородская демократия занимала территорию большей половины восточной Руси. В удельных княжествах церковь и боярство, если не вече, уже замолкшее, разделяли с князем ответственность за судьбу земли. Князь по-прежнему должен был слушать уроки политической морали от епископов и старцев, и прислушиваться к голосу старшего боярства. Политический иммурализм, результат чужеземного корыстного владычества, не

успел развратить всего общества, которое в своей культуре приобретает даже особую духовную окрыленность. Пятнадцатый век — золотой век русского искусства и русской святости. Даже «Измарагды» и другие сборники этого времени отличаются своей религиозной и нравственной свободой от московских и византийских Домостроев.

Есть одна область средневековой Руси, где влияние татарства ощущается сильнее — сперва почти точка на карте, потом все расплывающееся пятно, которое за два столетия покрывает всю восточную Русь. Это Москва, «собирательница» земли русской. Обязанная своим возвышением прежде всего татарофильской и предательской политике своих первых князей, Москва, благодаря ей, обеспечивает мир и безопасность своей территории, привлекает этим рабочее население и переманивает к себе митрополитов. Благословение церкви, теперь национализирующейся, освящает успехи сомнительной дипломатии. Митрополиты, из русских людей и подданных московского князя, начинают отожествлять свое служение с интересами московской политики. Церковь еще стоит над государством, она ведет государство, в лице м. Алексия (наш Ришелье) управляя им. Национальное освобождение уже не за горами. Чтобы ускорить его, готовы с легким сердцем жертвовать элементарной справедливостью и завещанными из древности основами христианского общежития. Захваты территорий, вероломные аресты князей-соперников совершаются при поддержке церковных угроз и интердиктов. В самой московской земле вводятся татарские порядки в управлении, суде, сборе дани. Не извне, а изнутри татарская стихия овладевала душой Руси, проникала в плоть и кровь. Это духовное монгольское завоевание шло параллельно с политическим падением Орды. В XV веке тысячи крещеных и некрещеных татар шли на службу к московскому князю, вливаясь в ряды служилых людей, будущего дворянства, заражая его восточными понятиями и степным бытом.

Само собирание уделов совершалось восточными методами, не похожими на одновременный процесс ликвидации западного феодализма. Снимался весь верхний слой населения и уводился в Москву, заменяясь пришлыми и чужими людьми. Без остатка выкорчевывались все местные особенности и традиции — с таким успехом, что в памяти народной уже не сохранилось героических легенд прошлого. Кто из тверичей, рязанцев, нижегородцев в XIX веке помнил имена древних князей, погребенных в местных соборах, слышал об их подвигах, о которых

мог бы прочитать на страницах Карамзина? Древние княжества русской земли жили разве в насмешливых и унизительных прозвищах, даваемых друг другу. Малые родины потеряли всякий исторический колорит, который так красит их везде во Франции, Германии и Англии. Русь становилась сплошной Московией, однообразной территорией централизированной власти: естественная предпосылка для деспотизма.

Но старая Русь не сдалась Московии без борьбы. Большая часть XVI столетия заполнена шумными спорами и залита кровью побежденных. «Заволжские старцы» и княжое боярство пытались защищать духовную и аристократическую свободу против православного ханства. Русская церковь раскололась между служителями царства Божия и строителями московского царства. Победили осифляне и опричники. Торжество партии Иосифа Волоцкого над учениками Нила Сорского привело к окостенению духовной жизни. Победа опричнины, нового «демократического» служилого класса над родовой знатью означало варваризацию правящего слоя, рост холопского самосознания в его среде и даже усиление экспоатации трудового населения. Побежденные принадлежали несомненно к уходящим, к отвергнутым жизнью слоям. Это была реакция — совести и свободы. В данную эпоху «прогресс» был на стороне рабства. Этого достаточно, чтобы прельстит гегельянцев — Соловьевых и прочих попутчиков истории. Но разве не позволительно остановиться на одном из поворотных моментов русской жизни и спросить себя: что было бы, если бы «ближней раде» Адашевых, Сильвестров и Курбских, опираясь на земский собор, удалось начать эру русского представительного строя? Этого не случилось. Князь Курбский, этот Герцен XVI столетия, с горстью русских людей, бежавших из московской тюрьмы, спасали в Литве своим пером, своей культурной работой честь русского имени. Народ был не с ними. Народ не поддержал боярства и возлюбил Грозного. Причины ясны. Они всегда одни и те же, когда народ поддерживает деспотизм против свободы — при Августе и в наши дни: социальная рознь и национальная гордость. Народ имел, конечно, основания тяготиться зависимостью от старых господ, — и не думал, что власть новых опричных дворян несет ему крепостное право. И уж, наверное, он был заворожен зрелищем татарских царств, падающих одно за другим перед царем московским. Русь, вчерашняя данница татар, перерождалась в великую восточную державу:

А наш белый царь над царями царь,
Ему орды все подклонилися.

4.

Московское самодержавие, при всей своей видимой цельности, было явлением очень сложного происхождения. Московский государь, как князь Московский, был вотчинником, «хозяином земли русской» (так называли еще Николая II). Но он же был преемником и ханов-завоевателей и императоров Византийских. Царями называли на Руси и тех, и других. Это слияние разнородных идей и средств власти создавало деспотизм, если не единственный, то редкий в истории. Византийский император в принципе магистрат, добровольно подчиняющийся своим собственным законам. Он, хотя и без всяких оснований, гордился тем, что царствует над свободными, и любил противополагать себя тиранам. Московский царь хотел царствовать над рабами и не чувствовал себя связанным законом. Как говорил Грозный, «жаловать есмя своих холопов вольны, а и казнить вольны же». С другой стороны, восточный деспот, не связанный законом, связан традицией, особенно религиозной. В Москве Иван IV и впоследствии Петр показали, как мало традиция ограничивает самовластие московского царя. Церковь, которая больше всего содействовала росту и успехам царской власти, первая за это поплатилась. Митрополиты, назначаемые фактически царем, им же и свергались с величайшей легкостью. Один из них, если не два, были убиты по приказу Грозного. И в чисто церковных делах, как показала Никоновская реформа, воля царя была решающей. Когда он пожелал уничтожить патриаршество и ввести в русской церкви протестантский синод, и это сошло для него безнаказанно.

Все сословия были прикреплены к государству службой или тяглом. Человек свободной профессии был явлением немыслимым в Москве — если не считать разбойников. Древняя Русь знала свободных купцов и ремесленников. Теперь все посадские люди были обязаны государству натуральными повинностями, жили в принудительной организации, перебрасываемые с места на место в зависимости от государственных нужд. Крепостная неволя крестьянства на Руси сделалась повсеместной в то самое время, когда она отмирала на Западе, и не переставала отягощаться до конца XVIII столетия, превратившись в чистое рабство. Весь процесс исторического

развития на Руси стал обратным западно-европейскому: это было развитие от свободы к рабству. Рабство диктовалось не капризом властителей, а новым национальным заданием: создания империи на скудном экономическом базисе. Только крайним и всеобщим напряжением, железной дисциплиной, страшными жертвами могло существовать это нищее, варварское, бесконечно разростающееся государство. Есть основания думать, что народ в 16-17 веках лучше понимал нужды и общее положение государства, чем в 18-19. Сознательно или бессознательно, он сделал свой выбор между национальным могуществом и свободой. Поэтому он несет ответственность за свою судьбу.

В татарской школе, на московской службе выковался особый тип русского человека — московский тип, исторически самый крепкий и устойчивый из всех сменяющихся образов русского национального лица. Этот тип, психологически, представляет сплав северного великоросса с кочевым степняком, отлитый в формы осифлянского православия. Что поражает в нем прежде всего, особенно по сравнению с русскими людьми 19 века, это его крепость, выносливость, необычайная сила сопротивляемости. Без громких военных подвигов, даже без всякого воинского духа — в Москве угасла киевская поэзия военной доблести, — одним нечеловеческим трудом, выдержкой, более потом, чем кровью, создал москвитянин свою чудовищную империю. В этом пассивном героизме, неисчерпаемой способности к жертвам была всегда главная сила русского солдата — до последних дней империи. Мировоззрение русского человека упростилось до крайности; даже по сравнению со средневековьем — москвич примитивен. Он не рассуждает, он принимает на веру несколько догматов, на которых держится его нравственная и общественная жизнь. Но даже в религии есть нечто для него более важное, чем догмат. Обряд, периодическая повторяемость узаконенных жестов, поклонов, словесных формул связывает живую жизнь, не дает ей расползаться в хаос, сообщает ей даже красоту оформленного быта. Ибо московский человек, как русский человек во всех своих перевоплощениях, не лишен эстетики. Только теперь его эстетика тяжелеет. Красота становится благолепием, дебелость идеалом женской прелести. Христианство, с искоренением мистических течений «Заволжья», превращается все более в религию священной материи: икон, мощей, святой воды, ладана, просвир и куличей. Диететика питания становится в центре религиозной жизни. Это ритуализм, но ритуализм страшно

требовательный и морально эффективный. В своем обряде, как еврей в законе, москвич находит опору для жертвенного подвига. Обряд служит для конденсации моральных и социальных энергий.

В Московии моральная сила, как и эстетика, является в аспекте тяжести. Тяжесть сама по себе нейтральна — и эстетически, и этически. Тяжел Толстой, легок Пушкин. Киев был легок, тяжела Москва. Но в ней моральная тяжесть принимает черты антихристианские: беспощадности к падшим и раздавленным, жестокости к ослабевшим и провинившимся. «Москва слезам не верит». В 17 веке неверных жен зарывают в землю, фальшивомонетчикам заливают горло свинцом. В ту пору и на западе уголовное право достигло пределов бесчеловечия. Но там это было обусловлено антихристианским духом Возрождения; на Руси — бесчеловечием византийско-осифлянского идеала.

Ясно, что в этом мире не могло быть места свободе. Послушание в школе Иосифа было высшей монашеской добродетелью. Отсюда его распространение через Домострой в жизнь мирянского общества. Свобода для москвича — понятие отрицательное: синоним распущенности, «ненаказанности», безобразия.

Ну, а как же «воля», о которой мечтает и поет народ, на которую откликается каждое русское сердце? Слово «свобода» до сих пор кажется переводом французского liberté. Но никто не может оспаривать русскости «воли». Тем необходимее отдать себе отчет в различии воли и свободы для русского слуха.

Воля есть прежде всего возможность жить, или пожить, по своей воле, не стесняясь никакими социальными узами, не только цепями. Волю стесняют и равные, стесняет и мир. Воля торжествует или в уходе из общества, на степном просторе, или во власти над обществом, в насилии над людьми. Свобода личная не мыслима без уважения к чужой свободе; воля всегда для себя. Она не противоположна тирании, ибо тиран есть тоже вольное существо. Разбойник — это идеал московской воли, как Грозный идеал царя. Так как воля, подобно анархии, невозможна в культурном общежитии, то русский идеал воли находит себе выражение в культе пустыни, дикой природы, кочевого быта, цыганщины, вина, разгула, самозабвения страсти, — разбойничества, бунта и тирании.

Есть одно поразительное явление в Москве 17 века. Народ обожает царя. Нет и намека на политическую оппозицию ему, на стремление участвовать во власти или избавиться от власти

царя. И в то же время, начиная от смуты и кончая царствованием Петра, все столетие живет под шум народных — казацких — стрелецких — бунтов. Восстание Разина потрясло до основания все царство. Эти бунты показывают, что тягота государственного бремени была непосильна: в частности, что крестьянство не примирилось — и никогда не примирялось — с крепостной неволей. Когда терпеть становится не в мочь, когда «чаша народного горя с краями полна», тогда народ разгибает спину: бьет, грабит, мстит своим притеснителям — пока сердце не отойдет; злоба утихнет, и вчерашний «вор» сам протягивает руки царским приставам: вяжите меня. Бунт есть необходимый политический катарсис для московского самодержавия, исток застоявшихся, не поддающихся дисциплинированию сил и страстей. Как в Лесковском рассказе «Чертогон» суровый, патриархальный купец должен раз в году перебеситься, «выгнать черта» в диком разгуле, так московский народ раз в столетие справляет свой праздник «дикой воли», после которой возвращается, покорный, в свою тюрьму. Так было после Болотникова, Разина, Пугачева, Ленина.

Не трудно видеть, что произошло бы в случае победы Разина или Пугачева. Старое боярство, или дворянство было бы истреблено; новая казачья опричнина заняла бы его место; С. М. Соловьев и С. Ф. Платонов назвали бы это вторичной демократизацией правящего класса. Положение крепостного народа ничуть не изменилось бы, как не изменилось бы и положение царя с переменой династии. Ведь, и Романовы вступили на престол при поддержке казаков и тушинцев. Крепостничество вызывалось государственными нуждами, а государственные инстинкты смутно жили и в казачестве. Народ мог только переменить царя, но не ограничить его. Больше того, он не пожелал воспользоваться самоуправлением, которое предлагал ему сам царь, и испытывал, как лишнее бремя, участие в земских соборах, которые могли бы, при ином отношении народа к государственному делу, сделаться зерном русских представительных учреждений. Нет, государство — дело царское, а не народное. Царю вся полнота власти, а боярам, придет пора, отольются народные слезы.

Если где и теплилась в Москве потребность в свободе, то уж, конечно, в этом самом ненавистном боярстве. Не взирая на погром времен Грозного, эти вольнолюбивые настроения нашли свой выход в попытках конституционных ограничений власти царя Василия, Владислава, Михаила. Боярство стре-

милось обеспечить себя от царской опалы и казни без вины — habeas corpus. И цари присягали, целовали крест. Не поддержал народ, видевший в царских опалах свою единственную защиту — или месть, — и первая русская конституция оказалась подлинной пропавшей грамотой.

Москва не просто двухвековой эпизод русской истории — окончившийся с Петром. Для народных масс, оставшихся чуждыми европейской культуре, московский быт затянулся до самого освобождения (1861 г.). Не нужно забывать, что и купечество, и духовенство жили и в 19 веке этим московским бытом. С другой стороны, в эпоху своего весьма бурного существования, московское царство выработало необычайное единство культуры, отсутствовавшее и в Киеве, и в Петербурге. От царского дворца до последней курной избы московская Русь жила одним и тем же культурным содержанием, одними идеалами. Различия были только количественные. Та же вера и те же предрассудки, тот же Домострой, те же апокрифы, те же нравы, обычаи, речь и жесты. Нет не только грани между христианством и язычеством (Киев) или между Западной и Византийской традицией (Петербург), но даже между просвещенной и грубой верой. Вот это единство культуры и сообщает московскому типу его необычайную устойчивость. Для многих он кажется даже символом русскости. Во всяком случае он пережил не только Петра, но и расцвет русского европеизма; в глубине народных масс он сохранился до самой революции.

5.

Стало давно трюизмом, что со времени Петра Россия жила в двух культурных этажах. Резкая грань отделяла тонкий верхний слой, живущий западной культурой, от народных масс, оставшихся духовно и социально в Московии. К народу принадлежало не только крепостное крестьянство, но все торгово-промышленное население России, мещане, купцы, и, с известными оговорками, духовенство. В отличие от неизбежных культурных градаций между классами на Западе, как и во всяком диффенцированном обществе, в России различия были качественные, а не количественные. Две разные культуры сожительствовали в России 18 века. Одна представляла варваризированный пережиток Византии, другая ученическое усвоение европеизма. Выше классовой розни между дворянством и крестьянством была стена непонимания между интеллигенцией и

народом, не срытая до самого конца. Некогда могло казаться, что этот дуализм, или даже самое существование интеллигенции, как особой культурной категории, есть неповторимое, чисто русское явление. Теперь, на наших глазах, с европеизацией Индии, Китая, мы видим, что то же явление происходит повсюду на стыке двух древних и мощных культур. Взгляд на Россию с Востока, или, что то же самое, глазами западного человека, который видит в ней «Скифию», необходимая предпосылка для понимания Империи. Но, признав это, сейчас же следует сказать: поразительна та легкость, с которой русские скифы усваивали чуждое им просвещение. Усваивали не только пассивно, но и активно-творчески. На Петра немедленно ответили Ломоносовым, на Растрелли — Захаровым, Воронихиным; через полтораста лет после петровского переворота — срок небольшой — блестящим развитием русской науки. Поразительно то, что в искусстве слова, в самом глубоком и интимном из созданий национального гения (впрочем то же и в музыке) Россия дала всю свою меру лишь в 19 веке. Погибни она, как нация, еще в эпоху наполеоновских войн, и мир никогда бы не узнал, что он потерял с Россией.

Этот необычайный расцвет русской культуры в новое время оказался возможным лишь благодаря прививке к русскому дичку западной культуры. Но это само по себе показывает, что между Россией и Западом было известное сродство; иначе чуждая стихия искалечила бы и погубила национальную жизнь. Уродств и деформаций было не мало. Но из галлицизмов 18 века вырос Пушкин; из варварства 60-х годов — Толстой, Мусоргский и Ключевский. Значит, за ориентализмом московского типа лежали нетронутыми древние пласты киево-новгородской Руси, и в них легко и свободно совершался обмен духовных веществ с христианским Западом. Могло ли быть иначе? Кто из нас, даже сейчас, может равнодушно перелистывать страницы киевской летописи, у кого не проходит холодок по спине от иных строк вечного «Слова о полку Игореве»?

Вместе с культурой, с наукой, с новым бытом с Запада приходит и свобода. И при этом в двух формах: в виде фактического раскрепощения быта и в виде политического освободительного движения.

Мы обычно недостаточно ценим ту бытовую свободу, которой русское общество пользовалось уже с Петра, и которая позволяла ему долгое время не замечать отсутствия свободы политической. Еще царь Петр сажал своих врагов на кол, еще

бироновские палачи вздергивали на дыбу всех заподозренных в антинемецких чувствах, а во дворце, на царских пирах и ассамблеях устанавливался новый советский тип обхождения, почти уравнивающий вчерашнего холопа с его повелителем. Петербургский двор хотел равняться на Потсдам и Версаль, и вчерашний царь московский, наследник ханов и василевсов, чувствовал себя европейским государем, — абсолютным, как большинство государей Запада, но связанным новым кодексом морали и приличий. Мы как-то не отдавали себе отчета в том, почему русский император, который имел полное «божественное» право казнить без суда и без вины, жечь или сечь любого из своих поданных, отнять его состояние, его жену, не пользовался этим правом. Да и невозможно себе представить, чтобы он им воспользовался — даже самый деспотический из Романовых, как Павел или Николай I. Русский народ, вероятно, стерпел бы, как терпел он при Иване IV и Петре I — может-быть, по-прежнему находил бы удовольствие в казнях ненавистных господ; были же попытки народной канонизации Павла. Но Петербургский император постоянно оглядывался на своих немецких кузенов; он был воспитан в их идеях и традициях. Если народ кланялся ему в ноги или лез целовать его сапоги, ему это, вероятно, не доставляло никакого удовольствия. Если же он забывался, увлекаясь соблазном самовластия, дворянство напоминало ему о необходимости приличного обращения. Дворянство, возводя на трон одних государей и убивая других, добилось того, что император стал называть себя первым дворянином.

Агенты власти, сами принадлежа к тому же кругу, следовали примеру свыше. Дворянин был свободен по закону от телесных наказаний; по жизненному, неписанному уставу он был свободен и от личных оскорблений. Его могли сослать в Сибирь, но не могли ударить или обругать. Дворянин развивает в себе чувство личной чести, совершенно отличное от московского понятия родовой чести и восходящее к средневековому рыцарству.

Указ о «вольности дворянства» освободил его и от обязательной службы государству. Отныне он может посвящать свои досуги литературе, искусству, науке. Его участие в этих профессиях освобождает и их; они, действительно, становятся свободными профессиями — и тогда, когда пополняются плебеями, разночинцами, преимущественно из духовного сословия. Из дворянского ядра вырастает русская интеллигенция — до конца связанная с этим сословием своими добродетелями и

пороками. Россия (кроме Китая) была единственной страной, в которой дворянство давалось образованием. Окончание средней, и даже полу-средней, школы превращало человека из мужика в барина, — т. е. в свободного, защищало до известной степени его личность от произвола властей, гарантировало ему вежливое обращение и в участке, и в тюрьме. Городовой отдавал честь студенту, которого мог избивать лишь в особоредкие дни — бунтов. Эта бытовая свобода в России была, конечно, привилегией, как везде в начальную пору свободы. То был остров петербургской России среди московского моря. Но этот остров беспрерывно расширялся, особенно после освобождения крестьян. Его населяли тысячи в 18 веке, миллионы в начале 20-го. В сущности эта бытовая свобода была самым реальным и значительным культурным завоеванием Империи, и это завоевание было явным плодом европеизации. Оно совершалось при постоянном и упорном противодействии «темного царства», т. е. старой Московской Руси.

Гораздо печальнее была судьба политической свободы. Она виделась столь близкой и осуществимой в 18, особенно в начале 19 века. Потом она стала отдаляться, и казалась уже химерой, «бессмысленными мечтаниями» при Александре III и даже Николае II. Она пришла слишком поздно; когда авторитет монархии был подорван во всех классах нации, а еще углубившаяся классовая рознь делала необычайно трудным перестройку государства на демократических началах.

Носителем политического либерализма у нас долго, едва ли не до самого 1905 года, было дворянство. Вопреки марксистской схеме, не буржуазия была застрельщицей освобождения: оставшись культурно в допетровской Руси, она была главной опорой реакции; вплоть до появления, в конце 19 века, нового типа, европейски-образованного фабриканта и банковского деятеля. Но дворянство, если не в массе своей, косной и мало-культурной, то в европейски-образованных верхушках, долгое время одно представляло в России свободолюбие. Более того, в течение всего 18 века и в начале 19, русские конституционалисты — почти исключительно вельможи: члены Верховного Тайного Совета при Анне, граф Панин при Екатерине, при Александре — Мордвинов, Сперанский, кружок интимных друзей императора. Долгое время Швеция со своей аристократической конституцией вдохновляла русскую знать; потом пришла пора французских и английских политических идей. Если бы вся Европа в 18 веке жила в форме конституционной монархии, то весьма вероятно, что и Россия заимствовала бы

ее, вместе с остальным реквизитом культуры. После французской революции это стало затруднительным. Европейский политический ветер подул реакцией, да и русские императоры не имели охоты всходить на эшафот, повторяя европейские жесты.

Но пересадка политических учреждений — конечно, возможная (ср. Турцию и Японию), гораздо труднее и опаснее, чем заимствование наук и искусств. Это показал неудачный «замысел верховников». Анализ событий 1730 года показывает, во-первых, что большинство столичного дворянства желало ограничения самодержавия; во-вторых, что оно недостаточно этого желало, чтобы преодолеть свою собственную неорганизованность и рознь. В итоге предпочли привилегиям верховников общее равенство бесправия. Таков смысл событий 1730 года, и он весьма пахнет Московией. Шляхетство того времени, в сущности, разделяет крестьянскую подозрительность к свободе господ. Вместо того, чтобы утвердить ее для немногих (для вельмож) и потом бороться за ее расширение на все сословие, в пределе на всю нацию, — единственно возможный исторический путь, — предпочитают рабство для всех. Так велика власть Москвы даже в сознании культурных, или полукультурных потомков опричного дворянства.

Весь драматизм российской политической ситуации выражается в следующей формуле: политическая свобода в России может быть только привилегией дворянства и европеизированных слоев (интеллигенции). Народ в ней не нуждается, более того, ее боится, ибо видит в самодержавии лучшую защиту от притеснений господ. Освобождение крестьян, само по себе, не решало вопроса, ибо миллионы безграмотных, живущих в средневековом быте и сознании граждан не могли строить новую европеизированную Россию. Их политическая воля, будь она только выражена, привела бы к ликвидации Петербурга (школ, больниц, агрономии, фабрик, и т. п.) и к возвращению в Москву: т. е., теперь уже к превращению России в колонию иностранцев. Сговор монархии с дворянством представлял единственную возможность ограниченной политической свободы. Французская революция с ее политическим отражением 14 декабря 1825 г. — делала этот сговор невозможным. Оставалось управлять Россией с помощью бюрократии, которая и становится новой силой, по идеям Сперанского, при Николае I.

Со времени декабристов, отчасти еще в их поколении, освободительные идеи усваиваются и развиваются людьми,

оттиснутыми или добровольно отошедшими от государственной деятельности. Это совершенно меняет их характер: из практических программ они становятся идеологиями. С 30-х годов они выращиваются в теплицах немецкой философии, потом естественных и экономических наук. Но источник их неизменно западный; русский либерализм, как и социализм, имеет свои духовные корни в Европе: или в английской политической традиции, или во французской идеологии — теперь уже Франции 40-х годов — или в марксизме. Русский социализм уже с Герцена может окрашиваться в цвета русской общины или артели, он остается европейским по основам своего миросозерцания. Либерализму эта национальная мимикрия совсем не удалась.

Есть два кажущихся исключения. Славянофильство 40-х годов было, несомненно, движением либеральным и претендовало быть национально-почвенным. Но при ближайшем рассмотрении оказывается, что источник его свободолюбия все в той же Германии, а русское прошлое ему плохо известно; русские учреждения (земский собор, община) идеализированы и имеют мало общего с действительностью. Не удивительно, что, пустив корни в России, славянофильство скоро утратило свое либеральное содержание. Когда же оно победило и взошло на трон в лице Александра III (с Победоносцевым), оно оказалось реакционным тупиком, в явно московском направлении.

В 60-х годах одно довольно широкое, но политически не оформленное течение (не-нигилисты) носит определенную национальную окраску. Я имею в виду молодую русскую этнографию, сливающуюся с народничеством, историков типа Костомарова, Пыпина, Щапова, Аристова; к ним примыкает кружок национальных композиторов — прежде всего, конечно, Мусоргский — и передвижники в живописи: Репин и Суриков. Одни их них, как Костомаров, правильно ищут русских корней свободы в далеком, замосковском прошлом. К сожалению, они не приобрели большого влияния в русском обществе. Костомаров защищал побежденных (Новгород, феодальную Русь). Русская интеллигенция предпочла усвоить московскую историческую традицию митрополита Макария и Степенной Книги, пропущенную сквозь Гегеля. С необычайной легкостью, без ощущения всего трагизма русской истории, она вслед за Соловьевым и Ключевским — приняла, как нечто нормальное (вроде европейского абсолютизма), московско-татарское поглощение Руси, с непонятным оптимизмом ожидая всходов западной свободы на этой почве. Другие из радикалов увле-

калась стихией бунта, открывая ее в косной тяжести Москвы. С тех пор студенчество не перестает петь разбойничьи песни, и «Дубинушка» делается чуть ли не русским национальным гимном. Но мы видели, как мало общего разбойная воля имеет со свободой. Мусоргский, Суриков, идеализация казачества, раскола и разинщины, несомненно воодушевляли революционную армию. Однако, если бы эта идеология направила революцию, она сообщила бы ей национально-черносотенный характер.

60-ые годы, сделавшие так много для раскрепощения России, нанесли политическому освободительному движению тяжелый удар. Они направили значительную, и самую энергичную часть его — все революционное движение — по антилиберальному руслу. Разночинцы, которые начинают вливаться широкой волной в дворянскую интеллигенцию, не находят политическую свободу достаточно привлекательным идеалом. Они желают революции, которая немедленно осуществила бы в России всеобщее равенство — хотя бы ценой уничтожения привилегированных классов (знаменитые 3 миллиона голов). Против дворянского либерализма — даже либерального социализма Герцена — они начинают ожесточенную борьбу. Раннее народничество 60-70-х годов считает даже вредной конституцию в России, как укрепляющую позиции буржуазных классов. Многое можно привести в об'яснение этой поразительной аберрации: погоню за последним криком западной политической моды, чрезвычайный примитивизм мысли, оторванной от действительности, максимализм, свойственный русской мечтательности. Но есть один, более серьезный и роковой мотив, уже знакомый нам. Разночинцы стояли ближе к народу, чем либералы. Они знали, что народу свобода не говорит ничего; что его легче поднять против бар, чем против царя. Впрочем, их собственное сердце билось в такт с народом; равенство говорило им больше свободы. Конечно, и здесь сказалось все то же московское наследие.

Потом они поумнели. Уже народовольцы признали борьбу за политическое освобождение. В конце века обе господствующие социалистические партии недвусмысленно ведут борьбу за демократию. Правда, марксизм понимал свободу инструментально, как средство в борьбе за диктатуру пролетариата: вскрывая «буржуазную подоплеку» освободительного движения, он унижал и обессмысливал свободу в глазах неискушенных в тактических тонкостях масс. Но здесь уже веял не старый «русский дух», а новый западный душок, — или сквозняк,

который дул от утопического коммунизма сороковых годов в еще неведомое и негаданное царство фашизма.

И все же пятидесятилетие, протекшее со времени Освобождения, изменило весь лик России. Интеллигенция выросла в десятки, в сотни раз. Уже ей навстречу поднималась новая рабоче-крестьянская интеллигенция, которая, случалось, выносила на гребне волны такие яркие имена русской культуры, как Максим Горький и Шаляпин. В 1905 году, казалось, исчезла вековая грань между народом и интеллигенцией: народ, утратив веру в царя, доверил интеллигенции водительство в борьбе за свободу. Переход дворянства в лагерь реакции искупался развитием новой либеральной буржуазии. Старое земство, великолепная школа свободной общественности, работало превосходно, в ожидании своей демократизации. Профессиональное и кооперативное движение воспитывало общественно трудовую демократию. Народная школа, уже выработавшая план всеобщего обучения — быстро разлагала московскую формацию поверхностным просвещением. Уже любителям русского фольклора приходилось ездить за остатками его на Печору. Еще 50 лет, и окончательная европеизация России — вплоть до самых глубоких слоев ее — стала бы фактом. Могло ли быть иначе? Ведь «народ» ее был из того же самого этнографического и культурного теста, что и дворянство, с успехом проходившее ту же школу в 18 веке. Только этих пятидесяти лет России не было дано.

Первое прикосновение московской души к западной культуре почти всегда скидывается нигилизмом; разрушение старых устоев опережает положительные плоды воспитания. Человек, потерявший веру в Бога и царя, утрачивает и все основы личной и социальной этики. О хулиганстве в деревне заговорили с началом столетия. Учитель делается первым об'ектом дерзких шуток, интеллигенция как класс — об'ектом ненависти. После крушения революции 1905 года — и слишком поспешного отхода от народа ведущих слоев русской культуры — намечается новая рознь. В своих, почти пророческих, статьях Блок слушал наростающий гул народной ненависти, грозившей поглотить блестящую, но хрупкую нашу культуру. Порою тот или иной выходец из новой народной интеллигенции (Карпов в своей книге «Пламя») бросал страстный вызов старой «буржуазной» интеллигенции, с которой он не успел еще слиться, как слились (или почти слились) Горький или Шаляпин. В этой перспективе все новейшее развитие России представляется опасным бегом на скорость: что упредит —

освободительная европеизация или московский бунт, который затопит и смоет молодую свободу волной народного гнева?

Читая Блока, мы чувствуем, что России грозит не революция просто, а революция черносотенная. Здесь, на пороге катастрофы стоит вглядеться в эту последнюю, антилиберальную реакцию Москвы, которая сама себя назвала по-московски Черной Сотней. В свое время недооценили это политическое образование, из-за варварства и дикости ее идеологии и политических средств. В нем собрано было самое дикое и некультурное в старой России, но, ведь, с ним было связано большинство епископата. Его благословлял Иоанн Кронштадский, и царь Николай II доверял ему больше, чем своим министрам. Наконец, есть основание полагать, что его идеи победили в ходе русской революции, и что, пожалуй, оно переживет нас всех.

За православием и самодержавием, т. е. за московским символом веры легко различаются две основные тенденции: острый национализм, оборачивающийся ненавистью ко всем инородцам — евреям, полякам, немцам и т. д., и столь же острая ненависть к интеллигенции, в самом широком смысле слова, об'единяющем все высшие классы России. Ненависть к западному просвещению сливалась с классовой ненавистью к барину, дворянину, капиталисту, к чиновнику — ко всему средостению между царем и народом. Самый термин «Черная Сотня» взят из московского словаря, где он означает организацию (гильдию) низового, беднейшего торгового класса; для московского уха он должен был звучать, как для Токвиля «демократия». Словом, черная сотня есть русское издание или первый русский вариант национал-социализма. При фанатической ненависти, при насильственности действий, принимавших легко характер погрома и бунта, движение таило в себе потенции разинщины. Власть, дворянство вскармливали его — но на свою голову. Губернатор не всегда мог справиться с ним, и пример Илиодора в Царицыне показывает, как легко черносотенный демагог становится демагогом революционным. Не мешает остановиться на этой неприглядной реакции побежденной Москвы в те роковые годы, когда не даром вспомнили старое пророчество: Петербургу быть пусту.

6.

Русская революция, за 28 лет ее победоносного, хоть и тяжкого бытия, пережила огромную эволюцию, проделала не

мало зигзагов, сменила не мало вождей. Но одно в ней осталось неизменным: постоянное, из года в год, умаление и удушение свободы. Казалось, что дальше Ленинской тоталитарной диктатуры итти некуда. Но при Ленине меньшевики вели легальную борьбу в советах, существовала свобода политической дискуссии в партии, литература, искусство мало страдали. Об этом так странно вспоминать теперь. Дело не в том, конечно, что Ленин, в отличие от Сталина, был другом свободы. Но для человека, дышавшего воздухом 19 века, хотя и в меньшей степени, чем для русского самодержца, существовали какие-то неписанные границы деспотизма: хотя бы в виде привычек, стеснений, ингибиций. Их приходилось преодолевать шаг за шагом. Так и до сих пор, в тоталитарных режимах, введя пытку, еще не дошли до квалифицированных публичных казней. Иностранцы, посещающие Россию через промежуток нескольких лет, отмечали сгущение неволи в последних убежищах вольного творчества — в театре, в музыке, в синематографе. В то время, как русская эмиграция ликовала по поводу национального перерождения большевиков, Россия переживала один из самых страшных этапов своей Голгофы. Миллионы, замученных жертв отмечают новый поворот диктаторского руля. На последнем «национальном» этапе — а, казалось бы, он должен был вдохновлять художника — русская литература дошла до пределов наивной беспомощности и дидактизма; следствие утраты последних остатков свободы.

Второе и еще более грозное явление. По мере убыли свободы прекращается и борьба за нее. С тех пор как замерли отголоски гражданской войны, свобода исчезла из программы оппозиционных движений, — пока эти движения еще существовали. Не мало советских людей повидали мы за границей — студентов, военных, эмигрантов новой формации. Почти ни у кого мы не замечаем тоски по свободе, радости дышать ею. Большинство даже болезненно ощущает свободу западного мира, как беспорядок, хаос, анархию. Их неприятно удивляет хаос мнений на столбцах прессы: разве истина не одна? Их шокирует свобода рабочих, стачки, легкий темп труда: «У нас мы прогнали миллионы через концлагеря, чтобы научить их работать» — такова реакция советского инженера при знакомстве с порядками на американских заводах; а, ведь, он сам от станка — сын рабочего или крестьянина. В России ценят дисциплину и принуждение, и не верят в значение личного почина, — не только партия не верит, но и вся огромная ею созданная новая интеллигенция.

Не одна система тоталитарного воспитания ответственна за создание этого анти-либерального человека; хотя мы и знаем страшную мощь современного технического аппарата социальной перековки. Тут действовал и другой социально-демографический фактор. Русская революция была еще невиданной в истории мясорубкой, сквозь которую были пропущены десятки миллионов людей. Громадное большинство жертв, как и во Французской революции, пало на долю народа. Далеко не вся интеллигенция была истреблена; технически необходимые кадры были отчасти сохранены. Но как ни слепо подчас действовала машина террора, она поражала, бесспорно, прежде всего элементы, представлявшие, хотя бы только морально, сопротивление тоталитарному режиму: либералов, социалистов, людей твердых убеждений, или критической мысли, просто независимых людей. Погибла не только старая интеллигенция, в смысле ордена свободолюбия и народолюбия, но и широкая народная интеллигенция, ею порожденная. Говоря точнее, произошел отбор. Народная интеллигенция раскололась — одна влилась в ряды коммунистической партии, другая (эсеро-меньшевистская) истреблена. Интеллигенция просто — большевизмом не соблазнилась. Но те в ее рядах, кто не пожелал погибнуть или покинуть родину, должны были за годы неслыханных унижений убить в себе самое чувство свободы, самую потребность в ней: иначе жизнь была бы просто невыносимой. Они превратились в техников, живущих своим любимым делом, но уже вполне обездушенным. Писателю все равно, о чем писать: его интересует художественное «как»; поэтому он может принять любой социальный заказ. Историк получает свои схемы готовыми из каких-то комитетов: ему остается трудолюбиво и компетентно вышивать узоры... В итоге не будет преувеличением сказать, что вся созданная за 200 лет империи свободолюбивая формация русской интеллигенции исчезла без остатка. И вот тогда-то под нею проступила московская тоталитарная целина. Новый советский человек не столько вылеплен в марксистской школе, сколько вылез на свет Божий из московского царства, слегка приобретя марксистский лоск. Посмотрите на поколение Октября. Их деды жили в крепостном праве, их отцы пороли самих себя в волостных судах. Сами они ходили 9 января к Зимнему дворцу и перенесли весь комплекс врожденных монархических чувств на новых красных вождей.

Вглядимся в черты советского человека: — конечно, того, который строит жизнь, а не смят под ногами, на дне колхозов

и фабрик, в черте концлагерей. Он очень крепок, физически и душевно, очень целен и прост, живет по указке и по заданию, не любит думать и сомневаться, ценит практический опыт и знания. Он предан власти, которая подняла его из грязи и сделала ответственным хозяином над жизнью сограждан. Он очень честолюбив и довольно черств к страданиям ближнего — необходимое условие советской карьеры. Но он готов заморить себя за работой, и его высшее честолюбие — отдать свою жизнь за коллектив: партию или родину, смотря по временам. Не узнаем ли мы во всем этом служилого человека XVI века? (не XVII-го, когда уже начинается декаданс). Напрашиваются и другие исторические аналогии: служака времен Николая I, но без гуманности христианского и европейского воспитания; сподвижник Петра, но без фанатического западничества, без национального самоотречения. Он ближе к москвичу своим гордым национальным сознанием: его страна единственно православная, единственно социалистическая — первая в мире: третий Рим. Он с презрением смотрит на остальной, т. е. западный мир; не знает его, не любит и боится его. И, как встарь, душа его открыта Востоку. Многочисленные «орды», впервые приобщающиеся к цивилизации, вливаются в ряды русского культурного слоя, вторично ориентализируя его.

Может показаться странным говорить о московском типе в применении к динамизму современной России. Да, это Москва, пришедшая в движение, с ее тяжестью, но без ее косности. Однако это движение идет по линии внешнего строительства, преимущественно технического. Ни сердце ни мысль не взволнованы глубоко; нет и в помине того, что мы русские называем духовным странничеством, а французы — inquiétude. За внешним бурным (почти всегда как бы военным) движением — внутренний невозмутимый покой.

Мы здесь со страстным любопытством следим за эволюцией советского человека сквозь его условную, заказную литературу. Мы с радостью, граничащей с умилением, наблюдали, как на маске железного большевицкого робота 20-х годов постепенно проступают черты человеческого лица. Может-быть — и это даже вероятнее, — что то была скорее эволюция цензуры, или литературной политики партии, чем живой жизни. Все-таки советский человек, хотя бы с наганом в руках, был человек. И ему свойственны были, вероятно, и тогда, когда они считались запретными, и дружба, и любовь к женщине и даже любовь к родине. Но в тоталитарном строе государство воспитывает людей, их чувства, их мысли, самые интимные.

И мы приветствуем официальное воскрешение человечности, мы радуемся, узнавая в советском герое черты любимого русского лица.

Эта эволюция далеко не закончена, и происходит с частыми и болезненными перебоями. Еще слово «злой», как в первые годы Че-Ка, употребляется в положительном смысле; иной раз злою называется даже русская земля. Война принесла с собой, естественно, апологию мести и жестокости. Но та же война разбудила ключи дремавшей нежности — к поруганной родине, к женщине, жене и матери солдата. Нет пока никаких признаков пробуждения религиозного чувства. Новая религиозная политика (НРП) остается в пределах чистой политики. Но и это со временем придет, если религия, действительно, составляет неотъемлемый атрибут человека; когда-нибудь метафизический голод проснется и в этом примитивном существе, живущем пока культом машины и маленького личного счастья.

Завершится ли эта внутренняя эволюция возрождением свободы, это другой вопрос, на который опыт истории, думается, дает отрицательный ответ. Свобода, в общественно-политическом смысле, не принадлежит к инстинктивным или всеобщим элементам человеческого общежития. Лишь христианский Запад выработал в своем трагическом средневековье этот идеал и осуществил его в последние столетия. Только в общении с Западом Россия времен Империи заразилась этим идеалом и стала перестраивать свою жизнь в согласии с ним. Отсюда как будто следует, что, если тоталитарный труп может быть воскрешен к свободе, то живой воды придется опять искать на Западе.

Многие думают, что на этот раз России незачем итти так далеко; она уже накопила в своей литературе такие ценности свободолюбия, которые могут зажечь священный огонь в новых поколениях. Думать так значит страшно переоценивать значение книги в развитии души. Мы почерпаем в книгах лишь то, чего ищет наше сознательное или бессознательное я. Вспомним, что Шиллер остается классиком в школах Германии, что Евангелие читалось в самые мрачные и жестокие века христианской истории. Комментаторы, или дух времени всегда приходят на помощь, чтобы обезвредить духовные яды. В России давно уже читают с увлечением классиков, но там, повидимому, не приходит в голову перенести в современность сатиру Гоголя или Щедрина. Да и только ли свободолюбию учат русские классики? Гоголь и Достоевский были апологетами самодержавия, Толстой — анархии, Пушкин примирился

с монархией Николая. Как читают классиков в советской России? В дни Лермонтовского юбилея все писали о поэте «Валерика» и «Родины», как о русском патриоте, дравшемся на Кавказе за российское великодержавие. В сущности, только Герцен из всей плеяды XIX века может учить свободе. Но Герцен, кажется, не в особом почете у советского читателя.

Если же солнце свободы, в противоположность астрономическому светилу, восходит с Запада, то все мы должны серьезно задуматься о путях и возможностях его проникновения в Россию. Одно из необходимых условий — личное общение, — сейчас чрезвычайно облегчено войной. Война в освобождении России — факт двусторонний. Ее победоносный конец, бесспорно, укрепляет режим, доказывая, путем проверки на полях битв, его военное превосходство перед слабостью демократий. Этот аргумент действует даже на иных либералов из русской эмиграции. Но, с другой стороны, война открывает для миллионов русских воинов возможности личного общения с Западом. Для того, чтобы демократические идеи Запада могли импонировать москвичам, необходимы два условия — в сущности сводящиеся к одному. Запад должен найти в своих идеалах опору для более удачного, более человечного решения социального вопроса, который до сих пор, худо ли, хорошо ли, решала лишь диктатура. Во-вторых, московский человек должен встретить в своем новом товарище, воине-демократе, такую же силу и веру в идеал свободы, какую он сам переживает, или переживал, в идеал коммунизма. Но это означает для демократа, отрицательно, нетерпимость ко всякой тирании, каким бы флагом она ни прикрывалась. Наши предки, общаясь с иностранцами, должны были краснеть за свое самодержавие и свое крепостное право. Если бы они встретили повсеместно такое же раболепное отношение к русскому царю, какое проявляют к Сталину Европа и Америка, им не пришло бы в голову задуматься над недостатками в своем доме. Льстецы Сталина и Советской России сейчас главные враги русской свободы. Или иначе: лишь борясь за свободу на всех мировых фронтах, внешних и внутренних, без всяких «дискриминаций» и предательства, можно способствовать возможному, но сколь еще далекому, освобождению России.

Г. Федотов.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ МЫТАРСТВА ЧЕХОВА

«Я Щедрина нового открыл!» — провозгласил как-то в начале 80-х годов прошлого века Н. А. Лейкин.

Сам Лейкин представлял собою классический тип «смешного писателя». Он пользовался огромным успехом среди наименее требовательных читателей (любителем его рассказов был... император Александр III). Рассказы эти обычно короче воробьиного носа, изобиловали элементарно-забавными положениями и бывали щедро уснащены разными смешными словечками: «насыпь-ка еще лампадочку» (вместо — налей рюмку водки), «эрудиция», «червь червящий» и т. п. Совершенно феноменальна была лейкинская плодовитость: в день 30-летнего юбилея его писательства было подсчитано, что из под его пера вышло — с е м ь т ы с я ч рассказов!

Щедрин Лейкину, повидимому, представлялся таким же «смешным писателем», как он сам, только пофундаментальнее, и поскучнее. Впрочем, было время, когда люди, не ему чета, а такие, как Писарев, не умели у Щедрина разобрать ничего, кроме «цветов невинного юмора».

Когда впоследствии литературная критика стала проводить параллели между Чеховым и Буниным, первый написал последнему: «а мы с вами похожи, как борзая похожа на гончую». Можно было бы сказать, что на Щедрина Чехов походил, как изящный пойнтер на угрюмого клыкастого волкодава. В одном из своих писем к Плещееву Чехов писал о Щедрине: «Это была крепкая, сильная голова... Тот сволочной дух, который живет в мелком, измошенничавшемся духовно русском интеллигенте среднего пошиба, потерял в нем самого упрямого и назойливого врага. Обличать умеет каждый газетчик, издеваться умеет и Буренин, но открыто презирать умел один только Салтыков. Две трети читателей не любили его, но верили ему все. Никто не сомневался в искренности его презрения».

Так метко уловить т о н писаний Щедрина могла тоже только «крепкая, сильная голова». Однако, нельзя не отметить и однобокости его характеристики. Очевидно «что у кого болит,

тот о том и говорит». Чехов начинал свою литературную деятельность в среде, которую он должен был бы по щедрински презирать, но которую он долго выносил, от которой не скоро освободился. Вообще для понимания многого в его жизни не нужно забывать, что он был человеком очень запоздалого и затрудненного внешними обстоятельствами общего развития. Ему приходилось вечно мучиться потребностью нагнать упущенное с самого начала жизненного пути. Его история, как писателя — история постоянного и сильного роста, — осложненного вечными болезнями роста...

Некоронованный король того полуподвального литературного этажа, в котором гнездились все эти «Развлечения», «Стрекозы» и «Будильники», застал Чехова как раз на одном из его жизненных распутий и взялся быть его гидом по неведомому для него лабиринту писательского мира столицы. Для Лейкина было обычным делом «выводить в люди» таких конфузливых новичков, посвящая их в несложные таинства своей юмористической кухни. Не ему было дано заметить, что то отношение к жизни — легкое и веселое — которое у него самого, чеховского учителя и патрона, давно уже приняло устойчивые формы профессионального шутовства, у Чехова было лишь временным опьянением. Не Лейкину было заметить, что на дне Чеховского юмора таился привкус горечи и лермонтовского раздумья: «А жизнь, как посмотришь с холодным вниманьем вокруг, — такая пустая и глупая шутка». Мягкая податливость чеховской натуры завершала оптический обман. Старый, опытный литературный «смехач» принялся по своему образу и подобию формировать молодого, готовя в нем себе «смену» и, в конце концов, успев к нему даже привязаться.

Это некоторое патриархально-сердечное влечение к попавшему в его руки юноше не мешало, конечно, Лейкину исполнять по отношению к нему функцию оборотливого «хозяина». Обучая его писанию «в легком жанре», Лейкин не упускал случая внушительно напоминать ему, что «подписчик «Осколков» — особый подписчик, он хочет юмористики, веселых сценок — сатирических, или же шуточных и шаловливых; а мы и так уж не ту ноту тянем: раздаются жалобы на серьезность». Он заказывал Чехову то «разных литературных разностев», то «мелочишек»; учил — «к лету завести дачную шарманку», к зиме — убрать ее до будущего года; а мимоходом поставлять и просто «рассказы на затычку».

И Чехов исполняя усердно все и всяческие заказы: как сам он однажды выразился, «перепробовал все, кроме стихов

и доносов».Лейкин его поощрял: «это ничего. И печь разные хлеба печет». Когда же бывал недоволен (если, например, в горячее для подписки время ему случалось видеть подписанные Чеховым «мелочишки» на страницах других, конкуррирующих с его «Осколками» юмористических журналов) то выговаривал ему, поясняя, что «как бы ни был плох сотрудник, — а вы, в с е - т а к и, сотрудник талантливый» — но и у него заводятся привыкшие к нему читатели, и появление его где то на стороне «все-таки» журналу вредит. Он умел во время ввернуть, что через «Осколки» Чехов вообще выйдет в люди, как, например, уже успел попасть в «Петербургскую газету» Пастухова; а чтоб сотрудник не слишком зазнался, любил порою — сохраняя покровительственный тон — и потретировать его текущие работы, примерно, так: «Ваша «Помеха» очень плохая мелочишка, ровно ничего не выражающая, но она все таки пойдет; «Дипломатия» — тоже подгуляла, но тоже, при случае, уйдет; Святочный рассказ «Сон» очень мистично, но попробую несколько исправить»... И Лейкин и с п р а в л я л Чехова! Не щадили его авторского самолюбия и в «Стрекозе», где по его адресу в «Почтовом ящике» журнала находили время от времени такого рода назидания или милые шуточки: «Повторяете всем надоевшие темы», «Нельзя писать без критического отношения к своему делу...» и т. п.

Часто удивлялись несерьезности псевдонима «Антоша Чехонте», под которым Чехов публиковал ранние свои опыты. Происхождение его захолустно-таганрогское: подобными смешными кличками наделял там всех учеников гимназический батюшка. Но на какую другую ее переменить? Чехов попеременно бывал и Балдастовым, и Антонсоком, и Братом своего брата, и Улиссом, и Вспыльчивым человеком, и Врачем без практики, и Человеком без селезенки... Рядом с ним в виде Агафопода Единицына печатался его брат Александр, в виде Эмиля Пупа — приятель его Сергеенко; в виде Емели Золя — другой его приятель, московский всезнайка дядя Гиляй (Гиляровский); рядом подвизались разные Мефистофели из Хамовников, и т. п. Все это была типичнейшая богема, перебивавшаяся изо дня в день, с хлеба на квас. В архиве Чехова был найден счет из «Стрекозы», по которому за ш е с т ь рассказов из 645 строк, ему причиталось получить — тридцать два рубля с четвертаком, т. е. по пятачку за строчку. Да и эти гроши выплачивались неаккуратно — так, ему приходилось ходить в Будильник за какой нибудь трехрублевкой раз по десяти — «сколько сапог, бывало, истреплешь прежде, чем удастся

получить!...» Иные издатели платили натурой — то билетами в театр, то обедами в кухмистерской, то даже запиской к портному, чтоб сшил штаны в долг за счет редакции... Лейкин все же сравнительно с ними награждал по царски: и платил двумятремя копейками за строчку дороже, и знал искусство привязывать — точнее, закабалять — нуждающегося сотрудника авансами. А в записной книжке расходов Чехов в это время отмечал каждую воблу или две-три рюмки водки за обедом, как жизненное роскошество и как безумное финансовое мотовство. Чехов выколачивал деньгу и для себя, и для семьи, и, порою, для незадачливых приятелей: брал у них статьи, подписывал для легкости помещения в печати своим именем и передавал авторам гонорар...

Вот из какого опыта черпал молодой Чехов свою оценку среды, в которой увяз с головою на целые годы. «Газетчик — писал он брату Александру — значит по меньшей мере ж у л и к. Я в ихней компании, работаю с ними, рукопожимаю, и, говорят, издали стал походить на жулика, я — газетчик, но это временно; оным не умру!» Но с волками жить — по волчьи выть. И вот, он усваивает себе понемногу тон веселого забулдыги, для которого писанье — не напряженный труд, а легкодумная забава. Процесс своего творчества он порой описывает так: «Лежишь эдак на диване в веселом подпитии, — ан, глядь, и взбредет что-нибудь в голову». Священник Григорий Петров подтверждает это, так передавая слова самого Чехова:

«Я писал, как птица поет. Сяду и пишу. Не думаю, как и о чем. Само писалось. Я мог писать, когда угодно. Я, как молодой теленок или жеребенок, выпущенный на зеленый и светлый простор, прыгал, скакал, брыкался, махал хвостом, мотал смешно головой. Смеялся сам и смешил окружающих. Я брал жизнь, и не задумываясь, тормошил ее туда и сюда. Щипал ее, щекотал, хватал за бока, тыкал пальцем в бока, под грудь, хлопал по животу. Было самому весело, и со стороны, должно быть, было смешно...»

Неудивительно, что хотя молодой Чехов не достиг лейкинских рекордов, однако, вздумав раз подсчитать, сколько им написано рассказов за истекший год, он насчитал более сотни, по рассказу на каждые три-четыре дня существования! «Рукописей я не перебеляю: я пишу обыкновенно на отмашь!» — сознавался он. Однажды он написал целый рассказ в купальне, лежа на животе и не подымаясь, пока не закончил. «Я писал безмятежно, словно блины ел!» — полушутя, полуконфузясь

писал он приятелям. И скоро почувствовал, что зашел в тупик. В одном из его писем к Лейкину читаем: «Все праздники я жилился, напрягал мозги, пыхтел, сопел, раз сто садился писать, но все время из под моего «бойкого» пера выливались или длинноты, или кислоты, или тошноты, так что я не решался посылать их вам, чтобы не конфузить своей фамилии...». Такие случаи повторялись, и, едва закончив первую «пятилетку» газетной и мелко-журнальной работы, он подводит жуткий итог: «Весь исписался и чувствую себя на бобах. Пройдет 5-6 лет, и я не в состоянии буду написать одного рассказа в год...»

***

Чехов, конечно, глубоко ошибался. Следующие 5-6 лет — вторая пятилетка его журнальной работы — была под'емом на значительно высшую ступень и по условиям писания, и по настроению. Его голову впервые озарили лучи литературной славы.

Для самого Чехова поворот начался с того, что он был вторично «открыт» — на сей раз уже не королем литературных скоморохов, а настоящим, и даже «маститым» писателем: то был Д. В. Григорович. Правда, он был тогда уже светилом, «на ущербе»; размагниченным эпигоном 60-х годов, державшим курс на суворинское Новое Время. Но за ним оставалось в рядах либерально-народолюбивых кругов почетное место, завоеванное когда то его «Антоном-Горемыкой», — романом, который вместе с последовавшими за ним «Рыбаками» у нас сыграл приблизительно одинаковую роль с «Хижиной дяди Тома» в странах англосаксонских. В сущности, Чехов литературы этого рода тогда не жаловал; в письмах от него не мало доставалось брату за то, что из глаз его «мадам Бичер Стоу выжимает слезинки»; а вот он — так после чтения ее книг чувствует себя, «как будто через меру наелся изюму или коринки». Но то была далекая Бичер Стоу, а Григоровича третировать подобным образом Чехов не решался. Григорович говорил ему, к тому же, что у него настоящий талант, что он себя мало ценит, зря разбрасывается и «пишет в один присест»; пророчил ему, при более вдумчивом отношении к себе, ряд произведений истинно художественных.

Получив письмо такого рода, Чехов сначала совершенно растерялся. Он впоследствии говорил, что первые дни «ходил, как в чаду» и «едва не заплакал». В таком же чаду написал он с разбегу и ответное письмо. В нем он называл Григоровича

«добрым, горячо любимым благовестителем», извинялся за длину ответа (не пространного) и просил «не вменять в вину человеку, что он в первый раз в жизни дерзнул побаловать себя таким наслаждением, как письмо к Григоровичу». Впрочем, далее письмо приобретало более серьезный характер: с него начинается серия все более глубоких попыток авторской самоисповеди. Он сознавался: «доселе относился я к своей литературной работе крайне легкомысленно, небрежно, зря; не помню ни одного своего рассказа, над которым бы я работал более суток. Писал, как репортеры пишут свои заметки о пожарах: машинально, полубессознательно, ни мало не заботясь ни о читателе, ни о самом себе». «Если у меня есть дар, который следует уважать, то, каюсь пред чистотою Вашего сердца, я доселе не уважал его. За пять лет моего шатания по газетам я успел проникнуться этим общим взглядом на свою литературную мелкость, скоро привык снисходительно смотреть на свои работы и пошла писать!» Впервые, быть может, Чехову пришлось оглянуться на себя, и обрести в себе то, о чем он впоследствии вопиял и Суворину: «Душа моя просится вширь и ввысь; но поневоле приходится вести жизнь узенькую, ушедшую в сволочные рубли и копейки. Душа изныла от сознания, что работаю ради денег, ноющее чувство делает в моих глазах писательство мое занятием презренным: я не уважаю того, что пишу...»

Григорович подвернулся Чехову во-время и сыграл в его литературной жизни не малую, хотя и случайную, мимолетную роль. Если Чехов думал найти в нем настоящего литературного крестного отца вместо Лейкина, он глубоко разочаровался. Он открыл в нем какие-то «лисьи и барсучьи черты», велеречивую неискренность его об'ятий, поцелуев и уверений, будто любит Чехова, как родного сына; кажется, он опротивел ему и тем, что после поездки Чехова на Сахалин, сыгравшей в духовной жизни «Пушкина в прозе» крупную роль, Григорович заинтересовался ею с очень специальной стороны: «все просил рассказать про японок». Повидимому, это было очень уж обнаженно и не-эстетично, ибо Чехов особой "pruderie" не страдал. В литературном отношении так же, как Лейкин, который все ставил Чехову на вид, что «выводит его в люди», протаскивая его в «Петербургскую Газету», — Григорович оказал Чехову опасную услугу, отправившись к Суворину и долго приставал к нему: «да пригласите же в сотрудники Чехова! Грешно Чехова не пригласить!»

Григорович «открыл» Чехова в 1886 году, и в том же году

первая написанная им большая вещь — «Степь» — обратила на него внимание большинства крупных литераторов того времени. Плещеев свидетельствует, что Короленко, как и он сам, начав читать «Степь», не могли от нее оторваться; Гаршин был от нее без ума, и прочел два раза подряд; «это такая прелесть — писал Плещеев автору — такая бездна поэзии. Я в безумном восторге и предсказываю Вам блестящую будущность!»

Но это для Чехова уже не имело прелести новизны и внезапности. Ближайшая поездка его в Петербург была триумфальной. В Петербургской газете его принимали «как шаха персидского». Во всех литературных салонах его «воспевали, приглашали». Будь он хоть немного склонен к тщеславию, у него закружилась бы голова; но его спасал здоровый природный ум и чувство юмора. Братьям он отдавал отчет, как там-то «катался в ландо и пил шампанское, и чувствовал себя прохвостом», а там-то «пил и ел, как в старосветской усадьбе»; как везде «купался в славе и нюхал фимиамы» и даже стал «учиться говорить генеральским басом». И тут же заключал: «мою дребедень читает весь Питер». От множества новых литературных знакомств у него пестрило в глазах и, кажется, порою все они для него сливались в какое то одно многоликое существо; одним духом сообщает он, что ежедневно видится с Сувориным, Бурениным и др., и что тогда-то пробыл четыре с половиною часа с Михайловским, Глебом Успенским и Короленко: «пили, ели и оживленно б о л т а л и»...

Но где есть лавры, там есть и тернии. На Чехова произвела тогда очень сильное, долго не сглаживавшееся в памяти впечатление одна журнальная о нем заметка. Позднее он Бунину, для иллюстрации того, как мало дала ему литературная критика, ядовито писал: «Мне один критик пророчил, что я умру под забором». В письме к Горькому он назвал имя этого критика: «Скабичевский... написал, что я умру в пьяном виде под забором».

*
**

Нависла ли действительно над головой Чехова опасность алкоголизма? Дошли ли до Скабичевского какие либо сведения о нем и о среде, в которой он жил?

От запойной стихии в России погибло не мало талантов. Вспомним хотя бы Полежаева, Помяловского, Щапова, Решетникова, Мея, Аполлона Григорьева, Минаева, Якушкина, Курочкина! Говоря о трагической гибели своего двоюродного брата

Николая, Глеб Успенский писал: «Пьянство было чем-то почти неизбежным для тогдашнего талантливого человека». В наши дни историю такой гибели повторил Есенин. Среди друзей Чехова того времени было не мало пьяниц (например, поэт Пальмин). Об одном из своих братьев Чехов писал: «брат Александр гораздо талантливее меня, но — он погибает от пьянства». Трагическую историю этой гибели дал в своих воспоминаниях его сын М. А. Чехов. Этого выдающегося человека, совершенно неспособного гнуться, жизнь сломала. В противоположность ему Антон, натура гибкая, эластичная, как будто всему поддающаяся, но упорно выпрямляющаяся, все преодолел. Он мог погрузиться в омут, и выйти из него неиспачканным, сходиться с циниками и не утратить свежести, поддаваться влияниям и сохранить внутреннюю свободу. Он пил, как все в его кругу, но его богатырская натура все преодолевала. Немирович-Данченко вспоминал, как Чехов «выпивал бутылку шампанского, и не пьянел; потом выпивал бутылку коньяку, и тоже не пьянел».

*
**

Скабичевский, трудолюбивый историк русской литературы (его «Очерки по истории русской цензуры» и посейчас не потеряли своего значения) отнюдь не был крупным литературным критиком. Если Чехов был сильно задет его отзывом, то и Скабичевский принял не мало волнений за-за того, что считал простым недоразумением; и не раз искал потом случая упомянуть, как он ценил Чехова и как чуть-ли не первым стал энергично опровергать взгляд на него, как на писателя «безидейного». В своей статье о Чехове он писал, что чеховские рассказы произвели на него грустное впечатление «не потому, чтобы они были плохи, а напротив, именно потому, что весьма многие из них изобличают молодой, свежий талант, не лишенный чувства наблюдательности». В чем же дело? А в том, что, по Скабичевскому, Чехов стоит на краю пропасти, и его может поглотить один из «литературных омутов», поглотивших уже не мало жертв. «Таланты, которые при иных условиях могли бы расцвесть пышным цветом» — попав в эти омута — «губоятся, обращаются в смехотворных клоунов для потехи праздной толпы. Сперва газетным работникам сопутствует успех, но переутомление берет свое, и газетный писатель начинает повторяться, теряет популярность, — и дело кончается тем, что он обращается в выжатый лимон; и, подобно выжатому лимону, ему приходится в полном забвении умирать где-нибудь

под забором, считая себя счастливым, если товарищи пристроят его на счет литературного фонда в одну из городских больниц...»

Дело простой справедливости установить, что в статье Скабичевского есть предупреждение против литературных омутов, которые и Чехов рисовал совсем не в более розовых красках, но нет никакого предсказания о личной судьбе Чехова. Но несомненна крайняя резкость его отзыва, едва ли смягчаемая признанием, что «в качестве клоуна он держит себя очень скромно и умно в том отношении, что не впадает ни в какие скабрезности... чужд и пасквильного элемента — не льстит, одним словом, никаким низменным инстинктам толпы...»

Правда, и сам Чехов не менее отрицательно отзывался о начале своей литературной работы. Бунин занес в свою записную книжку чеховское восклицание: «Ах, с какой чепухи я начал, Боже, с какой чепухи!» Или вот что писал Чехов Л. А. Авиловой, переписывавшей для отдельного издания рукописные копии его ранних произведений: «О, ужас, что это за дребедень! Читаю и припоминаю ту скуку, с какой писалось все это во времена оны. Перелистываю и читаю в них с отвращением жизнь мою...»

Есть, однако, вещи, которые можно сказать о самом себе, но никто не имеет права сказать их о другом.

*
**

Нам, знающим Чехова выпрямившимся во весь свой рост, теперь даже плохо верится собственным глазам, когда читаешь такое «Об'явление зубного врача Гвалтера». «Вставляю зубья, продаю социненный мною толченый мел для чиски зубьев и имею самую большую вывески. Вижиты делаю с белым галстуком». Увы, есть такие нотки даже в очаровательной «Степи», в грустном и серьезном «Перекати Поле», в «Тине». Даже в «Иванове» известный монолог содержит слова: «не женитесь вы ни на психопатках, ни на еврейках, ни на синих чулках!...» Сближение обидное. Даже в прекрасном рассказе «Скрипка Ротшильда» Чехов не чуждается тех же приемов имитации еврейского акцента.

Для одних этого, пожалуй, будет достаточно, чтобы наделить Чехова кличкой антисемита. Но это будет грубою ошибкой. Чего в Чехове ранней поры отрицать нельзя — это бессознательной имитации «бытовой» квази-антисемитизма. Но

подлинный антисемитизм предполагает обдуманную постановку вопроса: является ли еврейская национальная стихия по внутренней природе своей в р а г о м моих идеалов, и требует ли она ответной враждебности с моей стороны? Лишь на почве положительного ответа на два этих вопроса может вырости идейный, политический и морально-правовой антисемитизм. А Чехов той поры подобными вопросами даже и не задавался. Их ребром поставила перед Чеховым жизнь лишь много позднее, когда по всей Европе стало греметь дело Дрейфуса, резко деля повсюду общественность на два неудержимо и непримиримо враждебных лагеря. И тогда Чехов, не колеблясь, постиг по какой из сторон баррикады его место. Жертвуя многими личными привязанностями, разрывая самые, казалось бы, прочные литературные, общественные и персонально-дружеские связи, он волнуется, оспаривает, обличает, язвит и клеймит юдофобию иностранного антидрейфусизма, как его русских копий и вариантов. О каком же антисемитизме может тут быть речь?

С другой стороны можно было бы сказать: разве всего, что описывает Чехов нет в действительности, вплоть до режущего русское ухо еврейского акцента? А если все это есть, то почему же можно запретить перенести все это и в литературу, почему нельзя направить на них того холодного и безучастно-точного фотографического аппарата? Какая от этого еврейству беда, если отрешиться от чрезмерной обидчивости?

Но вопрос поставлен неправильно. Искусство — не фотография. Чтобы сравниться в бесстрастии с фотографическим аппаратом, художник-беллетрист должен «заморозить свое сердце», оравнодушиться к тому, что пред ним происходит. Ведь и человека, выкинутого из окна четвертого этажа, можно рассматривать с точки зрения нелепо разметавшихся фалд и бесполезного дрыгания ног. Пусть даже еврейству нет большой беды от грубоватого окарикатуривания оборотов речи Гвалтера. Но велика наша собственная беда с порчей нашего цельного и гармоничного образа Чехова, как натуры в высшей степени тонкой, чуткой и внутренне деликатной.

Чехов из «Стрекозы» и «Петербугской Газеты» попал в веселый вертеп «Нового Времени». Проделать это странствие так, чтобы спасти белоснежную чистоту риз и не замарать их ни единым пятнышком невозможно и ангелу. Самое большее, чего можем мы требовать от человека — это желания смыть эти пятна без остатка. В недостатке этого желания, и самого страстного, мы имеем право заподозрить кого угодно — но не Чехова.

Чехов продолжал, по его выражению, «рукопожиматься» с Бурениным, даже после вызвавших всеобщее возмущение клеветнических нападок его на поэта Надсона. Для него движение протеста учащейся молодежи против клеветнической травли газетой курсисток было только «галдеж». Он протестовал против «шипенья» по поводу его сотрудничества в ней. Сравнивая «Русские Ведомости» и «Новое Время», он писал, что первая газета «битком набитая, сухая, стерегущая свой несуществующий тон и признающая в людях прежде всего форму и вывеску»; и сам упрямо писал Суворину: «Мои доброжелатели-критики радуются, что я ушел из «Нового Времени». Надо бы, поэтому, пока радость еще не охладилась, возможно скорее напечатать что-нибудь в «Нов. Времени»...»

И может быть, самые ужасные строки мы найдем в письме к Суворину 1-го Августа 1892 года по поводу «холерных бунтов»: «Говорят о каких то прокламациях и пр. Говорят, что литератор А. приговорен к 15-летней каторге. Если наши социалисты в самом деле будут эксплоатировать для своих целей холеру, то я стану их презирать». Читатель нынешнего поколения едва ли помнит, что этот А. — известный в свое время автор книги «В волостных писарях» — писатель-народник Астырев. Он, действительно, выпустил в 1892 году «Письмо к голодающим крестьянам». Но слова Чехова вызваны легковерным принятием ужасающей клеветы, аналогичной той, благодаря которой был осужден в свое время на каторгу Чернышевский.

Чехов, доходя до пределов политической наивности, доверяя чисто «геббельсовской» пропаганде «Нового Времени», забывал, что первой жертвой холерных бунтов становилась та же интеллигенция, которая якобы к ним призывала!

Впрочем, Чехов и сам знал о своей политической наивности и со своей обычной прямотой писал о себе в 1888 году: «Политического, религиозного и философского мировоззрения у меня еще нет: я меняю его ежемесячно». Он и год спустя чувствует: «мне нужно учиться, учить все с самого начала, ибо я, как литератор, круглый невежда...»

Он чувствует, что ему надо вернуть себе духовную свободу, утраченную в лейкинских литературных пустырях и литературном «доме свиданий» «Нового Времени».

Он — натура, медленно и скрытно от чужих глаз перерабатывающая все в себе. Вечно свершаются в нем какие то сокровенные молекулярные изменения, пока их не накопится довольно для целой духовной революции. И она — тем круче

и решительнее, чем дольше длилось подчинение фетишам, вера в которые все раскачивалась.

И вот, наступил момент, когда он почувствовал:

«По убеждениям своим я стою за 7375 верст от Жителя и Ко. Как публицисты они мне просто жалки... Буренин — злое желтое от зависти животное. Новое Время — просто отвратительно. Это не газета, а зверинец, это стая голодных, кусающих друг друга за хвост шакалов, это черт знает, что такое!»

С этого началась интеллектуальная эмансипация Чехова, пора его великого и драматического духовного выпрямления.

Виктор Чернов.

ТЕАТР ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ

Нет такой области искусства, которая осталась бы незатронутой дыханием войны. Но нет другого вида его, который бы пережил войну в такой непосредственной близости, как это выпало на долю русского театра.

Чтобы почувствовать театр и роль, которую он сыграл в нынешнюю войну, надо хотя бы бегло обозреть, чем был театр до трагического дня 22-го июня 1941 года, с чем он пришел к людям в тяжкие годы испытаний.

Судьба русского театра эпохи революции во многом отлична от судьбы других видов искусства. Театр не пережил того перерыва, той исторической паузы, длившейся около трех лет, которая отделяет конец дореволюционной литературы и начало советского ее периода. Вот характерная иллюстрация: «Зима 1919-1920 годов в Петрограде. На пустынной Театральной площади ветер метет сухую, колючую позёмку, засыпая позеленевший памятник Глинке. Два здания стоят по обе стороны памятника. Одно — с темными глазницами окон — Консерватория, другое, ярко освещенное — Мариинский театр. В тот вечер (рассказывает Д. Славентантор в статье, посвященной артисту Н. Черкасову), о котором идет речь, здесь шла 'Жар Птица' И. Стравинского.

Это сияющее здание Мариинского театра в глухоте зимней ночи революционного Петербурга совсем не было исключением. Его ярко освещенные окна переглядывались с бесчисленным количеством нарядно или бедно освещенных театров Москвы и множества городов провинции. Работали театры или группы артистов даже в тех местах, где шла в то время ожесточенная гражданская война.

Как не вспомнить описания в рассказе Всеволода Иванова «Курганы» любительских постановок Шекспира в партизанских отрядах Сибири? Незабываемо передано в книжке воспоминаний артистки Татьяны Игумновой «Маркизетовый поход», как небольшая группа столичной артистической молодежи раз'езжала по фронтам гражданской войны, в самых фантастических условиях ставя Чехова и других авторов.

К моменту исторического перелома в жизни России театр имел в своем составе выдающуюся режиссерскую и актерскую элиту. Живы были еще не только Ермолова, 50-летний сценический юбилей которой Малый театр отпраздновал в 1920 году, живы еще и сегодня Мичурина-Самойлова, Корчагина-Александровская, П. Садовский. В расцвете творческих сил были тогда Станиславский и Немирович-Данченко, вся труппа «стариков» Московского Художественного Театра, труппы Александринского, Большого театра и т. д. Вокруг этих могучих театральных дубов незадолго до революции возникла и развивалась талантливая и ищущая артистическая молодежь, работавшая в Студиях МХТ, становился на ноги Камерный театр с Таировым и Алисой Коонен, театр имени Веры Комиссаржевской, Мейерхольда, Вахтангова.

Артистическая молодежь, пришедшая в театры с началом революции, как Б. Щукин, И. Ильинский, Н. Хмелев. Н. Охлопков, Астангов и др. — учились у больших мастеров русской сцены. Скромнее в смысле эстетических ценностей, но едва-ли не обширнее был и вклад в театр революции актеров русской провинции, пришедших в столицы. Захватывала театральную молодежь характеристика провинциального дореволюционного актера в романе Леонида Леонова «Дорога на океан»: в разговоре с молоденькой советской артисткой Лизой старый, полуспившийся актер Пахомов говорит ей: «Мы тащили грузную колымагу с Шекспиром, Островским и другими святыми отцами мирового искусства... нужно было ежевечерне взрываться самому, чтобы потрясти эту нечеловеческую пустыню. Мы пахали эту страну наравне с сельскими учителями и безвестными агитаторами за правду». И не эти ли провинциальные актеры, которых в детстве с галерки Каширского театра видел Щукин, помогли ему по новому раскрыть образ старого провинциального актера в водевиле Д. Ленского «Лев Гурыч Синичкин», хотя казалось, что после Варламова было уже невозможно сказать о нем ничего нового? А Щукин с'умел как-то по-своему передать судьбу нищего странствующего актера с его страстью к сцене и с его нутряным демократизмом.

Молодая театральная поросль в первые годы революции росла и училась на дореволюционном русском и европейском репертуаре; «советского» репертуара в начале революции быть не могло. Первая пьеса, которой МХАТ открыл серию советских постановок, была «Пугачевщина» К. Тренева, за нею последовали «Бронепоезд» Вс. Иванова, «Дни Турбиных» М.

Булгакова. Еще позже возникла советская опера. Богданов-Березовский в книге «Советская опера» (М.-Л., 1940 г.) указывает, что первая советская опера на сюжет Кронштадтского восстания в музыкальном оформлении В. Дешевова была поставлена в мае 1930 года и провалилась. Первой, приобретшей популярность, советской оперой был «Тихий Дон» И. Дзержинского по роману Шолохова. Опера была поставлена в 1935 году. Но и после того, как советская пьеса и опера стали органической частью театрального репертуара, до самого начала нынешней войны не прекращались жалобы театральной критики на слабость советской тематики на сцене.

Отсутствие хороших советских пьес вынуждало театр жить в основном дореволюционным репертуаром, часто в искаженном виде. Лозунг «революционного освоения классического наследства» породил немало скверных, а порою и страшных, анекдотов. Приведу лишь один пример, заимствуя его из книги театрального критика Ю. Юзовского «Пьесы и спектакли» (Москва, 1935 г.).

Театр Ленсовета поставил «Бесприданницу» Островского, при чем оказалось, что молодой революционный театр «показал людей и события в пьесе 'Бесприданница' более консервативно, чем сам Островский». Артистический коллектив не только обелил Паратова и критически отнесся к Карандашеву, но он не пощадил и Ларисы. «Сотни раз — едко замечает Юзовский — ставилась 'Бесприданница' и никто не толковал так Ларису, как это с поразительной новаторской лихостью проделал театр Ленсовета. Согласно традиции, Ларису всегда играли героиней. Тем хуже для традиций. Согнать Ларису с героического пьедестала... К чорту традиции!» Когда Юзовский заинтересовался, как дошел коллектив театра до такого «пересмотра» пьесы, кто толкнул его на мысль утвердить на героическом пьедестале никчемного Паратова — «товарищи ответили... Маркс». Приступив к работе над пьесой, коллектив не доверился «идеалисту» Островскому, а начал изучать «социально-экономическое положение дел в России в 70-х и 80-х годах прошлого века». При этом он обнаружил, что «на смену феодализму смело шла буржуазия, что бурно развивался капитализм, и что, следственно, промышленники, фабриканты и коммерсанты и были прогрессивными элементами общества», а вовсе не скромные, прибитые жизнью Карандашевы. Отсюда и «все качества» новой постановки бедной «Бесприданницы».

В критическое для театра время, когда было еще мало пьес на современные темы и советская тематика вследствие

художественной слабости не пользовалась успехом, писатели театра обратились к переработке для сцены произведений русской литературы. Почин принадлежит покойному Е. Замятину, написавшему пьесу «Блоха» по рассказу Лескова «Левша». По тому же пути пошел и юный композитор Д. Шостакович. Его первая опера «Нос» (по Гоголю) встретила, правда, недружелюбную настороженность критиков, один из которых назвал оперу «ручной бомбой анархиста». Но Шостакович не посчитался с суровыми оценками и продолжал свои поиски на прежнем пути. Так была создана его вторая опера «Леди Макбет Мценского уезда» или «Катерина Измайлова» (по Лескову). Здесь Шостаковича ждала новая неприятность: вещь была поставлена в 1936 году, когда уже полным ходом шла ревизия недавних официальных представлений о русском прошлом. «Правда» сурово писала (28 января 1936 г.), что опера Шостаковича «искажает историческую перспективу, дает неверное представление о свойствах русского народа, отводит большое место болезненному, патологическому воспеванию зверских сцен насилия, драк, побоев».

Путь, на который вступили Замятин и Шостакович, дал театру много новых, порою очень интересных постановок (напомню «Анну Каренину» МХАТ, балет «Тарас Бульбу» в Ленинградском театре оперы и балета, шедший в последнюю довоенную зиму). Поиски в этом направлении не прекратились, а наоборот расширились и во время войны («Маскарад» Лермонтова, опера «Война и мир» и др.). В страшную Ленинградскую зиму 1941-1942 года композитор Б. Асафьев написал оперу «Граф Нулин» (по Пушкину).

Чисто количественно репертуар на советские темы богат. Но репертуар этот обладает одной особенностью, сильно снижающей его ценность: советские пьесы быстро стареют. Происходит это в основном оттого, что оне мало-художественны. Эта художественная слабость загримирована их актуальностью. Но развитие молодого общества всегда протекает бурно и тема актуальная сегодня — завтра уже никого не интересует. Дольше всех продержался «Бронепоезд» В. Иванова в МХАТ, где Качалов и Хмелев создали два действительно интересных образа — крестьянина-партизана Вершинина и председателя революционного комитета Пеклеванова. Множество других, как «Виринея» Сейфуллиной, «Барсуки» Леонова, «Далекое» Афиногенова (эта последняя пьеса была возобновлена во время войны), в которых центральные роли играл Щукин, в последние довоенные годы сошли со сцены. Ничего не слышно было

и о «Страхе» Афиногенова, в котором Корчагина-Александровская играла старую большевичку Клару. Недолго продержалась и «Наталия Тарпова», несмотря на игру Алисы Коонен.

Из довоенного репертуара наибольшим успехом пользовалась пьеса Н. Погодина «Человек с ружьем», в которой покойный Щукин сыграл роль Ленина, «Земля» по роману Н. Вирты, где главную роль «кулака» Сторожева играл Н. Хмелев, и «Кремлевские куранты» Н. Погодина, где тот же Хмелев играл старого инженера Забелина. Шумный но недолговечный успех выпал на долю «Павла Грекова» Войтехова и Ленча, в которой главную роль играл Астангов. Пьесы, наводнившие театры в период страшных чисток 1936-1938 годов, с «вредителями», накануне войны уже никого не интересовали. В статье «В поисках нового героя» И. Березарк в «Звезде» за 1939 год писал: «Вредитель ходил по сцене, нацепив огромные, нелепые очки. Он носил зловещую маску мелодраматического злодея. Зритель заранее знал, что этот человек совершит злодеяние, убийство, поджог. Но зритель, горячо любящий советскую родину, следил за его поступками без волнения, даже, пожалуй, с досадой, со скукой. Он знал, что злодеяние неминуемо будет предотвращено».

Так случилось, что при количественно богатом репертуаре советских пьес, лейт-мотив театральной критики вплоть до самой войны звучал одной наростающей жалобой на отсутствие советской тематики в театре. Наиболее оживленный отклик встречали постановки дореволюционного и иностранного репертуара.

*
**

Почти с первого же дня войны жизнь театра как бы раздвоилась между фронтом и тылом. Наиболее значительные таетры столиц были эвакуированы вглубь страны. Ленинградский академический театр оперы и балета очутился в Молотове, где открыл сезон «Князем Игорем» и «Чародейкой». Билеты брались с боя. Ленинградский Малый оперный попал в Чкалов, Ленинградский им. Пушкина (б. Александринский) переехал в Новосибирск. Московский Большой, эвакуированный в Куйбышев, в первую военную зиму возобновил «Ивана Сусанина». Артист Михайлов, исполнявший роль Сусанина, после возвращения театра в Москву зимой 1942 года, вспомнил на страницах «Огонька», что когда в далеком Куйбышеве он пел: «Постой, сперва поведай, что слышно про Москву?» — слова эти воспринимались по-особенному, «вызывая горячий отклик слу-

шателей». МХАТ провел первый военный сезон в Саратове и в Свердловске. Когда в октябре 1942 года театр вернулся в Москву с двумя новыми постановками «Кремлевские куранты» и «Фронт» Корнейчука, в первый вечер дома — «тысячи глаз любовно устремились на мягкие складки занавеса с символической чайкой». Московский Малый вернулся через 10 месяцев эвакуации. За время жизни в Челябинске он поставил 14 старых спектаклей и 3 премьеры: «Партизаны в степях Украины» Корнейчука, «Отечественную войну» по роману Л. Толстого и «Осаду мельницы» по Золя.

Почти одновременно с эвакуацией началось обслуживание фронта, гарнизонов и госпиталей. В первые недели войны обслуживание ограничивалось концертами разнообразных хоровых коллективов, как Хор им. Пятницкого, Ансамбль под руководством А. В. Александрова. Выезжали и артистки, исполнявшие русские песни, как Лидия Русланова. Позже Русланова рассказала о своих впечатлениях: «Где только не выступают фронтовые артисты! — В хлевах, в банях, в избах, в лесах, в окопах, в блиндажах».

Среди эвакуированных в тыл столичных театров первым организовал артистические бригады для посылки на фронт Малый театр. Во главе первой бригады поехали Садовский и Гоголева. Вот как в «Огоньке» (№ 26, 1942 г.) Гоголева описывает свои впечатления: «Незабываемо то, что я видела и перечувствовала во время поездки на фронт. Почти месяц продолжалась поездка. Были мы и под Можайском, и под Малоярославцем, и под Калугой, между Сухиничами и Козельском». Выступления происходили на импровизированных площадках, а иногда прямо в лесу. Автобус, в котором ехали артисты, часто увязал в сугробах снега и артисты сами его вытаскивали. Поразили Гоголеву скромность бойцов, их внутренняя большая любовь к искусству. Она признается, что никогда еще не испытывала такого творческого под'ема, как здесь на фронте.

Очень интересны статьи Н. Дорохина в «Литературе и Искусстве», описывающие обстановку, в которой бригада артистов МХАТ давала спектакли на фронте. Н. Дорохин вспоминает, как ворчали артисты МХАТ, приехав в 1937 году на гастроли в Париж, узнав, что в театре Елисейских полей не было вертящейся сцены, к которой артисты привыкли у себя дома. После этого маленького экскурса в прошлое, Дорохин говорит: «Теперь представьте себе землянку, один угол которой отделяет плащ-палатка — место, где актеры ожидают вы-

хода. Кусок земляного пола покрыт соломой и поверх плащ-палаткой. На такой 'сцене' табуретка и снарядный ящик. Вот несложная обстановка салона княгини Бетси, где Анна Каренина встречается с Вронским. Эта же обстановка—квартира Прозоровых, где происходит об'яснение Вершинина с Машей из 'Трех Сестер'. В землянке тишина, и только отдаленная артиллерийская канонада заставляет дрожать стекло в единственном окошке». И несмотря на это — «никто из актеров не вспоминает сцену в Проезде Художественного театра, где так удобно и ничто не мешает». В другой статье тот же Дорохин, переживая творческий под'ем участников спектакля, поставленного перед неискушенными, но глубоко чувствующими правду искусства зрителями, вспоминает слова Немировича-Данченко, утверждавшего, что не здание, не аксессуары игры создают настоящий театр, а нечто совсем иное: «А вот когда посреди голой площади будет действовать один актер, окруженный кольцом зрителей, — это будет подлинный театр. Ибо главное на театре — актер. И там, где он сталкивается со зрителем, — там начинается театр» («Л. и И.», 24 окт. 1942 г.)

В «Советском Искусстве» (от 5-го декабря 1944 года) Георгий Березко в статье «С фронтовым театром» подробно остановился на теме, затронутой Н. Дорохиным — о воздействии зрителя на актера. На фронт Березко поехал с коллективом 1-го фронтового театра ВТО (Всероссийское Театральное Общество): «Спектакль на фронте — это спектакль особого характера не только в силу исключительных технических условий... Никогда еще работникам театра не доводилось быть свидетелями или, точнее, соучастниками столь интенсивного, столь бурного переживания искусства, какое случалось под аккомпанимент минометного налета, либо близкой артиллерийской канонады. Нигде, ни в одном театральном зале я не видал таких восхищенных и радующихся глаз, не слышал таких обвалов, громов, раскатов смеха». Театр отправился на Белорусский фронт с двумя старыми пьесами — с «Женитьбой Белугина» и «Фролом Скобеевым» Аверкиева. Автора поразила реакция слушателей, их сочувствие «простому, привлекательному, но одурачиваемому герою старой комедии»: Не менее взволнованы, чем зрители, были сами актеры: «С ними — пишет Березко — происходили удивительные превращения. Только что, выгружаясь из автобуса, это были просто утомленные люди в измятых ватниках военного образца. Они играли вчера, почти не спали ночью, отсюда они поедут играть дальше. Но

особое творческое волнение заставляло забывать их обо всех трудностях».

Театральный критик Ю. Юзовский с бригадой Малого театра был на фронте летом прошлого года, когда Красная Армия уже находилась в Польше. Бригада приехала с пьесой Островского «Без вины виноватые». «Драма о женщине, которая ищет своего сына, а сын находится рядом, — вероятно самая маленькая из драм, зрителем которых были эти люди» — замечает Юзовский. И тем не менее эта драма глубоко взволновала зрителей, многие плакали. Юзовский ссылается на разговор со старым солдатом с седой головой: «Он сидел не шелохнувшись все четыре акта, прижимая к груди автомат. Он не имел представления об антрактах и не отводил глаз от сцены. Когда его спросили, понравился-ли ему спектакль, он сказал: 'Слеза очищает'». И вот на основании своих наблюдений Юзовский приходит к выводу, что на фронте нужны вовсе не только «веселенькие водевили развлечения ради... Но нужен Островский и Шекспир, русские и мировые классики, нужно дать людям матерьял для чувствования и мышления». От Юзовского, как и от других писателей, побывавших на фронте с артистическими бригадами, не ускользнула особая приподнятость актеров. Юзовский думает, что во время путешествия в автобусе по фронтовым дорогам в актерах проснулась «древняя кровь комедьянтов, которые в тогдашнем студебекере — крытом фургоне — раз'езжали по городам и весям, расстилали цветной воврик и всегда оказывались 'на посту'».

Думается, что подлинная причина взволнованности артистов на фронте лежит глубже. Сейчас, на втором, победоносном этапе войны, начинают забываться думы и чувства, владевшие зрителями и актерами в первый период, которые так ярко запечатлены в мимоходом оброненных замечаниях многих артистов и в художественной литературе. Тяжелые испытания, обрушившиеся на людей, вызвали в них прилив искренней привязанности к родной стране и ее народу. Это в одинаковой степени характерно для старого поколения артистов, как Корчагина-Александровская, как Мичурина-Самойлова, не пожелавшая уехать из угрожаемого Ленинграда, так и для молодых артистов. Чисто внешне обстановка фронтовых спектаклей напоминала первые годы революции, но чувства, теперь владевшие всеми, были иные, Года два тому назад артист Скоробогатов, ездивший во главе бригады Ленинградского театра им. Пушкина, так резюмировал свои впечатления от

встречи с бойцами: «Простые, и родные, и дороже их нет мне на свете людей».

За годы войны до конца 1944 года на фронтах побывало свыше 2550 артистических бригад, в которых приняли участие 32 тысячи исполнителей разных жанров, начиная от песни и кончая спектаклями.

Репертуар фронтовых артистических бригад — пестрый: песни и стихи советских поэтов М. Исаковского. А. Твардовского, К. Симонова, Лебедева-Кумача но едва-ли не больше: русские народные песни и песни различных национальных республик Союза; театры Украины, Белоруссии, Грузии, Татарии и далекого Таджикистана также посылали на фронт свои бригады.

Из советских пьес успехом пользовались «Чапаев» по Фурманову, «Парень из нашего города» и «Русские люди» К. Симонова, «Фронт» Корнейчука. Но преобладали во фронтовом репертуаре пьесы дореволюционные. Пальма первенства принадлежит Островскому: он совершил в годы войны подлинное триумфальное шествие не только по дорогам фронта, но и по всем городам Союза. Успех дореволюционного репертуара вовсе не ограничивается количеством пьес. Немало и советских пьес пользовались успехом у фронтового зрителя, но ни одна из них за три с половиной года войны не исторгла такого волнения, таких «очищающих слез», как «Без вины виноватые» Островского.

Эта работа в таких необычных условиях содействовала творческому под'ему среди работников сцены. Об этом свидетельствуют многочисленные совещания драматургов совместно с режиссерами и работниками театра. Читая речь участников этих совещаний в скупом газетном изложении репортеров, нельзя не почувствовать настоящего волнения многих из них. Недаром такой популярностью стала пользоваться фраза режиссера Охлопкова: «Драматургия должна иметь крылья»: соприкосновение с новым зрителем на фронте и в отдаленном тылу подействовало возбуждающе. Центральная тема большинства этих совещаний и конференций, увы, не нова: это все те же жалобы работников театра на отсутствие актуальных, а главное, волнующих советских пьес. За 1942 год было поставлено больше ста новых пьес. Но из них только очень немногим удалось удержаться. Большинство их, как «Рузовский лес» К. Финна или «Дом на холме» В. Каверина едва протянули один сезон.

Хотя не новы были темы драматургических совещаний, в

них по-новому зазвучала потребность бороться за правду и искренность в искусстве, которая так отчетливо сказалась в выступлениях известного режиссера И. Судакова, критика Ю. Юзовского, резко ополчившегося против «результативных» пьес, в которых зритель уж по первой сцене знает, чем все кончится.

Еще нагляднее творческое оживление в театре чувствуешь на одном новом факте: среди пьес, поставленных во время войны, две пьесы — «Фронт» А. Корнейчука и «Нашествие» Л. Леонова — вызвали не только оживленную дискуссию, но и разные их интерпретации. И в обоих случаях речь шла вовсе не об эпизодических фигурах, не о деталях, а о главных героях пьес.

Пьеса «Фронт» была напечатана в «Правде» в конце августа 1942 г., когда немцы стояли уже под Сталинградом и продвигались на Кавказ. Самый факт опубликования ее в «Правде» свидетельствовал достаточно красноречиво о том, какое значение придавали этой пьесе в кругах компартии и правительства. Пьеса сейчас же была принята к постановке Малым театром, МХАТ, театром им. Вахтангова, Ленинградским театром им. Пушкина, Киевским драматическим (эвакуированном в Семипалатинск), Ленинградским Большим Драматическим, Новосибирским, Театром Революции и бесчисленным количеством менее значительных провинциальных театров. Постановкам предшествовали совещания режиссеров в Москве и Ленинграде. Тем более интересны различия в самых постановках, о которых рассказал на страницах «Литературы и Искусства» И. Крути.

Драматический узел пьесы в конфликте между старым руководством Красной Армии, пришедшем из гражданской войны и воплощенном в пьесе в командующем фронтом Иване Горлове и молодым генералом Огневым, произведенным в генералы только в ходе войны. Иван Горлов «ставит» на личный героизм военных руководителей, Огнев — пламенный патриот — требует применения всех средств современной войны, тщательного изучения тактики и стратегии. Оба не выносят друг друга. Конфликт разрубает приехавший на фронт брат Ивана Горлова Мирон, руководитель авиационного завода. Ознакомившись с обстановкой на фронте, он жестоко критикует устарелые методы брата. Критика Мирона беспощадна и производит сильное впечатление. Под конец это впечатление ослабевает, потому что выясняется, что едучи на фронт, Мирон был в Москве, где встретился со Сталиным. Сталин в курсе

дел на фронте и недоволен Иваном Горловым. Пьеса кончается смещением Ивана и назначением на его место Огнева.

Режиссер И. Судаков, ставивший «Фронт» в Малом театре, главное действующее лицо увидал не в Иване, и не в Огневе, и в Мироне Горлове: «С первой же размолвки с братом по вопросу о значении числа и качества в современной войне — рассказывает упомянутый уже критик И. Крути — мы чувствуем, что Мирон — большой человек... Он вскоре об'явит войну брату, и окажется, что он имеет на это все права. Этот скромный человек большой русской души везде хозяин, где бы он ни появлялся на советской земле. Ибо он полон тревоги за судьбу родины».

Режиссер МХАТ Н. Хмелев — героем пьесы сделал молодого генерала Огнева: «В полете его военной мысли чувствуется революционный размах и природная русская талантливость. Это особый характер. Он скромен, но не сдержан. Дисциплинированный солдат, — он подчас дерзит... Он отстаивает перед Горловым свою правду — правду своего времени — со сдержанной и поэтому тем более горячей страстностью». А Мирон в трактовке Художественного театра вышел никакой не герой: «Это человек без сердца: он умен, но равнодушен», весь «рассудочный».

Такое поразительное различие в трактовке главных действующих лиц одной и той же пьесы произошло оттого, что Художественный театр заметил ту, с виду неказистую «сумочку переметную», которая в действительности лишила Мирона драматической души: ведь Мирон в конце сам рассказывает, что до поездки на фронт, был в Москве, виделся здесь со Сталиным и от него узнал, что Сталин зорко следит за его братом и недоволен им. Мирон с самого начала знает о нависшей над Иваном отставке. Вот почему Мирон в интерпретации Художественного театра и не вышел «хозяином».

Аналогичные трудности встали перед артистами при постановке «Нашествия» Леонова. Пьеса появилась в первый период войны, когда под влиянием неудач Красной Армии в стране росло чувство, что не все останется неизменным в ней после войны. Власть со своей стороны готова была пойти на кой какие уступки в области идеологии. Так случилось, что Сталинскую премию получил Леонов за пьесу, в которой героем оказывается «несогласный гражданин» Федор Таланов, почти накануне занятия родного города немцами возвращающийся домой из концлагеря. Колючий и шершавый человек, он тревожит отца — всеми уважаемого в городе врача, сестру

Ольгу — невесту секретаря райкома Колесникова; даже старая няня Талановых, Демидьевна, и та не скрывает своего неодобрения. Застав у отца Колесникова и случайно узнав, что тот останется в городе после оккупации для подпольной работы, Федор предлагает Колесникову свои услуги, но тот отказывается. И вот оказывается, что этот Федор во время оккупации ведет партизанскую работу на свой риск и страх. Когда его арестовывают немцы, убежденные, что это и есть коммунист Колесников, Федор выдает себя за Колесникова и его казнят.

Критики никак не могли примириться с тем, что Федор — главный герой и стали подсказывать театрам, что главный герой в пьесе — старик Таланов и его жена: ведь допрос Федора немцами происходит в их квартире и они подавили в себе естественные чувства родителей и не проронили ни слова, когда их Федор заявил, что он — Колесников. Большинство театров учли пожелания критики и так и поставили спектакль. Тем поразительнее было, что несмотря на то, что роль старика Таланова передана была крупнейшим советским артистам — в Ленинграде в текущем сезоне его играл Скоробогатов — Федор воспринимается зрителем как главный герой. А в одной из первых постановок пьесы силами Молотовского драматического театра драматический узел завязан в двух «несогласных гражданах»: в Федоре, нашедшем путь к советской родине и в Фаюнине — вернувшемся на родину в обозе неприятельской армии.

Для советских пьес и во время войны остается, однако, характерной их довоенная особенность: оне быстро стареют. Постановки нашумевшего в прошлом году «Фронта» в нынешнем сезоне очень редки. Фронтовые театры увлечены сейчас новой пьесой «Офицер флота» А. Крона (см. содержание пьесы в Обзоре советских журналов в 9-й книжке «Нов. Журнала»). Из пьес, созданных во время войны, держатся «Нашествие» Леонова, «Русские люди» и «Жди меня» Симонова.

В свете этих фактов особое значение приобретает поход против работников театра со стороны официальных руководителей советским искусством. Начало этого похода связано со вторым — победоносным — периодом войны. Пока дела на фронте шли плохо, руководители эти рады были любой постановке. Но по мере того, как росли успехи Красной Армии, перевес дореволюционных пьес в современном репертуаре и советские пьесы на тему о патриотизме, часто не подымающемся над уровнем традиционного русского патриотизма, —

начали смущать руководителей РАБИС'а (Союз работников искусства).

На состоявшемся в декабре минувшего года пленуме союза, председатель по делам искусства при Совнаркоме СССР Храпченко многозначительно отметил «признаки самоуспокоенности и самодовольства» среди работников театра. «Некоторые деятели театрального искусства забывают о том, что самая важная часть деятельности театра — это создание спектакля на современные темы». Эти же мысли, еще более энергично развиваются в передовой статье «Советского искусства» (от 19 декабря 1944 г.). Автору статьи известны встречные претензии работников искусства, что вина за отсутствие спектаклей на современные темы лежит не на них, а на советских драматургах, которые пишут «плохие, серые произведения»; но из плохих пьес при тесной работе драматургов с режиссерами и актерами можно сделать хороший спектакль! В качестве примера автор приводит спектакль МХАТ «Глубокая разведка» и «Офицер флота» (обе пьесы А. Крона). «Лучшие советские пьесы, написанные во время войны, посвящены первому ее периоду, они показывают страдания наших людей под игом фашизма. А тема победы, наступления, разгрома фашизма еще почти не нашла своего воплощения».

В этих рассуждениях заслуживает внимание одно замечание: за время войны, эвакуации театров, частых гастролей на фронте и в тылу, была ослаблена связь между драматургами и театрами. Но ослаблена была не только эта связь, что гораздо важнее — была ослаблена опека начальства над театрами. Именно этому ослаблению «художественно - политической» опеки обязаны бойцы Красной Армии и люди тыла, что за эти годы они повидали в театре немало спектаклей, сыгранных с радостным творческим под'емом.

В. Александрова.,

ПО СОВЕТСКИМ ЖУРНАЛАМ

Что нас больше всего интересует в современной советской литературе и что прежде всего мы в ней ищем? Думаю, что все ответят на этот вопрос одинаково. Больше всего и прежде всего мы хотим узнать по ней, как и чем живет наша родина. Хотим почувствовать ее жизнь, дышать ее воздухом, видеть людей, которые живут на ней, знать их думы и их надежды, как переживаются ими военные испытания, какие перемены уже произошли, каких перемен ждут после войны... Потому что после т а к о й войны перемен ждут всюду, во всем мире. — «Мы не хотим и не будем жить так, как жили до войны!» — это ощущение сейчас обще всем. Почему исключением должна быть наша страна и почему этому ощущению не подвластны наши соотечественники, испившие полную и даже сверх-полную чашу военных испытаний?...

Но может ли нам дать такой материал современная советская литература? Увы, ответ на этот вопрос должен быть только отрицательный. Он подсказывается сам собой — еще до практического ознакомления с текущей литературой. Советская художественная литература никогда не была верным, тем более полным отражением советской действительности. Это известно всем, кто хотя бы самым поверхностным образом знаком с общественной ролью советской литературы. Роль советской литературы чисто служебная. В Советском Союзе не существует свободного литературного творчества — литература решительно во всех ее проявлениях, от передовиц «Правды» и «Известий» и до лирических сборников, находится на службе у государства, монополизировавшего печатное слово. В этой теоретической истине еще больше убеждаешься, когда знакомишься с текущей литературой на практике — даже в той области, которая искони была самой живой и самой общественной в жизни России: в толстых журналах.

Пусть читатель на мгновение представит себе невозможное: современная русская журналистика получила возможность со всей свободой отразить многообразие русской жизни! Какое бесконечное разнообразие сюжетов и тем, людей и характеров,

сколько областей жизни вдруг открылось бы перед читателем — сюжетов, тем и областей, которые до сих пор были либо неосвещены, либо вовсе скрыты. Сколько нового и интересного могли бы рассказать своим читателям современные Глеб Успенский или Лесков, если бы у них были те возможности наблюдения, описания и опубликования, которые существовали... страшно и стыдно сказать 60-70 лет тому назад! Представьте себе на мгновение, что вдруг воскресли «Отечественные Записки», «Вестник Европы», «Русская Мысль», «Русские Ведомости», «Русское Богатство», «Современный Мир», «Заветы» — какая лавина хлынула бы вдруг с их страниц на нас! Что мы знаем сейчас о внутренней жизни колхозной деревни*) и о пережитом крестьянским миром за последние два десятилетия, об истинных настроениях городских рабочих, о миллионах, высланных в годы коллективизации на север и в Сибирь, об их жизни на лесных заготовках, знаем ли мы правду о московских процессах, о «чистках»? Когда то Мельшин, Чехов и Дорошевич описали царскую каторгу и Сахалин — что знаем мы о современной каторге? Кем и когда была описана жизнь современных хозяев жизни, Кремля и кремлевского окружения с таким же беспристрастием, об'ективностью и полнотой, как в свое время были описаны жизнь и быт придворных кругов? И разве возможен был бы сейчас Щедрин, который так много материала нашел бы для своей сатиры в советской жизни? А что сделали бы теперь с Амфитеатровым, который попробовал бы описать современных «Обмановых»? Впрочем, мысль о самой возможности появления такой сатиры в советской литературе кажется нелепой — советские Обмановы защищают себя гораздо лучше, чем прежние...

Можно было бы продлить эти сопоставления до бесконечности — и все они говорят об одном: современная советская литература не отражает и не может даже с приблизительной об'ективностью, независимостью и беспристрастием отразить современную действительность. И порой о советской литера-

---

*) Начали, повидимому, понимать ненормальность этого положения и советские журналисты. В передовой «Литературной Газеты» от 1-го января можно найти такие строки: «Если подвигам рабочего класса все же посвящено несколько книг (Ф. Гладкова, А. Караваевой и др.), то тщетно мы будем припоминать хотя бы одно литературное произведение 1944 года, в котором изображалась бы жизнь советской деревни до войны».

туре приходится судить не по тому, что в ней есть, а по тому, что в ней отсутствует.

Поражает полное отсутствие в советских журналах каких-либо статей о жизни за пределами Советского Союза. Если читать советские журналы, то можно подумать, что вообще в мире существует лишь Советский Союз и что только он один, с глазу на глаз, ведет войну с фашистской Германией. Нет не только каких-нибудь статей, нет даже простых указаний на участие в этой войне союзников — Великобритании и Соединенных Штатов; о союзниках вообще нет никаких статей, как будто они на свете не существуют! Это в полном смысле слова изоляционизм — инстинктивный или тщательно продуманный, но изоляционизм цельный и законченный. Проводится он в то самое время, когда дорогами побед Красная Армия вышла за географические пределы Советского Союза, прошла в Европу, оказалась в Белграде, Будапеште, Вене и в Берлине, знакомится сама с Европой и показывает Европе себя. Весь мир говорит сейчас о России и ею интересуется, традиционный советский изоляционизм всем ходом войны разрушен — и надо надеяться, окончательно, — русские армии проходят одну европейскую столицу за другой, но европейские темы по прежнему остаются в советских журналах незатронутыми, едва ли не запретными... Может ли такое ненормальное положение продолжаться дальше?

Передо мною десять книжек лучших — и единственных сейчас — толстых советских журналов «Новый Мир», «Знамя», «Октябрь», вышедших между маем и декабрем 1944 года; последний дошедший до Нью Йорка номер — это № 10 «Нового Мира», «подписанный к печати 11 декабря 1944 года, тираж 30.000» (это, между прочим, обычный тираж советских журналов, кроме «Октября», который печатается в 25.000 экз.). Каждая книжка от 10 до 15 печ. листов., т. е. приблизительно половина размера «Нового Журнала». Это, конечно, не мало — писателям с наблюдательностью и талантом есть где развернуться.

Но просмотр советских журналов за прошлый год не радует. Правда, в трех книжках «Нового Мира» напечатаны пять глав из третьей книги Алексея Толстого «Петр I» с многообещающим «продолжение следует». Но эти отрывки лишь горестно напоминают о том, кого потеряла в лице этого писателя русская литература. Почти все, что выходило из под пера А. Толстого по таланту и изобразительной силы высоко поднималось над уровнем советской литературы —

как гора среди равнины. Можно быть разного мнения об искренности политических «элукубраций» и метаморфоз А. Толстого (чего стоят хотя бы две разные — а в некоторых отношениях и противоположные — редакции его «Хождения по мукам» — эмигрантская и советская!), но его художественный талант делает из него едва ли не первого русского (во всяком случае — советского) писателя. И какими маленькими рядом с ним кажутся все остальные советские писатели — даже с именем. А среди последних имеются в этих книжках советских журналов такие, как Константин Федин, Вяч. Шишков, Леонид Леонов и В. Каверин, не говоря уже о писателях старшего поколения — С. Сергееве-Ценском и Юрии Слезкине.

Но ничего замечательного эти писатели не написали. Вяч. Шишков продолжает тянуть своего «Емельяна Пугачева», второй (!) том которого начался еще в июне 1943 года, тянулся в «Октябре» весь 1943 год, перешел и в 1944-ый, но тут (с № 5-6) уже начал печататься «в сокращении». С. Сергеев-Ценский тоже написал исторический роман «Пушки выдвигают» о «первой империалистической», в которой неизвестно, чего больше — публицистики или художественного воспроизведения прошлого. Пересматривает историческое прошлое, приспосабливая его к новым указаниям и учебникам, также и Юрий Слезкин в «Брусилове». Еще дальше в прошлое ушел в своем историческом романе «Конец Кучумова царства» В. Сафонов — о купцах Строгановых и об Ермаке, вещь тоже угрожающе длинная...

Не слишком ли вообще много истории в журналах, выходящих в такую насыщенную трагическими событиями эпоху? Чем это об'ясняется? Вопрос интересный...

Вычурным и кудрявым языком написана Леонидом Леоновым большая повесть «Взятие Великошумска» — в ней так много всего — описаний, шума боев, размышлений, действующих лиц, боевых эпизодов, — что в конце концов все сливается в туманную кровавую мглу. За ходом рассказа трудно следить и кажется, что не только комкора, вокруг которого развертываются все эти страшные военные события, но и самого автора, охватила лихорадка... «Два капитана» В. Каверина — роман тоже необычайно сложный и длинный: том второй, часть шестая, седьмая и восьмая, рассказы от имени разных лиц и как бы в разных планах. Это история летчика Григорьева, его детство в маленьком провинциальном городке, школьные годы в Москве и жизнь на крайнем севере... Здесь же капитан Татаринов, отправившийся в 1912 году с экспе-

дицией на север и там погибший по вине своего двоюродного брата — вредителя (вероятно будущего троцкиста...). В романе переплетена жизнь двух поколений — старшего и младшего и современная история завоевания севера на фоне начавшейся войны. Разобраться во всем этом нелегко, но в романе есть превосходные страницы. Вот, например, весенняя белая ночь в Ленинграде:

«Был третий час, и это был самый темный час ночи, но когда мы вышли из «Астории», было так светло, что я нарочно остановилась на улице Гоголя и стала читать газету. Белая ночь!... Мы прошли под аркой Главного штаба, и великолепная пустынная площадь вдруг открылась перед нами, — не очень большая, но просторная и какая-то сдержанная, непохожая на открытые площади Москвы... Потом мы пошли по улице Халтурина — я прочитала название под домовым фонарем — и долго стояли перед колоссами, поддерживающими на плечах высокий под'езд Эрмитажа... Потом мы вышли на набережную — вот где была эта белая ночь, — ни день, ни ночь, ни утро, ни вечер! Над зданиями Военно-Медицинской академии небо было темносинее, светлосинее, желтое, оранжевое, — кажется, всех цветов, какие только есть на свете! А над Петропавловской крепостью все было совершенно другим, туманно-серым, настолько другим, что нельзя было поверить, что это одно и то же небо. И мы сперва долго смотрели на крепость и на ее небо, а потом вдруг поворачивались к Военно-Медицинской Академии и к ее небу, и это был как будто мгновенный переезд из одной страны в другую, — из неподвижной и серой в прекрасную, живую, с быстро меняющимися цветами...».

Это одинаково могло быть сказано о Ленинграде, Петрограде, Петербурге...

Очень хороши короткие, написанные с душой и сердцем «записки 1944 года» Константина Федина — «Свидание с Ленинградом»: жизнь в Ленинграде и его улицы во время блокады, разрушенные царскосельские дворцы в современном «Пушкине», гатчинские дворцы, Петергоф... Эти записки не забудутся.

Особенно хочется отметить рассказ Александра Бека «У взорванных печей».

Александр Бек уже обратил на себя внимание двумя замечательными повестями о защите Москвы — «Панфиловцы на первом рубеже» («Знамя», 5-6, 1943) и «Волоколамское шоссе» («Знамя», 5-6, 1944). В обеих этих повестях чувствуется

умелый и очень своеобразный рассказчик; они говорят о подготовке армии к бою и о самом этом бое. Теперь автор рассказывает о тыле — о том, как металлургический завод из Макеевки (Донбасс) был перевезен на Урал и затем, через два года, снова был восстановлен в Макеевке. Рассказ идет от имени старого доменщика Коробова.

В октябре 1941 года завод, на котором работал Коробов, под давлением немцев должен был эвакуироваться из Макеевки на Урал. Макеевские эшелоны шли через огромные пространства России двадцать восемь суток.

«Ехали мы своими паровозами, — рассказывает старый мастер. — По дороге у одного паровоза потекли трубы и расплавились подшипники. Кое-как добрались до Куйбышева. Там есть ремонтное депо. Погнал механик в депо наши паровозы, пришел оттуда ко мне и говорит: — В депо отказываются ремонтировать. Нет рабочей силы. Может быть, дней через пять-шесть сделают. — Взял я и пошел в депо. — Здравствуйте, ребята! — Здравствуйте. — Кто тут у вас бригадир? — Я. — Вот в чем дело. Мы едем с Донбасса, везем оборудование, женщин и детей. Надо дать ремонт одному паровозу и другой просмотреть. Придется вам, ребята, оторвать часы от отдыха, поработать ночью. К утру сделаете? Не обманете? — Не обманем, дед. — В Куйбышеве мы повеселели. Через каждые полтора-два часа там проходили воинские эшелоны на Москву. На платформах стояли грузовики, орудия, танки. Из теплушек выскакивали красноармейцы, — подтянутые, молодые, справно одетые-обутые. Все у них под-козырек, все «разрешите». — Разрешите, товарищ девушка, попросить вас сплясать с нами. — Что вы? Какая я девушка? — Виноват, если не так назвал. Просим к нам. И вас... И вас... Пойдемте танцовать с бойцами. — Что вы? Какие теперь танцы? Да мы и не умеем. — Не умеете? Откуда вы? — С Макеевки. — Не может быть, чтобы макеевские девушки не танцовали. — Говорят вам, мы не девушки. — А сами уже расцвели, улыбаются, стараются незаметно поправить неприбранные волосы. — А для нас — девушки. Пойдемте! Мы едем немца бить, а вы отказываетесь. — А побьете? — О! Видали, какая идет сила! Куда он от нас денется? — И препорученные мне макеевские матери и жены, сразу помолодев на десять лет, смеялись как-то по-особому, по-женски, — кажется, первый раз за время пути я услышал у них такой смех. На перроне играли гармонисты, по асфальту отбивали дробь в пару с бойцами плясуньи со всех эшелонов. Макеевку мои не посрамили. Ребятишки высыпали из вагонов,

смотрели на бойцов во все глазенки — ничем не оторвешь».

Но «самоуправство» с ремонтом не прошло даром.

«Чуть свет меня вызвал комендант станции — седоватый военный, строгий, худой, в очках. — Ваши документы? — Я пред'явил. — Это ваши паровозы в депо ночью ремонтировались? — Мои. — На каком основании вы так поступаете? Почему нарушаете государственный порядок? Вы срываете нам план ремонта. Это преступление. Я заберу ваши паровозы. — Нет, вы наши паровозы не возьмете. На это нет моего согласия. — Мы вас арестуем. — Не имеете права меня арестовать. Я везу женщин и детей. — А вы имеете право срывать наш план? — Он показал в окно, перед которым стоял на путях эшелон с пушками. Стоим мы друг против друга, он кричит на меня, я кричу на него, и вдруг опять мне стало радостно. Как хорошо, что мы можем яростно спрашивать: «имеете ли право?» Да, есть у нас право, закон, справедливость. Мы спорим о государственном деле, спорим на русском языке в русской стране. Опять всей душой я почувствовал — это родина, своя земля, своя сторонка. И снова подумалось: а как теперь в Макеевке? Поспоришь ли там с немцем? Скажешь ли ему: «не отдадим, это наши паровозы!» Понимали ли мы раньше, какое счастье в том, что можно произносить — с гневом, с раздражением — эти три слова: «не имеете права!»?

Кончилось столкновение благополучно. «Нагорячились, накричали мы, а потом отошли, стали беседовать мирно. Комендант спросил: — Что вы так отстаиваете свои паровозы? Не все ли вам равно, на каких ехать? — Вот это здорово! Отдай жену дяде... — При чем тут жена! И эти паровозы государственные, и те государственные... — Пробрал меня еще раз для порядка, но паровозы отдал».

Понимали ли мы раньше, какое счастье в том, что можно произносить — с гневом, с раздражением — эти три слова: «НЕ ИМЕЕТЕ ПРАВА» — как хочется запомнить эту фразу и на будущее!

Война многое изменила, она заставила обратить внимание на человека как на фронте, так и в тылу. «Прежнее руководство, — говорит все тот же Коробов, — было тоже очень старательное, всю силу отдавало заводу, можно сказать, убивалось на работе, но не вникало; а как питание у рабочего? А на фронте, — об этом я много раз слышал от бойцов, — на фронте у хорошего генерала всегда первый вопрос: «ну, ребята, как питание?» Когда я приехал к Павлу (сын Коробова, назна-

ченный директором на Магнитогорский завод) на Магнитку, у него дома на столе лежала маленькая книжка — сочинение нашего знаменитого полководца Александра Васильевича Суворова. Я ее по вечерам читал, в ней написано много замечательного. На службе у командира должна быть жестокость, но и доброта. К солдату всегда надо быть относительным, относиться человечески. Солдат — это самое большое звание. Все это сказано про армию, но и к производству точь в точь подходит. Я до сих пор жалею: как я эту книжечку в карман не захватил». «На Магнитке, — добавляет Коробов, — Павел завоевал большой авторитет тем, что вникал в быт рабочего, в человеческую жизнь. У нас есть директора, которые по две недели рабочего не принимают. А у Павла заведено: как бы он ни был занят, а должен найти в сутках один час, чтобы принять рабочих. К нему шли в кабинет и даже домой с просьбами и нуждами».

В сентябре 1943 года (т. е. через два года) Макеевка была занята Красной Армией — немцы были выгнаны. Началась восстановительная работа. «Показывая рукой на линию разрушенных печей, Коробов об'ясняет мне, как расположены пути жидкого чугуна и шлака, как приспособлены под'емные сооружения. — Эх, красота какая! — восторженно восклицает он. Я всюду вижу задранное рваное железо, рухнувшие тележки мостовых кранов, скрученные взрывами балки, безобразные кучи золы и растрескавшегося беловатого известняка с темными вкраплинами обгоревшей руды; рабочие отгребают лопатами эту массу от печей, а она все сыпется и сыпется через проломы. — Какая же это, Иван Григорьевич, красота? — Моя реплика опять — в который раз?! — вызывает его хохот. И он опять посматривает на меня снисходительно. — Э, к этому нам только руки приложить. Это все мы восстановим. — В чем же, все-таки, будут основные трудности? — Какие трудности? — с возмущением восклицает Коробов. — А ну, лезьте-ка за мной! Чего отстаете? Ай-да выше, выше... Поглядите отсюда на завод. Видите? Паровозы ходят, аглофабрика работает, мартен работает, электростанция работает. Сходите туда, на электростанцию, там поставлен генератор, у которого на заводской марке выбито: «Ленинград, 1943». Ленинградцы в блокаде такие машины строили. Вот там были трудности. А теперь мы получаем эти машины для восстановления. А Урал сколько нам дает? Сейчас все, кто хочешь, заказывай на Урале. Говорю, — поднимаем с ходу! — Помолчав, он произносит: — Теперь то нам не тяжело. А вот оставлять завод было

тяжело. Восстанавливать легче, чем оставлять... Теперь мы восстанавливаем. Это веселее, чем губить. Вы приглядитесь к людям, как работают. Тимофею Векличеву почти семьдесят лет, а он и молодым показывает класс работы. Узнал по-настоящему, что такое родина!»

«На этом Иван Григорьевич закончил свой рассказ. Солнце уже скрылось. В быстро меркнувшем небе смутно вырисовывались темные контуры завода. — Чуете? — сказал он. — Запахла ночная фиалка. — Да, из маленького сада у квартиры Коробова дошел тонкий нежный аромат. Такого запаха, как и медового духа акации, я никогда здесь не знавал. — Теперь народ осмелел, опять стал требовательный, — продолжал Коробов и довольно засмеялся. — Требуют вот, чтобы всегда так пахло... Вот и ломаем голову, чтобы и завод был, и фиалки... — Иван Григорьевич с шумом втянул воздух. И проговорил: — Хорошо как... — Недалеко от нас по асфальтированному тротуару, окаймленному цветущей акацией, шли под руку, прогуливаясь, несколько девушек в светлых платьях. Быстрой деловой походкой их обогнал военный. Мы услышали: — Виноват... Я вас не толкнул? — Ничего. Пожалуйста. — И над улицей Макеевки, столько пережившей, разнесся женский смех. Коробов смотрел туда с улыбкой. — Родина, — сказал он».

Любящие русскую речь не могут не порадоваться «Новым сказам» П. Бажова, своеобразного уральского писателя, чьи книжки (особенно вышедшая в 1939 году «Малахитовая шкатулка») сразу создали ему большую известность. Фигура чрезвычайно интересная не только в литературном отношении. Вышел он из коренного рабочего уральского рода. Отец, дед и прадед его были медеплавильщиками, мастерами «огненного труда» на старых уральских заводах. Не только все его темы, но и самый язык — из мира уральских горных рабочих. В первых своих «сказах» (так всегда он называет свои рассказы) он даже утверждал, что все их слышал пятьдесят лет тому назад от горняка-сказителя В. А. Хмелинина и они им «записаны по памяти». Конечно, в это надо внести поправку. Связь «сказов» П. Бажова с уральским фольклором очевидна, но писатель не только знает язык своих отца и матери, но и современных уральских рабочих, хорошо знает их историю, жизнь и повседневный быт, пристально и любовно изучал их современный язык и из всего этого своим талантом, в своем индивидуальном горниле выплавил амальгаму из родного предания, из услышанного и своих собственных наблюдений. П. Бажов — человек, повидимому, немолодой — не только

писатель, он и исследователь народной жизни, народной речи, влюбленный в эту речь. В недавнее время — уже при советской власти — он работал в отделе крестьянских писем в областной газете — через его руки прошли десятки тысяч писем. «Ведь это же краеведческая река! — писал Бажов по поводу этого потока крестьянских писем. — Мощная, полная красоты и неисчерпаемых стилистических, художественных и научных богатств. Течет она, блестя юмором, сверкая веселой рябью народного говорка, порой покрываясь сизо-ржавыми пятнами застоявшегося книжно-газетного языка».

Под заглавием «Новые сказы» П. Бажов в «Новом Мире», 8-9, 1944, поместил два рассказа — оба, правда, «тенденциозные»: первый («Чугунная бабушка») — пронизан «немцеедством», второй («Богатырева рукавица») — имеет задачей воспеть Ленина, а попутно — и Сталина. Но в обоих интересна русская речь, ее красочность, своеобразие, меткость и сила.

«У этого Меллера была в родне какая-то тетка Каролина. Она будто Меллера и воспитала. Вырастила, значит, дубинку на рабочую спинку. Тоже, сказывают, важная барыня — баронша. Приезжала она к нам на завод. Кто видел, говорили — сильно сытая, вроде стоячей перины, ежели сдаля поглядеть»...

Во втором рассказе речь идет о живших, согласно преданию, на Урале каменных богатырях. «За старшего у этих каменных богатырей ходил один, по названью Денежкин (на Урале имеется гора — Денежкин камень). У него, видишь, на ответе был стакан с мелкими денежками из всяких здешних камней да руды. По этим рудяным да каменным денежкам тому богатырю и прозванье было.

«Стакан, понятно, богатырский — выше человеческого росту, много больше сорокаведерной бочки. Сделан тот стакан из самолучшего золотистого топаза и до того тонко да чисто выточен, что дальше некуда. Рудяные да каменные денежки насквозь видны, а сила у этих денежек такая, что они место показывают.

«Возьмет богатырь какую денежку, потрет с одной стороны — и сразу место, с какого та руда либо камень взяты, на глазах появится. Со всеми пригорочками, ложками, болотцами — примечай, знай. Оглядит богатырь, все ли в порядке, потрет другую сторону денежки — и станет то место просвечивать. До капельки видно, в котором месте руда залегла и много ли ее. А другие руды либо камни сплошняком кажет.

Чтоб их разглядеть, надо другие денежки с того же места брать.

«Для догляду да посылу была у Денежкина богатыря каменная птица. Росту большого, нравом бойкая, на лету легкая, а обличье у ней сорочье — пестрое. Не разберешь, чего больше намешано: белого, черного али голубого. Про хвостовое перо говорить не осталось — как радуга в смоле, а глаз агатовый в веселом зеленом ободке. И сторожкая та каменная сорока была. Чуть кого чужого заслышит, сейчас заскачет, застрекочет, богатырю весть подает» (есть на Урале урочище Сорочье).

Такого русского языка, кажется, не было со времен Лескова — душа на нем отдыхает, — особенно после... советских газет.

В заключение маленький отрывок из рассказа Н. Емельяновой — «Сухие гвозди» («Новый Мир». 6-7, 1944).

«Понравилась мне тут девица одна. Это я нынче остарел, а был я прямо Еруслан Лазаревич. Стал за ней похаживать. Она и лицом взяла, и работница, и танцовать, и смеяться — на все хороша... Глаз таких я во всю жизнь не увидел боле: глядит и греет глазами-то. Как, думаю, ей понравиться? Я — медведь-медведем. Выходит — надо мне танцам обучаться. Стал глядеть, как городские приказчики танцуют: мудрено, не могу примениться. А у меня в городе, в Рославле-то, брат двоюродный тоже в приказчиках. — «Ты, — говорит, — вот как учись: полечку хочешь? Повторяй: рупь шесть гривен, два с полтиной... рупь шесть гривен, два с полтиной... Смекаешь?» И оно правильно: как напеваешь, ноги сами идут. А если вальс, то: рупь двадцать, рупь тридцать, рупь семьдесят пять! — И верно, так тебя и кружит, никакой музыки не надо. Слышишь, как оно различается?... Рупь двадцать, рупь тридцать, рупь семьдесят пять!»

В. Зензинов.

ВОЖДИ КАДЕТСКОЙ ПАРТИИ

(Из воспоминаний)

С самого образования партии «Народной Свободы» в России в создании «генеральной» линии партийной работы главное участие приняли три кадетских лидера: Петрункевич, Милюков и Кокошкин. Основываясь на многочисленных заявлениях этих же лиц, я могу причислить к ним и моего мужа

Эти четыре человека были главными двигателями внутренней жизни партии. Были и помимо них блестящие представители кадетской партии: Муромцев, Набоков, Родичев, Маклаков и многие другие. Но они не были, выражаясь анатомически, мозговыми двигателями партии, а скорее блестящими исполнителями ее политической воли.

И. И. Петрункевич был человеком непосредственного действия. Своим безошибочным чутьем он интуитивно нащупывал свой политический путь. В нем прежде всего и громче всего звучал голос совести и чести. Милюков, идеолог всего кадетского движения, не знал действия, не оправдываемого принципом. Его непреклонная воля поддавалась только давлению кажущейся ему правильной идеи. А Кокошкин и Винавер как бы сочетали в себе два дополнявшие друг друга темперамента: Кокошкин был человеком пламенной веры, а Винавер подкреплял эту веру своим ясным логическим умом.

Мне лично Петрункевич, Милюков и Кокошкин были особенно близки. Воссоздание, хоть неполное и несовершенное, образов этих людей, воплощавших лучшие духовные черты прошлой России, служит мне некоторым утешением в нашу мрачную эпоху... Я часто встречалась также с Муромцевым, Родичевым, Маклаковым.

И. И. ПЕТРУНКЕВИЧ

На мою долю выпало большое счастье: целый год я провела с Иваном Ильичем Петрункевичем и его женой, в уединении, на юге Франции. Мы вместе покинули Крым, спасаясь от большевиков. Мы уехали на недостроенном пароходе

без руля. Ехали осторожно, медленно. 10 дней мы ехали из Севастополя в Афины и все 10 дней спали на досках.

Тут я впервые ближе сошлась с Петрункевичами и впервые узнала этих удивительных людей. Ивану Ильичу было уже за 70 лет, у него была переломлена нога. Питания на пароходе почти никакого не было. Это был греческий пароход, и команда его заботилась только о греках-беженцах. Нам перепадали крохи с их стола. Но никто из нас не чувствовал этих невзгод. Иван Ильич был удручен тем, что пришлось покинуть Россию, хотя мы были твердо убеждены, что это не надолго.

Когда мы под'ехали к Афинам, греки не хотели спустить нас на берег. На нашем пароходе был случай сыпного тифа. С нами ехали 2-3 семейства из бывшего царского чиновничества, кажется адмирал Канин и еще кто-то. Они начали хлопотать, и Афинские власти разрешили им сойти на берег; меня с семьей, как жену бывшего крымского министра, пристегнули к ним. Спустили нас на какой то близлежащий к Афинам остров — для дезинфекции. Я первым делом пошла к начальнику острова и изложила ему, что на пароходе остался пожилой и больной Петрункевич, человек, который имеет громадные заслуги перед Россией, видный политический деятель. Начальник острова сейчас же распорядился послать катер за Петрункевичами. И что-же? Иван Ильич отказался покинуть пароход, пока не разрешат спуститься на берег всем находящимся там русским. (Их было, кажется, около 70 человек). Он сошел с парохода только тогда, когда всем русским разрешено было сойти.

Петрункевич был «патриархом» кадетской партии, бессменным почетным председателем ее Центрального комитета, председателем кадетской фракции в 1-ой Думе. Он во всех — даже в Милюкове — вызывал не просто уважение, а благоговейное преклонение. Его авторитет в партии был настолько велик, что она почти всегда принимала его предложения.

По приезде во Францию мы вместе с Петрункевичами поселились на нашей даче на Ривьере. Не могу не считать необыкновенной удачей судьбы, что мне пришлось прожить с Иваном Ильичем и его удивительной женой целый год, да еще в уединении, которое особенно располагает к душевному общению. Днем Петрункевичи работали. Они собирали из иностранных газет все вырезки, где упоминалось о России. Иван Ильич писал свои воспоминания, а жена его все ему переписывала. Но целые вечера мы просиживали вместе. Иван Ильич

читал нам вслух (читал он очень хорошо) и много рассказывал о своем прошлом.

Он со своим братом М. И-чом, тоже депутатом 1-ой Думы, воспитывались в кадетском корпусе. Иван Ильич был мальчиком кротким, тихим. Он рассказывал, что среди преподавателей был отец знаменитой впоследствии Коллонтай, который давал им потихоньку читать Герцена.

После судебных реформ Александра II Петрункевич был в числе первых мировых судей. Он рассказывал нам о многих курьезных случаях из своей судебной практики. Помнится мне такой случай. Мужик-маляр выкрасил купол церкви. Но священник не захотел ему заплатить за работу, заявляя, что он не уверен, действительно ли мужик выкрасил купол: снизу, мол, не видно. Священник расчитывал, что и мировой судья не сумеет удостовериться. Иван Ильич полез с маляром на колокольню, а оттуда на купол, который действительно был выкрашен, и священнику пришлось уплатить за работу.

Петрункевич рассказывал, что он входил в один из первых тайных кружков, которые начали мечтать о конституции. Было это в Киеве. В Киеве же во время русско-турецкой войны Иван Ильич встретился с молодой блестящей графиней Анастасией Сергеевной Паниной, в то время уже овдовевшей. Они полюбили друг друга. Иван Ильич вскоре был сослан в г. Варнавин, Костромской губернии, Панина там его навещала. А когда Петрункевича перевели в Смоленск, она туда переехала и они вскоре повенчались.

Из Смоленска Петрункевич затем переехал в Тверскую губернию, где у него было имение. В 1880-х годах он стоял в первых рядах земского либерального движения. Он не был в делегации от Тверского земства для представления того «крамольного» адреса Николаю II, который царь публично назвал «бессмысленным мечтаньем». И лишь в 1905 году Петрункевич встретился с Николаем II, в качестве участника делегации Земского с'езда, возглавляемой кн. С. Н. Трубецким. На этот раз царь ответил земцам уже в другом тоне.

Когда собралась 1-я Дума депутаты единодушно поручили Петрункевичу произнести «первое свободное слово» с трибуны первого русского парламента, и Иван Ильич выразил чаяния всей Думы и всей страны, сказав, что «долг чести, долг нашей совести» повелевает требовать амнистии.

Замечательная была у Ивана Ильича наружность: крупная фигура, крупное лицо, черты лица скорее неправильные, но глаза такие необыкновенно блестящие и столько жизни во

всем лице, что забыть его невозможно. Казалось, что вся его духовная мощь отражается на его внешнем облике.

В ту зиму (1919-1920 года) еще не было разочарования в Добровольческой армии, Деникин еще продвигался на север. Петрункевичи очень тосковали по России и решили вернуться. Трудно это было осуществить. Иван Ильич со своей больной ногой нуждался в некотором комфорте, а регулярного пароходного сообщения не было. Наконец какой то небольшой пароход согласился взять их. Я поехала провожать их до Марселя. Поехала я с Анастасией Сергеевной смотреть этот пароход: небольшой, не приспособленный для пассажиров, с одной каютой, которую и хотели отдать Петрункевичам. За день до их от'езда я с ними простилась и вернулась к себе на дачу. Как раз в тот день погода была скверная, море разбушевалось, и мне жутко стало отпускать Петрункевичей в плавание на таком пароходе. Повинуясь своему чувству, я послала им телеграмму с просьбой не уезжать. Видно и им на душе было жутко, и они послушались меня и вернулись. После этого мы еще более сблизились.

Анастасия Сергеевна Петрункевич по своим душевным качествам стояла высоко и была очень требовательна к людям. В общении с ней невольно хотелось быть на той моральной высоте, которой она требовала от окружающих. В то же время она была большой энтузиасткой, например, боготворила адмирала Колчака.

Оба они были люди верующие, хотя не признавали никакой церковности. А. С. с волнением относилась к вопросу о религиозном настроении тех, кого она любила, и очень огорчалась из-за непреклонного позитивизма Милюковых.

Анастасия Сергеевна принадлежала к высшему кругу. В детстве ее возили в Зимний дворец, где она играла в прятки с будущим царем Александром III, тогда еще ребенком. Но затем она круто порвала со своим светским окружением. И она, и Иван Ильич ненавидели все, что имело отношение к придворной знати.

У меня сохранилась очень интересная переписка моего мужа с Иваном Ильичем и с Анастасией Сергеевной. Я предполагала издать первую, но война помешала этому. Вся эта переписка была передана мною в Русский Исторический архив в Праге.

Ф. Ф. КОКОШКИН

Федор Федорович Кокошкин был нашим близким другом. Кокошкины жили в Москве, а мы в Петербурге, но тем не менее мы часто видались.

Кокошкин был блестящим юристом — государствоведом. Но он забросил науку, чтобы всецело посвятить себя политике. Он вполне сознавал свои силы и талант к практическому государственному строительству. Большой энтузиаст, он верил в русский народ, в светлое его будущее и горел желанием посвятить свои силы созданию этого будущего. Конечно, он сознавал и великие трудности устроения государства Российского. Он знал, что опыт Запада мало мог дать отсталой стране с таким многообразием национальностей. Как сохранить крепкую, единую Россию и вместе с тем не допустить угнетения отдельных национальностей центральной властью? Для этого нужно было создать какие то новые формы государственности. Нужно было обладать уменьем прислушиваться к пульсу народной жизни в каждой из частей, составляющих Россию.

По мнению моего мужа, Кокошкин был единственным человеком, который был в состоянии справиться с этой проблемой. Вопросы прав национальностей, вопросы автономии были разработаны Кокошкиным с необычайным талантом в смысле их теоретического уяснения и практической постановки в российских условиях.

Оратором он был необыкновенным. Не смотря на дефект речи (он не произносил некоторых гласных), речи Кокошкина слушались с напряженным вниманием. Говорил он просто, без жестов, даже без повышения голоса, но все в его речи было ясно и убедительно. Как легко было следовать за его мыслью! Особым наслаждением было слушать его в интимном кругу. Изящный, всегда элегантно одетый, с изысканными манерами, он был пленительным собеседником. Речь его пересыпалась остроумными замечаниями, никогда не злостными, но очень веселыми. Он любил читать нам стихи русских символистов и все хотел обратить в свою веру моего мужа, поклонника классиков.

На Выборгском процессе, в Петербургской Судебной палате, где депутаты 1-ой Думы сидели на скамье подсудимых, Кокошкин сказал: «Мы хотели способствовать тому, чтобы Россия сделалась страной свободной, правовым государством,

где право поставлено было бы выше всего, где праву подчинены были бы все, от высшего представителя власти до последнего гражданина. Мы хотели сделать Россию страной сильной и могущественной единством, не внешним насильственным единством, а единством внутренней организации, которое совместно с разнообразием местных условий, с разными особенностями всех народностей, ее населяющих... Говорят, что всякая великая идея требует жертв; если мы должны быть этими жертвами, мы готовы быть ими... в твердом сознании, что для нашего дела суждено неизбежное близкое торжество».

И такой человек был убит шайкой пьяных матросов! Судьба однако смилостивилась над милым Федор Федоровичем. он был убит во сне. Его пламенная вера в свой народ не подверглась испытанию...

Жутко пережила смерть Кокошкина жена его. Она потеряла в жизни все, что ей было дорого. Когда я впервые пришла к ней после ее несчастья, я нашла ее бодрой и веселой: она говорила о своем муже, как будто он должен был вот-вот войти в комнату. В ее комнате стоял его великолепный бюст и прекрасный слепок с его необыкновенно красивых рук. Она все звала нас переехать к ней на квартиру, когда мы скрывались от большевиков в Москве. Но у меня не хватило духу жить в комнате, окруженной воспоминаниями о Федоре Федоровиче.

Ф. И. РОДИЧЕВ

Если с Кокошкиным моего мужа сближала общая работа, в основе которой лежало гармоническое созвучие их духовного строя, то с Федором Измаиловичем Родичевым нас обоих сближала душевная привязанность. В Петербурге мы часто бывали друг у друга, часто обедали вместе. И до последних дней его жизни я сохранила дружбу с ним.

Яркая это была фигура! Сама внешность его была своеобразная: высокого роста, с круглой головой, с живыми выразительными глазами, всегда чем то взволнованный, даже в дружеской беседе говорящий как с трибуны, с выразительными жестами рук, он производил впечатление необычайной непосредственности. Лучшие его речи были произнесены по поводу событий, возмущавших общественную совесть. Я не могу себе представить его докладчиком по вопросу, требующему логической разработки. Партия выпускала его всегда, когда ставились вопросы боевые. Он выступал в 1-ой Думе по вопросу

об отмене смертной казни, об ответном адресе царю, о декларации правительства Горемыкина. Он сумел внести боевую ноту даже в унылую атмосферу третьей Думы своей знаменитой речью о «Столыпинском галстухе».

Но какие это были речи! Сколько было в них ярких образов! Кто раз только слышал его на трибуне, тот не мог забыть этой фигуры, с высоко поднятой правой рукой. Его речь лилась легко, между тем каждое выступление стоило ему огромного нервного напряжения. Перед каждою речью он выпивал чашку крепкого кофе.

Родичев был записан в состав петербургских присяжных поверенных, но мало занимался адвокатурой. Он был человек непрактичный, и очень плохо устраивал свои матерьяльные дела. Люди эксплоатировали его непрактичность.

Родичев был очень близок с семьей Герценов. В то время были еще в живых обе дочери Герцена и жена его сына Александра. Ф. И. очень много занимался их делами. В России в 1905 году печаталось первое легальное издание Герцена, конечно урезанное цензурой. У Герценов были какие то нелады с издателем, и Родичев попросил моего мужа помочь ему разобраться в этих делах. При этом то случае мы и познакомились с Герценами.

Я помню, с каким благоговением я впервые встретилась с дочерью Герцена, Натальей Александровной. Ведь мы все были под впечатлением «Былого и Дум», где Наталья Александровна часто упоминается. Она позвала нас обедать. Жила она в Лозанне, и обстановка, в которой она жила, принадлежала еще ее отцу. Было странно обедать среди вещей, к которым прикасался Герцен. Во время нашего пребывания приехали из Парижа внуки Герцена, они даже не говорили по русски.

Н. А. подарила нам бумажник Герцена и фотографию его, где он пожимает самому себе руку. Мой муж, по приезде в Петербург, передал эти вещи в Герценовский музей.

Ф. И. Родичев очень был привязан ко всей нашей семье. В последний раз я видела Родичевых в Лозанне, в 1932 году. Невесело им там жилось. Русская колония в Лозанне была черносотенная, и когда жена Родичева, женщина очень религиозная, приходила в церковь, ей приходилось выслушивать обидные слова. Материальные их дела не ладились, а между тем они. старые и больные, нуждались в некотором комфорте. Да и одиночество их в Лозанне было тягостное.

С. А. МУРОМЦЕВ

Сергей Андреевич Муромцев был мне известен еще по Москве, где он был чрезвычайно популярной фигурой. Он был женат на примадонне Большой Московской оперы М. К. Климентовой, и вся Москва живо интересовалась ими обоими.

Муромцев был в 80-х годах профессором римского права в Московском университете, но затем был лишен кафедры за свое либеральное направление. Он был бессменным председателем Московского Юридического Общества (закрытого правительством в 1900 г.) и редактором его органа — журнала «Юридический Вестник». Мне так хотелось поближе посмотреть на Муромцева, что я увязалась за своей подругой пойти с ней подписаться на этот журнал.

Муромцев впервые встретился с моим мужем на слушании одного гражданского дела, в котором они были противниками. Мой муж, видно, ему понравился, как адвокат, и он пригласил его выступить с ним вместе в одном громком гражданском процессе. С этого началась их совместная адвокатская работа, которая продолжалась до самой смерти Муромцева. Помню, как они вместе готовились к выступлениям, просиживая целые вечера до поздней ночи над разработкой сложнейших вопросов гражданского права и процесса.

В свою адвокатскую деятельность Муромцев вносил веру в самодовлеющую ценность человеческой личности. Это была первооснова его идеологии, как теоретика права. Сочетание этой абстрактной идеи с повседневной адвокатской борьбой за право взростили в нем тот могучий стимул уважения к праву и свободе, с которым Муромцев вышел на политическую арену.

В праве Муромцев видел ценнейший формальный элемент устроения жизни. Он всегда и во всем был чуток к форме.

Он часто рассказывал нам про свои путешествия. Из этих рассказов уже видно было, что он менее чуток к краскам, чем к линиям. Оттого и в путешествиях его внимание приковывали не места с природными красотами, а города. Он обошел все улочки Парижа, странствовал по городам Германии, любил в особенности окрестности Веймара. Рассказывая об этих странствиях, он тут же чертил нам планы виденных им мест со всеми подробностями.

Эта склонность к формальному элементу, любовь к пластичности и законченности побудила Муромцева, задолго до

1-ой Думы заниматься ее наказом. И хотя этот наказ не был еще написан, он был готов в самом сознании Муромцева; когда он был выбран в председатели Думы, он и без написанного наказа мог с первого же момента безошибочно направлять только что родившийся российский парламент.

В своей первой речи в 1-ой Думе он, обращаясь к депутатам, сказал: «Господа, соблюдение известных форм есть гарантия нашей свободы и наших прав; если мы не будем уважать форму в ходе наших суждений и решений, мы во многих случаях будем рисковать посягательством на наши права и на нашу свободу».

Как это было сказано! Его стройная фигура, его прекрасная античная голова с матовым лицом, его плавная речь, размеренные движения, — весь он олицетворял величие своего поста. Он любил язык древних русских памятников и обратился к Думе со словами: «Кланяюсь Государственной Думе»...

Муромцев мало принимал участия в бушевавшей в Думе политической борьбе, но неустанно работал над организацией внешнего распорядка Думы. Вместе с депутатом М. Я. Острогорским, он вырабатывал «Наказ» Думы.

Я помню вечер 27 апреля 1906 года, дня открытия Думы. Торжественное заседание кончилось. Депутаты разошлись. Город ликует. Радостные, упоенные счастьем, некоторые особенно нам близкие депутаты, человек пятнадцать, собрались у нас на квартире для решения ряда неотложных вопросов. Но скоро бросили работу и начали весело делиться впечатлениями о пережитом. Но Муромцева все не было. Лишь часов в одинадцать явился он прямо из канцелярии Думы. Оказалось, что он все время оставался там, чтобы все наладить для будущих заседаний.

«Накормите, ради Бога, — сказал он мне, — с утра ничего не ел». У меня оставалась какая то скромная закуска, которою я накормила председателя 1-ой Государственной Думы в первый день его избрания.

Смерть его была для нас совешенно неожиданной. Это было в октябре 1910 года. Он умер в Москве, в Национальной гостиннице, в которой он жил. Утром его нашли в постели, уже похолодевшим, электрическая лампочка горела на столике...

П. Н. МИЛЮКОВ

О Павле Николаевиче Милюкове много писалось. Но почти все, что было написано о нем, написано либо людьми, знавшими его только в последние годы, либо людьми, которые знали его только по его научным трудам, газетной работе или общественной деятельности. Никого нет в живых, кто знал и помнит его 40-50 лет тому назад и кто близко стоял к его личной жизни.

В ранние годы профессорской деятельности Милюкова в Москве, в 1890-х годах, его обожала московская молодежь. Когда его лишили кафедры и сослали в Рязань, громадная толпа молодежи провожала его на Рязанском вокзале. Моя знакомая Рубакина в то же самое время была сослана в Рязань и там встретилась с Милюковыми. Она рассказывала, каким П. Н. был добрым и отзывчивым к нуждам других. Как только он получал деньги, он так легко их раздавал друзьям, что жене его часто нечем было накормить семью.

Репутация Милюкова, как человека равнодушного к людям, совершенно ошибочна. Она основана на том, что все в сущности видели Милюкова только за «делом». Этим его «делом» было общественное служение. Здесь он действительно был слеп и глух к людям. Тут люди интересовали его не как люди, а как деятели, участвовавшие в общей работе, и потому то многие выносили впечатление об его холодности и равнодушии.

Если люди мешали в чем нибудь его работе, были несогласны с ним, он был к ним неумолим. Это относилось не только к политическим, но даже к философским вопросам. Он был строгий позитивист и очень не любил мистически настроенных людей. По этой причине он многих талантливых писателей даже не допускал в свою газету.

В центре его внимания всегда было «дело», и потому он не считал нужным наблюдать людей и внимательно в них разбираться. В сущности он был очень доверчив и потому нередко бывал окружен людьми недостойными. Сколько раз я ему указывала на неблаговидные поступки тех, кому он безусловно доверял. Он сам был настолько правдив и искренен, что и в других всегда предполагал такую же честность. Думаю, что Милюков, который прекрасно отдавал себе отчет в интеллектуальной стороне людей, не умел расценивать их

моральную сторону. Я без всякого стеснения ему на это указывала. «Отчего, — говорила я Милюковым, — вы ходите в гости к таким-то?» «Да нельзя, отвечали они мне, очень просят, нельзя обидеть».

Вместе с тем, Милюков был настолько скромен, что был легко доступен всякому, кто хотел его видеть. Сколько драгоценного времени он терял на совершенно не нужных ему посетителей!

Скромность его и его первой жены, Анны Сергеевны, была исключительная. Обстановка их жизни была много ниже того, что они могли себе позволить. Поэтому у них всегда оставалась часть его заработков и они могли щедро помогать другим. Взять у них деньги взаймы ничего не стоило.

Анна Сергеевна была человеком далеко незаурядным. Она была дочерью профессора истории Духовной академии при Троицко-Сергиевской Лавре. Отец ее все хотел ее просватать за кого нибудь из многочисленных доцентов академии, среди которых она пользовалась большим успехом. Но она встретилась с Милюковым в Москве, в семинаре по истории России профессора Ключевского, и они полюбили друг друга. Они хранили свои чувства втайне и, как она рассказывала мне, даже после того, как они обвенчались, долго никому об этом не говорилии и, например, в театр ходили врозь.

Она сама много занималась историей и в «Русском Богатстве» напечатаны некоторые ее статьи. Но, как это часто бывает, жизнь с таким крупным человеком, как Милюков, так наполняла ее время, что она совершенно забросила свою собственную работу. Зато она во многом помогала своему мужу. У нее хранились в образцовом порядке все периодические издания, которые Павел Николаевич получал, и, если Милюкову нужна была какая нибудь справка, его жена сейчас же ее находила.

А. С. очень не любила, когда ей оказывали внимание, как жене Милюкова. Она вообще не любила той суеты, которая всегда окружает людей знаменитых. Ее всегда стесняло быть на виду. Когда в 1929 году справляли 70-летие Милюкова, она предложила мне сесть где нибудь вместе в стороне. Мы так и хотели сделать и чуть не испортили весь церемониал юбилея.

Очень интересно было отношение Милюкова к этому юбилею. Ему очень приятно было, что юбилей его принял такие грандиозные размеры. Но радовался он не лично за себя: он видел в этом торжестве не признание своих личных заслуг, а признание той идеи, которой он служил всю свою жизнь. И

это сознание давало ему большое удовлетворение. Только недоброжелатели его могли думать, что обыкновенное тщеславие побуждало его печатать ежедневно в своей газете все подробности чествования.

Конечно, он был не без самолюбия. И я знала случаи, когда он из-за незначительных разногласий ополчался на людей.

Милюковы часто бывали приглашены в «гости», но к себе они звали гостей очень редко. Не хватало для этого времени, да и не приспособлены они были для этого. Когда люди приходят к кому нибудь в «гости», без какого либо дела, начинается общая беседа, и центральной фигурой такой беседы бывает обыкновенно или хозяин, или хозяйка. Ни Милюков, ни А. С. не умели вести тот легкий разговор, который необходим для такого общения. Когда им приходилось приглашать к себе кого нибудь, они иногда звали меня на подмогу.

Не могу забыть один такой вечер. Пригласили они как то Агафонова и инженера Черняка. Оба были рады придти побеседовать с Милюковым. И я тут. Сидим. Вдруг Милюков заводит радио. Гости сидят и слушают радио, а я еле удерживаюсь от смеха: вижу, как им не терпится поговорить с П. Н. К счастью радио вдруг останавливается: Агафонов только начинает разговаривать, как Милюков, заинтересованный продолжением какой то симфонии и предполагающий, что и гости также заинтересованы в этом продолжении, опять заводит злополучное радио. К счастью, А. С. позвала нас чай пить, радио затихло, и гости могли наконец вдоволь наговориться с Павлом Николаевичем.

Анна Сергеевна была мне верным другом. Нам легко и приятно было жить вместе, мы во многом сходились: во взглядах, во вкусах. Мы потому часто проводили лето вместе, либо у нас на даче, либо где нибудь в горах. Павел Николаевич тоже приезжал к нам. И кто знал его в те минуты, когда он был вне своего «дела», тот увидел бы совсем не того бесчувственного, холодного Павла Николаевича, каким ходячая молва его изображала.

С утра до вечера Милюков работал. Но в 8 часов вечера наступало время отдыха: музыка, беседа. Во время пребывания у нас Павел Николаевич входил в интересы каждого члена семьи, в особенности подростающих детей, старался им помочь в работе, вообще был милым, сердечным членом семьи.

У Милюковых было трое детей. Старший сын Николай рано женился и несколько оторвался от семьи. Я его в Петер-

бурге совсем не знала и ближе узнала его только в Париже. Он был необыкновенно порядочный человек, прямой, искренний. Приведу для примера следующий факт: с первого дня первой мировой войны он был мобилизован, перед самыми государственными экзаменами. Как то раз командир его полка спрашивает его, не сын ли он члена Думы Милюкова. Николай Павлович, не желая, чтобы положение отца давало ему какие нибудь привилегии в полку, ответил, что член Думы не его отец, а однофамилец. В Париже ему очень трудно было устроиться, потому что Павлу Николаевичу неловко было хлопотать за своего собственного сына.

Трагическая участь постигла младших детей Милюкова, которых он нежно любил. Когда заседания Центрального комитета партии происходили у Милюкова, дети часто играли тут же под столом, и мне мой муж рассказывал о том, с какой нежностью Милюков к ним относился. И эти дети погибли! Сын Сергей был очень одаренным мальчиком и подавал большие надежды. 18 лет он пошел добровольцем на войну и в первые же недели был убит на фронте. Смерть этого очаровательного юноши была страшным ударом для родителей. А через несколько лет, уже при большевиках, вдали от Милюковых, умерла от дизентерии их единственная дочь. Милюков мужественно перенес эти несчастья, — и это его мужество также изображалось, как подтверждение его «бесчувственности».

Р. Г. Винавер.

МОСКОВСКИЕ ЗИМЫ

1. Красный Крест. Рассказ о Дзержинском.

По приглашению Е. П. Пешковой почти на другой день после освобождения из Бутырской тюрьмы я попал на общее собрание Политического Красного Креста. Было это в ноябре 1918 года, в дни празднеств и демонстраций по случаю первой годовщины Октябрьской Революции. Улицы Москвы были полны народа. На площадях шли военные и рабочие парады. К вечеру официальные учреждения были иллюминированы, повсюду развевался кумач, и сжигались чьи-то очередные чучела: Керенского? Милюкова?... К торжествам готовились даже в Бутырской тюрьме: небольшая группа тюремных надзирателей с красным флагом рано утром разучивала «Интернационал» и репетировала свое участие в будущей манифестации. Тюремные узники в свою очередь тоже радовались торжеству: связывали с годовщиной октября надежды на амнистию, как раньше связывали их со слухами о предстоящем, яко-бы, рождении у Ленина «дофина». Там в Бутырках и произошло мое знакомство с Екат. Павл. Пешковой, бывшей женой Горького, которой Дзержинский, тогдашний глава грозной ВЧК, разрешил обход тюремных камер в целях помощи заключенным от имени Красного Креста. Впоследствии это же разрешение было распространено и на Мих. Льв. Винавера, с. д.-меньшевика, старого товарища Дзержинского по гимназии.

Новый человек в Москве, я на общем собрании Красного Креста не встретил много знакомых лиц. Из них я вспоминаю только двух. Прежде всего Б. Б. Меринг, которая стояла очень близко к нашим с. д. делам и учреждениям в Москве (и с которой впоследствии мне пришлось работать в Красном Кресте в Париже), а затем — своего соседа по Бутырской камере, Б. Шполянского, отбывавшего заключение вместе с Н. М. Кишкиным по делу Московской конференции кадет: с ним мы встретились, как родные, как близкие, ибо он тоже попал сюда «с корабля на бал».

Ориентировавшись, я увидел, что попал на собрание, где

абсолютно преобладали женщины. Повидимому, красно-крестные функции и сейчас остались уделом женщин. Да и мужчины были либо в тюрьме, либо в бегах. Председательствовал Ник. Конст. Муравьев — председатель Креста. Но на переднем плане выдвигалось несколько фигур женщин, пользовавшихся всероссийской известностью: достаточно назвать Веру Ник. Фигнер, Алекс. Льв. Толстую, Ек. Дмитр. Кускову (с которой мне впоследствии в Берлине пришлось возглавлять Красный Крест). Разумеется, я не помню того, что происходило на этом собрании, протекавшем, к слову сказать, довольно сумбурно. Но один эпизод мне врезался в память.

От имени президиума, Муравьев предложил избрать в почетные члены Красного Креста В. Г. Короленко, проживавшего тогда в Полтаве, и Ромэн Роллана, который, как было тогда смутно известно, из Швейцарии выразил свои симпатии большевикам. Имя автора «Жана Кристофа» было весьма популярно среди русской интеллигенции. В частности, незадолго до того был опубликован посмертный дневник А. И. Шингарева, который он вел в Петропавловской крепости, где «Жан Кристоф» буквально скрашивал тяжесть заключения трагически погибшего политического деятеля. С своей обычной прямотой и горячностью взяла слово Ек. Д. Кускова. Конечно, она поддерживает предложение выбрать Короленко почетным членом: с ним мы всей душой, его гуманизм, как писателя и как общественного деятеля, отвечает целям и характеру Красного Креста. Жаль, что его нет в Москве, где его моральный авторитет мог бы сыграть огромную роль. Но — Ромэн Роллан? Мы знаем, что он выпустил какие-то интернационалистские книги в Швейцарии, но они до нас не дошли и в точности мы не знаем, что он сейчас собой представляет, кто он и чего хочет. Лучше всего будет, если мы вопрос отложим и не будем связывать себя решением, от которого потом будет неловко...

Вот, приблизительно, что говорила Е. Д. Кускова, при явном сочувствии аудитории. Как будто больше никто речей не произносил. У меня осталось только смутное воспоминание, будто у Н. К. Муравьева было ощущение неловкости, которую можно было толковать по разному: не то он был недоволен непопулярностью предложения президиума, не то он опасался последствий такого поворота в собрании. Ведь легальность Красного Креста, в конце концов, висела на волоске, завися от колебаний в салонах большевистских «либералов» (тогда главный салон был у Каменева, вернее, у его жены Ольги Давыдовны, сестры Троцкого), и не исключено, что «либералы»

добивались избрания в почетные члены именно Ромэн Роллана, чтобы компенсировать, таким образом, избрание Короленко, неуступчивого, бескомпромиссного оппозиционера по отношению к большевикам. Так или иначе, но Кускова провалила тогда Роллана, и собрание воприяло этот шаг, как свою моральную победу.

Вскоре после этого собрания мои отношения с Е. П. Пешковой приобрели тесный и дружеский характер. Мне даже удалось кое в чем быть ей полезным: достать ей обувь. Дело в том, что при всех ее личных и общественных связях, да и при отраженном влиянии Горького на ее судьбе и судьбе сына, как видно, ей приходилось туго. Встречаясь с ней довольно часто, я обратил внимание на ужасно искривленную обувь, не по мерке, которую она носила, и при помощи своих друзей из провинции организовал ей смену. Наши встречи в ту пору, в 1919-1920 годах, не исчерпывались Красным Крестом и совершенно неожиданно скрестились в одном странном полу-театральном учреждении, которое носило и название странное: ХПСРО. Так буквами все это произносили, не зная, что это название скрывает за собою учреждение, в расшифрованном виде звучащее: Художеств.-Просветительный Союз Рабочих Организаций. Об этом ХПСРО я расскажу ниже. Сейчас мне только хочется вспомнить некоторые рассказы Е. П. Пешковой, связанные с ее Красно-Крестной деятельностью. Возвращаясь с заседания ХПСРО, мы не раз обменивались новостями. Однажды Е. П. поделилась своими впечатлениями о Дзержинском, которого часто в ту пору видала. — Я утром сегодня была у Дзержинского. И не скрою от Вас: он меня просто очаровал. Замечательный человек! Прямо не верится, что на его руках — кровь. Вот послушайте, что произошло.

И Е. П. рассказала мне такую историю:

— Вы знаете Х-на, эсера из Земской Управы, который сидел в Бутырках? Он должен был быть освобожден из тюрьмы: ВЧК со дня на день должна была прислать ордер на освобождение. Но в это время произошло такое стечение обстоятельств. Вы помните, что в последнее время заключенные стали ходить за молоком из тюрьмы в один из переулков, возле тюрьмы, и так случилось, что несколько дней тому назад Х. вместе с двумя левыми эсерами и анархистом, под охраной надзирателей, вышли за молоком. Чуть только они вышли за ворота, как один из левых эсеров говорит Х.: «мы сейчас бежим, будет стрельба, бегите тоже». Что оставалось бедному Х? Когда вся группа бросилась врассыпную, и надзиратели,

захваченные врасплох, начали стрелять, Х. тоже побежал. Вы читали в газете о побеге, о раненых. Х. удалось благополучно скрыться, и он заявился ко мне. Что делать? Я решила пойти к Дзержинскому и рассказать все на чистоту. Он выслушал меня и дал слово, что ордер на освобождение Х. не будет аннулирован. — Пусть Х. явится в Бутырки, и я обещаю, что никаких последствий не будет, — сказал Дзержинский. Так как Х. не доверял ему и заупрямился, то Дзержинский напечатал от имени ВЧК об'явление, в котором было подтверждено это обещание. Вы, может быть, читали в «Известиях» курьезное и непонятное об'явление от ВЧК? Словом, что долго говорить? Х. вернулся в Бутырки и на следующий день был освобожден.

2. Интеллигенция. Старые и новые кадры. Литература, театр, музыка, скульптура.

Московские зимы 1918-1919 и 1919-1920 годов были очень тяжки для населения. Даже академические пайки не могли спасти от голода. А холод неотапливаемых квартир? А трамвайная проблема? А обувная проблема? А канализация, которая не действует? Какие только анекдоты не гуляли из дома в дом! Буква «М» исчезла из энциклопедии: ибо, муки нет, масла нет, молока нет, и даже Москвы нет, — вместо нее Третий Рим. Проклинали воблу и гнилой картофель, но благословляли пшенную кашу, которая, воистину, спасла русскую интеллигенцию от голодной смерти.

Но на этом фоне нивеллированной, примитивной жизни, которую власти, как будто, решили довести до уровня пещерного существования, — старые кадры интеллигенции, сопротивляясь, пытались отстоять себя, не сдаться. В литературе это было очень трудно. Ни журналов, ни газет, ни издательств. В книжной лавке писателей за стойкой стояли поочередно: Бердяев, Борис Зайцев, Осоргин. Тоненькие тетрадочки стихов Ходасевича, в собственноручном начертании автора, продавались по 1 рублю за штуку. В нетопленном зале запущенной барской квартиры, затерянной в Арбатских переулках, или в особняке на Поварской (не тут ли жили Ростовы из «Войны и Мира»?) по особым приглашениям устраивались доклады. Маленький, горбоносый, картавящий Гершензон читает манускрипт о Тургеневе. Бальмонт, похожий на Жар-птицу своей золотой гривой и приплясывающей походкой, скандируя, читает не то стихи, не то прозу. И собравшиеся, в шубах, в

теплых шапках, с наслаждением впитывают в себя крепкое вино русской культуры, которая еще не утеряла своей нити преемственности. И вот, увенчанный мудростью и знанием, берет слово в дискуссии Вячеслав Иванов, со старческими морщинами, белый, как лунь, долгогривый, неутомимый диспутант...

Впечатление было такое, что право публичных лекций было монополизировано людьми, у которых было какое-то, хотя бы сомнительное отношение в прошлом к марксизму, вроде П. Когана или В. Поссе: их имена кричали с афиш. П. С. Коган к тому времени был чуть ли не замнаркомом просвещения при Луначарском, крупнейшим литературоведом, — а в памяти неизгладимо сохранилась обширная статья из марксистского журнала «Правда» за 1904-1905 годы, где, как дважды два — четыре было доказано, что свой труд по истории западной литературы Коган просто украл у проф. Н. Стороженки. За Поссе была репутация без морального из'яна, но с оттенком комического, — несмотря на его стаж социалдемократа, долголетнего эмигранта. Так, в Женеве ко времени 2-го с'езда с.-д. он выпустил обширный труд о программе партии. Его оригинальность сводилась к теоретическому обоснованию двух требований для пролетариата: права на безвозмездное пользование театрами и банями. По поводу этих бань, говорили, и произошел раскол между Поссе и социалдемократами и Поссе понесло куда-то далеко в сторону. В Петербурге серьезно утверждали, что в качестве толстовца, он в одной из своих лекций проповедывал в ознаменование юбилея Л. Н. Толстого отказаться от посещения... публичных домов и сбереженные, таким образом, деньги, вносить в фонд кооперации.

Литература была в упадке, новых изданий и книг не было, зато процветали букинисты, к которым стекались в изобилии разворованные или разбазариваемые владельцами частные собрания книг. В сущности, за обесцененные деньги ничего, кроме книг (или отвратительной дряни на Сухаревке) нельзя было приобрести. Но театр и музыка на фоне духовной тоски, которая в первые годы террора скрашивала собою все переживания интеллигенции, были единственным спасением. Трудно об'яснить, как попадали на эти зрелища интеллигенты. Ведь билетов почти не было в открытой продаже: они распространялись через профсоюзы, чтобы сделать театр доступным пролетариату. Но пролетариат явно не интересовался ни музыкой, ни искусством. Это была легенда, что революция открыла двери театров народу: народу было не до того. Это

была иллюзия: видеть в плохо одетых людях в партере рабочих и крестьян. В действительности, интеллигенция давно уже сносила свою приличную одежду и щеголяла, в чем Бог послал, а пролетариат, походивши по театрам, бросил это занятие, еще очень мало говорившее его уму и сердцу. Да одно время театры наполняла матросская и красногвардейская вольница с браунингами, — но это время быстро промелькнуло для лучших театров: возможно, что вкусы этой публики принялись обслуживать недолговечные и диллетантские «революционные театры», возникавшие на окраинах (в которых, между прочим, утолял свои драматические тяготения нарком Луначарский, ставя собственные трагедии «под Шекспира» в белых стихах).

В зените славы был тогда не Художественный, как можно было предполагать, а Камерный театр. У художников было не по себе зрителю: сошлюсь на себя. Я был на «Трех сестрах» Чехова и видел «На дне» Горького. Все было очень благородно, но томительно скучно. Досидеть было трудно! А с новыми постановками просто не ладилось. Мелькнул декоративный, грандиозный «Каин» Байрона, в постановке Леонидова, но скоро, очень скоро выпал из репертуара. И неожиданно блеснул Станиславский созвучной эпохе постановкой «музыкальной оперетки» — «Мадам Анго», с польской артисткой в главной роли, даже говорившей с польским акцентом. Все пожимали плечами, удивляясь, — но от души радовались. Но, серьезно говоря, разве мог МХТ угнаться за молодежью из «Камерного Театра», где Таиров, Коонен, Церетели пленяли и глаз, и слух, — ураганом ярких красок, и не по русски звучавшей, речитативной, почти французской речью, в «Адриене Лекуврер», «Принцессе Брамбилле», в интермедиях и пантомимах.

Людей в эти зимы еще больше нежели в театр, тянуло на музыку, на балет, в оперу — в Большой театр и к Зимину, где пел порой Шаляпин. Однажды в воскресный утренник в большой консерватории, в обледенелой зале, Шаляпин давал концерт, пел Шумана, Шуберта под аккомпанимент рояля. Величественный, огромный, в меховой шубе и высокой шапке, Шаляпин стоял на эстраде, откашливался, громко говорил: «мой орган не в порядке» и пел простуженным голосом на радость аудитории еще и еще — без конца. Симфонические концерты Кусевицкого в Большом Колонном Зале (бывшем Дворянском Собрании) были организованы кооперацией, доживавшей свою независимость. Публика состояла из абонентов, и какое счастье было бывать на этих концертах, при потухшем

электричестве, сидя в пальто или шубе, уноситься мыслью от подлой действительности.

Но уже росли новые кадры интеллигенции, для которых и прошлое, и традиция были лишним балластом, которые чувствовали себя, как рыба в воде, при новом режиме. Впоследствии, пройдя через искус революции, иные из них во многом разуверились и впали даже в отчаяние (Есенин). Но в зимы 1918-1920 годов они озорничали и чувствовали себя победителями, калифами на час. В противовес лавке старых русских писателей была и другая лавка, которая, казалось, совсем недурно учитывала конъюнктуру и подрабатывала. За стойкой стояли Шершеневич, Мариенгоф, Кусиков, — малоизвестные, но шумливые поэты. Им кое-что удавалось даже издавать: какой-то сборник, в котором обращала на себя внимание похвальная ода ВЧК, принадлежавшая перу Мариенгофа. Шершеневич выпустил свою книжку стихов под неожиданным названием, долженствовавшим эпатировать буржуазию: «Лошадь как лошадь» (в публике это название перелагали «по... французски», отчего получалось «Шваль как шваль»). В погоне за сенсацией, эта книжная лавка продавала из под полы и кой-какие «нелегальные» вещи. Помню, М. О. Гершензону каким-то чудом удалось издать книгу своих статей о Пушкине: «Мудрость Пушкина», и по очень неприятному недосмотру, он снабдил предисловие к книге эпиграфом из Лермонтова, ошибочно приписанным Пушкину. Пришлось вырезать из книги предисловие, — но в лавке Шершеневича можно было «за бешенные деньги» купить книгу без купюр. Но кроме сомнительной коммерции молодежь усердно занималась стихами. Возникали школы, направления: эго-футуристы, «ничевоки» и пр. Учреждались кафэ: «Стойло Пегаса» и «Ослиное копыто». Все это было, да сплыло, — как только большевики сочли за благо разогнать все это.

Мне привелось как-то быть на литературном диспуте в Политехническом Музее. Впрочем, это был не диспут, а суд над литературой. Вообще, в залах музея, время от времени, устраивались суды: то над религией, где Луначарский вел диспут о вере и Боге с батюшками, искавшими общего языка с большевиками, то над семьей, где «жрица свободной любви» Коллонтай рассказывала о жизни «пчел трудовых». Вечер, на который я попал, привлек множество народа. Председательствовал В. Я. Брюсов, поседевший, как будто усохший и уже не застегнутый на все пуговицы, как некогда в Литературно-Художественном Кружке. Он же был защитником — против

обвинителей Шершеневича, Есенина, Мариенгофа. Из публики, в результате какой-то выборной процедуры, выделился десяток юнцов, занявших, в качестве присяжных заседателей места на трибуне. Есенин, розовый, завитой, как барашек, оставался в тени, в то время, как от имени всей литературной группы гремел задорным, звучным голосом Шершеневич: «Я обвиняю русскую литературу в саботаже, спекуляции и контрреволюции» — начал Шершеневич, пародируя название грозной ВЧК и вызывая бурю смеха в аудитории. Как обвинение свое обосновывал прокурор, почему акмеизм означал контрреволюцию, футуризм — спекуляцию и символизм — саботаж, я не знаю и не помню. Помню только, что в разгар речей на трибуне раздался зычный бас «с горы», с верхнего ряда амфитеатра: «Я — Маяковский, требую слова» — рычал бас, и медленно, и грузно спускаясь по ступенькам к эстраде, показался Маяковский в поддевке и барашковой шапке, в сапогах. Публике только этого аттракциона не хватало. В гуле аплодисментов, в визге и хохоте, потонул последний смысл этого собрания.

Среди молодых художников, особенно супрематистского направления, тоже было много людей, стремившихся использовать кон'юнктуру. Одно время ходили слухи, что им поручено декорировать Москву, расписать Охотный Ряд, новые вывески раскрасить и пр. Особенное оживление было у скульпторов. Появилась мода на монументы и памятники. Недалеко от Воскресенской Площади были воздвигнуты живописные статуи: «Стенька Разин с персидской княжной», потом «Два друга» (Оказалось, что это Маркс с Энгельсом). К счастью, скоро пошли дожди, обнаружившие всю непрочность материала, из которого памятники были сделаны, — их пришлось снести. Не более долговечным оказался памятник, воздвигнутый самому себе «председателем земного шара», — о чем возвестили на всю Москву огромные афиши. Я видел этого «председателя земного шара»: это был молодой человек, обсыпанный пудрой, вернее, мукой (потому что пудры в Москве и женщины достать не могли), в желтой кофте времен молодости Маяковского, и фамилия его была: Гольдшмидт. Должность, на которую он себя назначил, по своей планетарности ничем не отличалась от должностей и учреждений, которые тогда в мировом масштабе проэктировали большевики.

3. ХПСРО. Дела почти театральные.

Как известно, господствующая тенденция в эти годы сводилась к тому, чтобы «орабочить» все области жизни. Если рабочих нет, то уж, во всяком случае, их именем, их авторитетом покрывать. Интеллигенция против этого не возражала, но и значения серьезного не придавала участию рабочих. Мне, тогда члену Центрального Комитета Всероссийского Союза Служащих (я был делегирован от оппозиции, носившей название сторонников единства и независимости профессиональных союзов), пришлось войти в состав Всероссийского Совета Профсоюзов (ВЦСПС), во главе которого тогда стоял Томский, и таким образом быть в самом сердце организованного рабочего движения. Лишнее доказательство этому дал сам Томский, когда однажды, увидев меня в большие морозы в пальто на рыбьем меху, немедленно затребовал для ВЦСПС десяток меховых курток, при этом приговаривал: «Возмутительно, что цвет российского пролетариата так не по сезону одет».

От ВЦСПС я также входил в особое совещание при Культпросвете, куда были делегированы заведующие культотделами при отдельных ЦК союзов, а отсюда было рукой подать и до культуры, и до искусства, куда полагалось вовлекать цвет пролетариата. Во главе Культпросвета при ВЦСПС стоял ставленник Томского, бывший анархист Новомирский, довольно одаренный, хотя и пустозвонный человек, впоследствии в трудную минуту перекинувшийся к коммунистам. В качестве делегата этого Культпросвета, мне пришлось присутствовать на совещании по реформе высшего профессионально-технического образования. Мы собирались в помещении Наркомтруда. Кроме двух-трех чиновников этого ведомства было несколько профессоров, с серьезным и ученым видом докладывавших нам не только о своих планах расширения сети школ (это бы еще куда ни шло), но и о планах реформирования программ. Нашу делегацию от пролетариата возглавлял А. Лозовский. Он столько же понимал во всем этом, сколько и мы все, и только добросовестно хлопал ушами в ответ на компетентные раз'яснения спецов, которых мне было от души жаль.

Вот это чувство жалости к представителям интеллигенции я испытывал, когда попал от Культпросвета в упомянутое выше ХПСРО. Надо сказать, что в Культпросвете настоящих мате-

рых коммунистов от профсоюзов не было или почти не было, потому ли, что Культотделы были вообще в загоне, потому ли, что коммунистов в верхушках союзов было недостаточно, так что на культотделы их не хватало. Так случилось, что мне привелось встретить в этих совещаниях знакомых и друзей. Бывали в них: Н. Челяпов, от металлистов, Ник. Еф. Эфрос, известный историк Московского Художественного Театра — от водников, А. Ф. Девяткин, от печатников, Ной Подгуг, от банктруда, — вот кого я могу вспомнить. Когда, затем, в качестве представителей от ВЦСПС мы составили пленум ХПСРО, а затем пленум выделил президиум, то в него вошли следующие лица: Челяпов, Подгуг, Эфрос, Александров (не знаю от кого), Смирнов — от железно-дорожников, Константин Фельдман, бывший меньшевик, известный участник «Потемкина» 1905 года — от кооперации, Е. П. Пешкова — секретарь и артист Б. Кащенко — «управдел». В поисках председателя мы остановились на кандидатуре Максима Горького, который, хотя и проживал в Петрограде, но дал свое согласие, ценившееся тогда на вес золота. Что такое ХПСРО, каковы его функции и кому оно нужно, мне долго оставалось неясным, так же как и то, откуда идут деньги, которые нужно платить Пешковой и Кащенко. Но затем, Б. Кащенко, которому, видно, стало невтерпеж обивать пороги, начал жаловаться, и тогда мы решили обратиться за субсидией к отдельным профсоюзам, в ВЦСПС и в Наркомат Просвещения. По моей просьбе ЦК служащих назначил ассигновку, но удалось ли ее получить, не помню.

А теперь о чувстве жалости, которое меня не покидало в ХПСРО. Это чувство было вызвано тем обстоятельством, что в первые наши заседания к нам явились видные театральные деятели Москвы, делились с нами своими планами и подвергали их на наше благоусмотрение. Явился с докладом А. Таиров, руководитель Камерного театра, и провел с нами несколько часов. Приходил Марджанов, один из руководителей закрывшегося тогда Свободного театра, и развивал перед нами разнообразнейшие проекты, — в частности, о создании революционной оперетки. Кажется, от театра Комиссаржевского тоже было сообщение. Не скажу, чтобы мы слушали все эти вещи без интереса. Но что мы понимали в театральных делах? При чем были тут представители пролетариата? И, наконец, какое имело отношение к этому ХПСРО?

Оказывается, мы имели к этому непосредственное и очень близкое отношение. Дело в том, что все театральные дела того

времени были подведомственны Центротеатру, учреждению, состоявшему при Наркомпросе, под председательством Луначарского. Материальное положение театров было отчаянное. Открытой продажи билетов почти не было, да и давала она очень мало. Следовательно, без правительственной субсидии обойтись театрам было никак невозможно, а получение субсидий зависело от Центротеатра, в который, между прочим, входило ХПСРО, в лице своего делегата, кажется, Новомирского. Получение субсидий было сопряжено с неприятностями и сложностями и, в частности, неизбежно влекло за собой назначение комиссара. Уже один такой комиссар — Екатерина К. Малиновская — свирепствовал тогда по Москве. Но другого выхода для театров не было. К этому надо прибавить, что при ограниченности средств, отпущенных Центротеатру, между театрами шла борьба и конкуренция, которая, порой, прикрывалась идейными соображениями. И вот в ХПСРО стало известно, что в этом соревновании победили театры классические, академические, реалистические, — а за бортом оказались новые и модернистские, как Камерный, Комиссаржевского и пр. Так как пролетариат должен был вступиться за интересы «левого искусства», то ХПСРО вменило себе в обязанность защищать эти театры и добиться для них субсидии правительства. Помню, как с этой целью мы были у Луначарского делегацией от ХПСРО. Нас было четверо: Пешкова, Александров, Кащенко и я. Луначарский принял нас очень любезно. Со стены кабинета серьезно глядел на нас портрет Горького. Нам пришлось обождать, так как нарком заканчивал диктовку письма, содержавшего просьбу об отпуске пары галош. Луначарский обещал нам отстоять в Центротеатре интересы левых театров. Впрочем, у него в ту пору было много разных театральных хлопот. В Москве тогда происходил с'езд по Рабоче-Крестьянскому Театру, на котором коммунисты остались в меньшинстве, а лидером большинства был меньшевик — М. Д. Шишкин.

Вокруг судьбы русских театров тогда было много шума. Прямолинейные, ретивые члены Центротеатра, раз от них зависел вопрос о субсидиях, выдвинули мысль о национализации театров: и Художественного, и Малого, и Камерного. Протеста ради был созван митинг московских театралов. Председательствовал Новомирский. Станиславский от МХТ, Южин от Малого выступали с речами. Рассказывают, что Станиславский тоном старого Фирса из «Вишневого Сада» говорил: — Что-ж, раз нам больше не дано служить свободному искусству

театра,пойду младшим делопроизводителем в Химотдел Совнархоза... Была выбрана делегация к Ленину, которой удалось — на долго ли? — отстоять независимость театров.

4. Встреча с М. Горьким.

Деятельность Горького протекала, главным образом, в Петрограде. Там он разрабатывал планы в разных направлениях и для осуществления их привлекал писателей, переводчиков, художников. К этому времени у большевиков еще не было своих «имен» из мира литературы. Приходилось довольствоваться довольно сомнительными и подмоченными именами: Иеронима Ясинского, профессора Рейснера. Потом появились Тан-Богораз и Гредескул. Горький вполне отдавал себе в этом отчет. Сам, после «Несвоевременных мыслей», направленных против большевиков, и после распада организации «Свобода и Культура», в которой он об'единялся с А. Н. Потресовым и др., Горький отошел от политики. Этот его отход большевики пытались растолковать, как своего рода об'явление нейтралитета, и стали за ним ухаживать. В эти зимы, когда террор усиленно свирепствовал, Горький оказался в положении ходатая за бесчисленных арестованных перед ВЧК и, главным образом, перед Лениным. Он жаловался, что его обманывают и обещания не выполняют, но, тем не менее, продолжал обивать пороги, потому что кругом безобразий было очень много, а протестовать и хлопотать было некому. Его приезд в Москву поздней весной 1920 года был, вероятно, тоже вызван необходимостью выручать кого-нибудь из лап ВЧК. Тогда он появился в заседании президиума ХПСРО.

Его внешность множество раз описывалась, но соблазн повторить описание велик, потому что внешне А. М. не был похож на других. Он был очень высокого роста, и когда входил в комнату, то инстинктивно наклонял голову, боясь удариться о притолоку. Был он жилист, угловат, широкоплеч, с длинными усами на мало выразительном лице мастерового, с огромными руками. Вообще, первое впечатление от него было, как от человека примитивного, неинтеллигентного, хотя и с явным пристрастием к книжной мудрости. Одновременно ощущалась в нем чрезвычайно высокая оценка науки и ученых. Эта черта, общая в нем со многими «выдвиженцами» в России, в частности, со Сталиным, и сближала его с большевиками. Но была в нем и еще одна сторона: Горький был русак, до последней косточки русский человек. Это бросалось в глаза на фоне Москвы, где

господствовал и выпячивался интернационалистский стиль. Москва была тогда Меккой для иностранцев и полу-иностранцев русского происхождения.

Было это в момент, когда как раз после длительного перерыва заговорил в России патриотизм: шла польско-советская война, в которой на стороне России, фактически на стороне большевистской власти были все, в частности, вся оппозиция: от Мартова до генерала Брусилова. Даже из Бутырской тюрьмы от группы арестованных генералов во главе с Клембовским поступила декларация о готовности поддержать отечество. Я не знал отношения Горького к полякам, но было много национализма и даже полонофобства в его речах, когда он, председательствуя на нашем заседании и довольно небрежно обрывая ход наших занятий, стал развивать свои собственные планы.

— Вам не понять, — говорил он, — смысла, сущности этой войны. Ведь это спор славян между собой, ведь это наш старинный спор русских с ляхами. Вспомните эпоху смутного времени, когда поляки поставили Лжедимитрия царем на Москве, когда они хозяйничали в Кремле... Мы своей истории не знаем. Образы Ивана Грозного, Годунова, Шуйского — вот что надо подать народу в наших театрах, в наших кинематографах. Смутное время, чехарда царей и властителей, народ, мятущийся, бунтующий, изнемогающий от поборов, от грязи, от невежества, — вот что должно стать сюжетом наших театров. Исторические сцены, в которых сложился наш народ, окрепло наше государство, должны вдохновить деятелей нашего театра. Надо вернуть русскому народу его историю. А вместо этого мы черт знает чем занимаемся...

Мы были застигнуты врасплох. Импровизация Горького, пропитанная ярким национальным чувством, находилась в полном несоответствии с окружающим нас миром. Но авторитет Горького вынудил нас без возражений принять все его предложения. Мы просили его, и он обещал нам, по возвращении в Петроград, разработать свои проекты постановки исторических сцен для театра и кино. Разумеется, из всего этого ничего не вышло. Да и ХПСРО к тому же скоро захирело.

Григорий Аронсон.

ИЗ ТЕАТРАЛЬНЫХ ВОСПОМИНАНИЙ

1.

Жизнь моя в России прошла под знаком увлечения театром. Эту тягу к нему заложила мне в душу Вильна, где прошли мои гимназические годы. Вильна была очень театральна. Ее казенный театр, находившийся в ведении генерал-губернаторского дворца, привлекал лучших провинциальных антрепренеров и артистов. Вильна как бы служила последним этапом на пути актеров и актрис к Петербургу и к всероссийской славе. Туда от нас ушли Коммисаржевская, Бравич, Ге, Далматов. И Вильна же дала России крупнейшего сейчас ее актера, Василия Ивановича Качалова, — Васю Шверубовича, моего товарища-одноклассника по первой гимназии.

Живы в памяти те далекие годы, когда в нас зарождалась страсть к театру. С четвертого или пятого класса гимназии стали мы им увлекаться. Группа гимназистов, во главе с Васей Шверубовичем, подвизалась на сцене в «конвикте», гимназическом общежитии. Изумительный по красоте тембр голоса, уменье владеть им, благодарная внешность с первых шагов отметили несомненный талант Шверубовича. К концу гимназии он пошел проверить его к гастролировавшему тогда у нас молодому, но уже очень известному Орленеву, — спросить, стоит ли ему поступить в драматическую школу. Приняв важную позу со скрещенными на груди руками, знаменитость милостиво согласилась прослушать читку неведомого ей гимназиста. Но уже через несколько минут, прервав Шверубовича, Орленев обнял его и горячо уверил, что талант его несомненен, но что ни в какую школу поступать ему не надо:

— Идите прямо на сцену — театр будет для вас лучшей школой.

Василий Иванович так и поступил. Мы оба зачислились на юридический факультет петербургского университета и, будучи студентом, он начал выступать в маленьких ролях. Помню его выступления в Панаевском театре.

Хотя репертуар нашего виленского театра был всегда чист — иного дворцовое ведомство и не допустило бы, и хотя

хождение в театр ничего не могло принести молодежи, кроме пользы, в смысле общего развития, но на наше увлечение театром гимназическое начальство смотрело недоброжелательно и строго взыскивало с нас за посещение его без разрешения. Чтобы не попадаться на глаза нашей «куропатке», как назывался сухопаренький классный надзиратель с птичьей головой, обычно дежуривший по вечерам в театре, мы иногда забирались в «кукушку» — закрытую ложу, выходившую прямо на сцену. Удовольствие это обходилось нам недешево. Но «куропатка» или гимназический педель «Васька шпион» выслеживали нас и там, и мы платились отсидкой в карцере. А раз мы совершили совсем уже неслыханное «преступление». Как в средние века рыцари избирали себе дам сердца, так мы избрали своим совершенно платоническим театральным кумиром некую второстепенную актрису Стенину, у которой, собственно говоря, не было ни особенной внешности, ни особенного таланта. И вот раз, не помню уж по какому случаю, мы — о, ужас! — пригласили даму нашего собирательного сердца на ужин в гостинницу вблизи театра. Так как поужинать с нею публично мы не могли, то для этой цели был нанят номер в гостиннице, поблизости от театра, где стол был пышно сервирован доступными по цене гимназическому карману деликатессами: колбасой, сардинками, шпротами и бутылкой-другой дешевого вина. Мы чинно поужинали, в заключение расцеловали ручки нашей диве, тронутой нашим юным вниманием, и мирно разошлись в довольно ранний час. Это было в ночь на воскресенье. А утром, когда мы стояли в рядах гимназической церкви, к нам по очереди подошла «куропатка» и зловеще прошипела каждому из нас в ухо сакраментальные два слова: к директору...

Увлечение театром сказалось в рано пробудившейся во мне тяге к литературе. Во все продолжение учения в гимназии я был редактором и «издателем» наших ученических журналов и юмористических, и даже, представьте, литературно-научных. А в седьмом классе я написал первую повесть «Жизнь», напечатанную несколькими фельетонами в «Виленском Вестнике», в которой я, как мог, вывел жизнь провинциальной актрисы с ее горестями и радостями. И героиней написанной на первом курсе университета большой повести «Ната», напечатанной в «толстом» петербургском журнале «Наблюдатель», тоже была актриса. В тот же год я написал первую мою одноактную пьесу, отданную мною во время рождественских каникул на суд директору нашего виленского театра, полковнику Слезкину,

отцу современного писателя Ю. М. Слезкина. Помню содержание этой моей первой пьесы смутно. Сомневаюсь, чтобы это произведение 18-летнего драматурга доставило большое удовольствие зрителям. Аплодисменты, впрочем, были, и я был заражен пленительным ядом сцены. Театр увлек меня навсегда. Попасть с настоящей пьесой на сцену большого театра стало моей мечтой

Она осуществилась лет 11-12 спустя в Петербурге. Пьеса называлась «Перелом». Это была драма на острую тему о земельном вопросе — тогда недавно отгорели «иллюминации» в деревне и отзвучали залпы карательных отрядов. Это было иллюстрировано в моей драме повидимому довольно живо, так как прошла она на сцену Малого театра на Фонтанке изумительно скоро и легко. Режиссировал «Перелом» тогдашний главный режиссер его Е. П. Карпов, превосходный постановщик бытовых пьес и массовых сцен. Если память мне не изменяет, роль члена Гос. Думы - трудовика играл («под Аладьина», тогда знаменитого) ныне здравствующий в Америке Борис Глаголин, роль передовой курсистки играла Рощина-Инсарова, а ее отца, директора департамента, консерватора, старик Бастунов, взявший пьесу в свой бенефис.

Попав в Малый театр, я скоро стал там своим человеком. И когда через несколько лет я, в сотрудничестве с А. А. Шульцем, написал комедию «Несется в высь душа» из жизни немецких студентов после совместного путешествия с ним по Германии, то эта пьеса тоже была принята в Малом театре, но ставил ее уже не Карпов, ушедший в Александринку, а новый главный режиссер Ник. Ник. Арбатов. Эта веселая вещь имела шумный успех и была повторена в следующем зимнем сезоне. Одну из главных ролей в ней играла замечательная актрисса Ек. Павл. Корчагина-Александровская, ныне Народная Артистка СССР, а в числе «и друг.», как значилось в афишах, участвовал только что начинавший тогда свою театральную карьеру любимый ученик Арбатова, М. А. Чехов...

С тех пор меня с Арбатовым связала большая дружба, сохранившаяся и после моего переезда в Америку в 1917 году до самого его трагического конца в 1925 году.

2.

У отца Арбатова, московского присяжного поверенного Архипова, был свой дом на Покровке с оборудованной сценой, и она с ранних лет заложила в Арбатове страсть к театру.

Думая избрать карьеру отца, он поступил на юридический факультет московского университета, а годом спустя, следуя своему влечению к сцене, он зачислился в театральную школу известного режиссера Федотова, мужа знаменитой Гликерии Николаевны Федотовой, которую окончил одновременно с университетом.

Первые годы молодого помощника присяжного поверенного, работавшего у Плевако, прошли в подмосковном селе Абрамцево, этом маленьком сказочном царстве, созданном Саввой Морозовым, откуда вышел Станиславский, где жили и работали Васнецов, Коровин, Врубель, Шаляпин. Подлинное искусство, взлелеянное в этих наших русских Афинах, наложило неизгладимую печать истинного художничества на всех, кто испил живой воды искусства из этого истока русского таланта. Отмеченным такой печатью оказался и Арбатов. Театр вскоре увлек его нераздельно. Адвокатура была оставлена.

Когда Станиславский основал свое московское Общество Искусства и Литературы, Арбатов стал его членом. Когда в этом Обществе зародилась идея Художественного Театра, а помещения для предварительных работ по приготовлению репертуара не было, Арбатов предоставил в распоряжение нового предприятия большой сарай в своем имении под Пушкиным в тридцати верстах от Москвы. Явившись причастным к первым шагам Художественного Театра, он навсегда остался горячим сторонником и проводником сценических идей московских новаторов. Таких смелых сторонников в пору зарождения Художественного Театра в Москве было мало. Идеи художественников встречали скорее осуждение, чем пылкое признание разумной их новизны. И с этих пор за Арбатовым утвердилась репутация «левого, ищущего». Огонь светильника, зажженного в Абрамцеве, он бережно сберег до самой смерти, — театральное мировоззрение, вкусы, понимание задач театра, почерпнутые им из общения с художественниками, он пронес через всю свою театральную работу.

Она началась с режиссуры в Обществе Искусства и Литературы, на сцене которого он заменил Станиславского, когда тот ушел в Художественный Театр. Там Арбатов поставил целый ряд исторических спектаклей. Затем два сезона — 1903-1904 — он работал в Солодовниковской московской опере, где поставил восемь опер, обратив на себя внимание смелостью и новизной принципов оперных постановок. В. Ф. Коммисаржевская первая обратила внимание на молодого режиссера, ищущего новых путей. И после того, как он про-

служил 1905 год у Сибирякова в Одессе, она пригласила Арбатова в свой петербургский театр, где, в расцвет его славы, он работал больше двух лет. Затем, в 1907 году его переманил в свой Малый театр Суворин, и тут Арбатов работал некоторое время с Евт. Павл. Карповым, который был главным режиссером. Оба они были бытовики, кровно связанные с русским бытом особенно, но вкусы у них были разные. Всестороннее знание старых русских нравов выдвинуло Карпова, как постановщика репертуара Островского. А Арбатов, являясь чистейшим «мироискусснником», увлекался бытом историческим. Карпов прославился постановкой «Власть тьмы», считавшейся непревзойденной. Арбатов «Власть тьмы» не любил, считая ее нехудожественной подделкой под реальную жизнь, и мечтал о грандиозной постановке «Сна в летнюю ночь» Шекспира. Карпов же в пьесах иностранного репертуара, особенно в мольеровских, был очень слаб и беспомощен. А Арбатов отличался своей большой начитанностью, и его творческая фантазия поражала смелостью и свежестью. Это выдвинуло его, как серьезного режиссера иностранного репертуара — Гауптмана, Ибсена и других, — и сложных классических драм и трагедий. Самые методы работы у Карпова и Арбатова были разные. У Карпова план постановки выяснялся по мере ее развития и нередко по подсказу актеров. Арбатов же приступал к постановке с готовым планом, тщательно продуманным до мелочей, никогда от него не отступая, но охотно принимая разумные поправки автора или актеров. С ним работалось дружно, приятно (М. А. Чехов, замечательно рисовавший в то время красками по дереву шаржи, выпиливая затем нарисованные фигуры, смешно изобразил Арбатова и меня сидящими за бутылкой пива на сцене и мирно обсуждающими постановку пьесы). Арбатов вел репетиции спокойно, корректно, никогда не задевая самолюбия актеров и не позволяя себе едких замечаний по их адресу. У Карпова была другая картина. Он волновался, выходил из себя, кричал, шумел, напоминая своего «хозяина» Суворина, который, слушая репетицию из партера, выражал свое неудовольствие стуком палки и иной раз самой непечатной бранью даже по адресу актрис из первых.

Предпосылая постановкам каждой пьесы подробно разработанные планы, Арбатов для сложных ответственных постановок приготовлял кроме того макеты для каждого действия — модели в миниатюре расположения декораций и аксессуаров на сценической площадке. Это были художественные шедевры, и многие из них вероятно сохранятся в музеях России, увеко-

вечив имя Арбатова. Особенной славой пользовался его макет келии Иоанна Грозного, приготовленный им почти в натуральную величину для его постановки трагедии Ал. Толстого «Царь Борис» в эрмитажном театре, вскоре по появлении его в Петербурге, заставившей говорить о нем театральный и художественный мир и выдвинувшей его на место главного режиссера в Малом театре по уходе Карпова в Александринку. Для этой келии Арбатов своими руками выковал старинные лампады на тяжелых железных цепях, ларец и другие предметы старины, воспроизведенные с замечательной точностью. После постановки «Царя Бориса» келия эта осталась у Арбатова. Эту «арбатовскую келию» знал весь литературный, художественный и театральный Петербург. Впервые она была установлена в его квартире в Казачьем переулке, где была и его драматическая школа. Новые квартиры, при переездах, нанимались с таким рассчетом, чтобы одну комнату можно было отвести под келью. В ней устанавливались сводчатые потолки, расписанные под старину стены со слюдяными окнами, расставлялась старинная мебель и в числе ее аналой с древним Евангелием. И при свете полночных лампад какие страстные споры по вопросам искусства разгорались тут, какие долгие задушевные беседы велись в этой уютной келии подчас до утренней зари, когда первые лучи солнца, заглядывавшие в келью сквозь слюдяные окна, заставляли бледнеть свет лампад.

К келии обычно примыкала библиотека, насчитывавшая большое количество ценных старинных фолиантов и рукописей, помимо множества современных книг, русских и иностранных, по вопросам искусства, театра и литературы, — Арбатов был страстным библиоманом и коллекционером. Коллекционировал он все, что носило на себе печать подлинной старины, преимущественно русской, но также иностранной, включая драгоценные кружева, шелки, бархаты, набойки, цветные сафьяны и старинные кожи. Эти материалы шли у него на приготовление художественных переплетов для редких изданий: переплеты он любил так же, как книги, переплет должен был выражать характер книги, каждой книге должен был соответствовать художественно им лично сделанный переплет. Этому переплетному искусству он посвящал время, свободное от занятий, т. е. глубокие часы ночи в городе или летние досуги где нибудь в дачной местности, не особенно опошленной дачниками, — в Финляндии или при одной из станций Приморской жел. дороги, поезда которой еле двигались, а посреди старых маленьких вагонов стояли железные самовары вместо печей. Там

у него довольно долгое время была маленькая запущенная усадьба с поэтическим озером среди приволья природы. Было очень сыро, но и очень уютно. Когда не переводившиеся гости раз'езжались поздней ночью, он выходил на крылечко слушать, как спала природа, как просыпалась она, как, просыпаясь, перешептывались листья — он говорил мне, что у каждого дерева свой голос и что он может различать эти «лиственные голоса». Во время летних досугов он также занимался обычно запущенной корреспонденцией с друзьями. Особенно близким письма писались старинной вязью с цветными заглавными буквами, заставками и концовками. Свитки такие, написанные на особой бумаге под пергамент, скручивались, скреплялись печатями на шелковых шнурках и вкладывались в футляры, обтянутые внутри и снаружи старинной набойкой или шелком, и в таком виде посылались адресату. Одно из таких писем особенно художественно исполненное, висело у меня в кабинете на Каменноостровском. Комната была высокая, а развернутый свиток занимал почти все протяжение стены от потолка к полу...

3.

Второй эрмитажной постановкой Арбатова, еще больше обратившей на себя внимание, была драма К. Р. «Царь Иудейский». Многострадальная судьба ее, очень показательная для последних лет романовского режима, знакома лишь немногим.

Постановка драмы на сцене интимного царского театра в Эрмитаже и попытки мои провести драму на публичную сцену были событием, заставившим говорить о себе в последний год перед первой мировой войной и позже «весь Петербург». Насколько это событие привлекло к себе интерес, можно судить по следующей маленькой подробности: «Биржевые Ведомости» просили меня давать им самые последние новости обо всем, касавшемся «Царя Иудейского», хотя бы за час до выпуска газеты — я обычно телефонировал их прямо наборщику на наборной машине в два часа дня, сообщаемое набиралось им под мою диктовку и через час появлялось в вечернем выпуске газеты.

Несколько строк о самом авторе и его драме. В те годы литературный псевдоним К. Р., под которым скрывался вел. князь Константин Константинович, двоюродный дядя Николая Второго, очень им уважаемый, и президент нашей Академии Наук в течение свыше 25 лет, был широко известен не только

в России, но и заграницей по переводам многих его произведений. Кто из любителей поэзии не помнит его «Серенады», его «Роз» — «Во дни надежды молодой», его «Вешние воды бегут» или «Распустилась черемуха», или «Я нарву вам цветов к именинам», его «Плыви, моя гондола» или его «Колоколов»? Кто не слыхал романсов, написанных Чайковским и другими композиторами, на слова его стихов, не очень глубоких по содержанию, но прелестных своей задушевной искренностью, изяществом, напевностью? В своем програмном, так сказать, стихотворении «Я баловень судьбы», написанном, когда ему было 25 лет, — К. Р. высказал свой взгляд на свое поэтическое призвание. Он баловень судьбы от колыбели. Ему от рождения даны богатство, почести, высокий сан. Но он не дорожит роскошью, златом, властью и силой. Есть у него другой дар судьбы, божественный, бесценный. Это — песнь его. Он ею хочет заслужить доверие и любовь своего народа. Когда песни его проникнут в сердца русского народа, он сочтет цель жизни достигнутой. Мечта молодого поэта осуществилась. Уже на склоне лет, гуляя на Воробьевых горах под Москвою, К. Р. услыхал как будто знакомые слова, жалостливо распеваемые под гармошку. Подошли ближе: какой то фабричный в опорках пел-разливался одно из стихотворений К. Р. «Умер, бедняга, в больнице военной». Стихи великого князя, кем то переложенные на музыку, стали любимой народной песнью...

В поисках темы для крупного поэтического произведения, К. Р. поделился своими мыслями с П. И. Чайковским. И тот подсказал ему тему — последние дни и крестную смерть Христа. «Мне кажется, что если с евангельской простотой... изложить эту трогательнейшую из всех историй стихами, то впечатление будет подавляющее», писал Петр Ильич молодому поэту. «Я думал об этом, — ответил К. Р., — и когда нибудь, Бог даст, исполню эту задачу, но теперь я еще не дозрел для такого великого труда». Предупреждая поэта об огромных трудностях, ожидающих его, если бы он взялся развить грандиозную тему эту в крупном произведении, Гончаров, однако, благословил его план, самого Гончарова устрашавший. «Если... план зреет в душе поэта, манит и увлекает в даль беспредельного, вечного сюжета, значит, надо следовать влечению и творить», писал он К. Р.

Сюжет вынашивался двадцать пять лет. На Страстной неделе 1912 года К. Р. закончил последнее действие своей драмы. Что гражданская цензура, а тем более цензура духовная, не пропустят ее на сцену, было совершенно очевидно — духов-

ные темы были безусловным табу для театральных пьес. Поэтому автор представил драму на суд самого царя. Николай Второй был очень умилен ее возвышенным содержанием, нашел, что пьеса может произвести лишь благотворное влияние на зрителей и дал К. Р. согласие на представление ее в театрах.

Согласие одного царя оказалось недостаточно. Царица, Распутин и реакционные элементы синода встали на дыбы. Мотивом было: театр, ставящий пьесу, производящую глубокое религиозное впечатление на зрителей, может явиться слишком сильным соперником церкви. Да и как было допустить, чтобы со сцены раздались такие сильные слова, пусть относившиеся к далекой исторической эпохе:

...Священники!? Да вдумался ль, Иосиф,
Ты в то, что сделали они
С божественной истиною этой?
Они упрятали ее в Святая
Святых за пышнотканную завесу
И, в серебро и злато заковав
И драгоценными убрав камнями,
Заволокли кураньем фимиама...
...Народ! Он проклят! И пускай невеждой
В законе будет он...

Царю пришлось взять обратно согласие, данное любимому «дяде Косте». Однако, он нашел компромис. Драму разрешено было поставить за счет императорских театров на сцене Эрмитажного театра с допуском избранной публики, но даваться она должна была не под названием спектаклей или представлений, а под названием «генеральных репетиций»...

Арбатов был приглашен режиссером, Глазунов взялся написать музыку, — увертюры, финалы и т. д. Фокин был приглашен поставить балетный номер — пляску сирийских рабов и рабынь во время пира у Пилата.

Задача, предстоявшая режиссеру, была огромна. Особенно трудна она была по двум причинам. Первая трудность заключалась в том, что пьеса требовала грандиозной постановки, с огромными толпами в массовых сценах, и монументальных декораций, а сцена интимного и удивительно уютного Эрмитажного театра мала. Вторая главная трудность заключалась в том, что главные роли, кроме роли Иосифа, которую исполнял сам автор, должны были играть профессиональные актеры и

актрисы, артисты Александринского и Малого Театров, а следующие за главными и второстепенные роли были распределены между любителями, — офицерами Измайловского полка, в котором автор проходил раньше свой военный стаж и на клубной сцене которого не раз выступал вместе с любителями офицерами. А многочисленную колоритную восточную толпу должны были представлять солдаты, привыкшие держаться перед начальством в струнку.

Опыт и блестящая фантазия выручили Арбатова. Были стены и дворцы, производившие монументальнейшее впечатление. Была масса воздуха и даль. Ценою бесконечных черновых репетиций удалось сбить хороший ансамбль и вышколить толпу из трех-четырех десятков солдат, производивших впечатление сотен, благодаря постоянному их движению. Уже на черновых репетициях пьеса производила потрясающее впечатление, увлекая одинаково верующих и неверующих, христиан и нехристиан драматизмом действия, вызывая искренние слезы чистотой своей, романтизмом некоторых положений, а, главное, вдохновенной игрою самого автора, уже опытного актера любителя, в роли Иосифа превзошедшего самого себя.

После многих черновых начались «генеральные репетиции» с публикой, которые ничем не отличались от настоящих спектаклей, кроме того, что впереди первого ряда кресел все еще продолжал стоять длинный столик для четырех-пяти лиц, имевших непосредственное отношение к постановке и следивших за сценическими недочетами. Публика допускалась с большим разбором по особым пропускам, выдаваемым заранее. Театралы считали большим счастьем попасть на эти «генеральные репетиции». Некоторые приезжали для этого из далекой провинции, даже из заграницы. Но вместимость Эрмитажного театра не превышает трехсот мест. Попасть на «генеральные репетиции» удалось трем-четырем тысячам, а видеть драму хотели десятки тысяч.

После того, как прошло с дюжину «генеральных репетиций», разрешено было дать еще одну специально для представителей прессы, и задача распределить места между ними была возложена на меня. Что творилось в эти дни в моем редакторском кабинете! Печать, в том числе кугелевский «Театр и Искусство», дала блестящие отзывы без утрировки и о самой пьесе, и о гигантской работе Арбатова, и об игре автора, профессионалов и любителей, отнюдь не портивших ансамбля.

После этого спектакля с прессой, наш столик впереди партера убрали, и автор пригласил царскую чету: посещение ее должно было решить вопрос, увидит ли драма публичную сцену.

Николай приехал один... Он был потрясен драмой, сидел, непрестанно теребя свой левый ус и еле удерживаясь от слез. Он хотел говорить в антрактах с Арбатовым и не мог — так он был взволнован. По окончании пьесы, он говорил с ним долго, восторженно отзываясь о пьесе и ее постановке. Но разрешения на постановку драмы на публичной сцене не последовало. Спектакль, посещенный царем, был последним.

Колоссальному труду Арбатова и огромным расходам — постановка обошлась тысяч в 60-70 — предстояло пропасть даром. У пьесы отнималась всякая возможность увидать публичную сцену. А она уже распространилась по всей России в нескольких изданиях от полтиничного до художественного 20-рублевого, которыми я руководил, в десятках тысяч экземпляров, уже переводилась на несколько иностранных языков и постановка ее уже была об'явлена в Праге. Константину Константиновичу прозрачно намекали, что провести драму на сцены императорских и частных театров было бы очень легко, если бы он поговорил с Распутиным. Он с негодованием отверг такие советы.

Драма была запрещена к представлению, но о чтениях ее на сценах театров запрет не упоминал. Многие провинциальные антрепренеры воспользовались этим и стали устраивать чтения «Царя Иудейского» на сценах своих театров, собирая битковые сборы, при чем в некоторых случаях чтения чередовались с пошлыми фарсами. Министерство вн. дел воспользовалось этим предлогом, чтобы запретить и чтение навсегда. Тогда, как лицо, стоявшее близко и к постановке драмы в Эрмитаже, и к изданиям ее, и к автору, я возбудил перед министром вн. дел ходатайство о предоставлении лично мне права устройства чтений драмы на петербургских театрах, с тем, что сборы с чтений будут поступать полностью на помощь военно-раненным — война тогда уже началась. По всеподданейшему докладу министра разрешение такое было мне дано при условии соблюдения мною ряда мелочных требований. Так, указывалась форма одежды для исполнителей — застегнутые черные сюртуки для актеров и закрытые белые платья для актрис; все участвовавшие в чтениях должны были сидеть у одного длинного стола и читать роли по книгам, отнюдь не

декламируя их по подачам суфлера. Всякие движения исполнителей, жесты и т. п. запрещались. И т. д.

Артисты Александринского и Малого театров охотно откликнулись на мой призыв принять безвозмездное участие в чтениях. Теляковский дал мне разрешение на участие в них своих артистов импер. театров. Начальник придворного оркестра, барон Штакельберг, предоставил мне для чтений свой оркестр. Режиссировать чтения я пригласил Арбатова, а позже режиссера Александринского театра А. И. Долинова. Для устройства их я законтрактовал театры имп. Михайловский, Музыкальной Драмы и Народного Дома.

Чтения при переполненных театрах имели огромный успех. Полиция строго следила, чтобы я не допускал отступлений от правил министерства вн. дел. На каждом чтении присутствовал местный полицмейстер или пристав. Бывали случаи, когда меня пытались привлечь к ответственности. Так, например, когда чтение шло в Народном Доме, А. И. Долинов упросил меня допустить маленький эффект в сцене пира у Пилата, когда на Голгофе завершается трагедия мира и разражается гроза, — позволить мигнуть ручным электрическим фонариком на сцену и пустить легкую трель на придворном турецком барабане в оркестре, дав таким образом отдаленное понятие о молниях и громе. Не успел занавес опуститься после этой сцены, как пристав Крылов (кстати сказать, первым убитый в Февральскую революцию), подошел ко мне и попросил в контору, чтобы составить протокол о нарушении мною обязательных постановлений правительства. Конечно, дело уладилось; очень уж оно было глупо.

Постепенно отступая, таким образом, от строгих правительственных правил, мы стали приближать чтение драмы актерами к игре их. Мало по малу, они начали жестикулировать, декламировать роли под суфлера, хотя с книжками в руках, и двигаться по сцене соответственно авторским ремаркам, т. е. играть. В это время граф А. Д. Шереметьев, владелец известного симфонического оркестра и дирижер его, генерал свиты его величества, очень интересовавшийся моими попытками провести драму на сцену, предложил мне сотрудничество в смысле участия в чтениях со своим оркестром. В конце 1916 года «чтение» шло с его участием на сцене Михайловского театра, переполненного до отказа. Это уже была настоящая игра с некоторыми декорациями, хотя артисты были все еще в черных сюртуках, а дамы в белых платьях, и все с книжками в руках, что, разумеется, производило очень странное впе-

чатление. После этого мы решили пойти еще дальше — добиться костюмов для артистов и отнять у них книжки. Слухи об этом распространились и билеты на спектакль, назначенный на конец февраля в том же Михайловском театре, были расхватаны по бешеным ценам задолго до представления. Между тем, у министров шли разговоры с царем в ставке по прямому проводу о том, какие бы нам дать костюмы — это-то в те катастрофические дни, когда готовилось крушение империи. Наконец министр вн. дел об'явил нам всемилостивейшую резолюцию: государь разрешил одеть наших актеров и актрис в легкие бесцветные хитоны. Мы их поторопились заказать, но революция «сорвала» наш спектакль.

На этом мои попытки провести «Царя Иудейского» на сцену публичных театров оборвались. Уже перед самой Октябрьской революцией и после нее при большевиках Арбатову удалось поставить запрещенную царской цензурой пьесу во всем прежнем блеске эрмитажной постановки.

4.

В завершение кратких биографических данных об Арбатове, коснусь, хотя бы мельком, его деятельности педагогической и кинематографической.

Он начал свою педагогическую деятельность в Москве еще с 1897 года, преподавая художественное чтение и выразительную речь, и одним из первых его московских учеников был Л. В. Собинов. Ту же работу, включая преподавание драматического искусства, он продолжал по приезде в Петербург в школах Суботиной, Юрьева, Полака, в Музыкально-драматическом училище Заславского, в школе суворинского Литературно-художественного Общества и, наконец, в собственном Театральном Училище, открывшемся в 1910 году. Оно дало ряд известных артистов: М. А. Чехова, Боронихина, Сафронова, Студенцова, Мириманову и многих других.

После революции деятельность эта возобновилась с новой энергией. Он основал драматическую студию при Государственном Народном Доме, Школу Инструкторов Театрального Дела при Пубалте, Драматическую Студию Цектрана, преподавал в студиях Пролеткульта, пять лет состоял преподавателем Школы Русской Драмы имени В. Н. Давыдова при б. Александринском театре и читал лекции в Институте имени Герцена.

Арбатов был одним из первых пионеров кино-дела в России, начав увлекаться мыслью о кино-сцене еще во времена режиссерства в Малом Театре, когда он усидчиво работал над детальным сценарием Гайаваты Лонгфелло. Вскоре после октября Луначарский привлек его к участию в Художественной комиссии при Фотокинокомитете для разработки программы школы экранного искусства. В основание ее легли мысли Арбатова. Про нее говорили, — «это не школа, а настоящий университет», т. к. помимо чисто специальных предметов, как кинотехника и техника сценария, в программу ее входил целый ряд общеобразовательных предметов. Позже и вплоть до своей роковой болезни в 1925 году Арбатов вел в ней класс кинопостановок и был режиссером. Известная провинциальная актриса А. Я. Глама-Мещерская так рассказывает о времени основания школы в своих «Воспоминаниях»:

«Еще Петроград жил на бивуаках, еще мы сидели на голодной «осьмушке», еще бездействовали телефон и трамвай, когда однажды ко мне, с мешком за плечами, откуда виднелась добрая краюшка хлеба, завернул Арбатов. Ходок он был плохой: сердце мешало и одолевала одышка. Однако, теперь Николай Николаевич вспомнил предписанный ему врачами ежедневный моцион и «тренировался» на дальние прогулки. Он сильно похудел, но выглядел молодцом, был весел и жизнерадостен. Ко мне он заглянул, чтобы сообщить волновавшую тогда его новость: Луначарский привлек его к работам Художественной Комиссии при Фотокинокомитете. На очереди стояла разработка проекта школы экранного искусства. Подобных школ не только не было у нас в России, но и во всем мире».

Основанная в 1919 году при его ближайшем участии школа экранного искусства, позднее преобразованная в Институт экранного искусства, а затем в Государственный техникум, в 1926 году была влита в состав Кинотехникума, как одно из его отделений, которое затем было передано в общий Техникум сценического искусства, давший много прекрасных кинопостановок. Некоторые из них считаются лучшими в мире. Мы их видели в Америке. В основании их лежит немалая доля заслуг Арбатова.

В конце апреля 1917 года я с женой неожиданно получили приглашение поехать в Америку с Чрезвычайной Миссией. Предполагалось, что к осени мы вернемся в Петербург. Ехать

мне не хотелось. Арбатов меня уговорил. Как потом оказалось, уговаривая меня воспользоваться таким исключительным случаем прокатиться вокруг света, он сам же в душе укорял меня за мою податливость соблазну. Прощаясь с Арбатовым у нашего экстренного поезда на Николаевском вокзале, уносившего нас в Владивосток, мы обменялись надеждой свидеться осенью. Октябрь застал нас в Вашингтоне. Пути в Россию были отрезаны. Мы больше никогда не увидались.

Прошло почти пять лет, пока между нами установилась постоянная переписка. Письма пропадали. Узнав, наконец, из газет о месте его работы, я написал туда. Он ответил восторженно:

«Здравствуй, мой милый Nicolas, мой «Мон-Бон» — помнишь? Получил Твое письмо и просто как то растерялся: такая масса воспоминаний, мелких и серьезных, горестных и радостных, давно забытых, невспоминаемых и вдруг так ощутимо воскресших, нахлынула на меня, что я сразу даже не решился взяться за перо...

«Помнишь, мы тебя провожали на Николаевском вокзале. Грешен — сознаюсь: я немного осуждал тебя: зачем едет в такое время, бросает наш милый Питер, бросает всех и все. Не легкомысленно ли это, — думалось мне! Не любит он Питера и все родное, — как будто обижался даже я в душе! Но теперь скажу тебе, какая ты умница и какой молодец, что не упустил случая отойти от зла и сотворить тем благо. Я считал себя тогда скептиком, но, к сожалению, был и более самонадеян, чем ты; ты лучезарнее смотрел на все и рисковал — и как это было умнее! Ты любил Питер — я в это верю. Но то был же и «Питер»!! А теперь, что осталось от него?! Сердце содрогается, во что он превратился! Знаешь, он напоминает мне старого, обедневшего фата-селадона, но bien tenu. Он комичен, смешон этот господин, но и безумно жалок. Знаешь, так глубоко, по-детски, наивно жалок, до замирания сердца, но теперь-то, теперь я его еще больше люблю, болею за него и с такой нежностью отношусь, памятуя этого красавца, этого льва, что порой готов плакать, в особенности весной или летом ночью на Троицком мосту при свете луны, или рано утром. Да, много пострадал этот счастливчик когда-то, этот баловень фортуны. А с ним вместе, конечно, и мы, питерцы».

Давая подробный отчет о своей деятельности, Арбатов рассказывал о постановке им «Царя Иудейского».

«Первый сезон 1917-1918 года был, пожалуй, для тебя самый интересный. Меня пригласил к себе на зиму Незлобин, который снял театр на Офицерской улице, бывш. Коммисаржевской. Там в первую голову, пользуясь «свободами», я возобновил «Царя Иудейского». Мы достали все декорации, бутафорию и костюмы; конечно, теперь все это погибло, кроме, кажется, костюмов, которые вернулись в костюмерные Академических Театров. Труппа была хорошая: Иосифа играл Рудницкий, очень талантливый артист, но, увы! конечно, так сыграть, как играл К. К., он не смог; не было того необычайного священнодействия, того экстаза творчества, того вдохновения, того умиления в исполнении. Иоанну играла Юренева — тоже не было чистоты, ясности, восторженности и поэзии. Прокулу — Миткевич, ну эта была так себе. Остальные все были не хуже, чем при первой постановке, но во всяком случае не лучше, кроме лишь Никодима, которого играл Глинский (помнишь — мой ученик?). Его Никодим вырос в такую громадную фигуру, что становилось даже жутко. Ставили мы пьесу очень долго — около двух месяцев. Пришлось ведь переделывать пол сцены, ибо она оказалась меньше сцены Эрмитажа. Начали играть в начале октября (1917 г.) и сыграли до Великого поста 78 ежедневных представлений. Это было в разгар Октябрьской революции. На спектакли и репетиции приходилось порой ездить под обстрелом пулеметов и ружейных залпов, и вообще в обстановке весьма жуткой, но тогда мы так привыкли к выстрелам и проч., что как то незаметно это проходило, мы и не придавали значения, хотя всякий раз, уходя из дому, в голову приходила мысль, вернусь ли я еще домой, или нет».

Мог ли думать К. Р., когда писал свою драму, что потребуется революция, чтобы «Царь Иудейский» увидел свет рампы на публичной сцене, и что невиннейшая пьеса его, проповедь любви и мира, пойдет под ружейные залпы и трескотню пулеметов? Несмотря на такие мало благоприятные для пьесы условия, она сделала 78 рядовых представлений, — значит, имела большой успех, и ее перевидало тысяч восемьдесят зрителей, в том числе много простого народа, со времени революции представлявшего главный контингент театральных зрителей. Если бы К. Р. был жив в то время, он мог бы почувствовать себя удовлетворенным. Но его уже не было. Он умер еще в июне 1915 года от грудной жабы. И быстрому развитию его болезни много поспособствовали волнения, пережитые им в связи с запрещением его драмы...

Вскоре после моего от'езда, Арбатов вступил в Народный Дом в качестве главного режиссера драматического театра. «Это была большая работа», писал он, «трудная, ибо дело развалилось, труппа расхлябалась; конечно, образовались партии, которые из своих корыстных видов считали нужным враждовать между собою, прикрываясь политикой и убеждениями революционеров, а попросту пытались ловить рыбку в мутной воде. Трудно было сладить, трудно было наладить дело так, чтобы первой целью и заботой в деле было искусство, и порою я до сих пор недоумеваю, как удалось примирить враждующие партии и отдельных членов, создать хороший, серьезный «не специфический» репертуар, вполне литературный, и добиться сравнительно хорошего и стройного ансамбля и исполнения. Но вступает на должность комиссара Мар. Фед. Андреева, жена Горького, и все дело стало шататься все более и более. Это был какой то разгул фаворитизма, вакханалия протекционизма при необычайном самовластии Тита Титыча — чего моя нога хочет!... Сия деятельница начала вмешиваться во все и вся всех театров, помешалась на новшествах, издекадентилась, дурачили ее, конечно, все ловкачи, как хотели, а дело и вообще дела гибли, гибли и гибли. Все же я продонкихотствовал в Драматическом Народном Доме целых три года и не жалею об этом. Конечно, многого и многого хотелось бы, приходилось сокращать свои аппетиты, но были и увлекательные постановки: «Свет и во тьме светит» Л. Н. Толстого — в первый раз в России (да, кажется, и везде вообще — она нигде не шла), «Павел I» Мережковского, полностью, со всеми новыми декорациями, костюмами, бутафорией и реквизитом. Пришлось итти и на уступки и ставить, например, квази народный «Сполошный зык» (из жизни Стеньки Разина)... Остальные пьесы ставились всегда тщательно и к концу третьего года театр окреп, посещаемость увеличилась, но Мар. Фед., признававшая только свой «Большой Драматический Театр» (как Андреева назвала Малый театр, утвердившись там. **Н. Г.**), стала теснить во всем наш, да и другие театры, сократила труппу, технический персонал, лишила материальной поддержки в постановках и проч., и я больше не мог воевать, да и бессилен был перед ней, и стал толкаться в Александринский Академический Театр, куда давно мечтал попасть, но никак не мог по целому ряду обстоятельств. Вскоре мне это удалось, и вот я уже там два года. Конечно, это все-таки театр, а не то, что стали теперь все театры. Конечно, тут теперь собрались все лучшие силы артистические. Но, к сожалению, управляется

театр рутинерски-трафаретно, по якобы традициям, а на самом деле просто небрежно. Нет горения, нет духа, нет жизни...».

Неудовлетворенность работой, масса ее, недостаточность оплаты, полуголодное существование, необходимость «халтурить», чтобы и такое существование поддержать — все это начало приводить Арбатова в отчаяние.

«Придешь домой часов в 11, 12 ночи, так даже шатаешься, ибо все на ногах, а передвижений у нас почти нет... Главное же — время, его так мало, так его много уходит на одни передвижения. Когда же готовиться самому, почитать, поискать материала, пофантазировать, почертить, обдумать — некогда!! И вот, благодаря опыту, да иногда всетаки некоторому под'ему, не говоря уже о вдохновении, шпаришь, à livre ouvert, пьесу за пьесой, акт за актом, и выдаешь это за «искусство». О, Боже мой, Боже мой — и самому то как то стыдно и больно, и противно и гадко, и грустно и безнадежно! Да, иной раз и вспомнишь времена — постановки «Царя Иудейского» и проч. того времени, хотя бы «Несется в высь душа»: тогда «неслась душа», тогда жила, парила, царила «псюхэ» и как это было дивно-хорошо! Ты понимаешь мой ужас! Мне кажется, что я перестал быть художником!! Что это такое — утомление мозга, или истощение творческой способности? Я начинаю приходить к заключению, что я уже сделал все, что полагалось на мою долю...».

Жизнь стала тяжела, но о том, чтобы покинуть Россию он и думать не хотел.

«Меня очень трогает, что ты всерьез проектируешь мой приезд в Америку, но это же мечты», писал он в том же письме, датированном июлем 1922 года. «Это же невозможно и невероятно! Ты знаешь, еще возможно было бы под сильным впечатлением, с отчаяния, вдруг все бросить или головокружительно распродать и уехать совсем, навсегда, порвав окончательно с своим отечеством, но я то лично не в состоянии был бы на это решиться. У меня не хватило бы сил расстаться с Россией, а тем более теперь на склоне лет (ему тогда было 53 года. **Н. Г.**). Мне думается даже, к тому еще читая и твои письма о твоей тоске по родине, что одна мысль покинуть все родное наоборот еще крепче привяжет меня к дорогому Питеру. Если я не решаюсь оставить Питер и переехать на юг, например, в Крым, который буквально обожаю, то променять Питер на Америку, да сохрани Боже!! А вот просто прокатиться, погостить у тебя месяц — это было бы наслаждение...».

Следующая зима и лето прошли без всякого отдыха. «Целое лето, не отдыхая, я вел Народный Дом, как заведующий художественной частью всего этого обширного дела. Дела шли, слава Богу, у нас великолепно (только у нас), а потому решено было увеличить и расширить дело на зиму, вплоть по переделки самого театра — ты его теперь не узнал бы, он отделан в тех же тонах и вообще деталях, как Михайловский театр. Одновременно с этим — школа бывш. Импер. Театрального Училища, Педагогический Институт на Сергиевской улице, когда то основанный по моему плану и программе мною же, но потом покинутый мною, когда начальство вздумало изменять мою программу. Теперь там начальство переменилось и restitutio in integrum: оно, т. е. начальство, явилось опять ко мне с просьбой взять в свои руки свое детище, жалко стало чего-то, — я и взял. Ну вот, ты и посмотри, сколько работы, а тут еще открытие сезона в Государственном Академическом Драматическом Театре».

Педагогический Институт помещался у Таврического сада, и ходить туда и обратно пешком с Каменноостровского против Лицея, где Арбатов жил, было уже ему совсем не по силам. К тому же холод зимою в роскошном особняке, с огромными великолепными залами, где помещался институт, бывал такой, что вода замерзала в стакане. Все это к осени 1923 года совсем подорвало силы Арбатова. А тут вдобавок «открыть зимний сезон (в б. Александринском театре) задумали помпезно — Шекспиром» и к тому же его «Сном в летнюю ночь», о постановке которого Арбатов мечтал с тех пор, как я его знал. Теперь мечта его осуществлялась, начальство театра пошло ему навстречу, и постановка была задумана широко: «Все новое, — декорации, костюмы, парики, бутафория, реквизит, балет, оркестр под зонтом, как в Эрмитаже, и т. д. Оставалось до открытия только 5-6 дней и...». И Арбатов заболел. «Да, милый друг, не везет! Сколько лет мечтал о хорошей постановке этой хорошей пьесы, наконец был близок к этому, и не удалось довести до конца. Безумно жаль! Фатально!...».

Несколько оправившись, он вернулся в театр, а позже в школу на Сергиевской, но это был уже не тот человек, как писали мне. Болезнь наложила следы, он дряхлел. Однако он все же не сдавался, бодрился, надеялся, что еще сможет вернуться к прежней кипучей деятельности, думал, что встряска может ему в этом помочь. Поэтому он ухватился за высказанную мною ему раньше мысль попытаться устроить его поездку в Америку для постановки «Царя Иудейского». Но

он сомневался, чтобы я нашел американского «продюсера», который пошел бы на большой расход по выписке его и оплате режиссирования для постановки только «Царя Иудейского». «В виду этого, для осуществления вообще этой комбинации— прокатиться, хотя бы на лето, в Америку и повидаться с тобой, хорошо бы придумать две-три других постановки одновременно с «Царем Иудейским». А пьесы такие, как «Царь Иудейский» сейчас найдутся, именно — исторические, зрительные, костюмные, красочные с народными сценами. Возьми хотя бы последние пьесы, поставленные мною за 3-4 года, например, «Павел I» Мережковского, «Петр III» Боцяновского и его же «Патриарх Никон». Затем, мне кажется, что если бы ты нашел продюсеров, которые предприняли бы поездку с русской труппой на русском языке (к сожалению) по нескольким городам Америки, по примеру Художественного Театра, то можно бы списаться и сговориться прямо привести Народный Дом с своими декорациями, костюмами и реквизитами, тогда, мне кажется, это могло бы сделать «бум», хотя бы и с 4-мя пьесами, ибо считая по два раза каждую пьесу, т. е. 8 пьес в каждом городе, в два месяца всего в пяти городах можно дать до 40 спектаклей. Конечно, это все некоторые соображения, но мне кажется, что они осуществимы в виду успеха сейчас русского искусства в Америке, а я именно и предлагаю исключительно все русское в области изобразительного искусства».

План был неосуществим. Народный Дом и артистов его в Америке не знали. Театральные люди сомневались, чтобы большие расходы по выписке мало известной труппы оправдались. Я написал об этом Арбатову. Он уже загорелся желанием с'ездить в Америку и у него созрел новый план. В конце января я получил от него каблеграмму, в каторой он от имени труппы Александринского театра официально просил организовать поездку ее в Америку. Увы, как мне ни хотелось наладить эту поездку, но план оказался неосуществимым: в последний свой приезд Московский Художественный Театр имел хороший художественный успех, но весьма посредственный материальный. При таких условиях выписать Александинский театр желающих среди нью-иоркских продюсеров не нашлось.

Потом стали приходить тревожные отрывистые новости: к лету 1925 года Арбатов снова заболел, лишился всяких заработков, с августа стал лечиться у профессора Осипова, но ему становилось не лучше, а хуже. В конце августа я получил

от него последнее коротенькое письмо, написанное карандашом, дрожащим почерком, мало связное и очень жуткое по содержанию: мысли моего бедного друга уже путались... Месяцев шесть спустя, в конце февраля 1925 года, пришло письмо с очень тяжелыми вестями от жены его, Екатерины Евгеньевны: ее бедный Николушка почти лишился рассудка, проф. Осипов определил: болезнь головного мозга, склероз сосудов его. Места в Александринском театре и других занятий больной, конечно, лишился. Средств на лечение не было никаких.

Прошел еще год. Вести приходили одна печальнее другой. Болезнь прогрессировала, нужда — тоже. Очень многочисленные друзья понемногу забыли больного — такое было время. Один М. А. Чехов вспомнил старого учителя и приехал из Москвы дать спектакль в его пользу. Мне об этом писала очень этим тронутая Екатерина Евгеньевна.

А в ночь на 21 марта 1926 года моего друга не стало...

Ник. Гиевский.

ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ

Большая, неярко освещенная комната. Один, в глубине, сидит Соловьев. Высокая, худая фигура кажется сложенной в кресле; сухие, длинные пальцы с резко очерченными суставами скрещены на острых поднятых коленях, — и весь он застыл в недвижности. Мягкая тень слегка раздвоенной, посеребренной на концах, заостренной, не очень густой бороды — лежит на узкой его груди. За непомерным лбом лежат длинными прядями тронутые сединой волосы, и густые брови нависли над темными веками. Широкие, неясно очерченные губы плотно сжаты. Но все это только рамка, только прекрасный фон для того, что составляет сущность его облика: его глаз. Сквозь полуопущенные ресницы сияют в полутьме комнаты звезды его глаз, серо-сине-зеленых, единственных в мире глаз. В них. как в небесный свод, можно было смотреть часами.

Таким навсегда запечатлелся Владимир Соловьев в моих первых младенческих воспоминаниях, на грани просыпающегося сознания.

Когда глаза его навсегда закрылись, многим показались схожими с ними глаза его сестры, Поликсены Сергеевны Соловьевой, — поэтессы Аллегро. Но при его жизни было видно несходство. У Поликсены Соловьевой разрез глаз был круглее и хотя цвет их был в той же серо-синей гамме, но без необычайного соловьевского сияния: у нее взгляд был ласково-тихим и горестно-умным даже в смешливые минуты, а свет глаз был нежно матовым, как под хрустальным, непрозрачным абажуром. У Владимира Соловьева взгляд был стремительно-яркий, будто озаряющий все вокруг. И под этим светом его глаз, — в часы молчания устремленным внутрь, в тишину его мыслей, — было блаженно притаиться в бессознательном детском упоении.

Соловьев был близок с отцом, бывал часто и если не заставал отца дома, то глубоко садился в кресло, погружался в задумчивость и дожидался его один, почти не замечая окружающего. Тогда можно было, прокравшись в уголок и боясь шевельнуться, созерцать его, как небывалое видение, инстинктивно вбирая на всю жизнь неизгладимые его черты. Было

что-то настолько притягательное в его молчаливом облике, что в беззвучной тишине останавливалось как будто и время. Соловьев мог молчать часами, но это молчание не создавало преграды, а лишь обостряло внутреннее общение с ним. Оно было действенным и создавало вокруг него незабываемую, питавшую душу, атмосферу.

Он представлялся мне существом необычайным, которого нельзя даже сравнивать с другими. И голос его, приглушенный на низких полу-гортанных нотах, и легкая его походка на высоких тонких ногах, и взгляд, и улыбка — все было отдельным, ему одному свойственным. И каждое слово, каждое движение, казалось, имело особое значение. Когда, прежде, чем сесть за стол, Соловьев, после мгновенной сосредоточенности, осенял себя широким крестом, была во всей его фигуре величавая торжественность, которая врезалась в память.

Необычайным, как будто пришедшим из другого мира, был его смех, которого не забыть тому, кто его слышал. Громкий, заливчатый на верхних нотах, звонкий, как серебряный колокол, смех Соловьева обладал странною силою, разрушая окружающую повседневность: он не заражал, а восхищал, давая чистую радость. — И тут тоже, пленительно-душевный, кристального звука, смех его сестры, Поликсены, был, после смерти Соловьева, отдаленным о нем схоже-несхожим воспоминанием.

Но раз смех Соловьева причинил мне невольную горесть. Соловьев пожелал присутствовать при детской игре в театр, когда заранее сочинялась лишь схема, а слова импровизировались во время действия, на подобие итальянской Коммедиа делл Арте. Ради такого исключительного случая, была на этот раз придумана сильно драматическая тема, с борьбою влюбленных соперников, дуэлью и внезапным появлением девицы, которая бросалась между стрелявшими, сама нечаянно получала пулю в грудь и перед смертью примиряла дуэлянтов, над ее телом дававших клятву во взаимной братской любви. «Героиня», наряженная в снятое с туалетного столика кисейное покрывало, бросилась, вздев руки, между соперниками, но запуталась в длинном шлейфе и, падая, увлекла их за собою: все трое оказались крепко опутанными кисеею и чем больше барахтались, тем плотнее их держали тенета. Образовалась «мала куча». Занавеса опустить было нельзя, ибо его не было, вырваться было невозможно, — и над отчаянно барахтавшейся на полу тройкой, звенел, перекатываясь серебряными волнами, высокий смех искренно веселившегося Соловьева: откачнувшись на стуле, он хохотал, на секунду умолкая и вновь на-

чиная. Сквозь душивший его смех, вырывались его возгласы одобрения. Нам наконец, удалось разорвать капкан кисей и красными, взлохмаченными, полуободранными убежать к себе, не откликаясь на его зов, в неистовом отчаянии стыда. Соловьев стучал в дверь, звал нас, ласково убеждал, но выйти было невозможно.

Через несколько дней Соловьев привез огромную круглую коробку конфект и передал без упоминания о происшедшем. Он часто потом привозил конфекты и непременно в колоссальных вместилищах, которые поражали воображение.

У него не было особого «детского» тона и особых «детских» тем. С полной серьезностью он мог высидеть детский спектакль в маленьком театре Сакулина близ Павловска, поднести Снегурочке, как взрослой, цветы и конфекты и потом, зайдя за кулисы, согнув свою высокую фигуру в узком деревянном проходе, внимательно и подробно излагать свои впечатления.

В мой плюшевый новый альбом, принесенный ему с просьбою о стихах, Соловьев, после раздумья, вписал крупным почерком с высоко выскакивающими буквами строфу, которая могла служить напутствием и была воспринята, как личный его завет:

Смерть и Время царят на земле,
Ты владыками их не зови.
Все, кружась, исчезает во мгле,
Неподвижно лишь Солнце Любви.

Совсем особенным, озаренным сиянием радости, бывал Соловьев на крестинах. Он переживал их со всей внутренней торжественностью, как духовное рождение нового человека, — и в эти дни был незабываемо обаятелен. Когда однажды новорожденный тонкими цепкими пальчиками запутался в длинной бороде Соловьева, рвал и терзал ее, все кругом были обеспокоены, кроме Соловьева, который, высоко держа младенца, сохранял сосредоточенно строгое выражение; бороду удалось с трудом высвободить только потом. Эти дни крестин братьев запомнились нам особенно, так как Соловьев сверкал шутливостью, весело угощал причт, занимал разговорами и очаровывал так, что потом, к нашей детской досаде, первым вопросом священника на исповеди бывало: а как здоровье Владимира Сергеевича?

Способность к шутке, к веселью была у Соловьева неиссякаемая. Всем, знавшим его, памятны его остроумие, блеск

его речи, очарование его беседы. Наряду с лирическими и философскими стихами, он с увлечением сочинял пародии, вроде «На небесах горят паникадила», в которой наш особый восторг вызывало «своей судьбы родила крокодила». На всякую веселую затею он откликался с полной непосредственностью. Бывшие тогда студентами Коля Пыпин, сын академика А. Н. Пыпина, и тучный Ося Ипатьев, отличавшийся уменьем изображать балерину на пуантах и петь женским голосом, называли себя «веселыми мальчиками», в отличие от «скучных мальчиков» — Миши Чернышевского, воспитывавшегося у Пыпина сына Н. Г. Чернышевского, и его товарища.

Коля Пыпин и Ося Ипатьев поставили в зале Павловой любительскую оперетту о золотом руне с куплетами:

Что задрал так кверху нос?
Пред тобою Царь Минос.

Миноса изображал Ипатьев.

В постановке принял близкое участие женатый на дочери Пыпина, красивый и обаятельный Федор Густавович Беренштам, хранитель Библиотеки Академии Художеств. Спектакль вышел очень удачным. При выходе Миноса, Соловьев, бывавший очень смешливым, разразился хохотом и уже не переставал смеяться. Публика, отвлекаясь от сцены, искала в зале человека с таким изумительным смехом. «Сорвал нам весь успех» — с комической серьезностью рассказывали потом о спектакле участники, перед весело отвергавшим это Соловьевым.

В увешанной картинами, художественно украшенной, большой квартире Беренштама по вторникам бывало очень оживлено и уютно. Приходил маленький, неистощимый в забавных выдумках, необыкновенно гибкий и подвижный, — и несмотря на свою заразительную веселую изобретательность, внутренно грустный Илья Гинцбург, имевший свою скульптурную студию в Академии Художеств. Приходил В. В. Стасов в яркой рубахе, огромный, полный, с высокой гривою седых волос. Бывали члены «Вестника Европы». Неизменно присутствовал Соловьев, после ужина любивший сыграть партию в шахматы с моим отцом, — сосредоточенно и долго. Постоянно проводил у Беренштамов вторничные вечера А. Н. Пыпин, очень привязанный к своей художнице-дочери. И тут же, хотя держась немного поодаль, собиралась молодежь.

Спокойный, массивный, обладавший большим очарованием,

Александр Николаевич Пыпин с его круглым мягким лицом и большой бородавкой на правой щеке, излучал доброту и ласку. В положенное время, по-стариковски грузно вставая с кресла, он подхватывал высоко под руку свою юную крестницу, и таща к закусочному столу, повторял ту же знакомую фразу: «а теперь пора подкрепить наше бренное существование»... Гостеприимство у него было исконное; до сих пор мне помнятся детские приезды к крестному, просторные залы его квартиры с заглядывающими в окна деревьями на Васильевском Острове, добрые глаза его кроткой жены и производившие большое впечатление огромные подносы со всякими сластями. Позднее Пыпин угощал не только сластями: показывая новое художественное издание или редкую книгу, он нес ее через комнату с осторожностью, как будто она могла расплескаться, и переворачивал страницы с той любовью, которая сама по себе являлась воспитательной. Погруженный в научную работу и строгую жизнь семьянина, Пыпин обладал внутренней устойчивостью и не менялся в зависимости от обстановки. Вопросов внешней иерархии он не замечал. Дворец и хижина были для него равны. После урока великим князьям, приготовляя на верху дворцовой лестницы мелочь для извощика, чтобы не раскрываться потом на морозе, он как-то рассыпал ее по ступеням и медлительно надзирая, как великие князья ползали, собирая пятачки и гривенники, он указывал им, куда закатилась та или иная монета. В ответ на шутки по этому поводу, Пыпин недоумевал, пожимая плечами: — «а что-ж такое, ведь они молодые»...

В свое академическое кресло рядом с августейшим президентом, Пынин садился с той же небрежной тучною грацией, как в домашнее кресло. Когда на первом заседании Академии Наук, после смерти Пыпина, его заместитель, известный историк, ежась от неловкости, садился на край кресла, смущенный соседством, президент смотрел на него с досадою. Пыпин относился к К. Р. с симпатией и поддерживал с ним простые, дружеские отношения. Когда Пыпин умер и в высоко стоявшем на катафалке, великолепном гробу, лицо его с жутко выступившей бородавкой казалось каменным, будто на памятнике, в углу комнаты стоял очень высокий военный, болезненно поводивший плечами и в неотрывном взгляде на мертвого друга не замечавший струившихся по щекам слез. Это был поэт К. Р., великий князь Константин Константинович. Помню, тогда поразило меня, что взрослые могут так плакать, и потому запомнилось особо.

Такие отношения, как с Пыпиным, вел. кн. Константину Константиновичу не всегда удавалось заводить. Восхищаясь поэзией Аллегро-Соловьевой, он послал к ней ад'ютанта, со стихотворным посланием, в котором просил о встрече. Поликсена Сергеевна ответила стихами же, прелестными и дружескими, но отказалась от свидания, так как он «на другом берегу». Завязалась стихотворная переписка, но несмотря на повторные настойчивые просьбы К. Р., Поликсена Соловьева все же с ним не встретилась. А на упреки друзей отвечала шутливым: — «что же мне платье с треном надевать и во дворец ехать?» — хотя конечно знала, что дело шло не об этом. Но для нее отношение к «другому берегу» было непоколебимо.

За шутками, любовью к отрадной беседе и даже к смешным анекдотам, за человеческой жадностью к разнообразию лиц и дружб, — никогда не исчезал подлинный Соловьев с его непостижимыми видениями, отрешенностью от жизни и все озаряющей духовностью.

Вернувшись из морского путешествия, он рассказывал, как о самой обыденной вещи, о том, что в кают кампании чорт сзади прыгнул ему на шею и еле удалось Соловьеву сорвать его и выбросить в окно. Эти видения смущали многих и особенно то, как он об этом говорил: простым громким голосом, без таинственности, а только с гадливостью и содроганием. Но для детского сознания эти рассказы воспринимались без труда, сочетаясь с образами только что прочитанного Гоголя. Соловьев тогда приобретал всю свою ирреальную силу. Гоголевские черти после чтения еще стояли перед глазами, и неразгаданный Вий обретал подлинную жизнь. Соловьевские черти, гнавшиеся за ним по морям, были той же природы, что тревожившие Гоголя: в этом Соловьев близок и Гоголю, и Достоевскому. В стихах, написанных намеренно шутливо и лишь к концу переходящих в возвышенно серьезное настроение, Соловьев передает свою борьбу с прыжками и шутками забиравшихся к нему в пути бесов: «Черти морские меня полюбили, Рыщут за мною они по пятам...». Победно веселое «Милые черти, однако поверьте — Вам я себя на с'еденье не дам» — напоминает тон Соловьева, когда он рассказывал, как он их перехитрил.

Со странным чувством относились друзья к внезапным от'ездам Соловьева навстречу непостижимому зову. Соловьев говорил о поездке в Египет на свидание, назначенное небесным

видением, с простотою, как об явлении чрезвычайном, но вполне согласуемом с действительностью. Это волновало, но не вызывало сомнения. Соловьевская вера останавливала возможность неверия.

В авто-биографической поэме «Три свидания» коробило только комическо-бытовое восклицание гувернантки — «Володинька, ах, ошень он глупа»; оно, казалось нам, неприятно нарушало то незыблемое, сомнений не допускающее, что связано было с мистической жизнью Соловьева. Поездка его в Египет воспринималась с тою же естественностью, как еслибы он ехал к реальному другу. Соловьев в египетской пустыне, ожидающий условленной встречи с небесным видением, был близок нашему восприятию: он был тем, каким являлся в минуты своего вдохновенного молчаливого созерцания.

Все то, что для других было предметом отвлеченного мышления, для Соловьева было его естеством. Как будто и сам он был лишь торжественно прекрасным видением, которое нам дано было созерцать на его кратком скольжении по земле. Этот его образ, сотканный из огня и лазури, запечатлелся ярко и незыблемо.

В египетской пустыне, перед Девою с небесными очами, Соловьев был самим собою. Гораздо более несоизмеримым и чужим оказывался он в людской пустыне, в присутствии низменного и уродливого. Тогда он терялся и не знал что предпринять. На парижском бульваре, при встрече с подошедшей к нему женщиной, он в смущении подал ей бумажку и хотел уйти. Но это увидали другие и через минуту он был окружен толпою веселых женщин. Он роздал им все, что у него было, все, что было взято для пребывания в Париже. А на другой день пришла от него озадачившая редактора «Вестника Европы» М. М. Стасюлевича, телеграмма с просьбою о спешной высылке аванса. Когда причина выяснилась, Стасюлевич шутя говорил, что «Соловьев в Париже разорился на женщин».

«Вечно-женственное» Соловьев отстаивал и в обыденной жизни. В ответ на отдаленные разговоры о будущем поступлении на Высшие Курсы, Соловьев прислал мне на первое апреля каррикатуру, изображавшую суд Париса: Минерва — курсистка, стриженная, с нелепой физиономией и непомерно огромным портфелем под мышкой, почти напугала меня своим видом.

Но это было только забавной шуткой. На самом деле Соловьев в юности читал вдохновенные лекции Минервам,

жадной толпою переполнявшим его аудитории. Они хранили восторженную память об его выступлениях и любили о том рассказывать. Постоянно вспоминали свидетели его знаменитое выступление после убийства Александра Второго, закончившееся словами: «Царь может простить, Царь должен простить». Александр Третий не простил, убийцы его отца были казнены, но за призыв к прощению террористов Соловьеву были запрещены публичные выступления, его проповеднический дар был навсегда замурован в вынужденном молчании — и это, несомненно его тяготило.

Соловьев был всегда видим как бы издали, как будто он не был до конца воплотим. Казалось, незримая тень покрывает часть его существа. Было во всем его облике духовное напряжение, придававшее ему вид подвижника. Он то появлялся, то изчезал, приезжая и уезжая из Петербурга, где у него не было постоянного дома и где он останавливался в Английской Гостиннице. После одного из таких от'ездов, никак не отмеченного памятью, пришло обычное письмо отцу с заключительным «до скорого свидания». Об этом «до свидания» часто говорилось потом, когда свидание могло быть уже только загробным.

Глухо слыша разговоры о болезни и не ясно понимая их смысл, я тогда не думала, что Соловьеву могло что либо грозить.

В летний яркий день, в глубине сада, заросшей папоротниками, отец стоял, внимательно глядя в раскрытый лист газеты. Была недвижность и молчание. Потом он положил лист газеты и тихо прошел в дом.

Казалось, наступило сдиночество, в омертвелом саду, среди как будто сразу закатившегося дня, — и вглядываясь в крупно напечатанное в траурной рамке имя Соловьева, трудно было охватить всю меру случившегося.

Потом, вокруг его смерти закружились факты и предположения. Говорили, что он постепенно отравил свой организм привычкою брызгать вокруг себя в гостинничном номере скипидаром. Говорили, что частые раз'езды и жизнь в гостиннице подорвали здоровье. Говорили, что его погубило упрямое желание ехать к Трубецким, не повидав предварительно доктора, — и что это роковым образом осложнило болезнь. На похоронах изумлялись, какие разные люди собрались у могилы и как Соловьев был дружески близок людям, столь несхожим между собой.

Смерть, тление было трудно связать с его образом. Каза-

лось, он вновь был позван на таинственное свидание. Внезапное его отсутствие представлялось одним из неожиданных его от'ездов «в пустыню» — на этот раз более дальную и недостижимую, чем Египет.

И весть пришла, что скрылся он
За грань земного кругозора.

Ю. Сазонова.

П. Б. СТРУВЕ

(1870—1944)

В Париже, незадолго до его освобождения, похоронили Петра Бернгардовича Струве... Еще одна большая фигура, столь характерная для старой, пред-революционной России, ушла из жизни, — еще под одной страницей ее истории смерть поставила свою точку.

Было бы несправедливо писать о нем некролог обычного типа. 30 лет тому назад, — в статье, посвященной памяти Витте, — Струве сам об'яснил почему: «обычные» некрологи, это — «собрание умолчаний, плод ретушировок, продиктованных чувством невыясненности того лица, оценку которого после всепримиряющей смерти приходится давать». Меньше всего про Струве можно сказать, что он является уже вполне выясненной фигурой, — и к его работам, и к его личной биографии историкам придется еще часто возвращаться. Но ему, как и Витте, не нужны ни умолчания, ни ретушировка, ни тем более всепримиряющая снисходительность. Он был тоже «сложной и противоречивой фигурой», и хотя его противоречия были совсем иного порядка, чем противоречия Витте, они не менее тесно связаны со всем его обликом. Умалчивать о них, пытаться их ретушировать в погоне за «хорошим тоном» обычных некрологов не только невозможно, но и нежелательно: при всей значительности этих противоречий, в них есть свое сложное единство, понять которое можно только вскрыв до конца существо этих противоречий. А именно это существо, именно это из преодоленных противоречий выростающее единство и обеспечивает за Струве право на особое, его собственное, место в большой истории идейных исканий и политического формирования России.

1.

Он был весьма разносторонним человеком, с исключительно широким кругом интересов, но он, прежде и больше всего, был политиком: в том смысле, что политическая дея-

тельность была для него, — говоря его любимым определением, — основной страстью его жизни. О чем бы он ни писал, — даже о филологии, — в написанном им всегда пульсировала политическая жилка, всегда чувствовалось горячее дыхание политической злобы дня. Но он меньше всего принадлежал к тому типу политиков, которые проблемы текущего дня берут под углом прежде всего их сегодняшнего значения. Старый принцип: «довлеет дневи злоба его» — никогда не был его принципом, никогда не определял его поведения. Быть может, как никто из его современников, он был философом в политике, имевшим большую, общую концепцию развития, и от частного, преходящего всегда стремился подняться именно к этому общему, определяющему. Именно поэтому его отклики на события дня в свое время часто казались чрезмерно абстрактными, далекими от жизни, но именно поэтому же теперь, в историческом аспекте, они еще более часто приобретают и особый интерес, и особую значительность. С ранней молодости приучивший себя мыслить большими линиями развития, он в «злобах дня бегущего» всегда старался ловить элементы, которые связывают этот день со днями минувшими и в то же время дают возможность протянуть от него нити к неведомым дням грядущего... Правда, при этом он нередко ошибался, но мысль, протянутая вдаль, в попытке проследить определенную тенденцию развития, даже если она ошибочна, всегда больше дает для действительного познания современности, чем плоские истины самодовольных, которые ведут себя так, будто они, по выражению Горького, носят истину в своем «жилетном кармашке».

В политике для него истина не оставалась неизменной. Он вообще не был «однолюбом» в политике, — не принадлежал к тому типу людей, которые всю жизнь сражаются под одним и тем же знаменем и задолго до своего конца знают, что их похоронят, закутав в его остатки, пусть жестоко потрепанные пронесшимися бурями. Знаменам он не был верен, за свою жизнь не раз их менял, и принял за это на себя не мало нападок. Но если мы внимательно всмотримся в эти смены, то убедимся, что они введены в определенные рамки, — часто более тесные, чем амплитуда колебаний во взглядах его обличителей, — от Троцкого («Господин Петр Струве в политике») до «младоросов» («Покаялся ли г. Струве?»). На всех этапах своей жизни он не только имел одну и ту же основную тему своих исканий; в основе он всегда признавал только одно и ее решение: этой темой была проблема путей

развития России, — этим решением был перевод страны на рельсы свободного развития частно-хозяйственных, капиталистических отношений. Э т о й теме он ни разу не изменил, она была в полном смысле этого слова основной темой всей его жизненной работы. От э т о г о ее решения он никогда в жизни не уходил.

И еще в одной плоскости Струве сам поставил грани для своих идейных скитаний.

Его решение основной проблемы требовало проведения значительных преобразований в России, — по меньшей мере, как тогда любили говорить, «капитального ремонта старого здания». Историей для этого было открыто три основных пути. Это были те пути, которые Бакунин в начале 1860-х годов выразительно связал с тремя именами: «Пугачев, Пестель или Романов?» Иными словами: путь пугачевской, крестьянской революции, восстания деревни против города; путь интеллигентски-городского, более или менее радикального, — революционного или реформистского, — преобразования страны, и путь реформ сверху, проводимых старою властью, которая осознала необходимость в соответствии с потребностями времени перестроить страну методами «просвещенного абсолютизма». В рамки спора об этих путях вмещаются все оттенки т а к т и ч е с к и х исканий русской общественной мысли для едва ли не всего «петербургского периода» русской истории (корни их мы теперь можем проследить вглубь, — вплоть до елизаветинской эпохи). А роль этих споров была тем более значительна, что они никогда не были только тактическими спорами; вопросы тактического вывода в них постоянно были связаны с основными проблемами социологии.

К пути Пугачева никогда не лежало сердце Струве, и его постоянное отталкивание от народничества во многом определялась наличием в последнем элементов апологии крестьянской стихии, — преклонения перед приведенным в движение деревенским Ахероном: почти органическое отталкивание от последнего было характерно для Струве даже в тот период, когда он, перенимая и терминологию молодого Маркса, называл себя не социал-демократом, а коммунистом (недоверие к крестьянскому Ахерону, впрочем, было сильно и у Маркса). Но, с другой стороны, и путь «просвещенного абсолютизма» не был путем Струве, хотя он лично и вышел как раз из той среды, которая культивировала взгляды, близкие именно этому кругу идей. Как мы знаем из его собственных рассказов, даже еще не юношей, а подростком он сознательно (и по рассудку, и

по страсти, говоря его словами) выбрал второй путь, путь борьбы за преобразование страны, и до конца (речь сейчас идет, конечно, только о до-революционном периоде) шел именно этим путем. Только в рамках различных вариантов этого второго пути и проходили все его идейные скитания, все его попытки найти конкретные методы решения указанной выше основной проблемы развития России, — даже в те годы, когда он (за последний перед революцией период) был уже полон сомнений, правилен ли этот его выбор...

Тот факт, что он, испробовав так много вариантов этого второго пути, каждый раз продумывал соответствующий вариант до философски обобщенных выводов, делает историю его личных скитаний особенно интересной, — особенно поучительной[1]).

2.

П. Б. Струве вышел из высоко-культурной семьи, которая дала России ряд ученых и администраторов. Начало ей положил проф. Василий Яковлевич Струве, — сын директора гимназии в Альтоне, который вслед за своими братьями эмигрировал в Россию, чтобы уклониться от сомнительного счастья быть завербованным в наполеоновскую армию. Он стал не только академиком и создателем Пулковской обсерватории, поставившим ее на первое место в ряду обсерваторий всего мира (Ньюкомб, знаменитый американский астроном, ее тогда называл «астрономической столицей земного шара»), но и основателем русской школы астрономов вообще.

Его сын, Бернгард Я., отец Петра Б., выбрал иную карьеру. Он с отличием окончил Александровский лицей, в 1847 году, когда там еще все было полно свежими воспоминаниями о другом Александре, об А. С. Пушкине (отсюда культ Пушкина, который П. Б., унаследовав от отца, бережно пронес до могилы). Перед ним лежала широкая дорога легкой карьеры, но он по доброй воле отправился в далекую Сибирь, к Мура-

---

[1]) Дальнейший очерк, конечно, далек от полноты даже в намечении о с н о в н ы х моментов идейно-политической биографии Струве; его отдельные части явно не пропорциональны общественной значительности соответственных этапов развития Струве. На всем этом отразились индивидуальные особенности того интереса, с которым автор этих строк подходит к истории общественно-политической борьбы в России.

вьеву (будущему Амурскому), которого как раз в том 1847 году Николай назначил генерал-губернатором Восточной Сибири с широчайшими полномочиями: вакханалия злоупотреблений в этом огромном, заброшенном крае вела к развалу, который начинал становиться жизненно опасным для судеб России на берегах Тихого океана.

К деятельности Муравьева можно относиться по разному. Его многие критиковали, и в этой критике, несомненно, имелось не мало обоснованного. Но и относясь к нему критически, нельзя не признать, что он не просто по-полицейски встряхнул огромный край, а действительно много сделал для его развития. О времени его «княжения» (так говорили о нем в Сибири) с полным правом можно говорить, как об «эпохе великих реформ», которая в Восточной Сибири началась десятилетием раньше, чем в остальной России. Решение поехать туда на службу молодому Струве, — как и аналогичное решение десятилетием позднее молодому Крапоткину, — было продиктовано желанием служить родной стране. Работе он отдался с энтузиазмом, участвовал во всех больших путешествиях своего патрона (а это были труднейшие путешествия по непроторенным тропам) и выполнил ряд ответственных работ. В его формулярном списке стояло, что он «1-го января 1852 года открыл Якутскую область». Этот курьез был результатом неграмотности канцеляриста, но огромную работу по административному устройству области он действительно провел, и новая система управления, введенная им с 1 января 1852 года (ему тогда было всего 25 лет!), продержалась едва ли не до самой революции. Его «Воспоминания о Сибири» являются крайне ценным документом эпохи. Его самого они рисуют молодым энтузиастом-реформатором, который с почтительным вниманием прислушивался к наставлениям стариков-декабристов (у Волконских и Трубецких он был принят, как свой) и, конечно, был восторженным поклонником Муравьева-Амурского: последний действительно обладал даром очаровывать людей, — в этом отношении показателен не столько Бакунин (он в людях никогда не умел разбираться), сколько Прудон, на взгляды которого и по русскому вопросу, и по вопросам международной политики сильное влияние оказал именно Муравьев-Амурский (французским биографам Прудона этот эпизод до сих пор остается неизвестным).

Нечего и говорить, что именно его влияние было определяющим и для миросозерцания молодого Струве: последний на вещи смотрел глазами своего патрона, думал его думами. А о

том, как воспринимали эти думы ближайшие сотрудники Муравьева, мы знаем по сибирским письмам Бакунина. В глазах этих сотрудников Муравьев был государственным деятелем типа и масштаба Петра Великого, развернуться которому мешают интриги «вольноотпущенного петербургского лакейства». Захватывающе-грандиозные планы колонизации и строительства на берегах Тихого океана, осуществлять которые можно было только методами государственного принуждения, были органически связаны и с презрением ко всем «несекомым сословиям» (отсюда конфликты муравьевского окружения с нарождавшейся краевой интеллигенцией, которая не хотела быть об'ектом для его экспериментов), и со своеобразной любовью к «секомому народу», который «беспомощен, как ребенок» и «решительно требует, чтобы его тянули вперед» (сам не идет)... Это был действительно «путь Романова», — путь «просвещенного абсолютизма»!

Способный, энергичный и честный, не пугавшийся трудной работы, молодой Струве быстро сделал карьеру, и уже к 30-м годам занимал губернаторский пост. Но столь же быстро эта карьера и оборвалась. И .С. Аксаков позднее писал о нем:

> «Человек примерной честности, отличных административных способностей, оказался на русской службе неудобным: слишком прям и мужествен, неподатлив... Таких служба не терпит»[2]).

С 1867-1868 годов Струве-отец поселился в Петербурге. Отставной губернатор в полу-опале, на сокращенном пенсионе и с большой семьей. Надежды на возможность вернуться к активной службе все тускнели. Чтобы затыкать прорехи в хозяйстве, приходилось подрабатывать частной службой. Несколько позднее он взялся и за литературный труд: переводы, статьи. С конца 70-х годов имя Б. Струве начинает встречаться в «Русском Вестнике» Каткова, в «Руси» Аксакова, в «Русской Старине»... В центре его интересов стоял «героический» эпизод его собственного прошлого: работа с Муравьевым-Амурским. Этой работе посвящены воспоминания, большая часть статей.

---

2) Из редакторского послесловия к статье: «К истории упразднения крепостного права в Пермской губернии» («Русь, № 13 за 1883 год, стр. 59). — Статья эта подписана лишь инициалами «Б. С.»; в списке печатных работ Б. Струве она не значится («Русский Биографический Словарь»), — тем не менее его авторство бесспорно.

Он мечтал написать биографию Муравьева и вместе со своим другом, М. С. Волконским (сыном декабриста), собирал для этого материалы. Смерть не дала довести работу до конца; начатая рукопись так и не была опубликована. Муравьев-Амурский и до нашего времени остается без своего биографа: суконная (и по языку, и по мыслям) работа Барсукова в счет не идет...

3.

Младший сын в семье П. Б. с ранних лет был приобщен к кругу ее духовных интересов. Славянофильство было его «первой идеологической любовью». В особенности он увлекался статьями И. А. Аксакова, тетрадки журнала которого, «Русь», им «с увлечением» прочитывались от корки до корки. На склоне лет он вспоминал о том «детском радостном волнении», которое вызвала в нем первая встреча с Аксаковым в 1882 году («Русская Мысль», 1923, VI, стр. 349). Еще перед тем П. Б. написал для этого журнала какую-то статейку, — к сожалению, не удается установить, была ли она напечатана.

Аксаков ему представлялся «борцом за права человека и гражданина и за национальное начало»... Чтобы правильно понять значение этого определения, надо вспомнить, что речь идет не об Аксакове 1840-1850 годов, когда он писал гимны «Свободному Слову» и вел борьбу с полицией за право ношения бороды, в чем действительно была, правда, своеобразная, но несомненная борьба за права человека и гражданина. Последующие десятилетия не прошли бесследно. Теперь Аксаков был мужем Тютчевой, — этой «всероссийской лампадки», как ее, за ее ханжество, окрестил Щедрин, и неутомимой корреспондентки Победоносцева, — и в соответствии с этим от его собственных писаний веяло не только лампадным маслом, но и самой черной реакцией. «Русь», правда, еще повторяла филиппики против «бюрократии»; еще твердила о необходимости положить конец «петербургскому периоду» русской истории, но ее «национальное начало» уже явственно вырождалось в националистическую травлю инородцев, — поляков, прибалтийских немцев, особенно евреев. Письма из Северо-Западного края уже были полны прямых антисемитских выпадов, и совсем не случаен тот факт, что именно из этого лагеря, из лагеря паладинов позднего славянофильства, вышел кн. Шаховской, позднее эстляндский губернатор, который, по свидетельству его биографа (см. предисловие к т. 1 его архива),

первым раз'яснил Александру 3-му, что еврейские погромы начала 80-х годов были актом не анти-государственного, революционного бунтарства, а, наоборот, здоровой национальной реакцией против разлагающей деятельности еврейства. И действительно именно сюда, а не в официально консервативный лагерь Каткова, приводят поиски идеологических корней российского воинствующего антисемитизма, позднейшего «черносотенства»... При желании, конечно, и эту форму национализма можно об'явить борьбой за славянское «национальное начало». В идеологии «Руси» действительно имелись элементы, которые роднили ее с настроениями былых соратников Муравьева-Амурского, — вплоть до вражды против «несекомых сословий» и до своеобразной любви к «секомому народу», который так нуждается в руководстве. С былого «просвещенного абсолютизма» осыпалась позолота, — наружу выступала его азиатская сущность, найти в которой элемент борьбы за «права человека и гражданина» можно только сквозь совсем потускневшую призму детских восторгов...

В качестве положительного наследия от этой полосы его жизни у Струве остался навсегда внимательный интерес к славяноведению. Еще гимназистом он бегал в университет на ученые диспуты по этим вопросам (в статье об акад. Ламанском он рассказывает, что был на диспуте последнего в 1885 году). Этот интерес он сохранил до конца, и в годы эмиграции на славянские темы откликнулся рядом статей, отрывочных, но богатых мыслями и обнаруживающих огромную эрудицию автора и в этой области.

Высвобождаться из под этих влияний Струве начал очень рано, — уже в середине 80-х годов. По его собственному свидетельству, два автора оказали на него решающее влияние: Щедрин и Арсеньев, которых с 1884 года об'единила общая обложка книжек нового «Вестника Европы» (Струве-отец был подписчиком и этого журнала). По их статьям тех лет и по ссылкам на них в работах молодого Струве нетрудно проследить и пути, по которым шло их влияние, и характер его. Щедрин безжалостно разбивал славянофильскую идеализацию прошлого. Его «Пошехонские рассказы», «Мелочи жизни», «Пошехонская старина» и пр. убедительно показывали, что «золотым веком» это прошлое было только для «потомков лейб-компанцев, истопников и прочих дружинников» (см., напр., ссылку на это место в «Критических заметках», стр. 83), — что для страны в ее целом охрана этого прошлого была консервацией лишь отсталости, нищеты и бесправия. Цитаты и словечки,

которых немало в статьях молодого Струве, показывают, как много последний начал видеть сквозь призму щедринского сарказма, как многое он понял под влиянием последнего. Роль Арсеньева была иной. В те годы он вел кампанию защиты «великих реформ» 60-х годов от похода, вдохновителем которого был Победоносцев, в это время друг И. С. Аксакова. Очень осторожно и очень «умеренно», но в то же время и очень стойко, принципиально очень выдержано Арсеньев защищал принципы, которые были положены в основу реформ, и поднимал эту защиту до уровня общего спора о необходимости европеизации всей российской действительности.

На П. Б. свое воздействие Арсеньев оказывал не только со страниц «Вестника Европы». Как раз в те годы вокруг него сложился небольшой кружок учащейся молодежи, — студентов и гимназистов, — с которыми Арсеньев вел еженедельно беседы на литературно-общественно-политические темы. Участники кружка читали рефераты, которые подвергались разбору и т. д. Это был, конечно, не кружок революционеров. Арсеньев не мог проводить в нем никаких иных идей, кроме тех, которые он развивал в печати, — он мог только давать более определенные формулировки, делать более конкретные выводы. Почти несомненно, что в этом кружке шла речь и об Аксакове: в связи с его смертью (1886 г.) Арсеньев напечатал в «Вестнике Европы» статью, в которой проанализировал пути развития Аксакова. Едва ли можно сомневаться, что этот анализ был воспринят и Струве. Последний в этот кружок вошел, повидимому, в 1885 году, — именно этим годом он датирует свой переход в лагерь либералов. Год или два позднее он выступил в кружке с рефератом на общественно-литературную тему: о «Буре» Шекспира. И. В. Гессен вспоминает, с каким восторгом рассказывал об этом реферате К. К. Арсеньев, — обычно сдержанный на похвалы. Это было первое политическое крещение Струве: ему было тогда 16 или 17 лет... В старой России, еще со времени молодого Герцена, была установлена эта взаимосвязанность развития: чем сильнее был разгул «внешнего рабства», тем раньше пробуждалось стремление к «внутреннему освобождению».

4.

Либерализм для Струве был всегда, — по его собственному определению, — «утверждением неот'емлемых прав личности» («Россия и Славянство», июнь 1933 г.). Именно на

этом вопросе произошел его уход от его «первой идеологической любви». В своих воспоминаниях, главы которых напечатаны в «Славоник Ревью» (Лондон, т. 12-13), он настаивает, что, кроме этого детского романа, он знал только одну «идеологическую любовь» и что этой любовью был либерализм. Он проводит резкую грань между своим отношением к либерализму и отношением к социализму: либералом, — утверждает он, — он стал и по убеждению, и по страсти, в то время, как к социализму он пришел путем исключительно умственным. Социализм, — по его словам, — никогда не вызывал в нем иных эмоций, кроме чисто рассудочных. Изучение литературы о социализме внушило ему уверенность, что социализм есть «исторически неизбежный результат об'ективного процесса экономического развития» («Славоник Ревью» т. 12, стр. 577), — и именно поэтому он признал себя социалистом. Но интересовался последним, — по его утверждению, — он

> «Исключительно, как идеологической силой, которая, в соответствии с той или иной социологической концепцией развития России, может быть обращена на завоевание политических и гражданских свобод» (т. 12, стр. 584).

Этот момент, — ультра-служебную роль социализма в своих концепциях, — Струве подчеркивает несколько раз, снова и снова возвращаясь к этой теме.

Историк не обязан принимать на веру каждое показание свидетеля, — особенно, если свидетель говорит о себе самом. Но данное об'яснение Струве находит подтверждение в ряде документов. Оно, конечно, не об'ясняет всего, что было в отношениях Струве к социализму; с другой стороны, его не следует брать слишком упрощенно, — не следует делать вывода, что Струве, называя себя тогда социалистом, просто лицемерил. Отношения эти были много более сложны, но указанное об'яснение Струве действительно является ключем к пониманию целой большой эпохи в его биографии.

Социалистом Струве себя признал, — по его рассказу, — в 1888 году, после ознакомления с работой немецкого профессора Рудольфа Майера: «Освободительная борьба четвертого сословия». Эта книга в этой роли — уже это одно более, чем характерно для Струве. Конец 1880-х и начала 1890-х годов, — время между разгромом «Народной Воли» и большими стачками в Петербурге, — характеризуется сильным идейным разбродом в рядах русской революционной интеллигенции. Ее

старые «властители дум» или ушли в прошлое, или были развенчаны. Новые еще не были признаны. Молодежь тем не менее искала и находила дорогу к социализму, но брела она самыми причудливыми путями. Изучая программные заявления, которые выходили в те годы из революционных кружков, мы наталкиваемся на самые неожиданные идеологические влияния. Но можно быть уверенным: если-б среди участников движения тех лет была произведена анкета, никто не указал бы на книгу Руд. Майера, как на работу, которая его обратила к социализму. Типичный немецкий профессор, без собственных оригинальных идей, он старательно собрал документы о ранних этапах рабочего движения и добросовестно изложил разные социалистические теории. Социализм он изучал, как интересное явление, с нужной об'ективностью, даже с симпатией, но, конечно, как посторонний наблюдатель. Этот труд в свое время сыграл известную роль: к нему обращались, когда была нужна та или другая справка; по нему изучали факты. Но зажигать пафосом социализма он никого не мог, ибо в самом авторе не было и намека на этот пафос... По э т о й книге сделаться социалистом мог, действительно, только тот, кто в социалистический лагерь шел без какой бы то ни было с т р а с т и.

Вскоре затем Струве прочел «Капитал» Маркса, — и стал марксистом. Это было только выводом из предыдущего: марксизм был наиболее научной системой в ряду социалистических теорий; это признавал и Руд. Майер, а Струве, при его ученой складке, если он становился социалистом, мог быть сторонником только научно наиболее обоснованной теории... Но марксизм «Капитала» был только интернациональной алгеброй марксизма, а Струве уже в то время искал расшифровку этой алгебры в применении к России, и совсем не случайно позднее он писал, что экономическому об'яснению истории (в марксизме он всегда замечал прежде всего эту сторону) он учился «не только по «Капиталу» Маркса, но и из «Боярской Думы» Ключевского» («Сборник статей памяти Ключевского», стр. 458). С этой точки зрения поворотным моментом в его биографии явилась поездка заграницу, совершенная в 1890 году. Он побывал в Германии и Швейцарии и накупил все, что мог достать, из социалистической литературы, немецкой и русской.

Из русской на него особенное впечатление произвели «Наши разногласия» Плеханова. Это тоже крайне характерно. История русского марксизма начинается двумя основными работами Плеханова: «Социализм и политическая борьба» и «Наши разногласия». В первой из них Плеханов под углом

марксистской теории разбирал основную проблему, выдвинутую русским социалистическим движением предшествующих лет, — проблему взаимоотношения между политической борьбой и борьбой за социализм. Об этой работе Струве нигде не упоминает: она явно не произвела на него большого впечатления и не могла произвести, т. к. была написана с точки зрения человека, для которого решающим критерием были интересы борьбы за социализм. Людей этого лагеря Плеханов убеждал, что политические свободы и демократия не помешают делу борьбы за социализм, а, наоборот, помогут ему, — что только через них и лежит путь к социализму. Искания Струве шли в совсем иной плоскости. Его не интересовала задача реабилитации политической свободы. Последняя была его основной целью, и весь вопрос был в том, как можно к ней прийти: какими путями, с помощью каких сил?

Проблема этих путей и этих сил была темой второй из указанных книг Плеханова, «Наших разногласий», в которой он доказывал, что ликвидация абсолютизма может прийти лишь в результате перегруппировки общественных сил, вызываемой развитием капитализма. «За капитализм, — ставил он свой диагноз, — вся динамика нашей общественной жизни, все те силы, которые развиваются при движении социального механизма и в свою очередь определяют направление и скорость его движения. Против капитализма лишь более или менее сомнительные интересы некоторой части крестьянства, да та сила инерции, которая по временам так больно дает себя чувствовать развитым людям всякой отсталой, земледельческой страны». Но давая такую оценку об'ективной роли капитализма, Плеханов был далек от преклонения перед последним. Экономика, — развитие в России капитализма, — для него была лишь предпосылкой для определенных социальных и политических выводов. Таким выводом было обращение Плеханова к «развитым людям» (писаревская формулировка, еще более определенно выступающая в других местах, где он говорит о «мыслящем пролетариате») с призывом направить свои усилия на работу по «медленному политическому воспитанию рабочего класса» (изд. 1885 г., стр. 207 и 311). Это воспитание включало и подготовку к борьбе против социально вредных сторон развития капитализма...

Струве, по его собственному рассказу, в этой книге больше всего захватили ее экономический анализ и критика народничества. Он восторженно принял даваемую Плехановым оценку капитализма, но не его общую концепцию развития.

В его марксизме э к о н о м и к а с самого начала оттесняла на задний план с о ц и о л о г и ю...

С Плехановым лично в этот приезд Струве не познакомился. Русскую зарубежную литературу провезти в Россию он не пытался, хотя нужда в ней в Петербурге была крайне остра: этот провоз был связан с риском. За год перед тем Потресов, который вскоре стал другом Струве, на такой риск пошел и, весь обвязав себя книгами, привез в Россию полное собрание сочинений Герцена, которыми он тогда увлекался. Для такого риска нужен был элемент с т р а с т и, — той самой, которой у Струве, как он сам признает, в его отношениях к социализму не было. В Россию он привез только библиотечку немецкой социалистической литературы, по которой можно было изучать интернациональную алгебру марксизма, но не его российскую арифметику...

5.

К концу 1890 года, т. е. ко времени, непосредственно следовавшему за его поездкой заграницу, относится его первое марксистское выступление: доклад о Марксе, прочитанный в университетском семинарии для практических занятий по политической экономии. Об этом докладе мы знаем лишь по воспоминаниям одного из слушателей, — А. М. Водена, которому врезалась в память особенная заостренность формулировок докладчика в вопросе об отношении марксизма к этике: Струве утверждал, что в марксизме «нет ни грамма этики» («Летоп. Марксизма», вып. 3, стр. 74). Для тех, кто помнит лишь позднейшего Струве, когда вопросы этики играли огромную роль в его миросозерцании, этот рассказ о 1890 годе может показаться малоправдоподобным. Но ранние произведения Струве полностью подтверждают воспоминания Водена: для марксизма Струве это отрицание этики больше, чем характерно. Оно было не только логичным, но и необходимым выводом из его основной установки, — из подчинения всех социальных проблем проблеме экономического прогресса.

С полной ясностью эти особенности его концепции выступили в его первой книге, — в «Критических заметках к вопросу об экономическом развитии России» (1894 г.). В основе соответствующей части его построений лежала правильная мысль: «прогресс экономический есть необходимое условие прогресса социального» (стр. 133). Но расшифровывал ее он далеко не правильно: прогресс социальный не

является автоматическим результатом прогресса экономического, — он приходит лишь в итоге благоприятной группировки социальных сил. Если этой группировки нет, прогресс экономический может быть связан не с прогрессом социальным, а даже с резким регрессом. Этот последний момент выпадал из поля зрения Струве, — и он превращался в апологета экономического прогресса, каковы бы ни были его социальные последствия. Старая фраза: «без античного рабства не было бы современного социализма» (Струве ее цитирует) звучит больше, чем двусмысленно даже в тех случаях, когда она обращена исключительно в прошлое. Социалист по страсти свой род ведет не от античных рабовладельцев, а скорее от рабов, которые устраивали восстания против последних, — и совсем не случаен тот факт, что Маркс, на вопрос своей юной дочери, ответил, что его любимым героем древности является именно Спартак, вождь восставших рабов.

Но в прошлом мы имеем дело с уже подведенным итогом социальных конфликтов, оказать влияние на формирование сил для которых современный историк не имеет никакой возможности. Совсем по иному обстоит дело в настоящем, когда идет процесс формирования социальных сил для грядущих боев и когда от активности отдельных социальных групп и даже отдельных личностей зависит многое в той конкретной форме, в которой будет проведена социальная реализация результатов экономического прогресса. В этих условиях рассуждения об «античном рабстве» часто ведут к соблазну квиетистского примирения с той или иной формой рабства современного, — к стремлению уклониться от тяжелой, но необходимой борьбы. Из истории мы знаем, что этот соблазн никогда не выступает в оголенной неприглядности. Изворотливая мысль находит заманчивые формулы. Обычно это бывает та или иная редакция нацшеанских рассуждений о «любви к дальнему», во имя которой совершается отказ от борьбы, которой требует «любовь к ближнему», — дается согласие принести этого последнего в жертву на алтаре церкви будущего (Ницше совсем не случайно был так популярен в журналистике легального марксизма). Но как бы ни менялись эти формулы, как бы различно ни звучали слова, за ними всегда скрывается одно и то же существо: отход изрекающих от основы социализма, — от тех гуманистических корней, на базе которых выросла идеология современного социализма (хотя бы она и воспользовалась результатом экономического прогресса, творимого силами, враждебными гуманизму).

Именно в этом было значение и концепций Струве с его борьбой против этики. Нельзя не отметить, что этот идеологический зигзаг в те годы был характерен не для одного Струве. В частности, именно в этой области наблюдалось некоторое сближение между ним и тогдашним Лениным, хотя, вообще говоря, они стояли на диаметрально противоположных крыльях молодого российского марксизма. Наиболее характерно в этом отношении их сближение в оценке голода 1891-1892 годах. Как известно, Ленин тогда жил в Самаре, т. е. в самом центре пораженного голодом района, и выступал против помощи голодающим, так как считал нецелесообразной трату сил на борьбу против последствий исторически неотвратимого процесса[3]). Об аналогичных выступлениях Струве указаний не имеется; человек несравненно более тонкий, чем Ленин, он едва ли мог делать такие прямолинейные выводы, но на последствия голода для экономики России он смотрел именно так, как на них тогда смотрел Ленин; он был «почти уверен», что в результате голода

> «от экономической самостоятельности (и прежде очень подозрительной) русского земледельца скоро не останется и следа. И голоду будет принадлежать значительная доля этой заслуги» (из письма Струве к Потресову от лета 1892 года).

Иными словами: с точки зрения тогдашнего Струве голод выполнял исторически прогрессивную работу, — имел свои исторические «заслуги»... Так мыслить можно было, действительно, лишь после того, как из марксизма была выпотрошена вся «этика», — все гуманистическое содержание социализма...

6.

В этих условиях дело с «утверждением неот'емлемых прав личности» не могло не обстоять весьма плохо. Суб'ективно Струве от них не отказывался, но с его концепциями борьба за них была связана очень слабо; органического места для них в его концепциях не оказывалось. В этих концепциях личность вообще была на положении, которое в тогдашней действитель-

---

[3]) Характерно, что в наше время официальные биографы Ленина обходят полным молчанием вопрос о позиции Ленина в 1891 году, — даже когда пишут специально об этом периоде его жизни (ср., напр., статьи проф. Б. Волтина в «Историч. Журнале» за 1943-1944 г.г.).

ности занимали евреи, не имеющие права жительства. «Личность в смысле индивидуальности», — писал Струве, — так «безгранично многообразна», что

> «устранение личности из социологии есть в сущности только частный случай стремления к научному познанию» («Крит. Зам.», стр. 33).

Отсюда не могло не вырастать то противоречие между «идеей свободы и исторической необходимостью», которое лежало в подоснове всех философских обобщений Струве-марксиста и которое предопределяло неизбежность крутых переломов в его дальнейшем идеологическом развитии. В 1894 году Струве еще не ставил проблему в ее развернутой формулировке, а ограничивался чисто механическим ее устранением со своей дороги, декретируя отсутствие как необходимости, так и возможности поисков закономерного об'яснения личности вообще (это отметил еще Милюков во втором томе своих «Очерков по истории русской культуры»).

Внешне такая трактовка проблемы личности выглядела, как почти предельное умаление ее роли. Так книга Струве и была воспринята тогдашним читателем. Но в то же время эта концепция содержала в себе элементы, которые делали закономерными и совершенно иные выводы, в совершенно ином направлении: личность, устраненная из социологии, в конечном счете могла обладать большей свободой в выборе индивидуальных путей, чем даже «критически мыслящая личность» недавнего народнического прошлого. Для нее были открыты все пути, — без тех запретов, которые налагал «категорический императив» Лаврова. Политические скитания Струве тех лет не оставляют сомнений, что именно такую роль эти философские посылки играли и в его личном сознании.

Политическое самоопределение молодого Струве шло не по одной линии. В университете начала 1890-х годов он был одной из наиболее известных фигур, как «отменно начитанный» марксист и признанный лидер студенческих об'единений взаимопомощи. Но когда молодежь, полная революционного пыла, обращалась к нему за советом, то ответы Струве ее не удовлетворяли. «Не поймешь его, — не то он немецкий социал-демократ, не то либерал из «Вестника Европы» — рассказывал зимой 1891-1892 года один из таких собеседников Струве, первокурсник Ставский, член кружка,

колебавшегося между народовольчеством и марксизмом (Мартов: «Записки социал-демократа», стр. 91). Нет сомнения, причина непонимания в значительной доле лежала и в Ставском, но две линии политической позиции Струве он подметил правильно.

Его политические выводы оформлялись прежде всего по линии немецкой социал-демократии, с деятельностью которой он рано ознакомился и к которой он проникся огромным уважением[4]). Тип немецкого социал-демократа, которого судьба забросила в Россию и который сохраняет свой немецкий социал-демократизм, оставаясь «чужестранцем» для русских дел, тогда был достаточно известен. В Петербурге его представителем был проф. Явейн: преданный член немецкой партии, он вел регулярные сношения с редакцией ее центрального органа, который тогда выходил в изгнании, в Цюрихе, поддерживал последний материально и посылал информацию о русских делах (в архиве секретаря этого органа, Германа Шлютера, автор этих строк нашел несколько десятков писем Явейна), но от русского движения старательно держался в стороне и только иногда позволял отдельным его представителям пользоваться книгами из своей богатой немецкой библиотеки. Русские дела Струве не считал для себя чужими; именно над ними он больше всего ломал голову, но своими же для него в то время были и политические и идеологические искания немецкой социал-демократии. Одним из первых он заинтересовался проблемой формирования политических взглядов Маркса, производил раскопки в старой литературе и вытаскивал оттуда забытые статьи Маркса, пропитанные напряженной страстью кануна 1848 года. По ним он проделывал свой путь развития от либерализма к революции, и нет ничего удивительного, если для определения ее этапов он брал не новые, а старые немецкие термины. Характерная деталь: весной 1894 г., в период составления «Критических Заметок», Струве пришлось встретиться с проф. А. Скворцовым, который ортодоксальный марксизм в области экономической теории соединял с защитой хозяйствен-

---

[4]) Еще в 1912 году, т. е. в период, когда по русской линии он вел уже самую решительную борьбу против социалистов, на вопрос одного из своих друзей, за кого он голосовал бы, если-б ему пришлось участвовать в выборах в немецкий райхстаг, Струве, после некоторого колебания, признался, что он, несмотря ни на что, все же проголосовал бы за с.-д.

ной политики Витте[5]); об этой встрече Струве писал Потресову:

> «Скворцов показался мне очень умным, — как я того и ожидал, — и безусловно порядочным человеком. Но л и ч н о мне он не понравился. Он совсем не н а ш, т. е. он марксист, не будучи коммунистом» (подчеркнуто самим Струве).

Себя Струве явно считал тогда коммунистом, — конечно, в том смысле этого слова, которое в него вкладывал Маркс времен «Немецкой идеологии» и «Коммунистического манифеста». В 1890-х годов термин коммунист совсем не был известен, — ни в русском, ни в международном социалистическом движении.

От практической деятельности русских учеников Маркса Струве тех лет был еще более далек, чем от их терминологии. В мемуарной литературе сохранился рассказ о попытке Струве «пойти в народ», — об его визите в рабочий кружок: плохой вообще оратор, на собрании кружка он чувствовал себя совсем неловко, стеснялся, говорил сбивчиво и очень сложно... Рабочие были недовольны и ворчали, что им прислали мало подготовленного пропагандиста, — еще больше был недоволен, конечно, сам Струве. «В народ» он больше не ходил!

7.

Совсем иначе он себя чувствовал в другой среде, в среде русских либералов, и это была вторая линия формирования его политических выводов. Своих связей с Арсеньевым и его друзьями Струве, став марксистом, не порвал. Наоборот, именно в это время они расширились и окрепли. К 1890 году он относит начало своих сношений с Родичевым и другими либералами-земцами Тверской губернии, которая с начала эпохи «великих реформ» стала центром земского либерализма всей России вообще. Ни различие в летах, ни разница мировоззрений не мешали сближению не только личному, но и политическому.

---

[5]) Не лишне отметить попутно, что к защите этой политики был склонен и Струве: в своих английских воспоминаниях он сообщает, что в первоначальной редакции «Критических Заметок» он защищал протекционизм Витте, и только настояния Потресова заставили его устранить соответствующие абзацы.

В начале того периода, о котором сейчас идет речь, в центре забот тверских земцев стояла защита земства от натиска реакционных «реформаторов». Это была та самая борьба, которую в литературе вел Арсеньев, только тверитяне ее вели на практике повседневной работы. Голодные годы встряхнули и Тверь, хотя эта губерния сама голодом не была захвачена. Под впечатлением неурожая был выдвинут вопрос об агрономической помощи крестьянству, этот вопрос упирался в вопрос о грамотности. Тверь была тесно связана со столицей, — между прочим, через того же Арсеньева, — и постановка вопроса о грамотности дала толчек к оживлению работы петербургского Комитета по распространению грамотности, в котором Арсеньев играл одну из руководящих ролей. Оживление начало намечаться и в Вольно-Экономическом обществе, где люди, связанные с земствами, начали поднимать такие вопросы, как отмена телесного наказания, как новый закон об оценке недвижимостей, денежная реформа Витте и пр. Из Твери же шли и первые попытки создания какого то суррогата об'единения земств: первое совещание по этому вопросу было созвано Петрункевичем в конце 1892 года, — в числе его участников находился Д. И. Шаховской, близкий друг Струве.

Смерть Александра III и вступление на престол Николая II ускорили внесение политического элемента в начинавшееся движение. В конце 1894 года в Петербурге, у Стаховича, состоялось частное совещание нескольких земцев, — среди них был ряд хороших знакомых Струве: Родичев, Корсаков и др. (Веселовский: «История земства», III, стр. 500), — приведшее к сговору о введении политических заявлений в те адреса, которые земские собрания должны были посылать новому государю. Особенно горячо на этом настаивал Родичев, который и стал автором адреса, принятого 20 декабря 1894 года тверским губернским земским собранием. Адрес этот по своему содержанию был больше, чем умеренным; Д. И. Шаховской, по свежим следам составивший сводку материалов об этой кампании адресов, был вполне прав, когда писал, что

> «представляя из себя довольно полное перечисление насущных потребностей страны, адреса эти остаются всецело на почве существующего государственного строя и вовсе не касаются форм правления» (С. Мирный: «Адреса земств 1894-1895 годов и их политическая программа», Женева, 1896).

Но в обстановке тех дней эти выступления были определенной

политической демонстрацией; особенно это верно в отношении Твери, где речь Родичева, произнесенная на земском собрании, была насыщена политическим протестом (отчет об этом собрании напечатан в «Летучих Листках, издаваемых Фондом Вольной Русской Прессы», 1895 г., № 18). Но действительно значительным политическим актом эти выступления сделало правительство, — сначала опубликованием резолюции Николая о «неуместной выходке» Тверских гласных, а затем его же знаменитой речью о «бессмысленных мечтаниях»...

Струве был тесно связан с главными действующими лицами всех этих попыток и несомненно был в курсе их подготовительной работы. Он же подвел политический итог всей кампании: 17 января 1895 года Николай II произнес свою речь перед земскими делегатами, а уже 19-го, одновременно с опубликованием этой речи в «Прав. Вестн.», по Петербургу был распространен гектографированный листок: «Открытое письмо к Николаю II.

> «День 17 января уничтожил тот ореол, которым многие русские люди окружили Ваш неясный, молодой облик... Вы вызвали восторг тех, кто готов служить всякой силе, ни мало не думая об общем благе... Но всю мирно стремящуюся вперед часть общества вы оттолкнули... Вы первый начали борьбу, — и борьба не заставит себя ждать» (Бурцев: «За 100 лет», стр. 266-267).

Автором этого «письма» был Струве, который написал его под свежим впечатлением от рассказов участников делегации, своими ушами слышавших слова Николая. Сам Струве рассказал и историю появления в свет этого документа: первым он прочел его Потресову, который в это время был фактическим представителем в Петербурге группы «Освобождения Труда»: Потресов его одобрил; тогда вместе с Потресовым они наладили и его размножение, — на гектографе, который имелся в книжном складе А. М. Калмыковой; в печатании участие приняли А. П. Штевен, Д. И. Шаховской и К. К. Бауер. Этот состав в высшей степени показателен для того блока, который складывался тогда вокруг Струве, равно, как показательны и пути, по которым они позднее разошлись. Штевен была видной деятельницей народного образования, организаторшей народных школ в Новгородской губернии, ведшей войну против Победоносцева, который насаждал школы церковно-приходские; в том же 1895 году правительство запретило

ей заниматься школьным делом и она вскоре умерла, до конца оставшись энтузиасткой-культурницей. Культурницей начала свою политическую жизнь и А. М. Калмыкова, вдова генерала; под влиянием Струве она стала марксистской, участвовала в издании «Нового Слова» и «Начала», помогала в создании «Искры»; позднее «приняла» большевицкую революцию и умерла в 1925 году в доме «ветеранов революции». К. К. Бауер, близкий друг Струве, погиб в декабрьские дни 1905 года в Харькове, где он работал в рядах меньшевиков. Кн. Д. И. Шаховской, внук декабриста и видный деятель к.-д. партии, секретарь Первой Государственной Думы, умер в России несколько лет тому назад: он всю жизнь работал над историей русского либерализма, знал ее действительно во всех деталях, многое подготовил к печати, но напечатать этих работ не смог, т. к. большевиками эта тема, даже в строго исторической трактовке, рассматривается, как запретная...

Эту группу, пеструю и по социальному составу, и по общественно-политическим настроениям, об'единяла общая работа в тех самых легальных организациях, о которых было упомянуто выше: в Комитете Грамотности, в Вольно-экономическом обществе и др. Эти организации как раз тогда сделались небольшими центрами, где представители демократической интеллигенции и писательского мира вступали в соприкосновение и с либеральными «цензовиками», и с фрондирующими бюрократами. Людей, которые работали в этих организациях, само их положение делало в известных отношениях центрами, к которым с разных сторон тянулись нити всевозможных связей. Сила Струве именно в том и была, что он был рупором настроении именно этой группы людей, их «идеологом».

Его «Открытое письмо» произвело большое впечатление. Его многократно перепечатывали всевозможными способами, как внутри России, так и заграницей. Попало оно и в иностранную прессу. Оно не только появилось в удачное время, когда общее настроение было напряжено; оно и составлено было и с большим тактом, и с еще большим политическим чутьем. Имя автора, конечно, в печати оглашено не было, но оно было довольно широко известно, и это сильно повышало авторитет Струве.

8.

«Критические Заметки» навлекли на себя не мало критических ударов. Для автора наиболее чувствительными были,

конечно, удары, шедшие из тех самых кругов, принадлежащим к которым он себя считал. Таких ударов было не мало. Остро поставил вопрос Ленин, который на нелегальном собрании в Петербурге, в присутствии Струве, прочел доклад об его книге, озаглавив его: «Отражение марксизма в буржуазной литературе» («Соч.», т. 1, стр. 499); не менее остра была критика группы «самарских марксистов» (П. П. Маслов и др.). Заголовок Ленина был не оригинален: об «отражении Маркса в буржуазной литературе» говорил сам Струве в тех же самых «Критических Заметках». Но это не смягчало, а усиливало удар. Это много позднее, через 40 лет, в своих английских воспоминаниях Струве был готов весь свой марксистский период подвести под указанный ленинский заголовок; в середине 90-х годов он на это ни в коем случае не хотел согласиться, — и каждый, кому придется перечитать его переписку тех лет (автор этих строк читал его письма к Потресову, Засулич и др.), не сможет не признать, что во всяком случае суб'ективно он был тогда вполне искренен в своих протестах. Да и об'ективно дело было много более сложно. Потресов, несомненно, много ближе к исторической правде, когда в своих позднейших обзорах идейной борьбы указанного периода определяет «Критические Заметки», как документ, отметивший определенный момент в развитии русской демократической интеллигенции: признание ею капитализма, как неизбежного этапа, который предстоит пройти России на пути к освобождению («Общественное движение в начале XX века», т. 1, стр. 571). Этот документ об'единил вокруг себя много разных групп, блок которых в дальнейшем должен был необходимо распасться, но для правильного понимания эпохи этот блок надо рассматривать не только под углом его последующего распадения, но и под углом выяснения факторов, приведших к его созданию.

Что же касается до самого Струве, до суб'ективных моментов, определявших его поведение, то его собственные произведения позволяют понять, в какой именно плоскости нужно искать решения того противоречия, которое в его позиции, несомненно, существовало. Его «коммунизм», — это была «историческая необходимость»: признав определенные научные законы развития «экономического базиса», он не мог не перенести выводов из этого признания (к этому обязывала научная честность мышления) также и в область «идеологической надстройки». Тогдашний Струве хорошо помнил, что «бытие» должно определять «сознание»! Но, по его же схемам,

личность, ускользнувшая от действия неумолимых законов социологии, сохраняла «свободу» индивидуальных исканий. В качестве одной из таких личностей, Струве сближался с Родичевым и писал свое «Письмо», — за либералов и под их углом зрения подводя политический итог их выступлению...

Так устанавливалось равновесие, но равновесие, конечно, весьма и весьма неустойчивое. Долго сохранять его было невозможно. Маятник должен был качаться, и он, действительно, очень скоро качнулся: прежде всего в сторону укрепления элементов «коммунизма».

(Окончание следует)

Бор. Николаевский.

ДУХОВНЫЙ ФРОНТ ФРАНЦУЗСКОГО «СОПРОТИВЛЕНИЯ»

Во время германской оккупации, орудие нацистского ига было со всей очевидностью направлено не только против тела побежденной Франции, но и против ее души, против всего ее морально религиозного уклада. Это, естественно, вызвало сопротивление со стороны активных христиан. Но христианский фронт против Наци не образовался, так сказать, экспромптом. Его истоки родились накануне войны и не иссякли в трагические дни поражения.

Уже в 1930 году глубочайшее духовное обновление охватило некоторые круги французского общества. И хотя это были лишь некоторые круги, как будто не участвовавшие активно в социально-политической жизни страны, они постепенно крепли и расширялись, образуя ряд групп и ячеек, разбросанных по всей стране.

Это духовное обновление свершилось под знаком христианской социальной доктрины, созданной современными французскими католическими философами и писателями (Маритэн, Мориак и др.) и русским мыслителем Н. А. Бердяевым, оказавшим глубокое влияние на французскую духовную элиту.

В последующие годы христианская социальная идеология была развита и проведена в жизнь молодежью, которая об'единилась вокруг выше названных вождей. Французская церковь, в лице представителей передового духовенства и монашества, широко пошла навстречу социальному движению. Наконец, и христиански-настроенные рабочие группы Франции приняли активное участие в этом религиозном возрождении, на социальной почве, все более развивая сеть христианских трудовых организаций: христианских профессиональных союзов, а также об'единений христианской трудовой молодежи «ЖОКА». Все эти организации имели свою печать, свои кружки и семинары. Появились журналы и еженедельники, как например "Esprit", "Temps Present", позднее переименованный в "Temps Nouveaux"*) под редакцией Станислава Фюмэ. Эти журналы, на-

*) "Temps Nouveaux" не следует смешивать с парижским прогерманским органом "Les Nouveaux Temps".

сыщенные подлинной христианской динамикой, призывали к духовной революции. Кроме того, и Мунье и Фюмэ сумели сгруппировать вокруг своих изданий значительное число подписчиков-друзей, которые являлись не только читателями, но и активными участниками духовно-социального движения.

Об'единения друзей "Temps Present", "Temps Nouveaux" и "Esprit" создались не только в Париже, но и в провинции, в целом ряде крупных центров и даже небольших городов. Автору пришлось работать с одной такой группой после разгрома Франции в свободной зоне. В то время социально настроенная христианская молодежь Франции, потрясенная поражением, только начинала перестраиваться и собирать свои рассеянные силы. Но уже тогда было вполне очевидно, что в этих сравнительно еще немногочисленных и слабо вооруженных группах, воссоздавшихся в 1940 году, германские оккупанты и их вишийские сообщники встретят твердый и решительный отпор. Этот отказ «смирить свой дух» перед победителем проистекал из самой сущности французского социального движения; ибо оно было, как нам уже пришлось указывать на страницах Нового Журнала, г у м а н и т а р н ы м, п е р с о н а л и с т и ч е с к и м и а н т и т о т а л и т а р н ы м. Вот почему, многих вдохновителей этого движения вскоре постигла трагическая судьба. "Esprit" и "Temps Nouveaux" были закрыты по распоряжению Виши, и их редакторы, Мунье и Фюмэ, были вскоре после этого арестованы. В день закрытия своих изданий Станислав Фюмэ заявил в письме к друзьям, что исчезновение журнала ни в коем случае не могло сокрушить созданного им духа: «Друзья "Temps Nouveaux" перестанут существовать, писал Фюмэ, но на их месте останутся п р о с т о д р у з ь я». В этих словах было много пророческого. Ибо, действительно, сеть «друзей духа и свободы, послужила во всех городах Франции живой, органической тканью; именно благодаря им так быстро мог образоваться христианский фронт французского сопротивления.

Живую ткань оппозиции образовали также христианские профсоюзы и члены христианского об'единения трудовой молодежи, так называемые «Жосисты». К этим активным католическим группам, действовавшим в свободной и в оккупированной зонах Франции, нужно прибавить круги активной протестантской молодежи со своими пасторами. Роль доктора Бегнера, главы Французской Реформированной Церкви, который так мужественно отстаивал гонимых евреев, общеизвестна.

Недостаточно известно, быть может, героическое поведение ряда других французских пасторов и швейцарского пастора де Пюри, подверженного немцами тюремному заключению во Франции.

Все эти разнообразные элементы духовных течений Франции ушли в подполье и в «маки». Многие пострадали, были арестованы, депортированы или расстреляны. Французские священники и представители религиозных орденов тесно сотрудничали в подполье с другими группами сопротивления и проявили большую деятельность, постоянно рискуя жизнью и часто принимая мученичество. Они укрывали евреев и беглецов из концлагерей, и снабжали молодежь, тайно направлявшуюся в «маки», дабы избежать депортации, деньгами, одеждой и фальшивыми паспортами. Французские религиозные ордены проявили свою деятельность не только в гуманитарной области. Они принесли сопротивлению свой идеологический и догматический опыт: так, например, один, известный своей эрудицией, иезуит доказал, основываясь на традиционном богословии, нелегальность правительства Виши, и таким образом привлек обширные католические круги на сторону сопротивления.

Христианское французское подполье имело, по примеру других группировок сопротивления, свой нелегальный печатный орган: "Courrier du Temoignage Chrétien", в котором сотрудничали рядом католики и протестанты. Парижское нелегальное книгоиздательство "Editions de Minuit", напечатавшее нашумевшую книгу Веркора «Молчание моря», выпустило также книжки Маритэна и Мориака. Эти книжки расходились по всей Франции при помощи тайных книгонош, к числу которых, между прочим, принадлежал известный французский критик и философ, убежденный позитивист.

Одна из характерных черт французского сопротивления — это смычка, происшедшая на общей почве между людьми разных классов и мировоззрений: коммунисты, консерваторы, христианская молодежь и евреи работали плечо к плечу в «маки» и в подполье.

Но не в одних нелегальных организациях проявилась духовная сила Франции. Эта сила была выражена и некоторыми представителями высшей иерархии. Один из героев духовного сопротивления Франции — Монсеньер Салиеж, Архиепископ Тулузский. Его пастырские послания неоднократно подчеркивали основные принципы христианской этики, идущей вразрез с теориями Наци. Престарелый Архиепископ

не убоялся осудить германский террор, гонение на евреев и депортацию. Он убеждал молодежь, насильно увезенную в Германию, быть везде и повсюду «свидетелями Христа». "La Cause de la France est juste" («Дело Франции есть праведное дело»), повторял он во всеуслышание, не взирая на немецкий контроль. Большим мужеством отличались также Епископ Монтобанский, Епископ Аннеси и Ректор Тулузского Католического Института.

Ныне освобожденная Франция отдает дань участникам духовного фронта времен германской оккупации. Их престиж остался огромным, о чем свидетельствовало назначение Бидо, представителя христианских профсоюзов и вождя сопротивления, на пост Министра Иностранных Дел. Вернувшись на свободу, Эммануэль Мунье и Станислав Фюмэ возобновили выпуск своих журналов. Продолжает выходить, отныне легально, замечательный, бывший подпольный, орган "Courrier du Temoignage Chrétien".

Накануне войны, Жак Маритэн где-то писал, что французское социально-религиозное возрождение даст свои плоды лишь через десяток лет. В огне тяжелых испытаний и героической борьбы, эти плоды созрели в четыре года.

Елена Извольская.

В. И. ВЕРНАДСКИЙ

В начале этого года наука понесла тяжелую утрату: 6-го января скончался в Москве на 82-ом году жизни академик Владимир Иванович Вернадский. Редко можно сказать о человеке, дожившем до столь преклонного возраста, что он ушел от нас полный творческих сил и энергии. Но это можно сказать безо всякого преувеличения о покойном. Письма его к родным и знакомым в Соединенных Штатах, написанные всего лишь недель за семь до его кончины, полны энтузиазма и новых научных проектов. С той чисто русской энергией, которая дала возможность русскому народу победоносно перенести нынешние небывалые испытания. Владимир Иванович продолжал свою научную деятельность до последнего часа, продолжая свою научную деятельность до последнего часа, продолжая ее в условиях военного времени, когда менее сильные духом почли бы вполне естественным хотя бы временно прекратить такую работу.

В. И. Вернадский родился 10 марта (н. с.) 1863 года в Петербурге, хотя семья его родом из Черниговской губернии. Окончив в 1881 году 1-ю Петербургскую Классическую Гимназию, он поступил на естественное отделение Физико-Математического Факультета С.-Петербургского Университета. По окончании курса в 1886 году В. И. был назначен хранителем Минералогического Кабинета С.-Петербургского Университета, а в следующем году был командирован заграницу. Там он работал большую часть времени у профессора Грота в Мюнхене и у профессоров Фукэ и Лешателье в Париже.

По возвращении в Россию в 1890 году В. И. был назначен приват-доцентом Московского Университета и в следующем году начал чтение лекций по минералогии. В 1897 году, защитив в Петербургском Университете диссертацию на степень доктора минералогии, В. И. был назначен экстраординарным профессором Московского Университета. В 1906 году, оставаясь профессором в Москве, он был избран ад'юнктом Академии Наук, в 1909 году — экстраординарным академиком, а в 1912 году — ординарным академиком, достигнув таким образом высшей награды для русского ученого.

В 1911 году В. И. переселился в Петербург и там прошла

почти вся его дальнейшая деятельность. Необходимо отметить однако, что в 1918 году В. И. принимает деятельное участие в основании Украинской Академии Наук в Киеве и является первым ее Президентом. В тяжелые годы гражданской войны В. И. в качестве ректора нового тогда Таврического Университета пытается сохранить и организовать уцелевшие еще молодые русские научные силы.

Научная деятельность В. И. Вернадского может быть разделена на две части. Приблизительно до 1916 года интересы его сосредоточивались, главным образом, в области минералогии и кристаллографии. Особенно важны его исследования строения аллюмосиликатов.

Когда В. И. начинал свои исследования в этой области, атомистическая теория вещества, при всех своих успехах, все же считалась лишь очень полезной «рабочей гипотезой». Атомы и молекулы не приобрели тогда еще той реальности, которая им приписывается теперь. Поэтому интересные теоретические соображения Вернадского о расположении атомов в кристаллах алюмосиликатов, хотя и были названы французским химиком Лешателье «гениальной гипотезой», все же оставались долгое время не более как гипотезой. Но вот, начиная с 1912 года, физика делает ряд изумительных открытий, в результате которых гипотетические атомы химиков приобретают реальность. Вырабатываются новые методы для точного определения расположения атомов в кристаллах, и оказывается, что «гениальная гипотеза» Вернадского, несмотря на расхождения в деталях, в общем вполне подтверждается новыми физическими методами и из гипотезы превращается в экспериментальный факт. Предвиденье будущих открытий есть высшее достижение научной мысли.

Не менее важны и исследования Вернадского в области изоморфизма, а также в области динамики образования минералов в земной коре. Этот вопрос сталкивает его с ролью живого вещества в образовании некоторых минералов, а это в свою очередь приводит его к основной теме его работ второго периода — а именно к исследованию взаимодействия косного и живого вещества в космическом масштабе.

Развитие земли как планеты рассматривается обычно с точки зрения физико-химических законов неживого вещества. Появление жизни на земле является с этой точки зрения как бы случайностью, сравнительно мало нарушающей общий ход неорганического развития нашей планеты. Хорошо известно, однако, взаимодействие между живой и мертвой природой.

Образование различных почв, представляющих собой самый верхний твердый слой нашей планеты, обусловлено отмиранием различных организмов. Образование огромных залежей каменного угля тоже произошло за счет живших когда-то организмов.

Заинтересовавшись ролью живого вещества в образовании различных минералов, Вернадский приходит к заключению, что роль эта гораздо важнее, чем обычно думают. Он указывает на то, что даже огромные толщи гранитов, большею частью скрытых в глубине, являются конечным продуктом деятельности когда-то живших организмов.

С целью более исчерпывающего изучения геологической роли живого вещества, Вернадский предпринимает систематическое исследование распространения живого вещества на разных глубинах, а также занимается детальным изучением различных действий живого вещества на разные минералы. Создается новая наука, «биогеохимия», посвященная изучению роли живого вещества в химическом развитии земли, а может быть и других планет. Исследования эти Вернадский продолжал до конца своей жизни, даже в тяжелых условиях военного времени. В начале войны Вернадский, вместе с некоторыми другими учеными, был эвакуирован в Боровое, в Казахстане. Но и там он продолжал по мере возможности свою работу. Биогеохимическая Лаборатория Академии Наук была в это время переименована в Лабораторию Геохимических Проблем Имени Академика Вернадского. В письме от 18-го ноября 1944 года к автору этих строк, Владимир Иванович, вернувшийся уже тогда в Москву, описывает ведущиеся лабораторией исследования на глубинах более пяти километров под землей (в Донецком бассейне). «Жизнь идет глубже пяти километров», пишет он.

Как известно, зеленые растения могут при помощи улавливаемой ими солнечной энергии образовывать различные сложные химические соединения, из которых построены различные организмы. Животные этих соединений образовывать не могут и получают их от поедаемых ими других животных или растний. Вернадский указывает на то, что человек, благодаря своему разуму, идет по пути нарушения этой общей схемы. Создавая искуственно, в лаборатории, различные сложные химические соединения, человек постепенно освобождается от этой зависимости от других животных и растений. Развитие человеческого разума нарушает, таким образом, установленный круговорот вещества между неживой и живой природой. Сейчас

еще нарушение это едва заметно. Но с дальнейшим развитием человеческого разума человек должен будет сделаться важным геологическим фактором. Превращения энергии, которые до появления человека происходили в большом масштабе лишь в неживой природе, теперь все более и более становятся делом рук, или вернее разума, человека.

Общая масса всего человечества, по сравнению с массой земли, ничтожно мала. Но человеческий разум придает этой ничтожной массе огромное значение. Согласно Вернадскому, человечество можно рассматривать как чрезвычайно тонкую, но очень важную оболочку земли. Эта оболочка, названная французским ученым Ле-Руа «ноосферой» (от греческого «ноос» — разум), представляет собой позднейшее проявление более старой оболочки, «биосферы», состоящей из совокупности всех живых веществ.

Вышеизложенные идеи Вернадского вызвали интерес в Западной Европе и в 1922 году Вернадский был приглашен прочесть курс лекций по геохимии в Сорбонне. Во время пребывания его в Париже ему была предложена постоянная профессура, при условии, что он откажется от советского гражданства и примет французское. От этого предложения Вернадский отказался и вернулся в Россию. В 1927 году он приезжал для чтения лекций в Прагу.

Было бы ошибочно думать, что деятельность Вернадского была посвящена исключительно чистой науке. Мы уже упоминали о деятельности его как Президента Украинской Академии Наук и как Ректора Таврического Университета. Необходимо также отметить деятельность Вернадского, как председателя созданной по его инициативе Комиссии по Изучению Естественных Производительных Сил России, имевшей огромное практическое значение. Добавим к этому его земскую деятельность в 1892-1907 и в 1910-1913 годах в Тамбовской губернии; деятельность его на посту товарища министра народного просвещения при Временном Правительстве, а также его интерес к истории науки, проявившийся в ряде статей, и мы получим несколько более полную картину разносторонней личности покойного. Нельзя умолчать и о его личной обаятельности и о том постоянном интересе, который он проявлял к молодым начинающим ученым.

Многолетняя выдающаяся деятельность Вернадского была достойно оценена Советским Правительством: в 1943 году, по случаю его 80-летия, ему были присуждены Орден Трудового Красного Знамени и премия имени Сталина.

Как всякий истинный ученый, Вернадский не мог жить без творческой деятельности, как не может жить человек без воздуха. Пережитые им две мировые войны и небывалая по историческому значению революция не только не приостановили его творческой деятельности, но зачастую стимулировали к новой работе мысли. Мудрец, он созерцал все эти события пытливым взором. К таким как он относятся слова поэта:

«Блажен, кто посетил сей мир
В его минуты роковые:
Его призвали всеблагие
Как сотрапезника на пир».

Н. Рашевский.

ОТ РЕДАКЦИИ: В дополнение к биографическим сведениям о В. И. Вернадском, имеющимся в статье Н. П. Рашевского, редакция считет нужным добавить указание на политическую деятельность В. И. до 1917 года.

В. И. Вернадский был одним из основателей Союза Освобождения (1903 г.) и выросшей из недр этого союза Конституционно-Демократической Партии (1905 г.). Позже В. И. Вернадский был избран от академической курии членом Государственного Совета.

А. Н. ТОЛСТОЙ

1882—1944

Русская литература понесла тяжкую утрату: умер А. Н. Толстой, ушел из жизни в расцвѣтѣ своего дарованія, недавно закончив свою «трилогію» и не успѣв закончить третьей части «Петра».

А. Н. Толстой считался самым крупным из «совѣтских» писателей. Если примѣнять этот спорный термин к тѣм писателям, которые выросли и сложились в Совѣтской Россіи, то едва ли он примѣним к А. Н. Уже в дореволюціонной Россіи его литературная извѣстность граничила со славой. Он вернулся в Совѣтскую Россію из заграницы, когда ему было больше сорока лѣт и он уже начал работать над обѣими центральными своими темами: октябрьской революціи и революціи петровской. Но в Россіи перед ним еще было больше двадцати лѣт творческой работы и за эти годы он развил и преобразовал обѣ эти темы.

Есть писатели, пролагающіе новые пути, таковы великіе классики. Есть другіе писатели, таких путей ищущіе, бредущіе по горным тропинкам, порою срывающіеся, или заходящіе в тупик. А. Н. не принадлежал ни к тѣм, ни к другим. Он шел по уже проторенным дорогам, и в этом смыслѣ может быть назван «эпигоном». Но в этом эпитетѣ не всегда кроется обидный смысл. Важно к а к и за к ѣ м слѣдовать.

А. Н. шел «большаком» русской литературы. Он был связан с нею глубокой, почти органической связью. Недаром носил он имя Толстого, был «Толстым третьим» и к тому же родственником Тургенева и Аксакова. Это было не только физическое, но и духовное родство. Он был их продолжателем и наслѣдником и наслѣдства своего не расточил.

В первых же разсказах А. Н. Толстой плѣнил читателей острой наблюдательностью, красочным и богатым языком. Его появленіе в литературѣ было встрѣчено одобреніем критики. Кое что казалось у него нѣсколько карикатурным. Но кто знает: может быть, в заволжских степях, дѣйствительно, сохранились до этих дней такіе дворянскіе «раритеты», обломки крѣпостного быта, которые он описывал. К тому же карикатурность легко прощалась в ту антиреалистическую полосу

русской литературы. Толстой примыкал тогда к символистам и писал яркіе стихи русско-мифологическаго характера. К поэзіи, однако, он позже не возвращался.

В первые же годы революціи Толстой начал свою эпопею «Хожденіе по мукам». Россію, «ходящую по мукам» войны и революціи, должна была символизировать героиня романа Даша. Романъ началъ печататься в эмигрантских «Грядущей Россіи» и «Современных Записках». В первую же пооктябрьскую зиму написан был «День Петра». Автор считал эту повѣсть одною из значительнѣйших своих вещей. «День Петра» полон почти физическаго отвращенія к великому, «революціонеру на престолѣ».

Вернувшись в СССР, Толстой, разумѣется, должен был пересмотрѣть контр-революціонную «установку» этих двух произведеній. Даша — Россія и ея друзья в результатѣ «хожденій по мукам» приняли революцію и, если не всѣх ея вождей, то Сталина (Троцкаго Толстой продолжал ненавидѣть). Превращеніе это было продѣлано мастерски и многое в этой «эпопеѣ» революціи останется цѣнным художественно историческим свидѣтельством о тѣх страшных годах.

Петровскую тему Толстой развернул в широкое полотно лучшаго своего романа, сдѣлав из него страстную апологію Петра. С большим мастерством возсозданы автором и Допетровская и Петровская Русь и даны образы императора и его окружающих. В этом кромѣ художественной интуиціи помогло Толстому, может быть, его знаніе современной Россіи, в которой сохранилось немало вкрапленных в нее кусков Руси 17-го вѣка. Метод Толстого в этой вещи—это метод «реалистическаго импрессіонизма». Краски кладутся быстрыми, но чрезвычайно рельефными и густыми мазками. Автор не стремится к плавному разсказу, а дает отдѣльныя яркія отрывочныя картины. Иногда, впрочем, сама яркость и густота красок начинает утомлять читателя. Успѣх этой вещи в Совѣтской Россіи и в эмиграціи былъ огромен, и роман, вѣроятно, останется в русской литературѣ.

Впрочем, предсказанія о том, что «останется», чрезвычайно оспоримы, да и само это понятіе очень условно. Легче сказать, что забудется и отвѣется временем. Многое в произведеніях Толстого, хотя и отмѣчено всегда талантом, но легковѣсно: таковы его злободневные «Черное Золото» (пасквиль на эмиграцію), «Ибикус», «Хлѣб»... Много таланта и умѣнія вложено Толстым в его театр, все же далеко не первокласный. Брался он и за фантастическій жанр, но русским Уэлсом не

стал. Его мѣсто в литературѣ обезпечат ему кромѣ тѣх двух романов, о которых мы уже говорили, очаровательное «Дѣтство Никиты», да томик-другой избранных разсказов.

Мѣсто это представляется нам среди «младших классиков» русской литературы гдѣ-то ниже Аксакова и Лѣскова.

Мы предполагаем еще вернуться к болѣе подробной характеристикѣ творчества А. Н. Толстого. Но нам хотѣлось бы и в этой краткой замѣткѣ коснуться одного распространеннаго недоразумѣнія. Толстого многіе считали как бы только интуитивным талантом. На самом дѣлѣ, он являлся примѣром умнаго, сознательнаго и культурнаго работника. Тѣ, кто близко знали его, поражались его работоспособности. Они помнят его за письменным столом с головой туго обвязанной мокрым полотенцем, не то помогавшим его творческой работѣ (вродѣ шиллеровских гнилых яблок), не то спасавшим его от послѣдствій большого умственнаго напряженія. Как всякій большой дар, дар его не был «легким даром» и требовал постояннаго труда и умственной дисциплины.

М. Цетлин.

ЭМИГРАЦИЯ И СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ

12-го февраля текущего года группа русских эмигрантов в Париже, с В. А. Маклаковым во главе, посетила советского посла Богомолова и имела с ним двухчасовый политический разговор. Это событие очень взволновало русское общественное мнение зарубежья. Вопрос об отношениях между советской властью и эмиграцией неожиданно стал злободневным.

Как уже сообщалось в нью-иоркской русской печати, из Парижа ожидается «документированное письмо», которое должно об'яснить причины и цели визита. В момент сдачи настоящей книги в печать, оно еще не было получено в Нью-Йорке. Некоторые из политических деятелей и публицистов эмиграции, как защитники, так и противники этого политического акта, считают возможным высказаться о нем до получения упомянутого выше письма. Другие находят это для себя неудобным. Редакция «Нового Журнала» произвела анкету среди публицистов и политических деятелей разных направлений и печатает в настоящей книге ответы, полученные от некоторых лиц, принадлежащих к первой группе. Ответы других авторов появятся, вместе с редакционной статьей, в следующей, одиннадцатой, книге «Нового Журнала». Основной смысл политического существования эмиграции так или иначе сводится именно к вопросу об отношении к советскому строю. Материалы появятся новые, более точные и обильные, но важность вопроса останется неизменной. Между тем мы не хотели бы высказываться по этому вопросу лишь в общей форме: подобные суждения высказывались в «Новом Журнале» не раз. Мы не видим никакого смысла в существовании такой эмиграции, которая отказалась бы, по каким бы то ни было причинам, от принципов свободы и демократии. Обсуждать вопрос заново мы считаем уместным лишь именно в виду нового факта, вызвавшего сенсацию среди русских во Франции, в Соединенных Штатах и, вероятно, во всех других странах.

Само собой разумеется, редакция не несет ответственности за суждения, высказанные в печатаемых ответах на

анкету. Мы считаем, однако, необходимым ответить на одно из положений Н. П. Вакара, который отчасти подошел к вопросу, если можно так выразиться, с точки зрения «первых бумаг».

Советское правительство, не раз назначавшее на видные государственные посты иностранцев, родившихся вне России, иногда не знавших даже русского языка, лишило русского гражданства миллион эмигрантов. Они оказались в положении людей бесправных, лишенных в частности самого насущного элементарного права: права передвижения. В неизмеримо менее трудных обстоятельствах А. И. Герцен принял швейцарское гражданство, и, вероятно, Н. П. Вакар не утверждает, что Герцен «отказался от родины»! Можно было бы напомнить и множество других примеров. Мы напомним Н. П. Вакару лишь то, что среди лиц, посетивших советское посольство 12 февраля, были и эмигранты, принявшие французское г р а ж д а н с т в о (а не статус, бывший во Франции приблизительным эквивалентом «первых бумаг», которые сами по себе американского гражданства не дают и не означают).

Мы хотели бы отметить еще одно недоразумение. Группа членов партии Народной Свободы в Нью-Йорке, как верно указывает Н. П. Вакар, в свое время заявила, что на время войны отказывается от революционной борьбы с советской властью. Но революционной борьбы с советской властью фактически уже лет пятнадцать не ведет в эмиграции никто. Более или менее сходные резолюции были вынесены и нью-йоркской группой с.-р., и заграничной делегацией меньшевиков и, в еще более общей форме, парижской Республиканско-демократической группой, недавно опубликовавшей свои тезисы в «Новом Русском Слове». Это совершенно естественно и споров не вызывает. Если же называть «борьбой» высказывание суждений, неугодных советскому правительству, то ведут борьбу не только все четыре вышеназванные группы, но, повидимому, и та группа, которую возглавляет В. А. Маклаков. От права критики, порицания, осуждения советского правительства эмиграция отказываться не должна и не может. В странах диктатуры всякая критика власти считается революционным актом. Однако, в свободных странах власть не отличается столь повышенной чувствительностью. Если легкое неодобрение со стороны столь дружественного деятеля, как Вилки, вызвало грубый окрик московской печати, то мы знаем, какую резкую критику терпел покойный президент Рузвельт, терпят со стороны коммунистов и «Движения сопротивления»

де Голль или Бономи, спокойно выносит от левых трудовиков темпераментный Черчиль. Задача свободной печати естественно включает критику, которая должна быть, разумеется, правдивой и об'ективной. Понятие «оппозиция его величества» могло иметь какой-то политический смысл. Но «эмиграция его величества» есть нечто совершенно бессмысленное.

РЕДАКЦИЯ.

Н. П. ВАКАР.

К тому времени как пишутся эти строки, нет еще документальных сведений о том, что в точности произошло 12 февраля на улице Гренель. Известно только — и то не документально, а из газетной корреспонденции и частных писем, — что в тот день кадеты В. А. Маклаков и А. Ф. Ступницкий, энэсы А. С. Альперин, Д. М. Одинец и А. А. Титов, эсэры Е. Ф. Роговский и М. М. Тер-Погосьян, бывш. сотрудник «Возрождения» В. Е. Татаринов и два адмирала — один «царский», другой «февральский», — М. А. Кедров и Д. Н. Вердеревский, посетили советского посла Богомолова, обменялись речами, были приглашены к посольскому столу и расстались, пожав друг другу руки. Известно также, что встрече предшествовали совещания эмигрантских политических групп и разного рода «записки», тайно ходившие по рукам тогда, когда за такую литературу Гестапо сдирало шкуру и с писателя и с читателя. Это, собственно, все, что пока составляет матерьяльную сторону факта, поразившего русских эмигрантов в Америке и громко прозванного «Загадкой Маклакова» в русско-американской печати.

Обмен мнений по этому поводу может казаться преждевременным. Не лучше ли, правда, подождать «документальных сведений»? Но в самом слове «загадка» уже подчеркнута противоестественность события и высказано недоверие к людям, долголетним товарищам и вчерашним единомышленникам. Очевидно, какие бы подробности и об'яснения ни содержали документы, ожидаемые из Парижа, они мало изменят установившееся отношение. Во всяком случае, они не могут отменить существо дела: — после четверти века борьбы политическая эмиграция в лице Маклакова пожала руку власти в лице Богомолова. Вопрос не столько в том, почему так поступил Маклаков и его

товарищи, сколько в борьбе с советской властью вообще. Это дает достаточное основание для немедленного обсуждения.

Но одно дело, когда этими вопросами заняты русские эмигранты в Америке т а к и е же, как эмигранты в Европе, и другое дело, когда о них судят эмигранты, ставшие или заявившие о своем намерении стать а м е р и к а н с к и м и г р а ж д а н а м и. Это не значит, что последние лишены права иметь свое мнение; но это значит, что их мнение вряд ли вполне компетентно и, по существу, оно не может иметь для русского эмигранта в Европе больше морально-связующей силы, чем, скажем, мнение голландское или греческое. Это — мнение друга-иностранца. При одинаковой непримиримости к коммунизму, их отношение к России, очевидно, различно. Одни борются с коммунизмом, потому что стремятся на родину и в этом видят дело ж и з н и ; другие отказались от родины, но борются с коммунизмом, потому что видят в этом дело п р и н ц и п а. Борьба их разная, и проблема отношения к советской власти различна. Хотя бы и во имя общего идеала, но для тамошних, в Европе, лишенных родины, это борьба со с в о е й властью; для здешних, обретших новую родину, это борьба с ч у ж о й государственной властью. В этом огромная разница. Разрешая право компромисса одним, она лишает его других. Русский американец, развязанный от своих обязательств к России, не имеет права судить тех, кто чувствуют себя связанными как раз этими и только этими обязательствами. В лучшем случае он может судить о деле в сослагательном наклонении: как он сам поступил б ы, если б ы имел попрежнему их задачи и был в их положении и на их месте. Но это имеет академический интерес и лишено ответственности. Эмигрантская политика — больше н е е г о д е л о. Это соображение должно было бы смягчить горячность полемики.

Обсуждая выступление парижан, русским американцам — старым, недавним и будущим, — нужно, прежде всего, уяснить себе, что они, собственно, обсуждают: с в о ю проблему отношения к советской власти или и х проблему отношения к советской власти. Это две разные вещи. Смешение их недопустимо морально и политически. Круг полноправных участников спора суживается, таким образом, до небольшой группы лиц в Америке, продолжающих упорствовать в эмигрантском состоянии.

К ним естественно примыкает более широкая среда недавних и будущих американцев с раздвоенным сознанием. Законно или не законно, но они пока считают себя больше русскими,

чем американцами. Они думают, говорят, чувствуют по-русски. Конечно, они русские люди! Они не могут молчать. Их слово имеет известный моральный вес. Однако, осторожность и тут не была бы лишней. Мы не замечаем, до какой степени мы у ж е с т а л и американцами. В этом, разумеется, нет ничего плохого. Но нет и ничего геройского. Нельзя вечно быть эмигрантом. Америка, предлагая гражданство, не заставляет человека отказываться от себя. Принимая или решив принять гражданство с вытекающими из него последствиями, мы мало чем ограничиваем свою прежнюю свободу; наоборот, часто мы ее расширяем. В законных пределах нам не возбраняется быть русскими. Не существенно, имеем ли мы уже гражданские бумаги или только ждем их. Вопрос о судьбе политической эмиграции, в своем случае по крайней мере, такие эмигранты уже решили: «не в силах долее скитаться, отказываюсь от родины».

Не думаю, чтобы это можно было предлагать, как общее решение. Для нас в Европе вопрос так не стоял. Если для многих из нас именно так он встал здесь, то это потому, что мы окончательно оторвались и от России и от Европы. Мы настолько оторвались от обоих, что перестали хорошо понимать их. А перестав понимать, проглядели в последнее время не мало и в России и в Европе.

Теперь не можем уж понять, кого? Друзей и единомышленников жизни! Всего четыре года, пять лет, как расстались с ними, и вот уже они стали для нас «загадкой», мы говорим о них с огорчением, думаем с недоверием. Послушайте, господа, да как же это можно? За то, что они «пожали руку» Богомолову? За то, что они там, на линии боя, подписали мировую с врагом, тогда как мы тут, в тылу, надобности в этом не видим? Что дает нам право п о д о з р е в а т ь, что люди, которые боролись за Россию и свободу, которых мы лично знаем, уважаем и любим, которые вынесли бесправие, голод, гибель близких, концлагерь, но не уступили ни немцам из Гестапо, ни французам из Виши под угрозой смерти, вдруг здорово живешь отказались от самих себя? Что дает нам право с ч и т а т ь, что только мы подлинно мужественны, праведны, и только мы верны России и демократии?

Нелепо требовать, чтобы русские политические эмигранты в потрясенной Европе следовали примеру русских политических эмигрантов в благодатной Америке. Разумнее спросить себя, последовали ли бы мы и х п р и м е р у, если бы оставались с ними и пережили их опыт? По причине обстоятельств

преимущественно географических, а в значительной мере и в силу различного политического климата, ход наших мыслей и переживаний за истекшие 4-5 лет был иной, чем у друзей, оставшихся в Европе. Но и здесь ход мыслей не был у всех одинаков. Война — далекая и плохо слышная — заставила многих и здесь пересмотреть прежние мнения, признать некоторые свои ошибки и изменить — в одних случаях больше, в других меньше, — отношение к советской власти. В первые же месяцы после германского вторжения в Россию, бывшие члены партии Народной Свободы об'явили о прекращении политической борьбы с советской властью на все время войны и безоговорочной поддержке ее в деле обороны. До сего дня никто из подписавших резолюцию не совершил выступления, которое могло бы подорвать доверие союзников к Кремлю. Наоборот, многие выступили с открытой поддержкой советской политики, охранявшей национальные права и интересы России. Обещание, принятое односторонне, в сознании полной свободы и ответственности, без всякой попытки или даже мысли вызвать у власти ответные уступки, было сдержано. Этот политический «мораторий», надо думать, и без нового сговора между членами группы распространится на послевоенный период устройства мира. Эмигранты других политических групп были и остались (с некоторым, впрочем, исключением среди эс-эров) несогласны с этой кадетской резолюцией, но никому не пришло в голову называть ее «капитуляцией» или «загадкой». Потому что никто из нас не ездил в советское посольство?

В этом не было нужды. Но ее ощутили в Париже. Там Россия ближе и слышнее. Там враг и опасность видны во всю величину. Подвиг и жертвы родины пережиты полнее, искреннее, глубже. И там яснее, чем здесь, что никакой народ не мог бы исполнить такой подвиг и вынести такие жертвы, если бы имел правительство негодное, ненавистное, бездарное. Многое п р о щ е н о Сталину за то, что он сумел спасти Россию. Как не сказать слово благодарности? Как же не простить?... Лишь ослепленный личной ненавистью не может простить. Но такому нельзя вверять ни политику, ни заботу об эмиграции вообще. Думаю, С. Л. Поляков-Литовцев в своих статьях в «Новом Русском Слове» верно понял моральное состояние членов делегации. И в Америке многие — в частности, пишущий эти строки, — разделяют эти чувства.

Визит на улицу Гренель, разумеется, не был только жестом сентиментальности. Новая обстановка требовала нового отношения к себе, а новые задачи новых решений. В документах,

ожидаемых из Парижа, вероятно, мотивы подробно раз'яснены. Дело не в этом. Оно должно быть понято без «раз'яснений». Дело в том, что, каковы бы ни были условия перемирия или мира, заключенного парижанами с советской властью, не может быть сомнения, что они вызваны патриотическим чувством, верностью прошлому, сознанием ответственности и верой в Россию. Если Маклаков и его спутники поступили так, значит, по их разумению и совести, они иначе поступить не могли. Значит, то, что они считали невозможным пять лет назад, стало возможно и нужно. Не думаю, чтобы их разумение и совесть были хуже наших. Очевидно, матерьял суждения у нас другой. За дальностью и давностью мы потеряли общий язык. Но, людям, которые четверть века пользовались моим доверием, я не имею права отказать в доверии потому, что уехал от них за 3.000 миль.

Компромисс?... Разумеется, компромисс. Мы не знаем пока ни его размеров, ни условий. Для сектанта или доктринера никакой компромисс не приемлем **a priori,** и спорить с ними бесцельно. Не все эмигранты последуют за Маклаковым*). Но политика есть искусство компромисса. Нет оснований видеть, что компромисс, достигнутый в Париже, куплен ценой отказа от свободы. Совершенно очевидно, с другой стороны, что он содержит отказ от революционной борьбы за свободу. В этом, собственно говоря, весь вопрос и, надо признаться, более теоретический, чем практический. Для кадета Маклакова революционная позиция потеряла смысл с того момента, как он признал в советском правительстве национальную власть; ему естественно вернуться на привычные пути борьбы за свободу. Труднее это, вероятно, было для членов делегации эсеров; но и для них должно было стать очевидно, что революционная позиция эмиграции давно превратилась в фикцию, — а там, где она оставалась реальной, она силой вещей увлекала людей в стан врагов России. Примирение на улице Гренель прекращает двусмысленное положение. Оно прекращает состояние гражданской войны, длившейся с 1917 года в углах эмигрантского рассеяния скорее психически, чем фактически, и давно утихшей в России. Оно разрушает иллюзии, кое кому еще дорогие по романтическим воспоминаниям

*) Затрудняясь примирить доктрину с действительностью, РДО в Париже, как известно, заняло двойственную позицию: с одной стороны, утверждается принцип демократии в традиционной форме (§§ 3-4); с другой, борьба за него с сов. властью прекращается (§ 5).

прошлого, но ставит вещи на их настоящее место. Даже и не ставит, но признает, что вещи в самом деле стоят там, куда сами стали с началом войны за Россию. Такой мир можно только привествовать.

Загадочного во встрече на улице Гренель не больше, чем было в истории возникновения Прогрессивного Блока, хотя, конечно, сравнение не следует брать буквально. Сомнительно, чтобы так понимало это советское правительство, принимая протянутую руку противника. Вряд ли и противники ожидали этого, идя на мировую. Однако, некоторая параллель напрашивается сама собой. Последствия этого акта будут зависеть от того, насколько ясно стороны поняли друг друга.

Бостон. **Н. Вакар.**

М. В. ВИШНЯК.

С возникновением советской власти появилась вновь русская политическая эмиграция.

Почему и отчего явилась новая эмиграция — не одиночек, а многих сотен тысяч? От «злобы политических неудачников, выброшенных на задворки истории»? Из «страха за серебряные ложки или невежественного легкомыслия», как позволяет себе утверждать В. Сухомлин (см. № 17-18 «Новоселья»)?

Эмиграция возникла потому, что советская власть, по слову Ленина, превратила внешнюю войну — с немцами — в войну гражданскую. Советская власть и вызвала гражданское междуусобие, и укрепилась в процессе своей войны против русского населения всех племен и состояний, пола, возраста и партийной принадлежности. «Советская власть это гражданская война» — был лозунг не обличителей власти, а ее авто-характеристика. Другим ее «само-определением» было и осталось: при советской власти одна партия управляет, а все другие «бережно сохраняются» в тюрьме.

Было бы заблуждением думать, что такой порядок относится только к отдаленному прошлому, когда власть еще не образумилась и руководилась Лениным, Троцким, былым Сталиным и «старыми большевиками». Новейшую и положительную фазу советской власти прославители «нового» Сталина, порвавшего с былыми революционными и интернационалистическими бреднями (Бернард Пэрс, Питирим Сорокин, Дуранти,

Тревиранус и множество других), относят к 34-35 годам. Однако, возьмите книгу, выпущенную Академией Наук СССР под редакцией А. Я. Вышинского — того самого, который за услуги, оказанные власти на пресловутых «процессах» попал в большие дипломаты и ныне вершит судьбами Италии, Румынии, Венгрии и т. д., — и вы убедитесь, что в этом отношении все осталось по старому.

Книга — «Советское Государственное Право» — сдана была в печать в самом конце 1939 г., т. е. после Мюнхена. В качестве рецепта для внутреннего управления в ней воспроизводятся ленинские слова: «нужно крайнее свирепство, зверство подавления, нужны моря крови». Там же цитаты из Сталина, доказывающего, что диктатура пролетариата — та же советская власть — «не имеет ничего общего с так называемой «общенародной», «общевыборной», «внеклассовой», «надклассовой» и т. п. властью» (стр. 43).

Такова «идеология», оставшаяся себе равной и через четыре года после начала новой национально-патриотической «эры» и через 2 года после прославленной Сталинской конституции. А какова практика?

Что изменилось с превращением ВЧК в ГПУ и НКВД? Отменили ли смертную казнь вообще и за политические преступления в частности? Сократились ли случаи применения казни даже не за законченное преступление или покушение на него, а и за самое отдаленное приготовление к нему? Перестали ли карать смертью за «хищение (воровство) колхозного и кооперативного имущества», «имущества государственных предприятий» и т. п., — как значится в ст. 581, 587 Уголовного Кодекса РСФСР с изменениями на 1 декабря 1938 года? Отменен ли ужасающий декрет 7 апреля 1935 года, — ст. 12 Кодекса, — которая предусматривает казнь малолетних, «достигших двенадцатилетнего возраста», за присвоение «социалистической собственности»? Отменен ли декрет 8 июня 1932 года, по которому смерть и конфискация имущества ждут всякого, кто неудачно рискнет покинуть пределы нелюбезного «социалистического» отечества, а в случае удачи — кары для близких?

Упразднены ли концлагери, ГУЛАГ, политизоляторы, бессудные расправы и прочие реквизиты гражданской войны? Можно ли быть уверенным, что предательское убийство польско-еврейских социалистов Эрлиха и Альтера было лишь единичным «эпизодом», а все видные русские политические

«преступники» не ликвидированы властью в момент паники при неожиданном вторжении немцев?

Эти и многие другие вопросы более чем законны. Неизменчивость террористического управления не отрицают и многие из нынешних прославителей советской власти. Диктатура искупается для них достижениями власти, или, как выразился в предсмертной статье П. Н. Милюков, «когда видишь достигнутую цель, лучше понимаешь и значение средств, которые привели к ней». Для англичанина Пэрса террористическая диктатура искупается индустриализацией Сибири. Для русских патриотов-беженцев — победами русского оружия. Для многих любителей ёжовых рукавиц «твердость» советской власти послужила лишним мотивом притяжения.

Но если так, если «крайнее свирепство, зверство подавления» и «моря крови» продолжают превозноситься властью, осуществляться на практике, — как можно говорить об «идейной пропасти между революционной программой 1918 года с ее призывами к истреблению классов, и конституцией 1936 года, несмотря на ее недостатки»? Как можно доказывать и призывать эмиграцию к тому, чтобы она переменила свое отношение к советской власти, потому что сама власть будто бы изменилась?

Бесконечно многое изменилось в России за советский период ее истории. И экономика, и техника, даже культура. И власть не стояла на месте. Со времен Ленина она научилась маневрировать и прибегать к различным приемам. Она и обороняла, и наступала, и «двигалась подкупательно» — по бессмертному выражению Пушкина — в самом широком смысле (не всегда, конечно, буквальном). И если необходимо говорить непременно об «эволюции» советской власти, я сказал бы, что кривая идет по линии возрастающего двуличия и фальши за счет былого — до 1934-1935 годов — откровенного цинизма.

При «хозяине» - Сталине «подкупательное движение» развернулось и вглубь, и вширь. Он сумел и православных иерархов поставить на службу своему Наркоминделу (см. чрезвычайно поучительную статью Б. Николаевского в «Социал. Вестнике» от 28 марта 1945 г.); и армян в Ливане привлечь на свою сторону; и американских лидеров сионизма соблазнить. Удивляться ли, после этого, что и на русскую эмиграцию он обратил свое благосклонное внимание? Советские листки за рубежом продолжают травить эмиграцию, но советские чиновники начали флиртовать с ней. Раньше флирт шел с отдель-

ными более или менее видными эмигрантами. Сейчас внимание направлено на массовое уловление.

Парижский визит Маклакова и его группы получил такой резонанс только благодаря громкому имени Маклакова. Не возглавь Маклаков группы, самый визит имел бы значение местного эпизода, какое имело аналогичное событие на Ближнем Востоке. Как сообщил сотрудник «Коллиерс Магазин» от 17 февраля, б. полпред в Египте Николай Новиков совершил об'езд православных монастырей и русских колоний в Сирии, Ливане, Палестине и Аравии, сказывая материальную помощь, приглашая 7 тысяч «белых» регистрироваться в советских учреждениях и обещая забвение прошлого.

«Подкупательное движение» учло пониженную сопротивляемость людей, четверть века питающихся горьким хлебом изгнания, уставших, постаревших, изверившихся в других и в себе. Кого не соблазнит перспектива расстаться с эмигрантским положением? Ради нее можно не только все забыть, но и все принять. И когда соответствующая психология создалась, найти для нее нужное обоснование и оправдание было уже не трудно. Так называемая декларация В. А. Маклакова и его группы от июня прошлого года и дала видимость такого оправдания и обоснования эмигрантам во Франции. В ней, как в зародыше, содержится все последующее — и теория, и «практика».

Ход войны и успехи красной армии оказались для Маклакова, как и для многих, — друзей и врагов России и друзей и врагов советского режима, — неожиданностью, «откровением». И за отличное поведение русского народа во время войны Маклаков и его группа признали, что «он (народ) этим заслужил свое право сам собою управлять». За то же, что и советская власть «показала себя достойной народа в отстаивании России», Маклаков и его группа выдали ей аттестат, удостоверяющий, что советская власть национальная и русская власть.

Но кто же, кроме махровых антисемитов, и до войны отрицал, что советская власть русская власть?!... С другой стороны, кто, кроме Маклакова и его бывших, очень немногочисленных, единомышленников, отвергали допустимость и необходимость борьбы, вплоть до свержения, деспотической, гибельной для страны власти, даже если она национальна?... Война отсрочивает момент свержения, — да и то не всегда: достаточно вспомнить 1917-ый год, — но не отменяет его необходимости, не упраздняет других форм борьбы и критики власти и во время войны.

Справедливость требует отметить, что Маклаков не теперь только стал на такую точку зрения. Он всегда отталкивался от революционных преобразований — не только от «революционной демократии», к которой относил всех демократов и социалистов без различия, но от большинства собственной своей партии, руководимой Милюковым. Маклаков всегда искал легальности и легитимности — даже в революции. Он сам рассказал о совете, поданном ген. Алексееву в Корниловские дни: «Если, действительно, невозможно восстановить монархию, — ответил я ему, — тогда всякая попытка Корнилова бесполезна; нет никакого интереса «победить» революцию, чтобы ее снова «установить»...». 2½ земская давность существования советской власти не могла не поразить воображения легиста Маклакова, — давно уже отошедшего от политики, чтобы заняться легальным устроением эмигрантов во Франции.

Пойдя на встречу «подкупательному движению» советской власти, Маклаков не только дал «историософское» обоснование своему повороту, он рискнул в то же время утверждать при этом, что «эмиграция от своего прошлого не отрекается». Это стоит в кричащем противоречии с его же справедливым указанием, что эмиграция «восставала не против начал нового социального строя, а *против приемов и методов их проведения в жизнь* в таких размерах и темпах, что ими *попирались вечные ценности общежития: законность, уважение к человеку, право населения управляться по своему пониманию*».

Что-же *это* в како-либо степени изменилось?... А если *это* не изменилось, ничего не изменилось для политической эмиграции! Осталось полностью в силе и то, что единственно и оправдывает эмиграцию и составляет смысл ее существования, — *независимая и свободная* критика советского управления, недоступная подсоветскому населению.

Скажут, — лишь эмигрантам-доктринерам или «политическим неудачникам, выброшенным на задворки истории» существеннее всего политическая свобода. Население в России вовсе не чувствует так остро этого лишения: оно радуется и приветствует всякое достижение или уступку власти на хозяйственном или культурном фронте. — Это может быть и верно, но именно *так* — буквально — аргументировали и фашисты с Муссолини, принявшиеся осушать болота, строить города, мосты и водокачки.

Мы привыкли слушать от иностранцев, что русские от-

лично уживаются под пятой и под кнутом. Но чтобы русские эмигранты перестали замечать и стали умалчивать о насилиях власти в целях «примирения» с ней, это, действительно, явление новейшего времени. Может быть, и другие на месте Маклакова и его спутников поступили бы так же, как они. Это не освободило бы тех, что так не поступили — не в силу личной политической добродетели, а хотя бы в силу более благоприятных внешних условий, — признать, что «примирение» с нынешней властью эмигрантов, ощущающих себя гражданами России, есть ошибка, граничащая с глупостью или изменой. Ибо, говоря словами знаменитого письма Белинского к Гоголю, — «Тут дело идет не о моей или вашей личности, но о предмете, который гораздо выше не только меня, но даже и вас; тут дело идет об истине, о русском обществе, о России».

15.IV.45. **Марк Вишняк.**

Ю. П. ДЕНИКЕ.

Если примирение значительной части эмиграции с советской властью все еще не может состояться, то это зависит не от этой части эмиграции, внутренне вполне готовой итти на примирение, а от власти, на примирение не идущей. Примирение есть акт двусторонний, предполагающий обоюдное «прощение» и забвение обид. А готовность простить иногда больше всего определяется тем, в какой мере прощающий нуждается в том, кого он прощает. У большинства стремящихся к примирению эмигрантов определяющим является страстное желание вернуться в Россию, а для этого они нуждаются в согласии советского правительства. Советскому же правительству присутствие этих эмигрантов в России вовсе не нужно, а за-границей они могут быть полезны, участвуя в полезной для советской власти пропаганде. Да и можно ли, с точки зрения этой власти, положиться на рвущуюся домой эмиграцию? Можно ли поручиться, что при соприкосновении с русской действительностью у ней не возродятся мятежные настроения? А за-границей эти же люди, именно вследствие их острой тоски по родине, все более склонны эту действительность идеализировать и громко восхвалять.

По моим наблюдениям, в основе примиренческих настроений в эмиграции чаще всего лежало и лежит страстное желание

вернуться на родину. Если при этом многие дают своему примиренчеству политическое обоснование, то это является, если не сознательным лицемерием, то — и, вероятно, чаще всего — своего рода хитростью с самим собою, или, пародируя марксистскую терминологию, политической «надстройкой» над определенным психологическим «базисом». Это не значит, однако, что рациональное политическое обоснование отсутствует совершенно или у всех эмигрантов, готовых итти на примирение. Несомненно, что за время войны появились и новые существенные данные для политического обоснования примиренчества. Данные эти можно, я думаю, считать общеизвестными. Во всяком случае здесь я могу выделить только те аргументы, которые представляются основными и для многих решающими.

Под руководством советской власти Россия отразила нападение, угрожавшее самому ее национальному существованию, и одновременно сыграла огромнейшую роль в деле спасения человечества от гитлеровской опасности. Поэтому и некоторые из тех, кто не перестают относиться отрицательно к советскому режиму, делают вывод, что заслуги советской власти так велики, что следует «простить» ей ее прегрешения и преступления. На это можно было бы возразить, что бесспорным заслугам советской власти в обороне страны и сокрушении Гитлера предшествовала также огромная вина советской политики, ввергнувшая Россию в катастрофу гибели десятков миллионов человеческих жизней и страшного разрушения. Но допустимо ли вообще политически ставить вопрос о прощении? Так ставить вопрос можно лишь в тех случаях, когда дело идет о сведении личных счетов. Это мое право прощать нанесенную мне обиду или просить прощения у тех, кто считают себя обиженными мною. Но моя оппозиция к советской власти не была следствием личной обиды. И могу ли я прощать за тех, кто уже пали жертвами данной власти и уже поэтому сами прощать больше не могут, за тех, кто томятся сейчас в лагерях и обречены на рабский труд, и за всех тех, кто живут под тоталитарным режимом и потому лишены возможности пользоваться тем, что я считаю высшими благами жизни? В особенности же, пользоваться американской или иной *свободой*, чтобы прощать советской власти ее *деспотизм*? Устраняя идеологию или психологию «примирения», это значит в общей форме, что признание заслуг данной власти в определенной области вовсе не исключает осуждения той же власти

за другое, ею содеянное, и не требует отказа от борьбы за то, чего мы хотим для нашей страны.

Более рационально вопрос ставится в иной форме. Говорят: мы ошибались в оценке советской власти; война обнаружила величие ее достижений, которые заставляют нас преклоняться пред этой властью, признав ее благом для России. Нас призывают преклониться перед властью, под руководством которой Россия обнаружила грандиозную военную мощь. В борьбе против гитлеризма эта военная мощь, без сомнения, оказалась в высшей степени благотворным фактором. Но ведь и Германия под гитлеровским руководством обнаружила грандиозную военную мощь. Ведь во многих отношениях и «достижения» национал-социализма были огромны. Почему они не являлись для нас оправданием национал-социализма, а делали его для нас тем более страшным и отвратительным? Потому что мы не оценивали только достижения, как таковые, а связывали их с другими критериями оценки. В этом я вижу и существо проблемы примирения. Ее решение зависит от того, как мы распределяем различные ценности и какие из них мы считаем высшими или безусловными.

Другими словами, ставя вопрос о примирении с советской властью, каждый должен осознать корни и существо своей оппозиции к ней. Те, кто считали большевиков просто немецкими агентами, разлагавшими Россию по заданию германского правительства или верховного командования, могли примириться с ней очень скоро, как только нелепость этого их представления стала очевидной (и я знал такие случаи). Те, кто боролись против советской власти потому, что считали, что оно ведет русское государство к распаду, могли примириться с ней, когда обнаружилось, что советская Россия стала единым, централизованным и могущественным государством. Они могут благословлять Сталина за то, что он возвращает России, что она потеряла после той войны, да еще кое-что к тому добавляет. Те, кто проклинал большевиков за то, что они во имя своего интернационализма (как многие это думали) допустили национальное унижение России, могут считать достаточным, что в России вновь расцвело и культивируется именно советским правительством чувство национальной гордости. И этот список можно было бы продолжить.

Но те, кто видят прогресс цивилизации и высшую его ценность в повышающейся оценке человеческой жизни, не могут примириться с беспощадным истреблением людей какой-бы то ни было властью. Кто ценит достоинство человеческой

личности, не может мириться с ее унижением. Кто видит в праве одну из основ цивилизованного общества, не может мириться с произволом и тиранией. Для кого высшей ценностью стала та система, ограждающая жизнь, достоинство и права человеческой личности, которая выражается в понятии с в о б о д а, как оно выросло в сфере западной цивилизации, тот не может примириться с властью, убившей в России зачатки свободы и делающей все возможное, чтобы вытравить самую потребность в ней. Нужно выбирать. И те, кто выбирают свободу, не откажутся от своей непримиримой оппозиции и не перестанут бороться за свободу в России, даже если большинство народа пока не чувствует в ней потребности.

Ю. Денике.

С. М. СОЛОВЕЙЧИК

Подлежит ли пересмотру тактическая линія россійской лѣвой эмиграціи? Таков, по моему, основной вопрос, на который мы должны отвѣтить при обсужденіи темы «Эмиграція и совѣтское правительство».

1) Пересмотр тактической линіи лѣвой эмиграціи предполагает или ея отказ от своих принципов, или измѣненіе политики Кремля, или измѣненіе обстановки, дѣлающее прежнюю линію политически нецѣлесообразной (я исхожу из того, что в прошлом эта линія, которая может быть опредѣлена, как «линія непримиримости», вполнѣ соотвѣтствовала и принципам демократіи, и политикѣ власти, и общей внутренней и внѣшней обстановкѣ). Поскольку речь идет о лѣвой политической эмиграціи, н и о к а к о м о т к а з ѣ о т п р и н ц и п о в р ѣ ч и б ы т ь н е м о ж е т. Мы всѣ сторонники демократіи, а слѣдовательно мы всѣ «по существу антибольшевики», как писал П. Н. Милюков в опубликованной послѣ смерти статьѣ («Новое Русское Слово» 19 марта). Но как обстоит дѣло в двумя другими предпосылками пересмотра?

2) М о ж н о л и г о в о р и т ь о б и з м ѣ н е н і и п о л и т и к и с о в ѣ т с к а г о п р а в и т е л ь с т в а? Достаточно вспомнить о том, что за послѣднія 10 лѣт измѣнилось во внутренней (школа, семья, религія) и внѣшней (отказ от изоляціонизма, союза с демократіями) политикѣ Кремля, чтобы отвѣтить на этот вопрос утвердительно. Конечно, измѣненія не коснулись самаго существа диктаторіальнаго режима. Но не рискует

ли лѣвая эмиграція повторить ошибку, сдѣланную лѣвыми россійскими партіями при царском режимѣ (недооцѣнка роли и значенія Государственной Думы) и в началѣ большевистскаго режима (недооцѣнка значенія и возможностей Нэпа), если она отнесется пренебрежительно к этим чрезвычайно важным для повседневной жизни народов Россіи реформам на том основаніи, что онѣ не чаемая всѣми нами... «реформа?»

3) Произошли ли такія измѣненія внутренней и внѣшней обстановки, которыя настойчиво требуют пересмотра? Да, произошли. В области внутренней это то, что, говоря опять словами П. Н. Милюкова, «народ не только принял совѣтскій режим, как факт», но и «примирился с его недостатками и оцѣнил его преимущества». Можно — и должно — сожалѣть, что «примиреніе с недостатками» продлило и несомнѣнно продлит их существованіе. Совершенно очевидно, что если нѣкоторые из этих «недостатков» оказались ликвидированными, то произошло это именно потому, что народ с ними не «примирился». Но самый факт, отмѣченный П. Н. Милюковым, настолько не подлежит сомнѣнію (и так ярко подтвержден всей исторіей нынѣшней войны), что даже такой идеолог «непримиримости», как М. В. Вишняк, сейчас может противопоставить утвержденію П. Н. Милюкова не категорическое «невѣрно», а лишь болѣе, чѣм мягкое «я отнюдь в этом не убѣжден» («Новое Русское Слово», 1 апрѣля). Измѣненія в обстановкѣ внѣшней еще болѣе очевидны. Риббентроп в Москвѣ — Молотов в Сан-Франциско — таковы внѣшніе символы этого измѣненія.

4) Итак, предпосылки пересмотра налицо. В каком же направленіи должен быть этот пересмотр произведен?

а) Прежде всего — в направленіи признанія наших ошибок. Истекшія 27 лѣт показали, что лѣвая эмиграція была во многом права. Не идут ли всѣ либеральныя реформы правительства по пути, ею указанному? Не является ли самая конституція 1936 года во многих ея пунктах (отказ от совѣтской системы, введеніе всеобщаго и пр. избирательнаго права) признаніем правоты нашей критики? А союз СССР с Англіей и Соединенными Штатами? Не подтверждает ли он преступность неустанно клеймившейся лѣвой эмигрантской печатью германской оріентаціи внѣшней политики Кремля — от Раппало и содѣйствія тайному вооруженію Германіи до договора 1939 года? Однако, только фанатическим упорством могло бы быть об'яснено отстаиваніе правильности всѣх наших утвер-

жденій. Вспомним хотя бы нашу критику «краснаго милитаризма» — каким то причудливым образом сочетавшуюся с утвержденіями о полной небоеспособности красной арміи, или разсужденія нѣкоторых эмигрантских экономистов о неизбѣжной неудачѣ индустріализаціи!

б) Признаніе наших ошибок должно сопровождаться отказом от тенденціи видѣть органическую функцію политической эмиграціи в «использованіи» всякаго мѣропріятія совѣтскаго правительства для критики этого правительства. В призывѣ к такому отказу я вижу основной смысл — и непререкаемую цѣнность — цитированной выше статьи П. Н. Милюкова, цѣнность, которую не уничтожает спорность нѣкоторых из содержащихся в ней утвержденій. Вопреки мнѣнію нѣкоторых критиков этой статьи, я не усматриваю никакого противорѣчія между частичным признаніем «правоты большевизма» и общей для нас всѣх — в том числѣ, я не сомнѣваюсь, и для П. Н. Милюкова до самой его смерти — преданностью принципам демократіи. «По существу мы всѣ антибольшевики» — это, по моему мнѣнію, значит, что мы хотим, чтобы в Россіи восторжествовали права Человѣка и Гражданина. Но это отнюдь не значит, что мы не должны, напримѣр, вопреки очевидности, признавать заслуги совѣтскаго правительства в подготовкѣ и организаціи защиты Россіи от германскаго нашествія. Что особенно необходимо, это отказ от критики совѣтскаго правительства «и на Антона и на Онуфрія». Если было правильно обвиненіе совѣтскаго правительства в «разбазариваніи» Россіи, то нельзя изобличать его в «имперіализмѣ», когда оно ликвидирует послѣдствія этого разбазариванія. Если мы протестовали против гоненій на религію, то мы не должны представлять переход правительства к болѣе либеральной политикѣ в этой области, как «сдѣлку» с церковью..

в) «Особенную остроту представляет вопрос об эмигрантской критикѣ внѣшней политики совѣтскаго правительства. Недостаток мѣста не позволяет мнѣ остановиться на этом вопросѣ болѣе подробно. Скажу лишь, что здѣсь могла бы быть примѣнена очень четкая формула Р. А. Абрамовича («Соціалистическій Вѣстник» за 28 марта): «но признаніе режима русским, т. е. связанным с народными массами и выполняющим по меньшей мѣрѣ часть

національных задач страны, нисколько не предрѣшает само по себѣ политическаго отношенія к данной власти. Можно, и зачастую даже обязательно, быть в самой рѣзкой оппозиціи и бороться против определеннаго режима, хотя бы он был сто раз «національным», если его политика, по нашему убѣжденію, ведет страну и народ к новым страданіям и бѣдствіям». Примѣненіе такого критерія к оцѣнкѣ внѣшней политики Кремля логически должно привести эмигрантскую критику этой политики к тому, чѣм она должна быть, т. е. пріятию или отрицанію тѣх или иных дѣйствій Кремля не потому, что они дѣйствія Кремля, а потому что они предотвращают — или приносят с собой — «новыя страданія и бѣдствія» народам Россіи. Нечего и говорить о том, что такая критика чрезвычайно далека от запугиванія иностраннаго общественнаго мнѣнія воплями о «русской опасности».

5) Защищаемый в настоящей статьѣ тактическій пересмотр может быть тѣм легче осуществлен, что мы всѣ — включая и тѣх, кто дѣлает из непримиримости символ вѣры — давно от непримиримости фактически отказались. В этом отношеніи сторонники «правды антибольшевизма» тоже продѣлали, сами того не замѣчая, весьма значительную эволюцію. Вѣдь вот и М. В. Вишняк вынужден был написать, что П. Н. Милюков был «отчасти прав» в перечисленіи «всего того хорошаго, что эта (совѣтская) клика все таки сдѣлала». Правда, он пытается спасти свою непримиримость указаніем на то, что П. Н. Милюков «умалчивает о тѣх средствах, которыми это достигнуто и обо всем прочем злѣ, принесенном этой кликой», но это уже другой вопрос. Если обвиненіе М. В. Вишняка справедливо*), то оно лишь доказывает, что покойный лидер русской несоціалистической демократіи сам не слѣдовал своему призыву о необходимости «об'ективнѣе относиться» к «правдѣ о большевизмѣ» и, критикуя тѣх, кто замалчивает положительныя стороны совѣтской дѣйствительности, сам увлекся дурным примѣром. Существенно то, что в этой полемике как бы намѣчены двѣ границы: а) мы всѣ антибольшевики и б) даже самые «непримиримые» из нас признали, что совѣтское правительство «все таки» дѣлает и нѣчто хорошее. По моему глубокому убѣжденію настоящих

*) В момент, когда писалась настоящая статья, Милюковская «Правда о большевизмѣ» дошла до нас только в выдержках, прошедших цензуру «Русскаго Патріота».

непримиримых сейчас в лѣвой эмиграціи нѣт. Таким образом задача заключается не столько даже в пересмотрѣ, сколько в о ф о р м л е н і и давно начавшагося пересмотра. На этой почвѣ особенно острых расхожденій в нашей средѣ быть не может и не должно.

5 Апрѣля 1945 г. **С. Соловейчик.**

ПОСЛЕ ПОБЕДЫ!

1.

К моменту, когда эта статья появится в печати, все, что можно было сказать о сокрушительной победе союзных армий в Европе, вероятно будет уже сказано. Трудно найти новые слова, чтобы по своему выразить те чувства радости и облегчения, которые об'единили миллионы людей, когда стало известно о капитуляции нацистской Германии. Зрелище полного разгрома могущественной военной машины, служившей делу предельного зла и почти обеспечившей ему победу — чей разум и чье сердце могут остаться непотрясенными перед лицом такого исторического урока? И все же, те, кто помнят атмосферу неомраченной радости, царившей в союзных странах после перемирия 1918 года, не могут не отметить огромной разницы в настроении тогда и теперь. На этот раз характерна скорее двойственность мыслей и ощущений, наличие сомнений, неуверенности и тревоги, умеряющих радость от победы над главным и наиболее опасным противником. Происходит это, конечно, не только потому, что в сущности война еще не кончена — до тех пор, пока остается невыполненной задача сокрушения Японии, пока нужны еще дальнейшие, а может быть огромные, военные усилия, дальнейшие жертвы и страдания. Нет, и в Европе, где военная победа пришла скорее и оказалась более решительной, чем на это можно было еще недавно надеяться, война еще не выиграна — пока не обеспечено осуществление тех целей, во имя которых она велась, пока не выигран мир. Военная победа достигнута, но какой ценой! Европа лежит в развалинах — материальных и духовных. Уже одна задача восстановления в прямом смысле слова — отстройки того, что было разрушено, спасения европейского населения от голода, возрождения нормальной экономической жизни— колоссальна по своим подавляющим воображение размерам. Но ведь помимо того разрушены или надорваны социальные связи, уничтожены или ослаблены общественные организации, расшатаны политические навыки, культурные и моральные традиции. Какой

под'ем духовных сил со стороны самих европейских народов и какая доля государственной мудрости со стороны их освободителей нужны для того, чтобы сделать успешное разрешение задачи возможным!

В первую же очередь нужны, конечно, согласованные действия трех руководящих держав коалиции. И главным источником тревоги как раз и является все распространяющиеся сомнения насчет того, чтобы между «великими тремя» существовало действительное и прочное соглашение. Профессиональные оптимисты едва ли не с самого начала коалиционной войны настаивали на том, что соглашение это существует и что сомневаться в нем непозволительно, более того, преступно. Вспомните, каким нападкам подвергались те, кто позволял себе высказывать сомнения и опасения после конференции в Тегеране! Но вот прошло четырнадцать месяцев с этого исторического события, и президент Рузвельт в своем отчете Конгрессу вынужден был признать, что подлинное политическое соглашение в Тегеране достигнуто не было и что отсутствие такого соглашения привело к опасному по своей напряженности положению. «В освобожденных областях были случаи политической смуты и беспокойства, как, например, в Греции, в Польше, в Югославии и в других местах. Хуже того, по отношению к некоторым из них начали фактически развиваться неясно формулированные идеи сфер влияния, несовместимые с основными принципами международного сотрудничества. Если бы им позволили развиваться беспрепятственно, эти тенденции могли бы привести к трагическим последствиям».

Выступая с этой речью после своего возвращения из Ялты, президент Рузвельт с удовлетворением отмечал, что на э т о т р а з представителям трех руководящих держав удалось найти общую почву для обеспечения прочного мира. Ялтинская конференция, утверждал он, «означает конец системы односторонних действий, исключительных союзов, сфер влияния, равновесия сил и других подобных методов, которые уже были испытаны на практике втечение столетий и доказали свою непригодность». С тех пор прошло не четырнадцать месяцев, а немного больше двух. За это время начались заседания конференции в Сан-Франциско, где представители об'единенных наций один за другим говорили о своей преданности делу мира и международного сотрудничества. За это же время произошла и капитуляция Германии. Казалось бы, трудно представить себе более благоприятную обстановку для торжества оптимизма и посрамления скептиков. И что же? Другой из

«трех», ответственный руководитель английской политики, обращаясь к народам империи в час победы над Германии, счел нужным предупредить их против преждевременного торжества, счел нужным сказать им, что с падением Германии основная задача далеко еще не разрешена, что понадобятся еще огромные усилия для того, чтобы «те цели, ради которых мы сражались» были осуществлены «не на словах только, но и на деле». «На европейском континенте, — заявил Черчиль, — мы должны еще обеспечить такое положение, при котором простые и честные цели, побудившие нас начать войну, не были бы отброшены в сторону или забыты... и словам «свобода», «демократия», «освобождение» не было бы дано извращенное толкование, противоположное истинному их значению, как мы его понимаем. Наказание гитлеровцев за их преступления было бы лишено особого смысла, если бы затем не воцарилось господство права и справедливости и если бы тоталитарные или полицейские режимы заняли место немецких завоевателей».

Речь Черчиля знаменательна не только по той мужественной прямоте, с которой он указал на еще лежащие впереди трудности, но и по тому проникновению в самый корень этих трудностей, которое он обнаружил в подчеркнутых мною словах. Если бы задача заключалась только в предупреждении новой немецкой агрессии, то при всех своих очевидных трудностях, она все же была бы гораздо проще, чем та, что стоит перед миром на самом деле. Любители простых решений и прямолинейных формул могут утешать себя мыслью, что после военного разгрома Германии остается только совместными усилиями держать немцев в железных тисках, все же остальное — приложится. Черчиль знает, что это не так Он знает, что ни разгром гитлеровской военной машины, ни даже предупреждение новой немецкой агрессии сами по себе не разрешат нависшего над миром кризиса. Кризис этот будет разрешен только в том случае, если мир будет перестроен в духе и на основах тех начал свободы, демократии, права и справедливости, о которых он говорил в своей речи. И он знает, что опасность этим началам угрожает не только со стороны уже разбитых немцев и еще не разбитых японцев. Он знает, что отныне главная ответственность за мир лежит на победителях. Они, а не кто другой, должны произвести «испытание своей совести» и оказаться «достойными той огромной силы, которой они обладают». И на них же, в первую очередь, ляжет ответственность за то, чтобы новая мировая организация, основы

которой закладываются в Сан-Франциско, «не превратилась в пустое имя, не стала бы щитом для сильных и насмешкой над слабыми».

2.

В американской печати было отмечено, что на открытии конференции об'единенных наций в Сан-Франциско ни разу не было упомянуто имя Вильсона. В высоком собрании, созванном для создания организации международного мира, не нашлось никого, даже среди американских делегатов, кто бы в этот торжественный момент помянул добрым словом одного из самых выдающихся проповедников идеи такой организации — более того, создателя первой в истории Лиги Наций.

Эпизод этот характерен для той атмосферы, в которой начались работы Сан-Францисской конференции. Кажется, никогда еще ни одно начинание такого размера и значения не сопровождалось столькими оговорками и предупреждениями со стороны его участников, чтобы от них не ждали слишком многого. Возможно, что в этом сдержанном и осторожном отношении есть и положительные элементы, что в нем сказывается здравая оценка сложности и трудности стоящей перед конференцией задачи. Возможно, что и для общественного мнения полезно не предаваться излишним иллюзиям и тем уберечь себя от связанной с разочарованием психологической реакции. Но есть в этом избытке осторожности большая опасность. Если лучшее, по известной французской пословице, есть враг хорошего, то таким же и даже худшим его врагом может быть и просто «сносное», с которым наперед примиряются как с единственно возможным. Обычно эти призывы к осторожности делаются во имя «реализма». Если под реализмом понимается политика, основанная на учете реальностей, то против призыва «быть реалистами» возражать трудно. Но есть реализм и реализм. Есть реализм пассивного типа, на практике сводящийся к преклонению перед существующими фактами и, как правило, сопровождающийся произвольным исключением из числа «реальностей» факторов идеологического характера. И есть реализм активный, не отбрасывающий «идеологию» в сторону, как якобы не входящую в число «реальностей», и, говоря словами Альбера Герара, «признающий существование зла для того, чтобы с ним бороться». Такой реализм есть синоним «практического идеализма».

С точки зрения этого «практического идеализма», самыми

отрадными и положительными явлениями Сан-Францисской конференции следует признать как раз все то, что проповедниками «реальной политики» рассматривается, как досадная помеха: атмосфера широкой гласности, в которой проходят занятия конференции; степень настороженности, проявляемой со стороны общественного мнения в демократических странах; коалиционный характер американской делегации, включающей и оппозицию; стремление средних и малых стран отстоять свои права и усилить свое влияние в проектируемой организации. Сейчас, когда пишутся эти строки, работы конференции еще не закончены, но уже можно сказать с уверенностью, что вопреки всем этим положительным факторам, трудно ожидать не только «совершенной» организации, но и сколько-нибудь значительных перемен в явно несовершенном первоначальном плане. И все-таки было бы большой политической ошибкой сделать из этого окончательно пессимистические выводы. Борьба за мир только еще начинается. Дело всех сторонников подлинно-демократического и справедливого мира — мобилизовать свои силы для этой борьбы, а не заранее признавать себя побежденными. Как бы несовершенна ни была вышедшая из рук участников Сан-Францисской Конференции организация, она может и должна быть сделана исходным пунктом для дальнейшего продвижения к официально поставленным ей целям.

Я знаю, что нет ничего легче, чем отмахнуться от всех официальных заявлений идеологического характера — от Атлантической Хартии, от «четырех свобод», от всех деклараций о правах человека, о правах малых наций, о началах справедливости и права, как от простой «словесности», никого и ни к чему не обязывающей. Да, пока это только слова. Но задача в том и заключается, чтобы претворить эти слова в действительность. Всякая конституция и всякий международный договор состоят только из слов, но из слов, которые обязывают. И дело тех, чьи интересы и чье существование от этих договоров и этих конституций зависит, настаивать на том, чтобы словесные обязательства были выполнены. Когда президент Соединенных Штатов и один из общепризнанных вождей современной демократии в официальном заявлении Конгрессу говорит о том, что отныне «положен конец системе односторонних действий, исключительных союзов, сфер влияния, равновесия сил и других подобных методов», — мы не имеем права относиться к этому как к пустой безответственной реторике. Нет, в наших глазах это должен быть политический вексель, по которому мы, вместе с миллионами других людей, имеем право

и должны требовать уплаты. И когда преемник Рузвельта, президент Трумэн, в обращении к Сан-Францисской Конференции, говорит об обязанности великих держав «служить народам мира, а не господствовать над ними», или, когда Черчиль предупреждает конференцию об опасности превращения новой международной организации «в щит для сильных и в насмешку над слабыми», то мы должны принять эти заявления за «чистую монету» — не в том конечно смысле, что слова эти сами по себе равносильны делам, а в том, что они создают для произнесших их государственных деятелей определенные политические обязательства — перед их собственными народами и перед народами мира.

3.

Как ни старались устроители Сан-Франциской Конференции и коментаторы со стороны отделить задачи конференции от текущих проблем политического или территориального характера, заставить участников конференции забыть про существование этих проблем, конечно, не удалось. И может быть сознание, что обязательства, принятые на себя тремя великими державами в Ялте, до настоящего времени остались невыполненными, больше чем что либо другое содействовало той атмосфере неуверенности, в которой протекали занятия конференции. Можно сказать, что тень от Ялты легла на Сан-Франциско.

Весь смысл ялтинских решений заключался в том, чтобы заменить одностороннее действие какой бы то ни было державы, в освобожденных от Германии странах или в завоеванных вражеских областях, системой общесоюзного действия и при том на основе определенных — демократических — принципов. Как бы плохо ни были формулированы отдельные положения ялтинской декларации, этот основной ее смысл был совершенно ясен. К сожалению, к настоящему времени стало столь же ясно, что за те два с лишним месяца, которые истекли со времени Ялтинской Конференции, постановления эти выполнены не были. Слова остались словами и не были претворены в соответствующие дела. Во всей восточной Европе наблюдается в основном одна и та же картина — отсутствия и коллективного действия союзных держав и применения демократических методов политической реконструкции. Нигде быть может эта картина нарушения ялтинских постановлений не является столь яркой, как в Польше. И потому понятно, что судьба Польши

продолжает привлекать к себе всеобщее и напряженно-острое внимание. Напрасно в некоторых кругах делаются усиленные попытки представить польскую проблему, как второстепенную деталь, не заслуживающую этого общего и напряженного внимания. Это, конечно, покушение с негодными средствами. Судьба двадцати-миллионного народа, с многовековой историей и большой культурой, уже сама по себе не пустяк. Помимо того, как доказано историческим опытом, судьба Польши неразрывно связана с судьбой всей восточной Европы и с судьбою Германии, а значит и с судьбой всей Европы и косвенно с судьбою мира. И, наконец, то, что происходит с Польшей, неизбежно воспринимается общественным мнением мира, как имеющее показательное значение, как своего рода барометр той политической погоды, которую сулит миру период послевоенной реконструкции.

Только в Ялте и в особенности после Ялты обнаружилось истинное значение польской проблемы. Прежде всего стало ясно, что вопрос о русско-польской границе, так усиленно выдвигавшийся на первый план советским правительством, не был ни единственным, ни главным камнем преткновения в русско-польских отношениях. В Ялте, как известно, вопрос о границах был решен в смысле полных удовлетворений русских требований. И тем не менее проблема русско-польских отношений тем самым разрешена не была, и со времени Ялтинской Конференции положение стало только острее. Обнаружилось с очевидностью, что основной вопрос есть вопрос самобытного существования Польши, как подлинно-свободного и подлинно-независимого государства.

Стало до наглядности ясно и то, что вопрос о Польше не есть только вопрос русско-польских отношений, что это по самому существу своему вопрос международный, который только и может быть решен на путях международного соглашения. Формула «домашний, старый спор, уж взвешенный судьбою», при всех своих поэтических достоинствах, была прескверной политикой и тогда, когда эти слова были написаны. С тех пор на горьком опыте России суждено было убедиться в том, что этот спор не мог остаться ее «домашним» делом и что в 1831 году он далеко еще не был «взвешен судьбою». В течение всего 19 века и вплоть до первой мировой войны не нашедший своего решения польский вопрос отравлял и внешнюю, и внутреннюю политику России. После двадцатилетнего существования независимой Польши судьба польского народа и польского государства еще в меньшей степени, чем

раньше могла быть подведена под формулу «домашнего спора» с Россией, уже якобы «взвешенного судьбою» (вопреки Молотову, на весь мир заявившему в 1939 году, что Польша раз навсегда перестала существовать, как самостоятельное государство). И, однако, советское правительство начало с того, что пыталось утвердить именно эту, историей уже бесповоротно осужденную, точку зрения. Всякие попытки посредничества со сторны Англии и Америки отвергались, как непрошенное вмешательство в область, их совершенно не касающуюся. Тогда Москва считала вопрос о границах уже решенным, ссылаясь на плебисцит, произведенный в занятых советскими войсками областях Польши, и доказывала, что поднимать его снова было столь же неуместно, как поднимать вопрос о том, должна ли Калифорния оставаться в пределах Соединенных Штатов. Как известно, отвергнуто было и посредничество западных союзников в конфликте между Москвой и польским правительством в Лондоне.

В некоторых кругах принято сейчас взваливать на это правительство всю ответственность за ухудшение отношений между Россией и Польшей. Даже Черчиль счел возможным обвинить лондонских поляков в неразумном упорстве, которое по его мнению и привело к созданию Люблинского Комитета. Помимо того, что в этом заявлении заключалось признание искусственного характера этого нового политического образования (из слов Черчиля ясно вытекало, что если бы лондонцы безоговорочно согласились на линию Керзона, то советское правительство не создало бы Люблинского Комитета), оно было несправедливо и по существу. Каковы бы ни были тактические ошибки, сделанные лондонским правительством, считать, что оно одно виновато в создавшемся положении, никак нельзя. Не говоря уже о явно ведших к разрыву действиях советского правительства, следует признать, что значительная доля ответственности должна быть возложена на Англию и Америку. Основная ошибка последних заключалась в том, что они с самого начала не настаивали более решительно на международном характере проблемы и на решении ее путем международного сговора. Вместо того, чтобы оставлять своих польских союзников с глазу на глаз с Москвой, в этом поистине «неравном споре», вожди англо-саксонских демократий должны были уже в Тегеране, если не раньше, настоять на том подходе, который в конце концов и был принят в Ялте.

В Ялте советское правительство на словах, официально сошло со своей прежней позиции и отказалось от «монополии»

на решение польского вопроса. Согласившись на обсуждение и решение постановлением международной конференции вопроса о границах, оно тем самым аннулировало свои прежние аргументы о действительности уже состоявшегося присоединения восточных областей Польши к Советскому Союзу. И весь вопрос о воссоздании «сильной, свободной и независимой Польши» был об'явлен вопросом общесоюзной, а не советской только компетенции. В этом несомненное положительное значение ялтинских решений, и если бы эти решения были фактически приведены в исполнение или хотя бы начали приводиться в исполнение, то польский вопрос был бы на пути к разрешению.

Нужно ли напоминать о том, что произошло прямо обратное? Что фактически весь ход событий в Польше протекал так, как будто бы ялтинских решений никогда не было? Упорное саботирование переговоров о расширении базы польского правительства, путем отвержения одного за другим всех предлагаемых с англо-американской стороны кандидатов; создание условий, при которых англичане и американцы не могут даже получить информации о том, что делается в Польше, так как ни корреспонденты, ни хотя бы неофициальные правительственные «наблюдатели» туда не допускаются; наконец, недавний арест руководителей польского подпольного движения, т. е. как раз тех самых людей, к которым в первую очередь надо было бы обратиться в деле реорганизации польского правительства — все эти факты красноречиво говорят сами за себя.

Если между русскими демократами могли еще быть споры относительно русско-польской границы, то по вопросу о том, какую позицию им следует занять в этой новой фазе русско-польского конфликта, думается, уже никаких споров быть не может. Слова о «свободной и независимой» Польше останутся не только пустыми словами, но и выражением величайшего лицемерия, если созданное в Польше положение не будет радикально изменено. Никакая игра словами здесь не поможет. В одном из советских официозов уже сделана была попытка подставить под понятие демократии прямо противоположное ему содержание. Обрушиваясь на «педантов демократии», официоз этот предупреждал против «навязывания» народам восточной Европы западного, англо-саксонского ее понимания, как посягающего на «самобытное» развитие этих народов. Под этим аргументом, заимствованным из арсенала русской реакции доброго старого времени, вероятно охотно подписался бы и

Победоносцев. Но общественное мнение мира им обмануто быть не может. И в Ялтинских документах, и в любом другом международном соглашении демократический метод создания нового государственного строя значит и может значить только одно: никакой диктатуры; отсутствие однопартийной системы; допущение оппозиции; гарантии личной неприкосновенности; свобода слова и печати; свободные выборы — если нужно, под международным контролем, но никак не под односторонним контролем заинтересованного иностранного государства.

Мы не знаем, суждено ли Польше возродиться на этих началах и в этих условиях. Но мы твердо знаем, что только при их наличии может быть создана действительно свободная и независимая Польша, соблюдена справедливость в отношении польского народа и обеспечен прочный мир в Европе.

4.

Я предвижу возражения, которые могут быть сделаны против высказанных выше мыслей. Предвижу, что меня могут упрекнуть в забвении России и русских национальных интересов. Защищаемой мною позиции может быть противопоставлено утверждение, что всякое усиление мощи России, всякое расширение ее пределов, всякое увеличение ее престижа и влияния является благом, а все, что ей на этом пути препятствует, является злом. Утверждать это можно с двух точек зрения: либо с точки зрения голого, безоговорочного национализма, для которого национальное могущество есть верховная ценность, не подчиненная никаким высшим нормам, либо с точки зрения интересов социальной революции, носительницей которой является Советская Россия, противостоящая реакционными, отжившим свой век, буржуазно-капиталистическим западным демократиям.

Для тех, кто, как я, не утратил веры в существование общечеловеческой правды, позиция безусловного и безоговорочного национализма, ссылающегося на национальные интересы, как на последнюю инстанцию, продолжает быть столь же неприемлемой, какой она была и раньше. Нечего и говорить, что защитники этой точки зрения, как это обычно и бывает с националистами всех стран и всех времен, отождествляют национальные интересы России с собственным своим о них представлением и начисто отвергают возможность иного их истолкования.

Отказываемся мы и от того, чтобы видеть в Советской России, до тех пор пока она находится во власти тоталитарного режима, силу, способную дать Европе и человечеству политическую свободу и социальную правду. Говоря о людях нашего толка, Н. А. Бердяев в своей статье о «Превращениях национализма и интернационализма» (см. «Новое Русское Слово», 15-IV-1945 г.) определяет нашу позицию, как «интернационализм англо-американский». Н. А. Бердяев готов признать, что этот интернационализм «менее одиозен», чем интернационализм фашистский, про-гитлеровский, и что он по крайней мере «не может быть квалифицирован, как измена» — и на том спасибо! Но он все же видит в нем «доктринерскую приверженность к принципам демократизма и стыдливую боязнь социализма». От приверженности к принципу демократизма (почему непременно доктринерской?) я, по крайней мере, отказываться не собираюсь, а что касается «боязни социализма», то позволю себе указать Н. А. Бердяеву, что торжество социализма в России есть вопрос в лучшем случае спорный. Мы, с своей стороны, убеждены в том, что советский строй есть не осуществление, а извращение социализма, и что поэтому распространение его за пределы России ничего, кроме вреда делу социального переустройства мира принести не могло бы.

Называя либерально-демократическое направление «англо-американским», Н. А. Бердяев очевидно хочет сказать, что в основе его лежит слепое преклонение перед англо-саксонскими демократиями, своего рода безоглядное западничество. Аргумент этот тоже не новый, и для него можно было бы подобрать много прецедентов в русском прошлом, в том числе из источников, от которых мы привыкли считать Н. А. Бердяева достаточно далеким. По существу же он глубоко заблуждается. Никакой тенденции идеализировать западные демократии у нас нет. Мы отлично знаем все их несовершенства и все их прошлые и настоящие грехи. Но мы также знаем, что, со всеми их грехами и несовершенствами, Америка Рузвельта и его преемников, как и Англия Черчиля, представляют собою неизмеримо более надежный оплот для переустройства мира на началах свободы и права, чем Россия Сталина. И не только в смысле утверждения политической и личной свободы, но и в смысле осуществления социальной справедливости, которая иначе как на путях свободы и демократии вообще осуществлена быть не может. Вот почему — и только поэтому — мы считаем, что послевоенное переустройство Европы и мира тем больше приблизится к идеалу общечеловеческой правды, чем сильнее

будет влияние идей, политических навыков и методов действия, свойственных англо-саксонским демократиям. Мы не стыдимся заявить, что мы предпочитаем международное влияние режимов, не имеющих диктатуры и концентрационных лагерей, режимов, дающих гарантию личной и политической свободы, — влиянию режима, в котором за национальное единство и осуществление (на наш взгляд, сомнительное) социальной правды приходится платить, по мягкому выражению Н. А. Бердяева «умалением свободы».

В том то и заключается наша национальная трагедия (а косвенно и трагедия всего мира), что восстановление национальной мощи и мирового влияния России — слов нет, само по себе явление глубоко положительное и исторически законное — происходит в момент, когда Россия находится во власти сталинского режима. Мы не можем испытывать беспримесной радости по поводу этого возвращения России на мировую арену именно потому, что дух, задачи и методы теперешней русской власти искажают по существу и затмевают в сознании внешнего мира подлинные и законные национальные интересы русского народа. По той же причине, т. е. в виду тех же специфических особенностей советской власти, не можем мы поверить и тому, чтобы под ее руководством Россия могла выполнить освободительную и миротворческую роль в мире. Нести миру мир может только то государство, которое во внутренней своей жизни до конца и без остатка изжило идеологию, психологию и приемы гражданской войны.

Утверждать это не значить быть лишенным патриотизма. В прошлом России у нас есть свои предшественники, в патриотизме которых кажется никто никогда не сомневался. Некоторые из них — не из числа «либерально-демократических доктринеров». В разгар несчастной для России Крымской войны Хомяков не побоялся произнести над своей страной почти беспощадный по суровости приговор. Нужно ли цитировать эти знаменитые строки? Хомяков верил в историческую миссию России («О, недостойная избранья — Ты избрана...»), но и знал, что этой миссии она исполнить не могла, не очистившись предварительно от «мерзости» внутреннего своего неустройства. Тридцать лет спустя, Владимир Соловьев размышлял над историческими судьбами и мировым значением России и пришел по существу к тому же выводу. В отличие от Хомякова, Соловьев писал не в эпоху военного поражения России, а в момент, когда международное ее положение могло казаться необычайно сильным и прочным. И все же вывод свой Соловьев выразил

в следующих словах: «Самый существенный, даже единственно существенный вопрос для истинного, зрячего патриотизма есть вопрос не о силе и призвании, а о грехах России».

Есть точка зрения, согласно которой национально-государственное возрождение России и укрепление международного ее значения должно предшествовать раскрепощению русского народа. Боюсь, что этот взгляд противоречит нормальному ходу исторических событий. Боюсь, что подлинное национально-государственное возрождение России и действительное обеспечение за ней в мире принадлежащего ей по праву места неосуществимо без предварительного внутреннего ее освобождения.

М. Карпович.

ГЕРЦЕНОВЕДЕНИЕ В СОВ. РОССИИ

(«Литературное Наследство». Т.т. 39-40 и 41-42. «А. И. Герцен». — Москва, изд. Академии Наук СССР. 1941, 2 т.т.).

Выход двух об'емистых (около 1300 страниц убористой печати) томов «Литературного Наследства», полностью посвященных Герцену и его эпохе, является настоящим праздником не только для специалистов-«герценоведов», но и для всех, кто любит русскую литературу и ее прошлое. Праздником тем более приятным, что советские историки не избаловали нас вниманием к Герцену. Подчеркнуть это особенно важно теперь, когда в Москве делаются попытки внушить читателю уверенность в обратном: официальные авторы недавнего академического обзора «Двадцать пять лет исторической науки в СССР» говорят об «исключительном богатстве» материалов по Герцену, опубликованных за эти годы (стр. 123). Достаточно самого поверхностного знакомства с фактами, чтобы убедиться в полном несоответствии этого утверждения с действительностью. Для изучения Герцена в Сов. России сделано, увы, очень мало.

Ставить в заслугу советской историографии издание 22-томного «Полного собрания сочинений и писем А. И. Герцена» (под ред. М. К. Лемке), как это делает указанный академический обзор, ни в коем случае не приходится: в основном оно было подготовлено еще до революции, — заботливыми стараниями семьи Герцена (особенно его старшей дочери, Натальи Александровны); именно ими была собрана основная масса материалов, которые так обогатили издание, — именно ими же были обеспечены и средства для издания. Советская власть лишь переняла на себя уже налаженное дело, — после того, как основная часть всей подготовительной работы была закончена, первые 8 томов уже выпущены, а ряд других уже находился в наборе, — забрав при этом и средства, которые были заготовлены для дальнейшей работы. Таким образом, по всей справедливости, это издание следует считать не изданием Лит.-Изд. Отдела Наркомпроса РСФСР, как на нем помечено, а изданием семьи А. И. Герцена, как стояло на обложках первого тиража первых 8 томов. Если же мы скинем со счетов это издание, то количество новых материалов по Герцену, опубликованных в Сов. России, будет до обидности ничтожным (список их дан сначала Н. М. Мендельсоном, затем Б. П.

Козьминым в т.т. 7-8 и 41-42 «Лит. Наследства»). Большую ценность среди них представляет только сборник неизданных писем Герцена, поступивших в начале революции в герценовское собрание быв. Румянцевского музея и заботливо подготовленных к печати Н. М. Мендельсоном. Все остальное — разрозненные, более или менее случайные документы, которые, даже если их взять все вместе, не могут итти в сравнение с одной такой публикацией, как письма Герцена к его старшей дочери, напечатанные покойным В. В. Рудневым в т.т. 66-68 парижских «Совр. Записок».

Если так обстоит дело с публикацией новых материалов по Герцену, то в еще худшем положении находится работа по изучению Герцена: все, что напечатано на эти темы в Сов. России, — работы М. Иовчука, И. Новича, Л. Пипера и др. (работу Шпетта брать в счет, конечно, не приходится: с о в е т с к и м этого автора не признают и сами официальные советские историографы), — лишено оригинальности и носит на себе печать унылой посредственности. Вне пределов Сов. России таких работ напечатано и больше по количеству, и они несравненно более значительны по качеству: достаточно напомнить о работах эмигрантов Д. И. Чижевского, Г. Флоровского, А. Ф. Изюмова и др., с одной стороны, и, в особенности, о работах иностранцев Карра, Лябри и др., с другой. И в области собирания новых материалов по Герцену, и в деле его изучения вне России сделано больше, чем в Сов. России...

В прошлом советского герценоведения был один период, когда казалось, что исследовательская работа над Герценом и его эпохой поставлена на прочные рельсы: это было в 1931-1934 годах, когда Горький стал во главе издательства «Академия», сделав своим ближайшим помощником Л. Б. Каменева. Последнего можно было считать пионером в области изучения интернациональных связей Герцена: еще в дореволюционные годы, в старом «Вестнике Европы», он напечатал действительно блестящий этюд о «Самом остроумном противнике Герцена», — о немецком лево-гегельянце и демократе Р. Зольгере, который решительно оспаривал герценовскую теорию обновления Европы, долженствующего придти с Востока. Кстати сказать, Р. Зольгер, позднее перебравшийся в Соединенные Штаты, в последнее время привлек к себе внимание немецко-американских историков, собравших много интересного материала об американском периоде его жизни; статья Каменева им остается неизвестной, а она, давая важный материал о германском периоде жизни Зольгера, была бы им крайне полезна.

Первые годы революции, занятый «высокой политикой», Каменев не работал над Герценом; но в 1931 году он вернулся к работам в этой области и наметил для «Академии» широкую программу работ

по изучению Герцена: он выпустил научно проредактированное издание «Былого и Дум», — с очень ценным комментарием, явившимся результатом большой исследовательской работы; приступил к подготовке научных изданий философских статей Герцена и его художественных произведений; усиленно работал над подготовкой издания полного собрания переписки Герцена (она была рассчитана на 7 томов!); приступил к переизданию «Колокола» с обширными научными комментариями (без такого переиздания изучение Герцена действительно, невозможно), и организовал работу над изучением биографий целого ряда лиц, жизненные пути которых так или иначе скрещивались с путями Герцена (Энгельсон, Печерин, Бенни, Серно-Соловьевич, Л. Мечников и др.). Таким образом развертывалась большая работа по систематическому изучению эпохи, — с Герценом в качестве центрального лица... Убийство Кирова, который был главным покровителем всех начинаний Горького вообще и «Академии» в особенности, явилось катастрофой и для работ по изучению Герцена: Каменев был арестован, «Академия» разгромлена (Горький действительно сделал ее убежищем для различного рода оппозиционеров, — как коммунистов, так и не-коммунистов); начатые работы приостановлены, — а первый том переизданного «Колокола», уже напечатанный и об'явленный к выходу, задержан в типографии и пущен в переработку на бумагу... Весь исследовательский план пошел на смарку...

А между тем задачи, которые стоят перед герценоведением, весьма велики. Не говоря о том, что все острее и острее ощущается отсутствие действительно научного издания сочинений Герцена (недостатки издания Лемке общеизвестны и на этом нет нужды останавливаться) и того переиздания «Колокола»,которое готовил Каменев, — не решенным остается целый ряд основных вопросов идейно-политической биографии Герцена. Русские авторы прежних поколений, — от Скабичевского и Соловьева-Андреевича до Богучарского, Ветринского, Овсянико-Куликовского и др., — проблему формирования социально-политических взглядов Герцена ставили в основном, как проблему русскую. Конечно, все они знали об иностранных на него влияниях (это знает каждый, кто прочел «Былое и Думы»), но об этих влияниях судили по русским источникам, главным образом, по показаниям самого Герцена. А эти источники, особенно показания Герцена, явно недостаточны. Еще до выезда заграницу Герцен был так хорошо знаком с европейской социалистической литературой, что без самостоятельного изучения этой последней во всем ее многообразии не может быть и речи о правильном определении всех источников влияния на Герцена. После же выезда заграницу, т. е. в течении последних 23 лет своей жизни,

когда его деятельность была особенно замечательна, Герцен был лично связан с таким количеством самых разнообразных деятелей всех стран, сам писал в таком значительном количестве иностранных органов, что только детальное изучение этих связей даст возможность составить полное представление о позиции, которую Герцен занимал в сложном развитии эпохи.

Трудность решения основной проблемы герценовской биографии в том и состоит, что эта проблема не русская только, что формирование его мировоззрения происходило под влиянием сложного взаимодействия факторов русских и факторов западных. Именно поэтому наиболее ценны были результаты работы над Герценом тех авторов, которые к этой работе подходили во всеоружии знакомства с новейшими результатами работ в области изучения истории международного социализма. Такими авторами, думается, надо признать, с одной стороны, Плеханова; с другой — Лябри. Очень характерен итог их работ: Плеханов больше всего сделал в отношении выяснения влияния на Герцена великих социалистов-утопистов, — и пришел к выводу, что одними этими влияниями особенности мировоззрения Герцена об'яснены быть не могут; со своей стороны, Лябри специально разработал вопрос об отношениях Герцена к Прудону, — и в отношении последнего сделал почти такой же вывод, как Плеханов в отношении утопистов. Характерно: оба они устанавливают, что наиболее темным остается вопрос об источнике п о л и т и ч е с к о г о «уклона» в мировоззрении Герцена.

Здесь, конечно, нет возможности разбирать эту проблему, но если мы внимательно присмотримся к международным связям Герцена, то мы, мне кажется, поймем, в каком направлении нужно искать решения: среди ближайших друзей Герцена имеется очень много людей, тесно связанных с бабувистски-бланкистским крылом социализма той эпохи. Достаточно указать на Ст. Ворцеля, самого близкого к Герцену человека среди поляков (Ворцель — вполне определенный бабувист, последователь и друг Буонаротти); на Гервега (в период его близости с Герценом, в 48-50 г.г., Гервег был близок с немецкими бланкистами, с Готшальком и др.); к бабувистски-бланкистскому лагерю принадлежала и большая часть французских друзей Герцена. Одной случайностью этого об'яснить нельзя. Несомненно, что Герцен именно потому сближался с ними лично, что он был к ним близок и идейно. Конечно, эта близость была не одинакова в разные моменты деятельности Герцена (за его зарубежный период деятельности имеется по меньшей мере три периода, когда позиция Герцена менялась); конечно, влияния с этой стороны не устраняли влияний с других сторон; необходимо подчеркнуть, что Герцен вообще не просто подпадал под разные влияния,

а всегда в той или иной мере перерабатывал их... Но тем более сложной и волнующе интересной становится проблема изучения Герцена.

Рецензируемые тома «Лит. Насл.» важны прежде всего тем, что они позволяют понять, в каких условиях должны вести свою работу над Герценом советские исследователи и почему их работа не может быть продуктивной как раз в тех вопросах, которые особенно важны для герценоведения. Оба огромных тома на девять десятых заполнены публикациями новых документов и комментариями к ним. Эти комментарии разростаются иногда в обширные фактические справки, показывающие большую эрудицию авторов, но всегда стремятся оставаться в рамках именно фактических справок, без обобщений, без теоретических выводов. Статей обобщающего характера только три: Д. Чеснокова — «Маркс-Энгельс-Ленин о Герцене»; Я. Эльсберга — «Герцен — художник и его место в русской и мировой литературе», и А. Лаврецкого — «Литературно-эстетические взгляды Герцена». Характерен уже самый выбор этих тем. Герцен всегда и во всем был прежде всего политическим писателем, в широком значении этого слова. Даже лучшие из его художественных произведений были только памфлетами, облеченными в художественную форму («Кто виноват?», «Сорока-воровка» и др.). Очень характерно: в эмиграции, где он был свободен выбирать форму для своей пропаганды, Герцен к беллетристической форме, кажется, ни разу не возвращался; мы знаем несколько его попыток что то в этом роде писать, но ни одна из них не была доведена до конца. Это об'ясняет, почему до сих пор, кажется, никто не ставил вопроса о месте Герцена в «мировой художественной литературе»; кажется, никто не занимался специально изучением его «литературно-эстетических взглядов».

Почему же теперь эти темы стали единственными, которые разрабатываются в специальных сборниках, посвященных Герцену? Ответ на это дает редакционное предисловие: «роль Герцена, — читаем мы там, — в настоящее время выяснена достаточно полно. В известной статье Ленина: «Памяти Герцена», а так же в многочисленных упоминаниях о Герцене, разбросанных в других сочинениях Ленина...» и т. д. (т. 39-40, стр. V). Продолжать эту цитату до конца нет нужды: в советской литературе считается, что проблема Герцена решена небольшой статейкой, которую Ленин написал в 1912 году, и что задача теперешних исследователей состоит лишь в подыскании аргументов, подтверждающих правильность мыслей Ленина. Хорошо еще, что Ленин не говорил о «литературно-эстетических» взглядах Герцена; в этой области исследователь может высказать какие то свои мысли, — но и для него (для «формалиста» Эльсберга!) «ключем» к пониманию Герцена должны быть «методология и выводы

классической работы Ленина о Герцене» (т. 39-40, стр. 29). Положение тех, кто пишет о Герцене, как о социалисте и политике, значительно хуже...

К чему это приводит, можно судить по статье Чеснокова (имя это в исторической литературе нам встречается впервые). Статья Ленина — небольшая, явно на-спех написанная статейка публицистического характера; полемизируя против либеральной прессы, которая в связи со столетием рождения Герцена, «заботливо обходила серьезные вопросы социализма», Ленин старался доказать, что Герцен до конца сохранил «беззаветную преданность революции» и в последний год жизни обратился к «тому Интернационалу, которым руководил Карл Маркс» (Сочинения Ленина, т. XV, стр. 469 и 465). Ленин обладал огромной эрудицией, но история всегда была его слабым местом; в частности, истории социализма он не знал, — ни русского, ни международного, — и чаще всего попадал впросак именно тогда, когда пускался в область исторических экскурсов. И в этой его статье верная мысль перегружена неправильными добавлениями. Чесноков от себя прибавил много дополнительной неправды; он заявляет еще более категорически, что к концу жизни

> «революционный демократ Герцен, порывая с неисправимым анархистом - индивидуалистом Бакуниным, уже обратил свои взоры к Коммунистическому Интернационалу, во главе которого стоял Маркс. К сожалению, этот новый этап мировоззрения Герцена не получил развития» (т. 39-40, стр. 1).

Доказательство — известные «письма к старому товарищу», написанные Герценом в 1869 году. Эти письма, действительно, замечательный документ и должны быть рассматриваемы, как политическое завещание Герцена, но весь смысл их совершенно не похож на то, что им приписывают Ленин с Чесноковым. За Интернационал Маркса Герцен никогда не был, — в этих письмах меньше всего, — и Бакунину в том споре приходилось защищать Маркса от Герцена (см., напр., письмо Бакунина от 28 окт. 1869 г.); с идеей революции Герцен в этих письмах решительно порывает, выступая более последовательно, чем когда либо раньше, сторонником эволюционного развития; симпатии к Интернационалу он действительно высказывает, но достаточно быть хотя бы немного знакомым со спорами того времени, чтобы понять, что он всей душой на стороне противников Маркса из лагеря прудонистов, которые в это время начали выступать под названием мютюалистов. О сочувствии Герцена именно им мы знаем и из других источников: он давал свои статьи для органа этой группы ("Association"), он с большой симпатией отзывался об

Л. Мечникове, единственном русском сторонике этой группировки, и т. д. Мютюалисты проделывали тогда тот же самый путь развития, вытравляя из учения Прудона революционные элементы. Симпатия Герцена к ним, поэтому, больше, чем понятна, но ее ни в коем случае нельзя считать симпатией к Интернационалу Маркса: из последнего они вскоре ушли, — именно потому, что в нем Маркс одержал решительную победу.

Этот пример, думается, достаточно ясно показывает, к какому уровню сведено изучение Герцена в Сов. России. В подобных условиях приходится лишь радоваться, что таким исследованиям уделяется сравнительно мало места: чем меньше, тем лучше. Документы, публикуемые «Лит. Насл.», несравненно более ценны и интересны.

Среди этих материалов наиболее значительной, и по размерам (около 350 стр.), и по содержанию, является группа материалов, посвященных Огареву. Последнего мы до сих пор знаем очень мало: даже в глазах специалистов его заслоняет блестящая фигура Герцена. А между тем его роль была весьма значительна и более самостоятельна, чем это принято думать. Отдельные указания относительно роли Огарева встречались в мемуарной литературе и раньше, но публикация «Лит. Насл.» и вводная к ним статья Б. П. Козьмина (лучший в наше время знаток революционного движения 60-х годов) впервые ставят вопрос на научную почву. Вывод сформулирован Козьминым в следующем виде:

> «Теория «русского социализма» Огарева складывалась и развивалась под несомненным влиянием идей Герцена Последний еще до приезда Огарева в Лондон и до начала его публицистической деятельности сформулировал основные догматы своей веры в русскую общину, как в исходную точку социального преобразования. Однако, это не отнимает еще у публицистической деятельности Огарева самостоятельного значения, так как доктрина «русского социализма» была гораздо подробнее изложена и обоснована им, чем его другом. В этом отношении статьи Огарева, несомненно, были существенным дополнением к произведениям Герцена. Что же касается политической позиции Огарева и его отношения к текущим вопросам русской политической жизни, то в этом отношении Огарев представляет самостоятельный интерес: весьма часто он проявляет значительно большую политическую активность и толкает своего друга на такие шаги, на которые тот без давления со стороны Огарева, быть может, и не пошел бы» (т. 39-40, стр. 314).

Этот вывод автору данных строк кажется не вполне правильным в одном отношении: выступления Герцена периода 1848-1856 годов

(до «Колокола») нельзя считать вполне самостоятельными. Сопоставление идей, которые он развивал, с идеями, развитыми Бакуниным в его брошюре 1849 года о России, показывает, что в Бакунинской проповеди до 1848 года уже имелся целый ряд важнейших элементов того, что Козьмин называет «русским социализмом». Несомненно, именно эти идеи Бакунин собирался проповедывать в том же журнале, который он проектировал в 1846-1847 годах и для редактирования которого он уговаривал Белинского остаться в Париже. Но в эти же годы в Париже бывал и Огарев, и внимательное рассмотрение материалов о последнем убеждает, что именно Огарева имел в виду Бакунин, когда говорил Руге о новом типе помещика, который «идет в народ». Все это приводит к выводу, что «русский социализм» в его основе сложился не в 60-х годах, не в период «Колокола», а полутора-двумя десятилетиями раньше, во время споров, которыми были заполнены годы парижской эмиграции Бакунина накануне революции 1848 года, и что Герцен только первым вынес эти идеи в печать, конечно, наложив на них яркую печать своей индивидуальности. Взятое под этим углом значение материалов об Огареве, опубликованных в «Лит. Насл.», еще более значительно.

Весьма важны и остальные группы материалов, публикуемых в «Лит. Насл.». Они касаются таких значительных эпизодов истории эмиграции 40-х—60-х годов, как отношение «молодой эмиграции» к Герцену и Огареву, отношения Герцена с Л. Н. Толстым, история «нечаевщины», заграничная деятельность Н. Сазонова, Серно-Соловьевича, Печерина и пр. Разобрать их мало-мальски подробно можно было бы только в большой статье. В настоящей заметке придется ограничиться лишь указанием на наиболее важные ошибки или пропуски, которые сделаны при публикации.

Среди таких ошибок на первом месте приходится поставить, на мой взгляд, несомненную ошибку Козьмина, который приписал найденную им неизвестную брошюру о Герцене, изданную анонимно в 1870 году, перу Зайцева: автором этой брошюры Зайцев ни в коем случае быть не мог. Родившийся в 1842 году, он не мог писать о себе, что он приветствовал Чернышевского в 1856 году, что он в студенческие годы перед Крымской войной выискивал старые номера «Отечественных Записок» со статьями Герцена и следил за заграничной деятельностью последнего с самого ее начала и т. д. Главный аргумент Козьмина, — утверждение, что автор брошюры считает Бюхнера, Молешотта и Фогта своими учителями, — основан на неправильном толковании соответствующего места брошюры. Автором брошюры, несомненно, был человек, значительно старший, чем Зайцев, и к тому же значительно более хорошо образованный

философски. Я не могу приводить здесь всю группу соответствующих аргументов, но, с моей точки зрения, вернее всего, что автором брошюры был П. Л. Лавров. Единственным аргументом против авторства последнего является дата, стоящая под брошюрой: «февраль 1870 г.», в то время, как заграницу Лавров прибыл в марте (Витязев в «Былом», т. 15 за 1920 г., стр. 68). Но так как Лавров в это время еще надеялся вернуться в Россию, то вполне вероятна датировка брошюры задним числом, чтобы труднее было разгадать имя автора.

В высшей степени важная группа документов по истории «нечаевщины» (специалист легко догадается, что это те самые документы, которые были собраны Д. Б. Рязановым для его истории Интернационала и которые при аресте Рязанова были забраны в ГПУ) дополнена одним письмом, извлеченным из архива «Русской Старины» и заключающим в себе угрозу наследникам Герцена, если последние опубликуют статьи Герцена против Бакунина. Это последнее письмо представляет исключительный интерес в одном отношении: оно показывает, на кого опирался Нечаев после разрыва с Бакуниным. Первые строки этого письма гласят:

«Узнав, что фамилия когда то бывшего русского деятеля Герцена» и т. д. Так не мог писать сам Нечаев, — это писал какой то поляк. Автору этих строк уже пришлось установить в печати, что преемственная линия от Нечаева к «Набату» Ткачева-Турского идет через польские крайне левые группировки швейцарской эмиграции. Цитированное письмо — доказательство, что с этими польскими элементами Нечаев был связан уже в 70-ом году.

Документы из переписки «молодой эмиграции» с Герценом и др. в 1863 году прокомментированы далеко не точно; Браун, напр., совсем не польский деятель, как утверждает комментатор (том 41-42, стр. 59 и 70, прим. 60, а известный лидер петербургской «Земли и Воли» Слепцов; этот его псевдоним уже раскрыт (см. Стеклов: «Бакунин», т. 2, стр. 92 и др.). Более важно другое: Альфред в письме Бакста к Огареву от 22 марта 63 года (т. 41-42, стр. 62) это несомненно Балашевич-Потоцкий, известный агент 3-го Отделения (о нем см. Сочинения Герцена, т. XV; стр. 585-605, и статью Р. М. Кантор в сб. «П. Л. Лавров», изд. «Колос», Пет., 1922 г.). В таком случае почти несомненно, что это он фигурирует и в других письмах этой серии под соответствующими инициалами (их легко понять, если автором писем употребляли то русский, то латинский алфавит) — а это означает, что вся деятельность швейцарских «герценистов» по помощи польскому восстанию проходила под бдительным надзором 3-го Отделения.

В книге встречается не мало и других ошибок, — так же имею-

щих, правда, частное, но в специальных вопросах часто весьма существенное значение. Их наличие более чем об'яснимо: публикуемые материалы захватывают такое обилие вопросов, касаются такого множества лиц и событий, что всесторонний исчерпывающий комментарий к ним может явиться только результатом коллективного обсуждения всей этой группы вопросов. Удивляться приходится скорее другому: внимательности редакторов и комментаторов, тщательности их работы, в итоге которой временами небольшое примечание превращается в сводку данных, собранных в результате кропотливой исследовательской работы. В этом, быть может, есть доля своеобразной расточительности, которой нигде, кроме Советской России, мы не сможем встретить: Герцена там любят и внимательно его изучают, — а так как ставить на обсуждение большие проблемы, встающие в процессе такого изучения, в силу внешних условий, нет возможности, то исследователям приходится с особой любовью зарываться в изучение деталей...

Вся публикация в ее целом таким образом является как нельзя более ярким подтверждением тех общих соображений о современном состоянии герценоведения в Советской России, которые высказаны в начале настоящей заметки: перед герценоведением стоят огромные задачи; можно смело сказать, что только теперь, на базе тех знаний его эпохи, которые явились результатом исследований последних десятилетий, создана возможность поставить во всем ее действительном об'еме основную проблему герценоведения, — проблему формирования и эволюции социальных и политических взглядов Герцена, — а эта проблема (конечно, вместе с сопредельною проблемой развития взглядов Бакунина и Огарева) является, по существу, центральной проблемой для истории всего раннего русского социализма. Но сделано в этой области до обидности мало. Тем важнее подчеркнуть, что ответственность за это падает не на русских исследователей, — не на русскую интеллигенцию в целом. Рецензируемые тома «Лит. Насл.» — лучшее доказательство, как любят Герцена в России, — как внимательно в него вчитываются, как старательно его изучают. Ответственность лежит на внешних условиях, — на той «проклятой русской действительности», о которой с такой страстью писал Белинский: именно эта действительность делала невозможным научное изучение Герцена в России старой, до 1905 года, — именно она делает невозможным его изучение и в России современной. Он был слишком свободным внутренне человеком; от всей его личной биографии, от всех его идейных исканий, от каждой строчки, им написанной, — так брыжжет искрами свободной мыслью, — что его свободное изучение (а без свободы ведь нет науки!) невозможно в не-свободной стране.

Б. Николаевский.

DALLIN, David J. (Joseph Shaplen, Translator). **The Real Soviet Russia,** pp. 260. New Haven, Yale University Press, 1944. $3.50.

Последняя книга Д. Ю. Далина, третья по счету со времени переезда автора в Америку, вызвала, насколько можно судить, еще больший интерес со стороны американских читателей, чем две предыдущие.

В предисловии Д. Ю. Далин определяет свою книгу как введение к изучению «подлинной советской России». Между прочим, он поставил себе неблагодарную задачу указать на многочисленные ошибки в книгах скороспелых «знатоков» Советского Союза. В главе под заглавием «Клюква» Д. Ю. приводит ряд цитат из писаний некоторых американских и английских писателей, свидетельствующих об их поразительном невежестве в отношении как до-революционной, так и после-революционной России. Общие заключения, к которым приходит автор, сильно отличаются от тех характеристик Советской России и предсказаний насчет ее будущей роли в мире, которые приходится часто видеть на страницах американской печати. Автор определенно расходится с теми, кто предполагает, что Россия выйдет из текущей войны более сильной, чем она в нее вступила. С другой стороны, он ожидает, что война явится могущественным толчком, который приведет к глубоким переменам во внутреннем строе Советского Союза.

В книге всего четырнадцать глав. Первые пять глав, помимо уже упомянутого разбора иностранной «клюквы», посвящены обсуждению так называемого сталинского «реализма», конфликту Сталина с Троцким, новой политике советского правительства по отношению к религии и основам внешней политики Советского Союза. Главы от шестой до одиннадцатой включительно представляют собой основную часть книги. Проделанный в них анализ строения советского общества обнаруживает большое знание доступного по этой части материала. Особый интерес представляют страницы, посвященные принудительному труду в Советской России. Автор приводит несколько попыток определить общее число лиц, принадлежащих к категории «илотов» советского государства, указывая, что по одному из этих исчислений число это доходит до двадцати миллионов. Сам Д. Ю. Далин считает, что во всяком случае число лиц, работающих по принуждению, превышает общее число свободных рабочих советской промышленности. Спорным представляется мне утверждение автора, что общественно-экономическая система Советского Союза по самой своей природе не может существовать без принудительного труда. Положение это едва ли можно признать доказанным материалом, приведенным автором.

Странно, что ни в одном из тех американских (да и русских) отзывов на книгу Д. Ю. Далина, которые пришлось видеть пищущему эти строки, не была отмечена данная им убедительная критика нашумевшей работы "The Future Populatiou of Eurоpe and the Soviet Union", вышедшей в 1944 году под редакцией Франка Нотстейн. Заключения этого труда в отношении будущей численности населения Советской России блестяще проанализированы и опровергнуты автором, который на мой взгляд сделал ценный вклад в демографию Советского Союза. Автор утверждает, что народонаселение Европейской России, «сердца и мозга страны», по всей вероятности понизится до уровня 1914 года (а мужская часть населения даже ниже этого уровня). Вообще эта глава (шестая) о «новой структуре общества» — одна из самых значительных в рецензируемом труде.

В других главах книги встречаются утверждения, которые мне кажутся сомнительными. В главе о коммунистической партии Д. Ю. говорит, например, что в 1905 году в рядах большевистской партии вероятно было больше лиц, принадлежащих к «мелкому дворянству», чем к промышленному пролетариату. Кого автор считает за "lesser nobility"? Если личных дворян, то едва ли правильно обозначать их английским словом "nobility". Пожалуй "gentry" было бы еще допустимо, а скорее надо было бы говорить о "lesser civil and military servants of the State", каковыми лица этого сословия и являлись в условиях до-революционной России. Во всяком случае без соответствующей документации эта характеристика партии едва ли может быть принята на веру. Книга Д. Ю. Далина вообще не снабжена обычным аппаратом сносок с указаниями на документы, на которых покоится то или иное утверждение автора. Правда, в конце книги имеется занимающий больше четырех страниц список источников, который свидетельствует, что автор основательно знаком с литературой вопроса. Тем не менее, при спорности многих из его положений, книга его значительно выиграла бы от указания источников в каждом данном случае. Приведем еще два примера, где этот недостаток особенно бросается в глаза. На стр. 24 говорится, что введение особых материальных преимуществ для офицерского состава Красной Армии и создание условий военной службы близко сходных с теми, которые существовали в старой армии, имели в виду главным образом офицеров дворянского происхождения. Но ведь именно когда дворян было больше в Красной Армии командный ее состав не пользовался теми преимуществами, которыми он обставлен в настоящее время, а сейчас представителей потомственного дворянства среди него как раз ничтожный процент. На стр. 33 автор указывает, что в оккупированных Германией областях России значительная часть православного духовенства вступила в сотрудничество с немцами. Источники,

из которых заимствованы эти сведения, опять же не указаны, а из четырех названных автором епископов трое имели епархии не в России, а в балтийских республиках.

При настоящих условиях получение достоверного материала о положении внутри России сопряжено с огромными и часто даже непреодолимыми трудностями. Приходится пользоваться официальными советскими данными, внося в них поправки на основании сообщений иностранных журналистов. Правда, временами становится доступным и кое-какой другой материал, но и он обычно неполон и зачастую носит суб'ективный характер. При таких условиях историкам, социологам и экономистам, занимающимся советской действительностью, приходится быть крайне осторожными в своих выводах. Этой то осторожности, как будто, и не хватает у авторов — в ущерб авторитетности его книги. От перетягивания лука стрела не летит дальше. С этими оговорками надо все же признать, что Д. Ю. Далин написал весьма ценный труд. Суб'ективность его подхода к некоторым из разбираемых им вопросов не мешает его анализу быть чрезвычайно интересным и часто оригинальным.

Д. Федотов-Уайт.

Russo-Polish Relations: An Historical Survey. Edited by S. Konovalov. London, The Cresset press, 1945.

The Western Frontier of Russia. New York, Willard Publishing Company, 1944.

Первая из этих небольших по размеру книг основана на историческом обзоре, составленном покойным Джоном Мейнардом по поручению Ассоциации Англо-Советских Общественных Сношений. Редактор издания, проф. С. А. Коновалов, довел обзор до весны 1944 года (в общем им написана приблизительно половина обзора) и дополнил его выдержками из документов и картами, так что книга по справедливости носит его имя. Обзор выдержан в строго-историческом духе, изобилует фактами и цитатами и написан без всяких полемических выпадов. Составлен он со знанием дела и читатель найдет в нем много интересного и ценного материала. Надо сказать, однако, что русская сторона представлена в нем гораздо полнее польской. Русско-польский конфликт в течение настоящей войны рассматривается исключительно с точки зрения вопроса о границах,

так как, по утверждению редактора, все остальные вопросы «носят более или менее второстепенный и преходящий характер» — мнение, с которым я не могу полностью согласиться. Говоря об ухудшении русско-польских отношений в 1942 году, редактор только упоминает о «ряде причин», не находя возможным, может быть по недостатку места, входить в обсуждение, что несомненно отразилось на полноте данной в обзоре картины. Следует отметить, что книга эта будет переиздана в Америке Принстонским Университетским Издательством.

Вторая из рецензируемых книг составлена, по инициативе Нью Иоркского Общества Русских Офицеров и Военнослужащих Помощи России, — Я. Бромбергом, П. Коноваловым, Н. Мандровским и В. Васильевым. Она покрывает не только русско-польскую границу, но и границу с Финляндией, Балтийские «провинции» и Бессарабию. В предисловии авторы говорят о своем стремлении дать «возможно более об'ективное изложение проблем русской внешней политики в их историческом аспекте», но признаются и в том, что для них «политика без страсти», в частности без патриотической страсти, невозможна. Последнюю они при этом обещают «сдерживать». К сожалению, я не могу сказать, чтобы это похвальное намерение было ими вполне осуществлено. В этом отношении, части, посвященные более ранним периодам истории (хотя и в них встречаются сомнительной точности утверждения), выгодно отличаются от тех страниц, на которых говорится о событиях нашего времени. Здесь апологетическая тенденция книги становится преобладающей, и, более того, в своем стремлении защитить интересы России, как они их понимают, авторы впадают в тон резкой по форме и несправедливой по существу полемики. «Маленький народ темного происхождения и сомнительного будущего», «комические группировки малых наций», «само-реклама местной полу-интеллигенции» — эти и подобные им полемические красоты едва ли усилят убедительность аргументации авторов в глазах их американских читателей. Написана вся книга с точки зрения выдержанного национализма, для которого решающими являются соображения исторических прав, экономической выгоды и стратегической безопасности. Отношение авторов к судьбе Балтийских государств суммировано в одной выразительной фразе: «То, что родилось в войне, войной же и было уничтожено». Впрочем, не только те, кто разделяют эту точку зрения, но и те, кто ее отвергают, найдут в этой книге некоторый ценный фактический материал, в том числе и малоизвестные исторические факты.

М. К.

B. P. BABKIN. Research Professor of Physiology. McGill University, Montreal, Canada. "Secretory Mechanism of the Digestive Glands." 900 pp. Paul B. Hoeber, Inc. New York and London, 1944.

«Новый Журнал» — журнал не медицинский, и естественно возникает вопрос, почему в нем должно быть отмечено появление в печати научного труда по физиологии пищеварения? На этот вопрос можно отчасти ответить словами проф. Муравьева из «Истоков» М. А. Алданова: «...о Максвеллях огромное большинство людей никогда и не слышало, а вот какого-нибудь Мольтке знает весь мир». «Если бы в распоряжение Максвеллей давались те машины, те деньги, та человеческая сила. которые так щедро и бессмысленно отпускаются всевозможным Мольтке...», продолжая эту мысль, можно сказать: «...то, быть может, уже совсем ни для чего не были бы нужны революции и войны». В 8-й книге «Нового Журнала» были напечатаны отрывки из биографии И. П. Павлова. Несомненно, Павлов был одним из таких «Максвеллей». Автор этой биографии, проф. Б. П. Бабкин, является одним из самых близких сотрудников Павлова и продолжателем его дела. Мировая слава Павлова, как известно, была результатом его открытий в физиологии пищеварительных желез. Однако Павлов потерял интерес к этой области уже очень давно — в самом начале этого столетия. И своим дальнейшим прогрессом в этой области наука обязана в значительной мере исследованиям проф. Б. П. Бабкина и его школы. Только что опубликованная монография Б. П. Бабкина и является завершением этой большой работы — подведением ее итогов. Оценка этого труда возможна только в исторической перспективе. В течение нескольких лет на рубеже XIX и XX столетий Павлов совершенно революционизировал учение о деятельности желез пищеварительного канала. Им и его сотрудниками было открыто такое множество новых и важных фактов, что уже в начале этого столетия можно было с известным правом говорить, что физиология пищеварительных желез является одним из наиболее законченных отделов нашей науки и что после Павлова другим оставалось только вносить добавления в эту область. Но в соответствии с общим направлением научной мысли той эпохи Павлов и его последователи изучали деятельность каждой железы, отделяющей пищеварительный сок, как функциональной единицы. Говорили о секреторной работе слюнной железы, желудочных желез, поджелудочной железы и т. д. и в своем экспериментальном анализе дальше не шли. А между тем каждая железа состоит из нескольких групп разнородных клеток (иногда до четырех или даже пяти), которые вырабатывают каждая различный секреторный продукт.

Таким образом то, что мы называем пищеварительным соком, есть смесь соков, вырабатываемых различными группами клеток, составляющих эту железу. Заслуга Бабкина в том, что он понял возможность дальнейшего экспериментального анализа секреторной работы желез и пришел к мысли, что настоящее глубокое понимание функций желез возможно будет только в том случае, если предметом изучения будет не весь орган целиком, не вся железа, как единое целое, а те разного рода группы клеток, из которых в конечном счете отдельные железы построены. Каждая пищеварительная железа должна быть расчленена на ее функциональные элементы, регуляция работы которых — механизм их секреторной деятельности — должна быть изучена. Начало такого рода исследованию и было положено в последние 15 лет в лаборатории Бабкина им и его сотрудниками. Трудности такого рода исследования оказались очень велики. Понадобилась помощь со стороны гистологов, химиков, физиков и даже математиков. В результате этих исследований было установлено много новых и важных фактов и открылось многообещающее поле для научного исследования в области, которая казалась почти уже совершенно законченной. На смену «органной» физиологии пищеварительных желез пришла «целлюлярная» физиология.

Данные этой 15-летней работы собраны в книге Бабкина. Этим об'ясняются некоторые ее особенности. Те, кто по аналогии с прежней монографией автора о деятельности пищеварительных желез (выдержавшей два русских и два немецких издания) ожидали бы полного обзора соответствующей литературы, и при том в отношении всех желез, будут несколько разочарованы. Хотя рассмотренная автором литература поистине огромна (около 1600 статей и книг), однако исчерпывающий обзор ее не входил в его задачи. В этой книге подробно рассмотрена только секреторная работа желудочных желез (200 стр.). Причина та, что собственные исследования автора пошли дальше всего именно в этих областях. Сравнительно много ценных данных приведено о механизме секреции поджелудочной железы. Четыре главы (87 стр.) посвящены гормонам пищеварительного канала. Первые шесть глав (160 стр.) отведены морфологии пищеварительных желез, точное знание которой, согласно автору, должно служить отправным пунктом для научного исследования в этой области.

Книга написана очень ясным языком и легко читается. Издана она прекрасно и снабжена 200 ценных иллюстраций. Она несомненно будет настольной книгой для специалистов и очень интересным и поучительным чтением для широкого круга врачей и биологов.

С. А. Комаров.

ХУДОЖНИКИ МИРА ИСКУССТВА В АМЕРИКЕ

Широкие русские круги Америки едва ли знают, что здесь сейчас находятся несколько выдающихся представителей «Мира Искусства», и что чаяния и достижения этой школы в их лице проникли в эту страну.

Здесь нашел себе пристанище М. В. Добужинский. Изысканный петербуржец, аристократ по духу, эстет и эклектик, он любит и понимает Россию, пропуская свою любовь сквозь призму эрудиции и европеизма. Блестящий художник-график, он в то же время всю свою жизнь пишет декорации, портреты и пейзажи. Он так же прекрасно владеет карандашем, как и кистью. Он универсален, он враг однообразия, и как множество выдающихся людей часто, как будто, бывает не похож на самого себя.

Россия знала его, как «поэта Петербурга». Один из исследователей Добужинского сказал как-то: «Русская графика имеет свою родину — ее колыбель Петербург, — и первым ее художником и поэтом был Добужинский». Его многочисленные рисунки Северной Пальмиры, начиная с 1902 года и кончая видом Зимнего Дворца в недавно иллюстрированной им книге «Левша» (Нью-Йорк, 1943 г.), удивительно отразили прелесть одного из самых красивых городов мира. Добужинского, вообще, привлекает город. Путешествуя по Европе, он рисует Лондон (1906 г.), голландские города (1910 г.), пишет «облики Италии». В Америке, куда он приехал в 1939 году, появились его интересные зарисовки нью-йоркских улиц и небоскребов.

К театральным работам Добужинский впервые приступил в 1909 году, когда Станиславский предложил ему написать декорации и костюмы для постановки «Месяца в деревне». Дух дворянской эпохи конца 60-х годов передан здесь с изумительной наблюдательностью. Любовно подбирает Добужинский каждую деталь русского фольклора этой эпохи. Он создает одну за другой декорации для «Провинциалки» (1912 г.), стилизованные декорации для «Ставрогина» (1913 г.), другие — к «Селу Степанчикову» в 1917 году; в Брюссельском театре "La Monnaie", в 1931 году, он пишет декорации для «Пиковой Дамы», громадного драматического под'ема. В 1937 году он ставит в Лондоне «Бориса Годунова». В Лондоне же Добужинский создает свои знаменитые декорации к балету «Щелкунчик».

Раньше Добужинского увлекали живописные эффекты и светотень. В 30-х годах, под влиянием Бенуа, он обращается к линии и к силуэту.

Невозможно даже вкратце перечислить все его графические произведения. Вместе с Сомовым и Лансере он поднял русскую

графику на небывалую до того высоту. Одними из первых работ Добужинского в этой области были виньетки для журнала «Мир Искусства» (1902 г.). Позднее иллюстрации к книгам обогатили нашу сокровищницу художественных изданий. Прекрасны его иллюстраций к «Бедной Лизе», изысканно стилизованные, серия иллюстраций к «Преступлению и наказанию» (Пражский музей, 1927 г.), к «Евгению Онегину» (вышедшему на английском языке в Лондоне, в 1937 г.); с филигранной тонкостью нарисованы иллюстрации к «Левше».

В Америке за последние три-четыре года Добужинский написал костюмы и декорации для "Mlle Argo" (1942 г.), для "Ballet Impérial" Чайковского, «Поручика Киже» Прокофьева, для «Бала-Маскарада» и «Сорочинской ярмарки».

Во всех отраслях его творчество пленяет продуманностью композиции. Может быть, в силу этого, оно иной раз кажется холодным и чуть чуть педантичным, но внимательного зрителя эти произведения поражают своим необыкновенным художественным под'емом. —

Около двадцати лет тому назад переехал из Парижа в Америку Сергей Судейкин. В России и в первые годы заграницей москвич Судейкин был, может быть, самым русским из художников, в том смысле, что он заполонил и выставки «Мира Искусства» и театр «Летучей Мыши» своими необычайно красочными, слегка сатирическими и часто очень прихотливыми пасторалями, каруселями, русскими бабами, купчихами, безделушками и куклами. Александр Бенуа, певец Версаля и изумительный иллюстратор «Медного Всадника» и «Пиковой дамы» Пушкина, говорил о Судейкине: «...Еще напоминают его картины то странное настроение, которое является при неожиданной находке игрушек нашего детства. Вот детский театрик с его декорациями и кисейными балеринами, все покрыто слоем пыли, и слышишь музыку умерших, музыку, которую теперь никто не играет». Как ни странно это может показаться, но это определение сближает Судейкина ни с кем иным, как с сюрреалистами. Да и сам Судейкин признает это.

В Париже и в Америке Судейкин проявляет многостороннюю деятельность. Кроме станковой живописи, портретов и пейзажей, появляются его колоритные театральные декорации, полные самой необузданной и увлекающей фантазии. Достаточно напомнить все его постановки для «Летучей Мыши» в Париже, его «Садко» для "Metropolitan Opéra' в Нью-Йорке, "Porgy and Bess" — для американского театра и «Паганини» и «Лунную Сонату» — для русского балета в Соединенных Штатах. В Америке появляются его картины чужого фольклора: негры, пейзажи в Коннектикуте, трущобы Нью-Йорка. Конечно, им не сравниться с его «Русскими пасторалями», потому что, как бы этого ни хотелось самому художнику, амери-

канские негры не могут так говорить его душе, как прелестная Катенька или знакомый и близкий быт русских купчих. —

Савелий Сорин делил свое заграничное пребывание между Францией и Америкой. Незадолго до войны он окончательно эмигрировал в Соединенные Штаты. Сорин — ученик Репина, портретист, прямой наследник русских портретистов XVIII века — Левицкого, Кипренского и Рокотова.

Одно время он увлекался Серовым и Сомовым, общепризнанными главарями «Мира Искусства», и отчасти следовал за ними. Но неудовлетворенный склонностью к натурализму своих учителей, он ушел от них впоследствии в сторону нео-классицизма.

В портретах Сорина, многочисленных и увлекательных, прежде всего поражает то, что лучше всего определяется французским словом "véracité"; по русски это можно выразить словом «правдивость». «Моя цель», — говорил он о себе, — «достичь максимума портретно-психологического выражения». Его честность в обращении с сюжетом поразительна.

Благодаря этим особенностям своего творчества, он добивается портретов, таких похожих и вместе с тем являющихся настоящими произведениями искусства.

Композиционное построение его картин всегда строго продумано и очень сложно; он строит их, как архитектор строит не-простое здание. Он мастер прекрасных контуров и силуэтов, плавной и текучей линии — "Maître de la belle ligne", как называли его французские критики. Стоит только вспомнить портреты г-жи Тищенко или Анны Павловой.

Он пишет почти исключительно очень красивых женщин, с удивительными руками и длинными тонкими пальцами; по изысканности поз и колорита они кажутся иногда даже чуть чуть аффектированными. Это сближает его с Левицким. В своих мужских портретах он дает тонкий и выразительный облик минимальными, можно сказать, скупыми средствами. Его техника, его способ разбавлять темперу и накладывать краску легкими и прозрачными мазками придает его портретам необыкновенную прелесть. Время от времени он пишет теперь и маслянными красками. Сорин, к сожалению, редко устраивает свои выставки. Последняя была в 1941 году.

Борис Анисфельд двадцать пять лет тому назад прибыл в Соединенные Штаты непосредственно из Росии. Он воспитанник Петербургской Академии. По живописным наклонностям Анисфельд близок к группе московских колористов.

Анисфельд, главным образом декоратор. Он понимает и любит Восток, и его балеты, как, например, «Исламей», дышат блеском арабских сказок. Он лично написал декорацию «Шехерезады» по

эскизам Бакста, ту декорацию, которая создала славу русскому балету.

Некоторые художники боялись давать ему свои макеты, столько он вкладывал мощи и темперамента в декорации, которые потом подписывал "exécuté par Anisfeld". И эти три слова были почти равносильны оригинальной подписи.

Первые годы своего пребывания в Америке Анисфельд жил в Нью-Йорке, где в 1925 году поставил для "Metropolitan Opera" восточный балет Масснэ, имевший большой успех. Сейчас Анисфельд находится в Чикаго, где преподает живопись в "Art Institute". Пишет он сейчас, главным образом, этюды с натуры и пейзажи.

Кое где рассеяны и другие художники «Мира Искусства». Если не ошибаюсь, в Калифорнии находится даровитый Фешин. Нельзя не пожалеть, что эти выдающиеся русские художники недостаточно известны американцам именно, как русские художники. Они не менее оригинальны, чем русские композиторы, завоевавшие себе в этой стране столь широкую популярность.

Вера Коварская.

ЗЕНЗИНОВ В. Встреча с Россией — как и чем живут в Советском союзе — письма в Красную Армию 1939-1940 г.г. 592 стр. Нью-Йорк, 1944, издание автора. Цена 4 долл.

Весь материал, положенный в основу книги В. М. Зензинова, был собран автором на полях сражений в Финляндии в 1939-1940 годах. Главную его часть составляют письма, найденные в карманах убитых солдат Красной Армии. Через руки автора прошло в оригиналах 542 письма. Из них 277 приведены полностью в конце книги, «как показавшиеся автору наиболее интересными и характерными». Присланы эти письма были буквально со всех концов Советского Союза. Авторы писем главным образом колхозники. Среди них очень мало людей культурных. Таким образом письма преимущественно отражают мысли деревни.

Автор отмечает, что многие письма «написаны так, как их всегда писала русская деревня». «Быт, крепкий, устойчивый быт, складывается очень медленно». В письмах этих уделяется много внимания личным переживаниям и семейным заботам. Изредка врывается посторонняя нота, как в одном из писем: «у нас здесь есть новость убили вчера молодого парня володю фамилию незнаю как убил помощник начальника енкеведе (т. е. НКВД)».

Война была воспринята, судя по письмам, без критики. Офици-

альные об'яснения ее причин повидимому не вызывали сомнений в деревенской среде. В отношении пропаганды, радио несомненно сыграло значительную роль, даже и вне городов. Народная гуща отозвалась на войну взрывом патриотизма. Характерно выражение в одном из писем: «до чего все-же эти финны вредные, что им надо, зачем они лезут, ведь они все равно против нас ничто».

В связи с неблагоприятным ходом военных действий начинают появляться в письмах нотки сомнения и тревоги: «когда же бело-финны будут побеждены?»

Автор цитирует, между прочим, письмо учительницы (стр. 174-175), на основании которого он делает вывод о наличии политической программы, резко расходящейся с официальной. Это заявление В. М. Зензинов основывает на фразе: «Смотрите **не** бейте врага на его территории». А не описка ли это? Ведь если прочитать **же** вместо **не**, то смысл фразы будет совершенно другой, более согласный с остальным содержанием письма. Это единственное место где, по моему мнению, автор отошел от осторожного, строго об'ективного разбора материала.

Письма рисуют тяжелую, полную лишения жизнь. Деревня, судя по ним, жила в беспросветной нужде. По письмам разбросано много данных о ценах на продукты, и эти сведения могут оказаться весьма ценными для экономистов. В. М. Зензинов приходит к выводу, что средний заработок в Советском Союзе составлял 200 рублей в месяц, при цене на хлеб в 40 рублей за пуд.

Автор проделал большую тщательную работу и заслужил глубокую признательность всех занимающихся изучением Советской России. Приходится пожалеть, что не нашлось ни одного американского издателя, пожелавшего выпустить в свет этот материал на английском языке. Книга Зензинова — важный вклад в скудную библиотеку сборников фактических сведений о Советском Союзе, не прошедших через горнило официальной цензуры.

Д. Федотов-Уайт.

LANTZEFF. George V. Siberia in the Seventeenth century: **A Study of the Colonial Administration.** University of California Press, 1943. 235 pp. $2.75.

FISHER, Raymond H. **The Russian Fur Trade, 1550-1700.** University of California Press, 1943. 275 pp. $3.00.

Появление этих двух американских работ по русской истории должно быть отмечено в русском журнале. Г. В. Ланцев — наш соотечественник и воспитанник Петербургского Университета, но

самостоятельную исследовательскую работу он начал уже в Америке и докторскую степень получил в Калифорнийском Университете. Рэймонд Фишер — прирожденный американец, настолько овладевший русским языком, что ему доступна не только современная научная русская литература, но и документы 16-го и 17-го веков. Оба автора указывают, что они не имели возможности работать в русских архивах. Но это отнюдь не обесценивает их монографий. В области избранных ими тем накопилось такое количество опубликованного документального материала, и этот материал сравнительно так мало был использован русскими историками, что и без привлечения новых архивных данных Г. В. Ланцеву и Р. Фишеру удалось дать в своих книгах нечто новое, с чем в дальнейшем придется считаться и русским исследователям.

История Сибири, даже и после недавних работ Бахрушина и Огородникова, все еще остается далеко недостаточно разработанной. В частности, сравнительно мало внимания уделялось истории русской «колониальной» администрации в Сибири — пробел не ограничивающийся одной Сибирью: русская историография вообще чрезвычайно бедна работами по истории русской имперской политики на окраинах. Главное значение книги Г. В. Ланцева и заключается в том, что она удачно заполняет этот пробел в отношении Сибири (в первое столетие после ее присоединения к России). Автор дает подробный и превосходный очерк центральной и местной сибирской администрации 17-го века, внимательно изучая политику московской власти по отношению к туземному населению, к переселенцам из России и к агентам власти на местах. В результате его исследования получается картина, заставляющая отказаться от ходячего мнения о примитивности методов и «хищническом» характере московской политики в Сибири, хотя он отнюдь не скрывает от читателя ее теневых сторон и, наряду с успехами, отмечает и ее неудачи.

И книга Р. Фишера частично заполняет давно ощущающийся пробел — в данном случае, в экономической истории России. Истории русской торговли не повезло в такой же мере, как и истории русской имперской администрации. Книга Р. Фишера — одна из немногих основательных работ в этой области. Она посвящена тщательному изучению меховой торговли 16-17 веков, имевшей первостепенное значение в экономической и политической жизни Московской Руси. По правильному указанию автора, эта торговля была в сущности движущей пружиной и самого «завоевания» Сибири. Как и работа Г. В. Ланцева, монография Р. Фишера отличается свежим подходом к изучаемой проблеме и обнаруживает в авторе надлежащее критическое чутье. Так, подчеркивая ту огромную роль, которую играло

в организации меховой торговли московское государство, автор не впадает, однако, в одностороннее преувеличение, столь хорошо нам знакомое по многочисленным утверждениям иностранных (да и не только иностранных!) авторов об «извечном этатизме» русского исторического развития. Напротив, он указывает, что, хотя государство и являлось самым крупным «торговцем» мехами, значительно большая часть этой торговли все же оставалась в частных руках, а попытки правительства регулировать частную инициативу далеко не всегда были успешны. Правильно и замечание автора, что меховая торговля была одним из главных факторов, приведших к образованию в России 17-го века достаточно крупного и влиятельного торгового класса.

Надо надеяться, что и Г. В. Ланцев и Р. Фишер будут продолжать свою исследовательскую работу в том же направлении. Темы для следующих их монографий напрашиваются сами собой: от Г. В. Ланцева можно ожидать, что он напишет книгу (или книги) о сибирской администрации 18-го и 19-го веков, а для Р. Фишера было бы естественно заняться историей русской меховой торговли в 18-ом веке, где центр тяжести будет уже не в сношениях с европейскими странами, как это имело место в 17-ом веке, а в торговле на азиатских рынках.

М. Карпович.

Lectures on Godmanhood. By V. Soloviev. With an introduction by P. P. Zoubov. New York: International University Press, 1944. Pp. 233. $3.75.

Появление знаменитых Лекций о Богочеловечестве Владимира Соловьева в отличном английском переводе П. П. Зубова открывает новый доступ к подлинным вершинам русскаго культурного творчества всем владеющим английским языком людям. Переводчик предпослал тексту обстоятельное введение, состоящее из трех глав. Первая из них посвящена биографическому очерку, в котором, между прочим, подробно рассказывается история обращения Соловьева в католичество, без выхода из православной церкви, и тяжелый внутренний конфликт, за тем последовавший. Во второй главе дается обзор тех идей, которые повлияли на миросозерцание Соловьева, тогда как третья вводит читателя в общую философскую систему Соловьева, с обильными цитатами из многих непереведенных его сочинений. В приложенной библиографии, к сожалению, отсутствует перечень трудов Соловьева, переведенных на иностранные языки.

Н. С. Тимашев.

Nicolas Kalashnikoff. Jumper. The Life of a Siberian Horse. Ch. Scribners. New York. 1944.

Марсель Пруст указывал на то, что литературное произведение должно быть не только правдивым, но и правдоподобным. В современных романах этот элемент правдоподобия всего чаще отсутствует и неправдоподобнее всего рассказ о животных. За редкими исключениями, к числу которых принадлежит, конечно, бессмертный Киплинг, герои рассказов о животных это вовсе не животные, а люди, переодетые в звериную шкуру.

«СКАКУН» Н. Калашникова — настоящий, живой конь, и все в этой книге не только правдиво, но правдоподобно. Конечно, никто из нас не может знать, что происходит в сознании лошади, как она воспринимает внешний мир, и каковы отношения, которые связывают ее с ее хозяином — человеком. Обо всем этом можно только догадываться, и автор не пытается итти за пределы этих догадок. Но его «СКАКУН» правдоподобен, потому что он не размышляет и не действует, как человек, не понимает того, что делают и говорят вокруг него люди, хотя инстинктом сознает, что он как-то связан с людьми; они пекутся о нем, любят и балуют его, требуют от него определенной службы и вознаграждают его за нее, но все это не поддается никакой рационализации, остается непонятным; непонятно само слово «СКАКУН», которое постоянно слышится коню, и на которое он реагирует, не имея даже понятия о том, что такое **имя.**

Рассказ Н. Калашникова убедителен еще по другой причине. Это не рассказ о «лошади вообще», это биография одного определенного коня, родившегося в забайкальской деревушке от Сибирской кобылы и английского жеребца и принявшего славное участие в боях против японских и семеновских отрядов, во время гражданской войны.

Н. Калашников одарил своего «СКАКУНА» яркими чертами не только в смысле физического облика (художественно начерченного автором), но и в смысле духа, темперамента. Вся книга веет какой-то динамикой, — динамикой «СКАКУНА», этого молодого, резвого, горячего жеребца, неутомимого в скачках и боях, преданного своему другу-человеку, во всем послушного ему и в то же время сознающего свою красоту и силу. Он даже страдает некоторым пороком тщеславия и это фатовство, которое действительно иногда проявляется у породистых животных, метко и забавно схвачено Н. Калашниковым.

Верно изображены и драматические эпизоды из жизни «СКАКУНА»: его встреча с волками и его походная жизнь.

«СКАКУН» не только живой конь, но и живая личность, со своей особой. неповторимой судьбой.

Елена Извольская.

О. О. ГРУЗЕНБЕРГ. Очерки и речи. Нью Йорк, 1944.

Где-то во Франции, вероятнее всего в Ницце, хранятся в рукописи два тома воспоминаний покойного О. О. Грузенберга. Там же имеются и другие собранные из литературного наследия покойного материалы (письма и пр.), которые должны были составить еще два тома. Большая историческая и литературная ценность — в этом не может быть сомнений после ознакомления с недавно вышедшим в Нью Йорке томом «Очерков и речей» О. О. Грузенберга, где издавшая эту книгу группа друзей покойного «была вынуждена ограничиться тем материалом, который оказалось возможным найти в Нью Йорке». Можно лишь пожелать, чтобы литературное наследие О. О. Грузенберга было скорее и возможно полнее издано — это нужно не только для увековечения его памяти, это нужно и для истории, для русской культуры.

«Очерки и речи» О. О. Грузенберга нельзя читать без волнения. В них во весь рост встает О. О. Грузенберг, боец за право личности, вложивший весь свой блеск и темперамент в дело борьбы «за право и свободу, без которой нет и не может быть истинного права». Но это и не только О. О. Грузенберг, это также история русской общественности за длинный и решающий период русской истории — с 1889 года по 1917-ый.

Лишь небольшую часть книги — 57 страниц из 248 — занимают статьи о самом О. О. Грузенберге, написанные его друзьями и почитателями — Е. М. Кулишером, А. Я. Столкиндом, И. А. Найдичем и И. Л. Цитроном, в которых читатель найдет краткие биографические данные о покойном и его характеристику, как адвоката, судебного защитника, борца за права еврейства. Гораздо более значительная часть книги заполнена судебными и иными речами О. О. Грузенберга, отрывками из его воспоминаний, его статьями, письмами как самого О. О. Грузенберга, так и письмами к нему таких больших и интересных людей, как М. Горький, В. Г. Короленко, А. Ф. Кони и И. Е. Репин. Достаточно перечислить эти судебные процессы и речи, чтобы перед читателем встала большая и значительная полоса из истории русской общественности: процессы против сионистов (1897-1903 г.г.), защита студента П. Дашевского, стрелявшего в Крушевана, одного из идейных вдохновителей кишиневского погрома (1904 г.), защита еврея Блондеса, содержателя парикмахерской, обвинявшегося в том, что он ранил свою служанку-христианку с намерением выцедить ее кровь для надобности еврейской пасхальной мацы (1900 г.), дело петербургского совета рабочих депутатов (1907 г.), защита А. В. Пешехонова по делу Всероссийского Крестьянского Союза, защита П. Н. Милюкова, В. М. Гессена, В. Г. Короленко и др. по делам

печати, дело Бейлиса (1911-1913 г.г.), защита евреев по делам мнимого шпионажа во время войны (1914-1916 г.г.) и мн. другие. Это был «мучительный путь ежедневной борьбы за право, за интересы отдельных людей, борьба в судах, в министерствах и у сильных мира сего, раздача сердца по кусочкам». Так сам он характеризовал свою работу за эти годы. Больше всего это была именно «раздача сердца по кусочкам». О. О. Грузенберг вкладывал в борьбу весь свой пламенный темперамент, свою неукротимую энергию и огромный труд, который требовался для предварительного изучения дела, для знания законов и самых мелких подробностей судебных решений. Все, кто встречался с О. О. Грузенбергом, как бы ни была коротка эта встреча, испытывали силу его искрометного слова, его бурного — иногда и буйного — темперамента, обаяние всей его яркой пламенной личности.

И когда теперь перечитываешь и перебираешь отрывочные записи речей О. О. Грузенберга, его выступления в этой неустанной защите «личности от всесильного государства», испытываешь чувство глубокого морального удовлетворения: человек не напрасно прожил свою большую жизнь, наряду со многими он вложил свои силы в ту святую борьбу, которой была полна в течение десятилетий русская общественность: в борьбу за право, за право личности, права человека. И, быть может, лучшей похвалой ушедшему будет утверждение, что и в наше время — в наше время даже больше, чем когда-либо раньше — страстные призывы О. О. Грузенберга звучат, как общественные заповеди сегодняшнего дня.

О. О. Грузенберг родился евреем, и не случайно, что огромную долю работы он отдал защите еврейства. Но он защищал евреев не во имя еврейских интересов, а во имя человека. Этот еврей всю свою жизнь отдал России. В речах и статьях его на каждом шагу можно встретить исповедь сердца. «Первое слово, которое дошло до моего сознания, было русское, — писал он в отрывке своих воспоминаний. — Песни, сказки няни, сверстники детских игр — русские. Я полюбил этот удивительный язык и с 4-го класса гимназии занимался им — в особенности народным творчеством — былинами, сказками, песнями, — с любовью и настойчивостью». После Пушкина любимым поэтом О. О. Грузенберга был Некрасов. Когда он пишет о Шевченко, о Короленко, на первом месте у него дума о России. У М. Антокольского, у А. Я. Пассовера он прежде всего отмечает, что они любили Россию, работали для России. Статью о Г. В. Слиозберге он кончает такими замечательными строками:

«Одна важная черта в личности Слиозберга, — черта, которая мне особенно дорога: это — его неугасимая любовь к России. За что? — спрашивают многие, — за еврейское бесправие, за унижения,

за погромы? Те, кто ставят так вопрос, не знают, что такое истинная любовь; когда любишь, то любишь СВОЮ любовь. За что любим Россию, — как это об'яснить? — За то, что там солнце светит и греет по ИНОМУ; ИНАЧЕ плывут в небе облака, поет река, хрустит под ногами песок... Ну, и совесть в ней совестила ПО ИНОМУ...».

Русский читатель должен издателям книги О. О. Грузенберга «Очерки и речи» — А. А. Гольденвейзеру, И. А. Найдичу, Б. Ю. Прегелю, А. Я. Столкинду и И. Л. Цитрону — принести глубокую и душевную благодарность.

В. Зензинов.

В ИЗДАНИИ «НОВОГО ЖУРНАЛА»

вышла в свет новая книга

М. О. ЦЕТЛИНА

«ПЯТЕРО И ДРУГИЕ»

посвященная жизни русских композиторов

Цена книги без переплета $ 2.25

в переплете $ 2.75

Адрес издательства: Mrs. M. E. ZETLIN,

112 W. 72nd Street, New York, N. Y.

Tel.: EN 2-9893

НОВЫЙ ЖУРНАЛ

Литературно-политическое издание, выходящее раз в три месяца.

●

Цена одной книги по предварительной подписке 2 доллара; цена двух книг — 4 доллара; цена трех книг — 5 долларов. В розничной продаже книга стоит 2 доллара 25 центов.

●

Адрес редакции:

Mrs. M. Zetlin, 112 W. 72nd Street, New York, N. Y.

Tel: ENdicott 2-9893

Там же принимается подписка.